

5

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

5

1937

1937

ПОПРАВКА

На стр. 216 пятой книги, правая колонка, 11-я—7-я строка снизу, по вине корректуры вкралась опечатка.

Напечатано:

«знали в точности, какие именно лица были выбраны на должность ответственных руководителей, несут ответственность за функционирование всего хозяйственного организма в целом».

Следует читать:

«знали в точности, какие именно лица, быв выбраны на должность ответственных руководителей, несут ответственность за функционирование всего хозяйственного организма в целом».

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
П Я Т А Я**

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Отатформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главлята Б—6025. Об'ем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Одано в набор 9/VI—37 г.

Подписано к печати 29/VI—37 г. Техн. ред. С. Кривцов. Тир. 70.000. Зак. 1484

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Отепанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ. — Камышевый кот, <i>рассказ</i>	5
2. М. С. КРЮКОВА. — Сказания. (Вступительная статья В и к- торина Попова)	20
3. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Стихотворения	37
4. А. ЖАРОВ. — Весенний ветер, <i>стихотворение</i>	39
5. ВИЛЬГЕЛЬМ ЖУРАВЛЕВ. — Стихотворения	40
6. С. ЩИПАЧЕВ. — Стихотворения	43
7. ИЛЬЯ ВЕРШИНИН и МИХ. РУДЕРМАН. — Победа, <i>пьеса</i>	45
8. ДЖЕК АЛТАУЗЕН. — Наши песни, <i>стихотворение</i>	79
9. МАТЭ ЗАЛКА. — Добердо, <i>роман, окончание</i>	80
10. АНАТОЛИЙ ГАЙ. — Стихотворения	120
11. ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ. — Мастера, <i>роман, окончание</i>	123
12. В. ТАРСИС. — Ночь в Харачое, <i>рассказ</i>	163
13. П. ВОРОБЬЕВ. — Сила, <i>рассказ</i>	169

ЛЮДИ И ФАКТЫ

14. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — «Звезда» и «Правда»	178
15. ВЛ. КАНТОРОВИЧ. — Рассказы проводника Карацупы	184
16. И. ТРАЙНИН. — «Разделение властей»	204

НАУКА И ТЕХНИКА

17. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение	221
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

18. В. КРАСИЛЬНИКОВ. — К вопросу о народности Маяковского	239
19. Е. СИКАР. — Шота Руставели и Илья Чавчавадзе	245
20. А. МИХАЙЛОВ. — В. И. Суриков	254

БИБЛИОГРАФИЯ

21. Н. СЛАВЯТИНСКИЙ. — «Избранные стихотворения Шиллера»	268
22. В. Е. ЛЬВОВ. — Джон Лэнгдон-Девис, «Внутри атома»	270
23. КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.	

Камышевый кот

Рассказ

БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ

П од вечер упала моряна, и на чистую воду ушла из камышей птица. Безветренная черная тишина стояла над взморьем.

Помахивая хвостом, камышевый кот засматривался на звезды, чесал лапой за ухом, молился своему кошачьему богу — не пошлет ли ветра, а с ветром добычу.

Долго ждал. Только под утро пришел к камышевому коту камышевый шум — настойчивый и необычный.

— Ветер?

Настороженно поднял ушастую голову кот. В синем просвете переплелись камышевые ости. Шумит, а неподвижен камыш, не шевелятся его рыжие кудри.

И вдруг — затрещала, ломаясь под чьей-то тяжелой поступью, камышевая заросль, стал над ней звон — не разберешь, какой и откуда.

И когда показалась в просвете на ближнем пригорке взнузданная лошадиная морда, а над ней и за ней затемнели бараньи папахи, прыгнул в сторону кот и был таков.

Отряд сотника Свешникова шел камышом четвертые сутки. Голодной подругой затянуло брюхо коням, голодным ремнем подтянули порты станичников. Седой щетиной покрылись провалившиеся сумки, щеки Федора Маркельча Свешникова. Черные, злые глаза горят на испитом лице хорунжего Албина, а у

станичников и не разберешь, где борода, где усы, где бараньи ключья папах.

Легко сказать: четвертые сутки волчьей стаей бежать камышом.

Обошли стороной рыбный Гурьев, — крепко легла в нем советская власть, — подались на Доссор — да неприветливо встретили партизаны, и на третий день рассыпного боя, потеряв из сотни 36 человек, нырнул Федор Маркельч Свешников с остатными людьми в прикаспийский камыш.

На Жилую Косу, на адаевские могилы, через пески, к границе, в черную, предрассветную ночь, в которой ни разговоров, ни смеха, только нет-нет да звякнет шашка о стремя, да оступится конь, да обматерится вполголоса всадник.

Сбоку, от середики строя отъехал урядник Егорыч, прибавил шагу коню, обогнал строй, поровнялся с господами офицерами.

Словно седой клоч тумана повис на его груди, и спрятал в него подбородок старик. Заиндевелой его бородой гордилась вся сотня, да и без бороды был приметен по делам своим матерый казачий волк.

Городские миллионщики не гнушались в трудную минуту скидывать шапки в сенях хуторского бревчатого дома Акима Егоровича. И когда проходом в Самару на ярмарку шли егорычевы гурты через город — от утра до вечера, от канав до креста собора вставала душная, едкая пыль. А гурты шли...

В восемнадцатом году отборный бычий гурт где-то на дорбге перехватил Чапаев и скормил своему голодному войску. А в конце года пропал у Егорыча без вести Петька. Сын! Встретил его старик в бою под Кожехаровым.

На степях казачьих не впервой слетаться бородатым, крестатым, матерым — с безусыми, лихими (сорви-голови!) сыновьями, зятьями, племенниками.

Сватыями, кумовьями, шабрами, закадычниками устилалась в те годы степь, как коврами престольный праздник.

Вот она, степь, выпускает из-под увала хищное, лампасами и штанами синемалиновое коршунье. Вот он — качается на широкой казачьей егорычевой груди милостивый Микола-угодник, в солнце купается дедовская шашка. А соседу — пострели ее (бабу) зараза — сунула богородицу (тоже вояка!). Но Микол не напасешься, — летит с коршуньем непорочная, дебелая дева Мария.

Трубы!!! Машет подолом материнского сарафана степь. Соколиная стая рвется навстречу.

Лава на лаву сшиблись в клинки казаки, ударились — и слово горстями кто рассыпал по чистому, по суглинку, по ростощи — коней, людей, бубенцы шашек.

Лихо крутился один красный всадник в самой гущине рубки. Не утерпел Егорыч — пробился унять бойца.

Боками стукнулись кони, осев на задки, два солнечных луча взвились по клинкам и погасли.

Спасла старика густая баранья папах, хоть и остался под ней шрам на всю стариковскую жизнь. А Петру клинок упал ниже уха, и залился кровью белый башлык его, с форсом сброшенный на расстегнутый полушубок. Как арканом, выбросило старика из седла к рухнувшему наземь сыну.

Прохрипел Петр:

— Кончатъ не старайся — готов!

А шею ему точно кто повязал красным широким бантом. Но распустилась лента и бежала струей, соленой струей под горькие корни полыни.

Не мог головы поднять Петр, повернул только:

— Крепок ты еще, батька!..

И закинулся. Огляделся старик. Стоной уходил бой.

— Матери что скажу?!

Ничего матери не сказал. Не увидел мать. В старые, слепые от слез глаза посмотреть не смог. Но, видно, впрямь был крепок и костью, и ненавистью Егорыч.

Уходят в закаспийские степи последние зазубренные клинки толстовской банды, и он с ними едет, стремя в стремя с Федором Маркелычем, с кумом, с петькинским крестным, с господином сотником.

— Сворачивать надо!

Не понял Свешников:

— Почему?

— Лука тут кончается. Топко. По брюхо коням будет. Не вылезут с голодухи.

— А на чистом? Не напоремся?

— Аулы тут разваленные.... не должно быть...

Повернулся Свешников:

— Справа по три...

И уж когда вылезли из камышей на пригорок, выехали на дорогу:

— Ры...ы...ы...сю ма...рш!

Рванулся вперед караковый албинский жеребец и вдруг, закинувшись под туго затянутым мундштуком, приседа, попятившись, вклинился в строй. Зафыркали, останавливаясь, кони, спутались звенья. И стал на голову выше отряд, — следом за Албиным, всматриваясь, поднялась на стременах сотня.

— Стоит на дороге кто-то?

— Волк?

— Столб?

— Человек!

Лежит дорога неведомая — чорт те куда и зачем! Темная дорога. Чужая. Открыла черную глотку:

— Милости просим.

Кони дрожат, не то что люди. Холодно!

Опять подался вперед Егорыч. Всмотрелся. Оглянулся зачем-то назад. Снял баранью папаху. Зашитую. Сам зашивал после сыновьяго разуба и другой не носил старик. Перекрестился.

— Не шебарши народ зря, господин хорунжий. Не человек, не волк, — конец стоит казачьей земле — граница.

И тронул лошадь первым. Многие прошлось старику за сивую бороду, за богатство, за смелость.

Подошли вплотную. Крепко врытая в землю, глядела в небо старинная двадцатифунтовая пушка. Земля Уральско-го казачьего войска кончалась. Дальше шли степи киргизские, адаевские.

На востоке упала одна из последних звезд с начинающего сереть неба.

— Покатилась наша звезда в Персидское царство.

Смутно кто-то сказал в рядах, а все поняли.

— Спешиться! Стоять вольно!..

И не было команды, а к земле, за последней ее родимой горстью нагнулась вся сотня. Кто в грязный платок, кто в полу гимнастерки, а больше всего в пустые кисеты совали шершавые комья.

Шутка сказать — в Персидское царство!

Совсем осветлел восток.

Опять под камышом, под корнями набухает морской водой жидкая, рассолодевшая грязь. Причмокивают, словно сосут ее, лошадиные копыта.

Метнулась сова из камышей, взвилась, очертила широкий бесшумный круг, сгинула.

— Самое ее время, — шепчет Свешников, — беда мелким пичугам в совином царстве.

И мыслишки у самого, как пичуги, в разные стороны. Косится Федор Маркелыч на хорунжего. Хоть бы слово сринил Албин в походе. Молчит хорунжий. Свои думы у хорунжего Албина.

В сахарновском бою привез ему в цепь приказ генерала Толстова Колька Шапошников — однокашник. В Оренбургском корпусе вместе были...

В приказе было:

«... Хорунжему Албину, приняв командование сотней, прикрывать отступление отходящих частей пулеметным и ружейным огнем, удерживая наступающего противника до 4 часов дня».

Хорошо запомнился этот день. А особенно вечер. Потому что до вечера, выполняя приказ генерала, держала албинская сотня поселок, и не один раз закипала вода в пулеметных кожухах, и ложились наступавшие красные цепи.

В передышку, когда, отходя, оперлась сотня на крайние дома, прискакал казак с донесением:

— В поселке, в амбаре, четыреста пленных красноармейцев. Кто в тифу, кто раненые, целых нет, куда их?

— Красным на пополнение!

Пляшет на площади караковый жеребец. Стоит у разбитой лавки железная бочка.

— Водка?

— Нет, керосин!

— К амбару!

На захлестнутой боем поселковой площади три фургона с сеном.

— Егорыч!

— Я!

— Заворачивай их!

И заваленный сеном, облитый керосином, вспыхнул громадным костром сахарновский амбар...

Стихал и затих смертный человеческий вой. Но, когда с подветренной стороны спал и ушел в нутро огонь, в подстреху просунулась голая худая рука.

— Неужто не все задохлись?..

— Живучие...

В искрах, в пламени, в огненном золоте рухнула крыша. А рука осталась, крышей ее придавило, и, прижавшись к догоравшим доскам настила, осталась она наружи со скрюченными пальцами, не успевшими сжаться в кулак.

А с задов уже бежали немногие оставшиеся в живых казаки, застучал и смолк, захлебнулся кровью пулеметчика крайний «Максимка» — красные дошли.

Ночью, с 30 саблями вместо 140, догнал Албин отступающее казачье войско.

Есть о чем вспоминать хорунжему Албину.

Андрей Бенедиктович Гиер жил на Ракуше бобылем. Заводы (нефтепере-

гонных было на Ракуше два) стояли. Резервуары, хранилища, даже стационар в море — все было залито нефтью до отказа: вывозить нефть было некому, не для чего.

Нефтепровод, что шел на Ракушу с Доссора, прекратил перекачку месяца два назад — захлебнулся. И оттого ли, что перестал день и ночь стлаться над поселком густой коричневый дым, не стало в Ракуше житья от комариного гнуса, а с моря, с илистых пляжей, с заливов накрыла поселок удушливая, гниющая вонь от выбрасываемой на берег гнили: рыба, моллюски, водоросли...

Разбегались рабочие — на Доссор, в Гурьев, в партизанщину; серые, закопченные домики, перемежающиеся пузырями нефтяными баками, стали еще невзрачнее, тише, грязнее.

А в домах, что получше, почище, — там, где жила заводская интеллигенция, — давно уже никого не было.

— С голоду подохнуть и пулю получить всегда успеем, — сказал на одном из последних совещаний директор завода Урал-Эмбы. — Уходить надо.

— А нефть?

— Что нефть?..

— Да ведь 15 миллионов пудов нефти у нас.

— Я сторожем работать не нанимался. Чудак вы, Андрей Бенедиктович, право, чудак, все химики — чудаки. А еще человек с высшим образованием! Мне, знаете, ваши 15 миллионов жиру не прибавят. Слуга покорный.

Через две недели из людей с высшим образованием остался в поселке один Андрей Бенедиктович Гиер (дед итальянец, бабка гречанка), человек холостой, роста среднего, волосы черные с проседью, нос с горбиной, по специальности — химик.

От комариного гнуса соорудил он себе головной убор необычайной конструкции — вроде модного абажура из тюля (пришлось ликвидировать занавеску), а к воню, превращавшей Ракушу в жаркие летние месяцы в помойную яму, Андрей Бенедиктович привык и говорил о ней пренебрежительно, как

должно химику, знавшему в своей лаборатории и не такие запахи.

— Сероводородные соединения — они всегда, знаете, того, пахнут... Конечно, не Лёриган, а терпеть можно.

И терпел. Захолодало. Чаще стали дуть осенние выгонные ветра.

Уложенный по дну моря нефтепровод горбом вылезал тогда наружу — ветром шутя отодвигало море километров на шесть от берега. Оставались тогда под Ракушей — громадный илистый пляж, грязная тина, лужи.

По морскому болоту ползли гигантскими земляными червями трубопроводы, и спокойно, застывшая, густая, лежала в них сдавленная насосами перекачечных станций нефть.

Море пахнет апельсинами (а как, в самом деле, пахнут апельсины?), и старые рожи окошек густо нарумянены солнцем.

Сегодня в стеклянных пробирках — победа. Тридцать процентов высококачественных смазочных масел. Какая нефть!

В клеенчатую тетрадку записаны последние цифры. Рабочий день кончен. На дверях лабораторий появляется замок, а на террасе — Андрей Бенедиктович. Вошло в привычку за последние дни выходить сюда, сидеть в качалке и думать, думать...

Паршивая была погода, когда уезжал Виталий Борисович. Ветер. Суровый, девятибалльный норд. Уезжал он вместе с Карнеевым. Сошлись в конторе. Позвали Гиера. Долго молчали.

— Значит, остаетесь?

— Да!

— Ну, как знаете.

И опять молчание. Потом Карнеев:

— И зачем?

Если бы он знал — зачем?

Виталий Борисович, господин директор, чувствовал себя неловко. На этом нефтеперегонном корабле был он все-таки капитаном... Корабль тонет, это ясно, но бессмысленно тонуть вместе с ним из какого-то чувства чести... Но все-таки... все-таки этот чернявый химик... А потом вдруг и не будет ника-

ких красных, отсидится химик и таким нефтяным спасителем загребет себе поцести лопатой..

Виталий Борисович засуетился:

— Ну, дай, милый друг, на счастье руку. Счастливо, Андрей Бенедиктович, оставаться и счастливо пережить все это..

Карнеев поднялся:

— Кончайте с излишествами. Надо кончить с делом..

Пухлые пальцы Виталия Борисовича забегали по столу.

— Да, еще это дело..

Он пристально вглядывался в лицо Гиера.

— Так вот... вот в чем дело.. знаете..

Карнеевская рука крепко сжала его бегающие пальцы.

— Не мямлите, дайте мне..

— Ах, пожалуйста!

— Коротко! В течение девяти месяцев вы, Андрей Бенедиктович, и все мы, командный состав промыслов и заводов, получаем ровно в десять раз больше, чем нам следует. Нобель зря денег не платит. Сначала нам платили деньги за то, чтобы мы охраняли промысла и заводы, а теперь... ситуация изменилась... Есть приказ. Он адресован нам — командирам нефти.

Он достал из бокового кармана узкий и длинный листок бумаги.

— «Сейчас ваша работа расценивается каждым пудом добытой и сохраненной нефти, но если территория промыслов перейдет в руки большевиков, — наоборот...».

— Грамотно писать не умеют. Но суть ясна.

Карнеев поднял тяжелую крышку громоздкого конторского бюро.

— Здесь все, что нужно для исполнения этого приказа, если большевики докатятся до Ракуши.

Под крышкой стола — аппарат, выкрашенный в зеленую краску. Гнутые магниты, обмотка, колесико с шестеренкой, ручка.

— Три поворота — и все пойдет к чорту. Ток очень небольшого напряжения, но под главным баком появится искра, и пятнадцать миллионов пудов

нефти превратят Ракушу в огненное море. Ну, коллега, что вы об этом думаете?

— Я исполню свой долг..

— Мы не ждали от вас другого ответа.

— И последнее. В счастья или в несчастья — отступающими или победителями — в Ракуше будут белые войска. И тогда вам придется исполнить еще один долг командира. На промыслах имеются самые настоящие живые большевики. Наше дело — сделать хотя бы часть из них мертвыми. Эти люди есть и в Ракуше.. Не бледнейте, мой дорогой! Вам не придется пачкать свои руки ничем, кроме реактивов и нефти. Этот проскрипционный список, — Карнеев усмехнулся, — передадите командиру казачьей части, которая первой придет в Ракушу, и все..

Вот эта самая терраса падала тогда крыльцом в грязь. Дождь. И ветер.

Вот это окно сзади было освещено. Вышли из комнаты трое. Спускаются по ступеням двое — третий остается.

Воротник рубашки узок — он его растегивает. Вынимает из кармана смятый бумажный лист. Разворачивает. Подносит к глазам. Отходит к окну — ближе к свету.

«Командованию армии генерала Толстова.

Большевицкая организация Ракушинских заводов...».

Ветер рвет бумагу из рук.

«Иван Васильевич Горбунов?...»

Можно подумать, что человек в недоумении разводит руками. Но пальцы обеих рук крепко держат концы надорванного листа. Бумага разрывается пополам. Половинки складываются. Еще пополам. Еще, еще..

Клочки в кулаке, как лотерейные билеты, как попкинno счастье, с которым отец ходил по дворам.

А если разжать руку? Вот так.

Подхваченные ветром, обрывки разлетаются стайкой сверкающих мотыльков и пропадают в темноте.

— Ну вот, я исполнил свой долг... Нет! Только половину долга.

Через дорогу домик. В нем живет сторож.

— Николай Ефремыч, откройте!

— Батюшки! Андрей Бенедиктович! Что случилось?..

— Пошлите ко мне кого-нибудь из монтажной. Я буду в конторе.

— А кого, Андрей Бенедиктович, — Михеева или Горбунова?

— Ну, что же, пожалуй, что можно... Горбунова.

— Вы, кажется, по профессии монтер? Помогите мне убрать это сооружение.

В ту ночь совсем не спали они с Горбуновым — было темно и холодно, и дождливо. Проводку от аппарата, хитро, со знанием дела запрятанную Карнеевым, приходилось искать, распутывать на каждом изгибе, на каждом углу. Под громадным головным резервуаром она ушла в землю, Горбунов побежал за лопатой, а он — чужак химик — стоял на дожде, на ветру, прислонившись к холодному, мокрому железу бака.

— Отцовский попка вытащил мне это веселое счастье, — усмехнулся Гиер. И был, сам того не зная, близок к истине, потому что полагается — пароходам плавать по воде, а не прыгать козлами по горам, инженерам — строить, а не разрушать, сыновьям шарманщиков — пробивать себе дорогу лбом и кулаками.

И, кроме того, в роду Гиеров были гарибальдийцы, но не было предателей.

Прибежал Горбунов. Земля была рыхлая, копалась легко. Вот стукнула, зазвенела лопата.

— Осторожнее!

— Камень!

Шорохом ложится выбрасываемая земля, шипя, падает в лужи. И снова глухой, еле слышный удар.

— Осторожнее, чорт вас возьми!

— Не клад роем, Андрей Бенедиктович, не волнуйтесь! Черти тут не при чем. Но люди, конечно, хуже чертей бьют. Вот оно. Дорылись. Есть такое

дело — пороховой погреб. Ну, принимайте гостинцы.

Банки с аммоналом, пачки черного пороха, свертки пакли, бидон с бензином, — все это осторожно вытащили из ямы, сложили в мешки.

— Здорово задумана пропорция, — качал головой Горбунов.

— А это куда?

— Уберу, не беспокойте мозги. Идите, Андрей Бенедиктович, ложитесь спать, я управлюсь сам.

Хороший грудной, глубокий голос у этого человека.

— Вы большевик, Горбунов?

— Я монтер, Андрей Бенедиктович.

— Все монтеры большевики, Горбунов?

— Нет, Андрей Бенедиктович, не все, некоторые..

...Через неделю пришел Горбунов незванным гостем. Смотрел неприветливо. Сказал в потолок:

— Новость слышали?

— Какую?

— Укокали нашего директора и еще одного с ним...

— Карнеева? Геолога?

— Геолог он или нет, не знаю, а в английской разведке работал.

Совсем растерялся Андрей Бенедиктович.

— Кто укокал?

— Нашлись добрые люди. Полагать надо, кроме красных, некому. Деньги у них нашли заводские и бумажечку-с... — Горбунов глазами гвозди вбивал. — И бумажечку-с! Да! Поинтересуйтесь бумажечкой...

— Какая еще бумажка? Тайны мадридского двора разводите, Горбунов?

— Тайна, конечно, имеется. Бумажка занятая. В копии — список ракушинских большевиков, из четырех человек с половиной, подлежащих истреблению. А подлинник, как в копии значится, передан для исполнения, Андрей Бенедиктович, вам... Да вы не смейтесь, дело серьезное.

— Испугались?

— Береженого бог бережет, ничего не поделаешь. Будем играть в открытую. Что вы сделали со списком?

— А как вы думаете, господин монтер?

— Думаю? То-то вот, что думаю. Если б не та ночь, знал бы я, что думать. Встретились бы вы с геологом в царствии небесном. А теперь...

Ближний бархан совсем почернел на огненно-красном фоне заката. Понесло холодком. Медленно, переваливаясь, переползло гнущее ребро бархана перекапти-поле, стало стоймя у дороги, будто раздумывая, в какую сторону податься, и прямо пыльной, накатанной колеей покатилося к поселку.

На вершине бархана, там, где будто обрывалась дорога, показался всадник. Стоял он — издали хрупкий и стройный, — очерченную красным, черная, бронзовая статуэтка. Потом всадников стало двое. А когда, сбегав в комнату за трубкой и раскурив ее, опять поглядел в ту сторону Андрей Бенедиктович, спускался с бархана, переходя у поселка на рысь, казачий отряд.

Федор Маркелыч Свешников пожаловал в гости.

И сразу: криком, плачем, топом коней, лязгом оружия, поросячьим визгом задышала неровно и часто Ракуша.

По дворам, по подклетьям, в хлевушках спешно заготавливали продовольствие и фураж казаки. Оготелого боровка старухи Лексевны пуля настигла уже в проулке (шустёр был боровок), самое Лексевну в утешение огрели нагайкой, чтоб не визжала.

Кончили телушку у Горбуновых. На выгоне разгорались костры под котлами — скорей, скорей — до рассвета дал срок Свешников: наварить, нажраться, выспаться, набить животы и седельные сумки жратвой.

Оголодавшие лошади жадно хватали у коновязей черное, гнилое сено, надерганное с амбарных крыш: другого фуража в Ракуше не оказалось.

А в брошенной директорской квартире заседал «штаб». Пили недопитый коньячишко.

Штаб решал судьбу Ракуши:

— Не оставлять большевикам капиталу. Сжечь нефть!

Горбунов ночь не спал. Подходил к окну — ждал рассвета. А утро не приходило. Гиеру он верил и не верил, чорт его знает, чужая душа потемки, к тому же — инженер.

Повидал на своем веку инженеров Горбунов. На всякий случай указанных в списке ребят отправил, как только стемнело, в камыши, — было там одно заветное место. А сам ждал: насыпал в углу за комодом патроны, вытер наган, приготовился.

Длинная, ой, какая длинная ночь.

Но вот выступила против окна узкая, длинная полоса чернее ночи.

— Рассветает.

Полоса — телефонный столб — была видна из горбуновского окна только в лунную ночь, да выступала из мрака перед восходом. Надо итти.

Двор уже заливало с востока молочным киселем, когда вышел Горбунов из дома. И сразу учуял неладное. Тащили — на кой чорт! — к бакам казаки сушь, разломанные настилы, доски, снопы камыша. Голосили уже кой-где по дворам бабы, от соседей таскали из дома всякую рухлядь, одежонку, перины, оттаскивали на зады, на выгон, в барханы.

— Чего баламутитесь, граждане?

— Жгут, Васильич, гореть будем все без отказа.

— Что жгут, говори толком?

— Нефть, Васильич, главный бак поджигают.

Горбунов заторопился, а куда ему итти, одиночке? За ребятами! Их всего трое! К баку в гляделки играть! Нет, чорт возьми, но что делать? И почти бегом бросился он к Гиеру.

Стоном выла уже вся Ракуша, — чуял поселок великий огненный страх, идущий оттуда, где копошились у баков люди в ремнях и погонах.

В дверях конторы столкнулся Горбунов с Гиером. И вздрогнул. Холодом побежала по спине дрожь. Был Гиер выбрит, застегнут на все пуговицы новой форменной тужурки, блеснул улыбкой,

крахмальным воротничком, гербами в петличках.

«Празднует, сволочь, — подумал Горбунов. — А список? А ночь? Или...»

— Хорошо, что вы пришли, дорогой, я шел к вам...

— А я к вам не шел, Андрей Бенедиктович, я бежал... Нефть поджигают...

— Слышал! И потому при параде...

— Радуетесь!..

— Пока еще радваться нечему. А вы оставьте свой подозрительный тон до лучших времен. У меня туг мелькают кое-какие мыслишки... Дайте еще две минуты на размышление.

Горбунов чуть прикрыл глаза. Нестерпимая боль раскалывала голову. В левом виске что-то стучало, трещало, как сорванная шестеренка.

Бессильно застывает на волнах громадный океанский пароход революции. В котлах — больше нет пара. В трюме — нет топлива. Останавливаются заводы, падают обороты моторов. Лампы горят в полнакала. Тухнут совсем. От Астрахани до Петрограда вытягиваются мертвые застывшие поезда — нет топлива.

Если бы перелить эти пятнадцать миллионов пудов черной крови в жилы страны?

— Нефть! Понимаешь, всю нефть!..

— Понимаю, мой дорогой, все понимаю, но ведь еще не подожгли нефть? И может быть, мы успеем. Только запомните, пожалуйста, коллега, немедленно переоденьтесь и титулуйтесь инженером. Лицо у вас достаточно интеллигентное... Сойдете.

У баков толпился народ. С любопытством оглядывал Федор Маркелыч пущатые нефтяные самовары, сбивал на гайкой пыль с сапог Албин. Между баками, чуть не вровень с крышами, лежала наваленная на запалку рухлядь.

— Запалить, ваше благородие?

— Надо сначала сотню вывести, Федор Маркелыч, рванет, будет поздно..

— Обождать! Егорыч!

— Я!

— Кончайте волынку. Айда сбор!

— Сей минутой!

— Развлекаетесь, господа?

И Свешников, и Албин повернулись. Безупречный китель, петлицы с орлами, воротничок без пятнышка. Свешников даже вздохнул. Но ответ хорунжего прозвучал сухо и сдержанно:

— Нам не до развлечений, господин инженер.

Федор Маркелыч пожал протянутую ему руку молча. Только через минуту, опомнившись, выпалил:

— Сотник Свешников. Чем могу служить?

Пристальный взгляд инженера смущал Свешникова.

«Чорт его знает, что это за цаца. Нефть-то здесь путанная, иностранная, помесь козла с канарейкой. Опять-таки приказ был: «Сугубая вежливость и предупредительность в обращении с инженерно-техническим составом промыслов и иностранцами». А у этого чорта и фуражка с кантом, и морда цыганская... Разбирайся тут...».

Цыганская морда не смутилась оказанной встречей.

— Могу я вас попросить, господа, пройти ко мне для пятиминутного разговора?

И, повернувшись, не оглядываясь, идут ли за ним господа офицеры, неторопливо пошел Гиер к конторе. Албин взглянул на Свешникова. Тот смотрел вслед инженеру немного растерянно.

— Пойдемте, хорунжий, пять минут — не расчет.

— Пошлите его к чорту, Федор Маркелыч...

— Нельзя, хорунжий, приказ...

В конторе они застали Гиера наклонившимся над выдвинутым ящиком письменного стола.

Вежливым жестом он указал посетителям на придвинутые к столу стулья. С минуту молчали. Свешников вглядывался в карту промыслов. Албин обломанной спичкой чистил ногти. Гиер перебирал, рассматривая, какие-то бумаги.

— Итак, господа, — поднял он голову, — судя по вашим подготовительным мероприятиям, через несколько часов в Ракуше начнется пожар?

— Через полчаса, с вашего разрешения, — подался вперед Албин, углы его губ слегка дрогнули. Какого чорта нужно от них этому чернявому ангелу?

— Моего разрешения еще никто не спрашивал и, кажется, не собирается спрашивать. Кстати сказать, спросить не мешало бы. Командирам отступающего к персидской границе отряда, — Гиер осторожно сдул пепел с рукава, — очень и очень не мешало бы считаться с интересами Британской империи и ее подданных. Ракушинские заводы, как вам известно, — не расейские. Хозяева здесь — англичане.

Федор Маркелыч нахмурился.

— Куда вы клоните, я чувствую, — сказал он медленно. — Нефть британская, хозяева британские, интересы британские, мое не тронь, на чужой каравай рот не разевай, мой дом, моя крепость, моя нефть. Все это нам, голуба, известно. А вот вы мне ответьте на вопросик: ежели ваши британские и большевистские интересы в одну дудку дудят, тогда как?

— Я вас не понимаю, господин капитан...

— Сотник! Не капитан. Сотник Свешников. А насчет совпадения объясню — простая штука. Примерно говоря, нам вот красные голову сумели на палке верхом намылить. А на Волге они наши части с пароходиков расстреливали. А в Самаре — с бронепоездов пить подавали. А его превосходительству генералу Врангелю танками на строение испортили.

— Пароходы, поезда, танки — сами не ходят. Топить надо. Двигать надо.

— Короче говоря, уходим мы, чтоб опять вернуться. И никакого нам интереса в том нет, чтоб нас вместо одного бронепоезда встречала сотня, вместо одного танка — пятьдесят, вместо одной канонерки — десять. Понятно?

— Зря теряю время, господин инженер, — поднялся с места Албин.

— Мое время слишком дорого стоит, чтоб я терял его зря, — Гиер опять улыбался с подчеркнутым превосходством. — Вы слишком торопитесь, господа.

Он достал узкий и длинный лист приказа компании, переданный ему Карнеевым, и протянул его Свешникову.

— Интересы Британской империи и большевиков не могут совпадать, господин сотник. И примите дружеский совет — запомните покрепче эту несложную азбуку.

— Так, теперь я ничего не понимаю, — заерзал в кресле Федор Маркелыч, вчитываясь в бумажку, — на чорта мы теряем время? Написано тут черным по белому. Цель у нас одна! Большевики здесь будут через пару дней неизбежно. Возражений у вас, стало быть, нет, — в чем же дело?

— Сейчас поймете. Цель-то у нас одна, но способы достижения этой цели разные. Поэтому есть и возражения. Только-что вы говорили, что, вернувшись, не хотите встречать вместо одного танка десять.

— Так? — (Свешников.). Продолжайте! — (Албин).

— Ну, так, вероятно, вы не хотели бы встретить и вместо сотни коммунистов — тысячу?

— Очень бы не хотели...

— И все-таки вы собираетесь нефть поджигать в резервуарах на месте. Проще говоря, вы собираетесь взорвать и сжечь вместе с нефтью заводы и поселения.

— Ну, и чорт с ними...

— У вас, военных, всегда нехватает чувства перспективы, — вздохнул Андрей Бенедиктович, — и чувства меры. Против уничтожения заводов я решительно возражаю от имени английской акционерной компании, а против уничтожения поселка, — Свешников ясно слышал металлический звон в голосе инженера, — я возражаю, потому что требую: прекратить на промыслах дальнейшую фабрикацию коммунистов.

— Но...

— Здесь уже не может быть никаких «но», господин сотник. Преданная огню Ракуша — это новая тысяча преданных партии коммунистов на нефтяных промыслах. Такое пополнение большевистских рядов — ни в ваших, ни в наших интересах...

Албин поднял голову. От кого он уже слышал все это? Ах, да!..

После сахарновского дела наутро его вызвали в штаб генерала Толстова. В передней комнате большого казачьего дома было полно. Толстов вышел с измученным, злобным лицом, сказывалась бессонная ночь отступления.

— Хорунжий Албин? Чем оправдываете свой поступок в Сахарном?

Вот тебе и клюква! Думал за наградой, — оказывается, разнос.

— Желанием, ваше превосходительство, не оставлять большевикам команду выздоравливающих в четыреста штыков.

— Мне не везет, господа! — Толстов сокрушенно покачал головой, обращаясь к находящимся в комнате офицерам. — Если умный человек — значит безнадёжная канцелярская крыса, если боевой офицер — значит круглый, — рука генерала очертила для наглядности окружность и потом выбросила палец к Албину, — абсолютно круглый политический идиот.

— Ваше превосходительство!..

— Молчите, молокосос! Вы думаете, мне жалко ваших четырех сотен красных калек, из которых три четверти бы подошли и без вашей помощи? Вы понимаете, что вы сделали, мальчишка? Вы дали Красной армии десять тысяч новых бойцов и, может быть, решили судьбу кампании.

— Под арест! — бросил генерал, выходя на улицу.

Албин просидел двое суток. Потом красные опять повели наступление, люди становились Толстову дороги, Албина освободили.

И сейчас рядом со спокойным лицом этого «шпака» ясно видел он дрожащий от бешенства генеральский кадык.

— Путааете вы что-то, — Свешников злился. — Нефть должна быть уничтожена — это раз. Нефть уничтожать нельзя — это два. На землю выпустить тоже нельзя, пока все ваши проклятые самовары расшибешь — двое суток пройдет, а я больше двух часов терять не могу. Да и кругом обнесены баки канавами, земляными ямами, зе-

мля нефтью пропитана до-отказа... («Умный чорт, а дураком прикидывается» — подумал Гиер). Все равно будет стоять нефть, как в люльке, до пятого большевистского пришествия. Воду я решетом носить не согласен,

— А кто вам говорит, что нужно нефть завертывать в бумажку, завязывать розовой ленточкой да посылать Ленину в подарок? Сжечь нефть необходимо, но только не здесь.

— Где же, — не выдержал Албин, — в Австралии, в Одессе, на Филиппинских островах?

— Нет, — улыбнулся Гиер, — гораздо ближе.

— Где же?

— В море!

Албин и Свешников переглянулись. Мысль у обоих была одна и та же: «Часом не спятил ли?».

— Не понимаете? Объясню. В Ракуше нефтезаводы и отгрузка. Получаем мы нефть по нефтепроводу с Доссора. Море здесь по колено. Ни одно нефтеналивное судно к берегу ближе, чем на 7 километров, не подойдет. Мелко плаваем — ничего не поделаешь. Выход нашли такой. За 7 верст установили стационар. Нефтяная пристань, хранилище и прочая. Нефтепровод уложили по дну моря. Сейчас нефть в нем заперта под сильнейшим давлением: отгрузок нет — деваться нефти некуда. Открыть вентиля у баков, сшибить фланцы, взорвать, если хотите, трубу в километре от берега. Никогда не видали нефтяных фонтанов? Увидите! Море как горит — не видали? Увидите.

— Хвалилась синица море зажечь, да хвост отморозила, — буркнул Свешников. — Что скажете, хорунжий?

— А вода не погасит?

— Когда в лампе керосину мало, воду доливают, не гаснет. Море, конечно, не сгорит, останется. Сейчас нефть сдавлена, выхода нет. Разрубаете провод — даете выход. Нефть рвется наружу, встречает огонь. Вода! Нефть легче воды. Горит на поверхности. Загорается море. И оно будет гореть, пока в хранилищах не останутся последние ведра нефти. Понятно? Нефть уничтожена. Поселок и заводы сохранены. Ненужно-

го озлобления среди рабочих не создано.

— Ни танков, ни коммунистов?

— Ни танков, ни коммунистов!

— Хитро придумали, господин инженер. Заранее плановали?

— Обдумывали, — неопределенно ответил Гиер.

— Обдуманно здорово. Одобряю. Что скажете, хорунжий. Ни танков, ни коммунистов!.. Ловко?

— Угу!

— Ну, тогда за дело, голубь. Пускайте вашу машину. Я больше не могу ждать. Через час моя сотня уйдет. Хорунжий Албин останется, потом догонит. А я бы вам сказал спасибо, если дадите посмотреть, как запыляется. Но час времени...

— Мы постараемся начать раньше. Пойдемте!

И, уже спускаясь по ступенькам террасы, столкнулись они с розовощеким выбритым, напудренным инженером Горбуновым. Подмышкой держал он теннисную ракетку, и оттого быстрые жесты его занятой левой руки были короткими, смешными, похожими на гимнастические занятия картонных паяцев.

— Ну как, горим? Мое почтение, господа! Горим или нет? Острая недостача рабочей силы, и мое барахло эвакуировать некому.

Гиер недоуменно развел руками.

— Видали сумасшедшего? Познакомьтесь — инженер Горбунов. Тут, можно сказать, пожар Москвы и нашествие французов, а он в теннис играет...

— У вас, Андрей Бенедиктович, тоже паника, — продолжал тарыхтеть прибывший. — Второй час пианино из дверей не вылезает, и стекло выбили.

Глаза Гиера открываются широко и удивленно, но со смешком. Горбунов останавливает извержение.

— Все-таки, господа, горим мы или нет?

— Успокойтесь, Иван Васильевич, не горим. Договорились. Нефть сжигаем в море.

— В море?..

На какую долю секунды тускнеют глаза инженера Горбунова?

— Разрубаем провод. Нефть сжигаем, не трогая поселка...

— Не трогая поселка?

— И заводов...

— И заводов?..

— И вам поручается с хорунжим Албиным организация небольшого морского костра.

— Мне!

— А то кому же, дорогой? Возьмите пару людей, инструмент и с богом!

— А вы?

— Я прослежу за давлением. Вот кстати, Никифоров. Эй! Приятель!

— Что прикажете, Андрей Бенедиктович!

Проходивший мимо старый, седой рабочий неслеша подошел к террасе и снял шапку.

— Откроешь вентиля на главном баке, да поживее! Это, чтобы вся нефть вытекла без остатка, — пояснил Гиер Свешникову. — Бабе-то скажи, чтоб обратно манатки стащила: цел останется поселок, — крикнул он вдогонку старику.

Через полчаса по взморью, рядом с нефтепроводом, уходящим в зыбун, шла кучка людей. Шли Горбунов, Албин, двое рабочих, пятеро казаков. Двое казаков на береговой закрайке держали лошадей. На ближнем, в каких-нибудь ста саженьях, бархане построилась свешниковская сотня. Под ногами идущих, покрывая щиколотки, хлюпало грязью, илом, хрустело ракушками (от них и пошло название «Ракуша») море.

А Гиер тем временем уже входил за подстанцию к Никифорову.

Вентиль не шел. Засунув короткий железный лом в колесо рукоятки, Никифоров медленно, стараясь не сорвать резьбы на винте, открывал клапан.

Увидев входящего, он приостановился.

— Ушли беляки, что ли ча, Андрей Бенедиктович? Суматохи наделали, баб перепугали — страсть!

— Нет, Никифоров, не ушли, здесь еще.

— Вон-но что? Здесь? Такие дела... Простили, значит, поселок, оставили?

— Да им поселок не нужен, Никифоров, нефть была нужна.

— Чего же жалеть, нефтью-то? Наливали бы полны карманы, да народ не пужали...

— Поздно наливать. Сжечь нефть надо, чтоб большевикам не доставалась...

— Сжечь? Раздумали, што ли ча? — со сторожкой тревогой спросил старик.

— Нет, почему раздумали? Согласились только тут не жечь, чтоб заводы да поселок оставить; в море выпускаем нефть, там сгорит, — Гиер с острым любопытством вглядывался в лицо рабочего.

Тот начинал понимать.

— Нефть-от! В воде не тонет, в огне горит, — бормотал он.

И вдруг по-новому, мертво поглядел на инженера...

— Всею?

— Всю, Никифоров!

— Для того и клапаны отдаем?

— Для того, Никифров!

Бывает так. Ночью в степи захрапит, станет и попятится конь. Вспыхнут с дороги и погаснут огни. И пойдет холодом с затылка волчья оторопь — степной страх. Так же вот вспыхнули и погасли под седыми бровями стариковские глаза. И перодернул плечами Гиер. Точно стоял кто-то сзади и дул холодными губами на голую шею. Винт перестал капризничать. Шел он, поднимая клапан, легко и свободно.

— Всею?..

И Гиер не выдержал:

— Там в море сейчас нефтепровод лопнул, старик. И ударила нефть. И зажгли ее. Там горят наши годы, старик! Мы их много с тобой утопили в этих железных бочках, старик!

— А работать ты не умеешь, Никифоров! Разве в эту сторону резан винт? Так можно сорвать резьбу, старина. Открывать надо вентиль вот так, — инженер повернул рукоятку в обратную сторону. — Вот так! До-отказа! Плотно!

Гиер быстро вышел на улицу.

А Никифоров долго ошалело глядел ему вслед. Потом, как сидел на корточках, подобрался к вентилю. Вентиль был заперт.

Море делалось глубже. Плескалось уже под коленями. Шли медленно.

Албин. Но скажите, господин Горбунов, что вы делаете в этой проклятой дыре с теннисной ракеткой?

Горбунов. Привычка. Тренируюсь в одиночку. Партнеры сбежали.

Албин. Англичане?

Горбунов. Да. И англичанки. (Проваливаясь выше колена.) Однако... тонуть я не намерен. Стоп!

Глухо звякнули ключи. Гайки фланца подавались быстро. Упала последняя. Но фланец еще держался. Суриком, годами, неподвижностью.

— Ударьте ломом.

И вверх ударил фонтан. Веером брызнула густая, липкая коричневая нефть.

Фонтан постоял и лег. А по воде стало быстро расплываться, захватывая все большую площадь, масляное — синее, желтое, фиолетовое — радужное пятно.

— Бегите к берегу, — приказал Горбунов казакам и рабочим. — Зажигайте, господин офицер.

Паклей обернул Албин гранату. Обвязал веревкой. Полил бензином. Швырнул, как на ученьи, — рассчитанно и красиво.

Ахнул взрыв.

В первые секунды казалось, что пропал впустую заряд. Искорками брызнуло масляное поле и успокоилось. Но вот сверкнула еще одна искорка рядом с развороченным фланцем, и сразу рванулся к небу столб огня и дыма. Албин и Горбунов рядом бежали к берегу. Рабочие и казаки уже далеко впереди вытирались, пробовали отмыться от нефти.

Добежав до самого берега, Албин оглянулся. Над морем, низко, к самой воде, нависла коричнево-серая туча. Изредка прорывало ее язвчатое пламя, и края клубились, вырастая углами, как башни.

С бархана, где стоял отряд, раздалась выстрелы, ветер донес крики. Впереди строя махал шапкой всадник.

«Свешников, — догадался Албин, — приветствует...»

И снова обернулся к пожару.

— Уходят наши, ваше благородие, — сказал державший лошадей казак.

Отряд Свешникова спускался с бархана. Вот последние три всадника наклонились на спуске, вот уже не видно коней, последний раз покачнулись и пропали пахахи.

Не отрываясь, смотрел Албин, как росла, тянулась, то совсем ложилась на воду, то грозно, сразу сотней столбов вздымалась вверх страшная туча.

И вдруг крик, оттуда из тучи, резкий, пронзительный, отчаянный, жутко знакомый крик.

Албин зашатался. Двое казаков схватили его под руки.

— Ваше благородие...

— Чайка, — сказал Горбунов, свертывая папиросу.

Новый напор нефти рассек пополам дымовую завесу. Загораясь в воздухе и не успевая сгореть, падали в воду нефтяные брызги, оставались маленькими островками пламени, горели отдельно, тихо, как свечки.

Снова над морем поднялись грязные серые башни с зубчатыми, проломленными верхушками. Под ветром крайняя к берегу башня зашаталась, рухнула и поползла по воде, вытянув расплюснутую змеиную голову, к берегу, где стояла хорунжий армии генерала Толстова 11-го полка — Албин.

И видел хорунжий: не башня, не змея, — большая, серая, придавленная рухнувшими развалинами рука тянется к нему из огня, и пальцы на ней скрючены судорожной, нестерпимой болью.

— Лошадь, — прохрипел Албин, — по коням!

И поднял своего жеребца в галоп от страшного места.

— Чего это они брызнули, Иван Васильевич?

Горбунов молчал, удивленно глядя вслед пыльному столбу на дороге.

— Рано еще радоваться! — крикнул он сердито. — Собирай инструмент! — И, обернувшись, увидел бегущего от поселка Гиера.

— Куда поехали? — кричал тот, подбегая.

— К чорту, — рявкнул Горбунов, — к лысому! Откуда я знаю? — добавил

он тише. — Скажите лучше, вентиля как, сколько сгорит?

— Вентиля заперты, — ответил Гиер и вдруг разозлился.

— Инженер, — с'язвил он, — с ракеткой! Ракетка у вас из какого дерева, господин Горбунов? Липовая? А кой вас чорт, извините, тянул за язык про пианино говорить?

— Я же для представительности...

— А, может быть, я им уже сказал, что живу здесь один, семья в Лондоне, и моя квартира в Доссоре, и вообще... конспираторы... Тьфу!

— Ну, ошибся, чего злитесь, будет, Андрей Бенедиктович... Сгорит вот много ли, скажите?

— Сгорит?..

Гиер посмотрел на море. Там еще продолжало лежать над водой густое мезиво огня, дыма и копоти. Но, видно, упал напор, не было уже порыва и мощи в серой туче. Опавшая, она лениво чуть шевелила краями.

— Сгорит? Много сгореть не должно. Тысячи две пудов, немного, может быть, больше. Напора нет. От стационара не пройдет, там все забито наглухо. В общем, считайте, Горбунов, экономию: четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пудов нефти. И какой нефти!

— Да два завода, да поселок...

— Пишите все на приход советской власти, если только...

— Что если?

— Если только этот хорунжий не вернется с вами, Горбунов, в теннис играть...

Но хорунжий не вернулся...

Федор Маркелыч Свешников умирал. Делал он это свое последнее дело просто, свиду спокойно. Обмял под собой и по сторонам камыш. Когда не можешь подняться, дело это не такое уж легкое. На руках подполз, подтащил на мягое место бурку, лег, смотрел на небо. Из кармана вытащил два куска сахара — положил рядом. Устраивался прочно — знал, что раньше ночи не помрет. Смертных часов повидал много, сроки, в которые смерть приходит, были ему известны.

Удивляло: нога перестала болеть, только под кожей — словно комары зудели, — бывает так, когда отлежишь ногу. С трудом растегнув штаны, Свешников повернулся на здоровый бок, чтобы поглядеть, что за штука с ногой.

Отвратительная зеленовато-черная опухоль добралась до бедра. Свешникову показалось: опухоль шевелилась, дышала, поднималась толчками. Над коленкой, где нога была забинтована, полпалась кожа, просачивался через трещины каплями, похожими на изумруды, гной. Федор Маркельч повел носом — пахло! Но запах заживо разлагающегося, прелого, тухлого мяса беспокоил мало. Достаток свой Федор Маркельч вел от скотомогильника к мыловаренному заводу. В те давние дни, подвыпив в купеческом клубе с магазинщиком Стуловым, спор о том, кому богатство легче досталось, начинал так:

— С живого шкуру драть каждый дурак сумеет, попробуй с мертвого.

— А што?

— Воняет, вот что!

Собутыльники смеялись. Свешников, если был трезв, смеялся тоже, а пьяный — иногда плакал... Весело жили!.. А сейчас — то ли ветер шуршит камышами, то ли смерть так подходит, шелестом. Идет где-нибудь, старая чертовка, обязательно идет, — чутье к смерти приобрел Федор Маркельч.

От Ракуши, когда догнал сотню Албин, пошли напрямки, на Жилую Косу. Сотня, конечно, одно название; но пятьдесят четыре клинка было. Погони особой не ждали — пока Гурьев расчухается, будут у персидского шаха за пазухой. А катер, что катер? Шли они степью, шел катер по морю. Вез жилосинским рыбакам пулеметы, политрука и чай.

Степью шли. К Жилой Косе спускались весело, враскачку, свежей рыбки захотелось, да и пшеница, что взяли в Ракуше, кончилась. Хоть и раздувало от нее брюхо коням, все-ко ж пища.

Когда внизу встал поселок, затянул Егорыч старую уральскую, казацкую, удалую:

Жаль, что нас не сорок тыщев,
Чем же хуже мы донцо-о-в
Мала куча, да вонюча...
Поговорка стариков...

И оставалось до ближних домов сотенник, ну полтора, когда застучали с двух краев пулеметы и людей стало шатать и рвать из седел, как зубы в зубодерне. Хорошо, близко бархан был — отошли за него тридцать девять человек, — пятнадцать остались лежать, ко-го где угораздило.

Двоих еще схоронили в тот же день — с пробитыми грудями в походе жильцом не будешь. Федору Маркельчу пуля повыше колена сделала дыру в гривенник.

— Не иначе, как из старой берданки летела, — узнал Егорыч, затягивая в бинты ногу начальству.

И опять на коня. В последний переход прикручивали Свешникова к седлу, чтоб не свалился. Ночь в камышах. Этой ночью на лучших конях, захватив последний фураж, бежал Албин с двенадцатью казаками.

Утром очнулся Федор Маркельч от крика и ругани.

— Уходим...

— Айда на Жилую обратно, ничего не будет!

— Чему нам быть? Мы красных не жгли, не вешали.

— Сбежали, вешатели...

— Лошади завтрадохнуть начнут!..

— По коням, чего разговаривать!

— Сами от бедноты отказались..

— Чего не видали у шаха персидского!?!

— Айда!

— Айда!

— Стой, говорю!..

Видел Свешников, как взметнулась егорычева шашка, слышал, как грохнули вперегонку выстрелы.

Вот он лежит, Егорыч, разметал руки, полчерепа недочет, и под животом кровь. Тихо!

Дотянулся рукой, положил кусок сахара в рот Федор Маркельч. Куснул, а в зубах уж и силы не стало, скрипит сахар, а не колется. И во рту слюны нет — не сосется.

Выплюнул сахар Федор Маркельч.

И потом сел в карты играть с магазинщиком Стуловым:

— Сдавай командиру сотни всех козырей.

А Стулов отвечает:

— Врешь, Маркелыч, какой ты командир, Маркелыч, ты мылом торгуешь...

А потом ракушинский инженер Федора Маркелыча по морде бил, и оба были пьяные. И кричал Федор Маркелыч «караул», а никто не слышал.

Подошел, сел с ним рядом Павлушка Обратнов. Надет на нем книжный шкаф и на ногах ботфорты.

До той поры, пока замолчал камыш, приходили с той стороны, из жизни, знакомцы к Федору Маркелычу. Разговаривали. Ругались. Часа полтора Федор Маркелыч в лавке мылом торговал.

Опамятовался — ночь! Темень. А небо, как свадебный каравай, золотыми утыкано, — должно быть, звезды.

Еще раз оглядел себя, камыши Федор Маркелыч. Наклонился над ним камыш острожной решеткой.

Сказал Федор Маркелыч:

— Законопатили. Так тебе, старому чорту, и надо. Не пьянствуй.

Опрокинулся навзничь. Пособирали руками, поиграл пальцами у гимнастерки на пуговицах, как на жилейке, и успокоился.

А часа так через три (откуда взялся? ветром ли надуло?) осторожно, неслышно выполз на брюхе из камышей кот. И последние десять шагов до Свешникова полз еще добрых два часа, с оглядкой, трусливо, с жадностью.

А добрался — диким кошачьим разумом понял, в чем дело, учуял могильную вонь, фыркнул и отошел от падали прочь.

А еще через минуту прыгнул на грудь Егорычу и на мгновение замер. Потом замурлыкал и впился мертвому уряднику в горло.

Сказания

М. С. КРЮКОВА

(Вступительная статья ВИКТОРИНА ПОПОВА)

Марфа Семеновна Крюкова — известная на Севере сказительница былин. Репертуар пропеваемых ею былин и исторических песен столь богат и разнообразен, что она по праву считается лучшей сказительницей русского народного эпоса.

Марфа Семеновна всю жизнь провела на берегу Белого моря, в деревне Нижняя Золотица, Приморского района Северной области.

У того у моря у Белого,
У лукоморья песку желтого
Стоит деревня наша рбдная, —
От зимнего тюленьего промысла
Да от летней семги
Новгородцы называли наше место
Золотицею.

На зимнем берегу Белого моря всегда были сильны былинные традиции. Проф. А. Марков, описывая свою поездку для записи былин на Север в 1899 году, сообщает: «... в Золотице оказалась такая богатая жатва по части собирания былин, что я принужден был ограничить район своей поездки одной Золотицкой волостью».

Побережье Белого моря, Мезенского залива и озерный Онежский район — основной массив русского эпического наследия.

Былинное богатство Золотицы объясняется географическим ее положением, родом занятий населения и той традицией пропевать прошлую народную историю, которую привезли сюда новгородцы, первые поселенцы.

Занимаясь промыслом морского зверя, золотицкие крестьяне общались с промышленниками из других мест, золотицкая молодежь часто уходила «в покруты» (в наем) по разным сторонам, — это немало способствовало собиранию былин.

На промысле тюленя в море, в рыбацких избушках на тонях, в охогничьих избушках в лесу, за сучением веревок и влетением сетей дома крестьяне «пропевали старины».

Удаленные от культурных центров, приморские крестьяне «довольствовались старым, вынесенным из Новгородской земли эпосом, только слегка применяя его к своей природе и своему быту» (А. Марков). Сюда почти не проникали новые, позднейшие формы эпоса, как это было на Дону и на Урале. Но зато именно здесь в наибольшей чистоте сохранилось былинное творчество, дошедшее от средневековых дружинников и скоморохов, то-есть от времен, когда еще не было летописцев и летописей.

И по сей день в Золотице пропевают старины. Колхозники не утратили интереса к своей прошлой истории, подаваемой в доходчивой народной форме. Они как бы рассматривают свое настоящее сквозь своеобразную призму веков.

Когда, зимою 1936—37 г. М. С. Крюкова выезжала из Золотицы в Москву, колхозники, провожая ее, говорили:

— Расскажи, Марфа, в Москве сказы свои, привези оттуда книги писанные, чтобы твои старины наши ребята читали и понимали, какая жизнь была прежде.

Так что для населения Севера былины — не только «мертвые обломки прошлого».

Сказителей старин становится все меньше. Уже А. Марков, побывавший в Золотице в 1899 году, отмечал, что, по словам крестьян, раньше сказителей было куда больше. Но и сегодня почти в каждом золотицком доме можно найти старика или старуху, молодого колхозника или девушку, которые могут пропеть не одну старину.

Сказителей в Поморье много, Марфа Семеновна Крюкова — единственная в своем сти-

ле, она памятьвей и даровитей других, она — «классик» среди рядовых сказителей.

Марфа Семеновна происходит из давно известного в литературе рода талантливых сказителей Крюковых.

Сказителями были ее деды, ее бабка, ее мать. От матери, Аграфены Матвеевны Крюковой, опубликовано триста страниц былинного текста. Уже тогда, в конце девятисотых годов, было записано несколько былин и от Марфы Семеновны.

К настоящему дню в репертуаре Марфы Семеновны Крюковой около ста пятидесяти былин, исторических песен и сказов. Память Марфы Семеновны поразительна! Достаточно и теперь, когда ей уже шестьдесят два года, раз-другой прослушать новую былинку или сказ, чтоб она запомнила навсегда. Память ее не ослаблена тяжелыми условиями жизни.

А жизнь Марфы Семеновны и в самом деле была нелегкой:

В Золотице я родилася
И всю жизнь прожила я в ней,
Нигде, нигде я во младости не бывала,

Ничего-то я в мире не видала же.
Цвели, цвели цветики,
Да скоро льянули,
А ни в чем-то моя молодость
Прошла да прокатилася,
Прошла молодость не во гуляньице,
Прошла молодость во работушках
Во тяжелых же,
Во заботушках во великих же.
Наша деревня не богатая,
Только два было дома прожиточных,
А остальной народ от труда своего жили,

Были рыболовы да сенокосари.
Уж хлеб у нас да не рожался он,
А покупали его в Архангельском граде,

Больше ели-то солому толченую да с мякиною,

А народ оттого пух и помирал.
Марфа Семеновна была очень привязана к родителям, к любимому брату, которых она лишилась, уже будучи в годах, но о которых говорит всякий раз со слезами. С болью она рассказывает и о том, что ей не удалось получить образования.

И осталась я безотною сиротиною,
Ни отца нету, ни матушки,
Вся жизнь-то моя тогда разрушилась.

Ничего во свете не жалею я —
Ни своей младой молодости,
Не жалею и того, что не поносила
Платья цветного, нарядного,
Что прошла молодость не во гуляньице,
Как жалею я отца-батюшку да родную матушку,
Ищю брателка милого, ясна сокола,
Я жалею — прошла жизнь моя да не в ученьице,
Не в премудром у меня да образования ваньице,
Прожила я да неученой, необразованной,

Не уйти было от той бедности
На белой, на вольный свет.
Пушай такая жизнь не приключается
Ни дородним добрым молодцам,
Ни девицам, белым лебедушкам,
Она пушай со мной остается,
В моей памяти во горькой.

В биографии Марфы Семеновны есть эпизод, связанный с интервенцией на Севере. Она с ненавистью вспоминает о «беляках»:

В одну пору, в одно времячко
По поздну было по вечеру,
По закату сонца красного
По соседям народ весь расстреложился,

Зашли жонки-сосудки к нам:
«Едет полковник с офицерами да со солдатами!»

Как приехали они по утру по раннему
И заехали они в дом большой, прожиточный,
Хозяин в нем был теперь раскулаченный,

Он имел пароход да контору свою.
Полковник ездил да выведывал,
Как пробраться-то на Терской берег,
Народ на это не соглашался,
Никто его не перевозил же.

Отец в наследство оставил нам лодку новую,
Лодку новую, неезжанную да недержанную,
Чтоб мы продали ее себе на пропи-танье.

Полковник велел отобрать же ее,
Отбрали ее да не стало ее.
Офицеры жировали по деревне да веселилися,

Отец в наследство оставил нам лодку новую,
Лодку новую, неезжанную да недержанную,
Чтоб мы продали ее себе на пропи-танье.

Полковник велел отобрать же ее,
Отбрали ее да не стало ее.

Офицеры жировали по деревне да веселилися,

Вечерами на гулянках прохлаждалися,
 А утрами думу думали,
 Думу вздумали, как хороших коней
 Дак отобрать от нас.
 А тут был у нас конь Воронеюшко,
 Как пришли-то они да забрали его,
 Поведут поить на реку его,
 Видим — как пьют-то он,
 Слышим — как говорят они:
 «Пей, пей, крюковский Воронеюшко,
 Скоро, скоро поедешь в путь-доро-
 жечку

Ко Архангельску ко городу!»
 Собрались они в путь-дорожечку,
 Наложили на Воронеюшко мясо
 тушами,
 Мимо нашего дома пришлось им
 ехать,
 Он глядел, будто понимал, на наше
 окошечко.

Мне хотелось выйти с ним про-
 ститься,
 Но матушка мне не дозволила:
 «Не ходи, Марфуша, не гладь рукой,
 Он будет тосковать об нас!»

Именно с пребыванием в Поморье белой ар-
 мии связано самое большое несчастье Марфы
 Семеновны — смерть матери. Дело не толь-
 ко в обычной привязанности дочери к матери,
 хотя, естественно, у Марфы Семеновны, до
 старости оставшейся «в девушках», эта при-
 вязанность очень сильна, а и в той творче-
 ской сродности, которая всегда сближала двух
 сестричек — мать и дочь.

Большой при бедяхах был голод-то,
 В деревне хлеба не было,
 Жить народу приходилось плохо.
 В эту пору, в это времячко
 Заболела у нас да родна матушка,
 От болезни она, от того от голоду,
 От тех ли от лабушек из соломы да
 из мякины же, —
 Померла от пропитаньица.

Круто изменилась жизнь Марфы Семенов-
 ны в советские годы. Облесполком Северной
 области назначил ей пожизненную пенсию.
 Дважды ее вызывали в Архангельск, где она
 выступала со своими былинами и сказами.
 Она получила не только областную, но и все-
 союзную известность: зимою 1936—37 года
 по командировке Северного управления по де-
 лам искусств Марфа Семеновна выехала из
 Золотицы в Москву.

Я пришла только от морюшка,
 Собирала там ведь я дровушки,
 Говорили мне мужики и женщины:
 «Ты напрасно все треложишься,
 Дрова носишь, собираешь всё,
 Пожалей свои силы женские!»
 Я не думала, того не ведала,
 Что поеду ко Архангельску славну
 городу,
 Что поеду я во матушку, в каменну
 Москву...

Председатель сельсовета тов. Седунов сам
 починил ей на дорогу валенки, и она отпра-
 вилась на колхозной лошади зимней дорогой
 вдоль берега Белого моря.

— Спустился из деревни к морю. Вот я
 тут и ужаснулась: куда я поехала? Непогодь
 бесится, ворочаться надобно. А ямщик-то ме-
 ня уговаривает. Ямщик заботливый-то был:
 где плохо на дороге, там пешу шел, боялся,
 чтоб меня не досадить... На десятый день в
 град Архангельской прехала. Отогрелась,
 осмотрелась да в каменну Москву собираться
 стала.

Впервые Марфа Семеновна ехала по желез-
 ной дороге. Впервые видела Москву.

— Много я дивовалась на машине-поезде:
 будто в комнате сиду, а сама-то ведь двига-
 юсь. Стучит, стучит машина, как струнами
 выигрывает. Скоро, быстро машина по полям,
 по лугам бежит. Птице за ней на полете не
 удержатся, а не то что пешеходу.

Смотрела в окно: мелькают леса, деревни
 незнакомые. Вот вижу — народ идет, а не
 успеешь разглядеть, будто его век не бывало.

Я все спрашивала у кондукторов:

«А когда будет Вологда, которую грозный
 царь Иван Васильевич хотел сделать второй
 Москвой?»

Кондукторы сказали:

«Не тревожьтесь, Марфа Семеновна, разбу-
 дим, когда будет вторая Москва».

Я приделась. Здесь приостановились.

Хорош город, хорош! А почему только его
 не устроили второй Москвой? При такой он
 при прекрасной долине, при местности: Во-
 логда-река течет!

Очень хотелось Яруславль-город посмот-
 реть. Но от машины не отойдешь, только с
 виду видела.

На крутой на горе да на высокой
 Испостроился да тут нов-город,
 Краше Киева, краше Суздаля,
 Краше матушки каменной Москвы...

Ты слетай-ко, слетай, соловеюшко,
Во прекрасну страну, в славный город
Яруславль!..

Ехали дальше. Дома встречались. У каж-
дого дома кони, скот, овцы бегают.

А потом все народы в вагоне начали со-
бираться, собираться-одеваться.

Москва!

Тут наш поезд остановился, и все стали
выходить.

Встречали люди добрые, люди добрые —
московские, подходили они к кондуктору, го-
ворили таковы слова:

«А приехала ли Крюкова?»

Здравствуй, здравствуй, Москва бе-
локаменная,
Здравствуй, здравствуй, столица до-
рогая!

Разве осмотришь всю каменну Москву?
Ясну соколу не облететь, добру молодцу не
об'ехать на добром коне!

У Москвы-реки была, река московская не
широкая, а глубокая. Стены кремлевские
смотрела, во как выкладены стены: камень к
каменю, ни один не выдался, — вот она рус-
ская премудрость превеликая!

Видела я Кремль со башнями со
высокими,

Со звездами со блестящими.

На этой на башне на высокой

Стоит-то будто наш дорогой же
вождь,

Дорогой же вождь, товарищ Сталин.

В руках-то держит трубочку под-
зорную,

Чутким ухом-то он слышит все,

Веселым взором он видит все,

Видит все да на земли людей.

За хороши дела да награждает он,

Ко себе в Москву да призывает их,

К своей горнице ведет гостей,

Садит он их за столички дубовые.

Он ведь сам с ними сидит

Да ест ведь, пьет да кушает,

Советы мудрые дает же им,

Как нужно жить, как дела вести.

В делах Сталина да все дивуются,

Старикам-то жить да снова хочется.

У Кремля я видела — мавзолеем стоит. Сле-
дан он из камня-бразманту. А внутри очень
блестящая чудность, будто покрыто все стек-
лами восточными. Не час стояла и не два
глядела, останавливаться никак нельзя, пото-

му что народу много есть. Чудо чудное, очень
дивное, где Ильич лежит! Он лежит, будто
спит: очи закрытые, уста замолкнутые. Ле-
жит-то он во гробу во тужурочке военной,
белы рученьки по швам положены, точно не
умер он, будто живой лежит. А кругом стоят
часовые, ружья держат крепкие, а замки-то
на ружьях очень светлые.

По метро я ездила, по машине подземель-
ной. По большой мудрости сделано, есть на
что посмотреть да полюбоваться. Под землею
будто светит красно солнышко. Никакому
мудрецу восточному не учинить такой пре-
мудрости.

А жила-то я в гостинном доме «Москва».
Дом большой, до неба высокий. Не успеешь
сказать слова ласкового, как поднимут тебя
на машине под самый потолок. Я по ступень-
кам больше ходила, со знакомыми говорила.
А знакомых-то у меня было чуть не вся
Москва.

И на представленьце я была в театре да
в самом прѣбольшом. Там стулья настоящие
золоченые, а покрыты они рытым бархатом.

И видала я лично Садко, гостя богатого,
новгородского, и видала-то я лично морского
царя и Настасью-царевну, вся личность у нее
в роскоши.

Когда сходил Садко в море пучинное, про-
щался-то со своей дружинишкой, тут и я
встала с своего золоченого стула и сделала
ему низкий поклон по-писаному, спроводила
Садко славного в путь-дорожечку.

Все правильно в этом театре: суцая прав-
да, с бытого взято. Москвичи-то близ Нов-
города живут, уж они обо всем хорошо знают.
Как мы, к примеру, про Мезень знаем, стари-
ки наши бывали там, сказывали, вот и знаем.

И была-то я в доме, где портреты разные
да картины. Видела Илью Муромца — му-
жественный, настоящий богатырь, конь под
ним белый, как и по правде было. У Добры-
ни Никитича конь вороной. У Алеши Попо-
вича конь голову выдвинул, весело смотрит,
и сам Алеша красивый, премладый. Те скуч-
ные на конях сидят, а он со веселой со улыб-
кой. Видела грозного царя Ивана Василье-
вича, — руки-пальцы в крови, убил он сына
своего Иоанна Ивановича. Сам грозный царь
хмурый — жалко, да не вернешь. Мысли его
мучают: убивца не долго жить будет. Князь
Александр Данилович Меньшиков сидит в
дальней ссылочке в шубе, дочь его тут же
чернобровая, сын рядом стоит.

Ходила в музей дорогого вождя Ленина. Сидит Ленин за столом, как живой, рукописание пишет про свои дела и обстоятельства. Было что писать, как вся вселенная у него под рукой была. Товарищ Сталин стоит во весь рост, нога выкинута вперед, как по-военному, с трубочкой курительной. Весь свет перед ним. Вот, может, меня, старуху, видит. Думает, наверно, про себя: как эта старуха живет, хорошо или помочь ей чем надо? —

Поездки Марфы Семеновны в Архангельск и в Москву расширили горизонты ее представлений.

Проф. Ю. М. Соколов говорил мне, что М. С. Крюкова отличается от всех известных ему сказителей богатством фантазии, красочностью описываемых ею былинных событий и героев. Марфа Семеновна не автоматически воспроизводит однажды заученную былинку, а каждый раз, пропевая, экспромтом творит, вводит новые подробности и колорит, сохраняя однако в неприкосновенности «исторические» факты и основу сюжета. Всякий раз одну и ту же былинку она пропевает по-разному.

Марфа Семеновна — народный поэт.

В совершенстве владея техникой былинного стиха, от природы одаренная богатой и своеобразной фантазией, она, если в хорошем расположении духа, и о текущих событиях рассказывает былинным стихом.

Была такой случай: в Архангельске мы пришли к ней с Игорем Ильинским в гости, а на другой день она рассказывала своим знакомым об этом нашем посещении в стихах, излагая в подробностях и содержание нашей беседы и давая нам индивидуальные характеристики.

Почти всегда так бывает: начнет рассказывать прозой и вдруг на какой-то минуте переходит на стих, а вложившись в ритм, так и доводит до конца.

Образцами такого экспромта-стиха и являются приводимые мною в настоящем очерке стихотворные отрывки из ее рассказа о своей жизни.

Поэтическая одаренность, жадная любознательность, большая любовь к чтению книг, признание ее нужности как сказительницы со стороны советской общественности, — все это и определило новое былинное творчество Крюковой.

И раньше ею делались попытки отзываться стихом на близкие нашему времени темы, но у нее не было уверенности: кому, мол, нужны стихи какой-то деревенской старухи, когда столько «ученых да премудрых студентов и писателей»? Внимание же и забота, которыми она была окружена в Архангельске и в Москве, окрылили ее, дали творческую уверенность.

Марфе Семеновне предлагали переселиться в Архангельск, в Москву, но она не хочет уйти от Белого моря, из родной Золотицы.

Ничего нет прелестнее на севере,

Как есть да море Белое,

Оно все-то у нас тут украшеньице.

Очень мило, как стоит-то оно у нас,

Когда тихое!

Оно стоит-то тогда, не колыбнется,

Морской волной не разливается, —

Хорошо смотреть тогда на море Белое!

Когда подуют-то ветры буйные,

Ветры буйные да северные,

Так подынутся волны сильные,

Зашумит тогда да море Белое,

Погонит волны все к бережочку,

Ко желтому-то ко песочку,

Будто белы чайки, волны взлетывают,

Волны будут в берег разбегатися,

Серы камешки загремят,

Расшумится тогда море, растреложится.

Хорошо смотреть на море Белое,

Когда взволнуется оно непогодушкой!

Многу записаны от Марфы Семеновны новые сказания: «Поколен-Борода и ясные соколы» и «Чапай».

Запись производилась в апреле—мае 1937 г. в Архангельске, куда М. С. Крюкова была вызвана Северным управлением по делам искусств для участия на областной олимпиаде народного творчества. Потребовалось немало времени, чтобы Марфа Семеновна «разговорилась» и доверила мне свои новые поэтические образы.

Образы Отто Юльевича Шмидта, героев арктического перелета по спасению челюскинцев, а также Василия Ивановича Чапаева давно бродили в ее поэтическом сознании, но рассказывать вслух она стеснялась. Почувствовав, что эти темы творчески волнуют ее, я не сразу приступил к записи, а в наших совместных прогулках по берегу Двины многое

За реку-Москву в каменну Москву.
Услышали про такое великое несчастье
Народы да от всех земель,
Разнесли скорбну весть по всем
городам

Да по деревенкам,
По всей родной земли-матушки,
На всех голосах разных плёменей.
Со старого да малого все ужасались,
Отцы-матери прирастужились,
Братья-сестры призадумались,
А молоды жоны слезами уливаются:
«Есть у нас надёя великая,
Надёя великая — наш вождь дорогой,
Он не доведет их до погибели,
Спасет-то их, повыручит, из
неволюшки повыведет».

Сталин учал посреди горницы
похаживать,
Белыми руками приразмахивать,
Черными кудрями принабряхивать
И удумал-то он думу крепкую.
Он призвал к себе друзей-товарищев,
Всех товарищев, соработничков,
Ясных соколов-перелетчиков,
Говорил им таковую речь:
«Ой вы, товарищи, соработнички
верные,

Случилося дело треложное,
Чернёный карабель у нас в гибели,
Он в гибели, во крушеньици,
Народ носит по морю на льдинушке,
На льдинушке во окиян-море.
Нужно, нужно все спасти народ,
Спасти, спасти народ, чтоб застать
в живых,

В наших землях народ дѳрог есть,
Каждый-то у нас во вниманьици.
Уж вы, ой еси, ясны соколы,
Вы летите высоко по поднебью,
Через те ли леса темные,
Через те ли болота жидкие,
Через те ли реки быстрые,
Через те ли моря глубокие,
Выше тех ли облаков ходячих-то,
Долетите-то до моря-окяна же,
До той до мерзлой до лединочки,
Заберите народ в свои крылышка,
Поскорей перенесите, чтоб не нагнала
их непогодушка
Со великими снегами, со морозами,
Перенесите их из моря да на суху
землю!».

Льдину носит волнами,
А люди дела своего не теряют,
Производили они ученьице великое,
Обучали друг друга все ведь
к лучшему,
Будто не было перед ними смерти
скорой,
Будто не было у них печали-горюшка,
У них все будто забылося.
Скоро, скоро придет да весна
красная,
Как тогда пойдет да лето теплое,
А растает льдиночка морозная,
Она вся-то вдруг развалится,
А народ погинут все в пучине
мѳрской.

Они думали, куда птице сесть,
У окон нет-то подоконничков,
Они брали-то складны ножички,
Разгребали на льдинке место чистсе,
Чтоб птица птичьих ног не замѳчила,
А теплых крылышков не заморѳзила.

Во ту порочку, в то времячко
Заболел у них славный
карабельщик Поколен-Борода,
Заболел, захворал болезнью лютою,
Он лежал, не вздыхал, не стонал же.
На всех ласково посматривал.
А лежал-то он не на кроватишке
тесовой,
Не на периночке пуховой уж,
Не было подушечки в изголовьици,
Не было у него одеяла теплого
призакутаться,
Не было у него печки муравленой.
Лежал, спал на льдиночке морозной,
Вместо перинушки у него была
лединочка,
Вместо подушечки ралачѳк ледяной,
Вместо одеялушка — снег пушистой.

Говорил Поколен-Борода таковы
слова:
«Вздыните головушки ко небушку,
Посмотрите за облака ходячие,
Не летят ли советские богатыри,
ясные соколы?»
Вздымали добры молодцы головушки
ко небушку,
Смотрели-то за облака ходячие:
Ничего-то там не видели.
Не поверил Поколен-Борода, что так
есть,
Вставал сам да со постелюшки,

Припадал к небу да ухом правым,
 Борода его ветром колыбалася,
 Волоса его воздымались,
 Сквозь рубашку тело видится.
 «Чую, чую я, что шум шумит,
 По поднёбесью птица крыльем машет,
 Крыльем машет, будто струна брычит,
 Аль во болезни, во сновиденъици
 Мне прислышалось да привиделось?»

Уж не много тут время миновалось,
 День идет ко вечеру,
 Сонъе катится ко западу,
 Загудела, зашумела птица прилетная,
 Птица прилетная, советский богатырь,
 ясный сокол,
 И садилась птица на то ли место
 чистое,

На чистое место на ровное,
 Птичьих ног своих не замочила,
 Теплых крылышков не приморозила.
 Ясный сокол по льдиночке

похаживает,
 Дубиночкой льдинки покалачивает,
 Меховой кафтан на распашонку
 держит.

Ясный сокол начал выговаривать:
 «Прилетел я к вам из каменной
 Москвы,

Из каменной Москвы, со башни
 славной, со кремлевской,
 Забираю всех-то вас под крылышка,
 Унесу-то вас во селеньице,
 Во селеньице, на суху землю.
 Во-первых, возьму дитя малого,
 Во-вторых, возьму баб же всех,
 Во-третьих, больного возьму да
 карабельщичка,

Во-четвертых, уж я всех заберу
 с собой,
 Не спущу я вас черным воронам
 на карканье,
 А белым медведям на
 растерзанъице».

Спустился Поколен-Борода со
 крылечка со хрустального,
 Со хрустального да со ледового,
 Из своего-то ледяного шатра
 да разбитого,

Выходил-то на вольный белой свет
 И говорил-то он таковы слова:
 «Ай же ты, молодец ухватчивый,
 Разве на земли то стало тесно вам,
 Разве небо стало низко вам?
 Большое-то спасибо за спасеньице,

За спасеньице, за великое
 сохраненьице,
 Только не честь будет молодецкая,
 Не заслуга будет богатырская,
 Когда я сам на первых крыльях
 улечу отсель,
 Мне-ка нужно приостатися,
 Мне-ка всех да спроводить-то нужно,
 Улететь должн последний я,
 Это такие у нас обычи водятся,
 А я помешкаю немножко —
 Дак все поправится».
 Сказал слова да и повалился же,
 Больше не мог с силами бороться,
 Тут взяли его добры молодцы
 в охачпку,
 Положили его птице во крылышко.
 Во-первых, забрал дитя малого,
 Во-вторых, забрал всех жонок
 ледовых,
 В-третьих, забрал больного
 карабельщичка, —
 Всех кушаком по белым грудям
 привязывали
 Ко крылышкам, ко перышкам
 птицы-сокола, —
 И полетела птица высоко, по
 поднёбесью.

Тут налетали-то без счету ясны
 соколы,
 Ясны соколы, славны птицы
 перелетные,
 Они забрали весь народ оставшие,
 Уносили их под облака.

Они мало ли летели, коротко ли
 Среди окяну, среди ледового,
 Они мало ли, много ли летели
 поры-времени
 Через те ли облака ходячие,
 Через те ли леса темные, высокие,
 Через те ли болота жидкие,
 Через те ли реки быстрые,
 Через те ли моря да глубокие,
 Прилетели они в каменну Москву,
 На пути, на дорожке негде не
 останавлилися,
 В каменну Москву, к самому кремлю,
 На славну, на прекрасну Красну
 площадь.

Развязали ясны соколы кушаки от
 них ременчаты,

Выпускали спасенных из-под
крылышков.
Тут встречал-то их народ из разных
племеней,
Из разных племеней, из разных
земелюшек.
По всем славным улицам по
московским
Шел народ со старого до малого,
Шел народ со знаменами,
Со прекрасными со цветами.
Проливали слезы горячие от радости
Отцы-матери, братья-сестрицы,
У иных-то молоды жоны.
Встрёты были очень чудные,
Очень чудные да очень дивные.

Из тех ли ворот из кремлевских
Выходил же тут сам Сталин-свет,
Сам Сталин-свет с соработничками,
Шел-то он по площади по камешкам,
С ноги на ногу по-военному
переступывал,
Хромовые сапожки его скрыпали,
Со веселою улыбкою он встречал
гостей,
Он встречал гостей да целовал то
всех.
Во-первых, целовал дитя малого,
Дитя малого, ледового,
Во-вторых, целовал Поколен-Бороду,
Поколен-Бороду, карабельщика
бóльнего,

Во-третьих, целовал ясных соколов,
Ясных соколов, геройских
перелетчиков,
Во-четвертых, обнимал всех
спасённых же.
Тут пошло-то шированьице,
Веселое гуляньице
По всем землям, по земелюшкам.

А та лединочка, она плавает,
По окияну по седому она носится,
Никогда эта льдина не растаивает,
По той лединочке ходят-гуляют
медведи белые,
Они ходят и дивуются.

Да это не чудо да не диковина:
Дальний Восток — дорожечка не
ближня,
Кривой ездой ехать ровно три года,
Прямой ездой ехать нонче тридцать
дней.

Славному ледовому окияну на
тишину,
Всему советскому народу на
вспоминаньице,
От него пойдет на пропеваньице,
А ясным соколам да славным
карабёльщикам
Им славы поют,
Им награда
Да честь великая!

ЧАПАЙ

Он летал над степями славно
волжскими,
Летал орел-то златокрылый,
Ему славу поют да великую —
Орлу боевому, геройскому
Чапаю.

На той на славной на Волгё
Небольшой городок был,
В этом городке жил работничек,
Работничек да он ведь плотничек,

На имя Василий, по отёчеству
Иванович,
По фамилии Чапай.
Земля скудная да очень малая,
Не давала она большого
пропитаньица,
Обижали тогда людей помещники,
Привелось ходить по разным
сторонам.
И пошел Василий во прикащики,
Во прикащики к купцу богатому,
Заставлял купец обмеривать
да обвешивать

Народ-людей-покупателей.
В одно время пришел к нему родной
батюшка,

Он пришел с ним повидаться.
Говорил отец сыну любимому:
«Ты послушай моего наказаньца,
Ты живи да правдой сущюю,
Ты не слушай купца в делах
несправедливых-то!»

Тогда сделал Чапай себе гуслицы
веселые,

Он стал ходить по городам да по
деревенкам,

Он играет-то в гусли звончаты,
Пропевает песни про Емельку Пугача
Да про Стеньку Разина.

И говорили-то ему тут урядники:
«Почему не пропеваешь про роды
царские?».

Отвечал тогда он им таковы слова:
«Ай же вы, уряднички, царские
опричнички,

Мне-ка что да пропеть про них,
Мне-ка надо петь про то,
Об чем нужно жить».

Он сделался тогда плотничком,
Топором-то работал, пилой пилил,
Строил-делал он палаты да все
высокие,

А себе домичка так и не построил.

Когда ерманская война заводилася,
Ермания-земля подымалася,
Подымалася она на нашу землю на
Россиюшку,

Василий свет Иванович надевал
платьце военное,

Собирался в путь-дорожечку, во
солдатики,

С батюшкой, с матушкой
распрощался он,

С молодой женой да с малыми
деточками.

Шла война тогда да всекровавая,
Бился-боролся он ровно три года.
Когда пришел же он с войны домой,
Стал он всех-то спрашивать:

«Идет ли жизнь все по-старому,
По-старому да все по-прежнему,
Весь порядок по-досельному ли?»

Отвечают ему да люди добрые,
Люди добрые, знакомые:

«Уж ты ой еси, Василий Иванович,
У нас жизнь-то идет не по-старому,

Не по-старому да не по-прежнему,
Все идет не по-досельному:
Как твоя-то да молода жена
Изменила тебе да добру молодцу,
Детей она всех да спокинула,
Без приюту их оставила».
Говорили они ишо да таковы речи:
«Мы, крестьяне, трудовой народ, да
взволновались же,
Хотим отнять-то землю у помещ-
ников,

Мы заводы хотим отобрать
у заводчиков,

Война нам-то всем не к надобью,
Против царя-то мы, за власть
народную».

Тут случилася революция,
Пришло времячко — дела все
изменилися,
Поднялся народ да за всю жизнь
свою,

За новую жизнь, за счастливую.
Уж не много-то было времячки
веселого,

Уж не долго веселье продолжалось,
Как из далеча, из далеча, из чиста
поля,

Из того ли из раздольица широкого
Тут не грозна туча подымалася,
Не темно облако накатилося,
Подымался тут злодей

немилолюбивый,
Злодей немилостливый

Дутов-енерал
Да Колчак-адмирал.

И пришел тогда Чапай к больша-
кам на обсужденьице,
Его усы да во колечушка завилися,
Его очи смотрят со решимостью,
Сапоги хромовы начищены
да поблескивают,

В руках-то у него палица боёвая,
На боку висит у него сабелька
вострая.

И говорил-то он таковую речь:
«Уж вы здравствуйте, добры

молодцы,
Добры молодцы, большаки путевые,
Вы возьмите меня, добры молодцы,
в свою партею,

В свою партею да всенародную.

С начала жизни своей я жил
крестьянином бедным,
Был я прикащиком у купцов
толстобрюхих,
Был я половым во трактире
проедем,
Был я скоморохом, выигрывал
на гусельках,
Был работничком я, плотничком,
Был в солдатах, за чужо добро кровь
проливал,
Все-то я видал да про все-то я
наслышан.
Не хочу я быть у господ
во работничках,
Во работничках да во прикащичках!
Вы дозвольте мне созвать
дружинушку хоробрюю,
Дружинушку хоробрюю, красных
млодцев,
Разобьем-то все палаты господ
белокаменные,
Разобьем полки офицерские,
енеральские,
Посадим белых разбойников
во темную во темницу!»

А как выскочил-то он на широкую
на улицу
Да обернулся он красным богатырем.
Он пошел тогда да во широкий двор,
Брал тогда добра коня,
Добра коня да со семи цепей,
Убирал-то его в убор богатырский,
Он накладывал двенадцать тугих
подпругов,
А тринадцату клал не ради красы,
а ради крепости,
Ради той ли поездки молодецкой.
«Ай же вы, дружинушка хоробрая,
Уж вы дайте-ка мне разгуляться,
С енералами мне поборотися,
Поборотися, силушкой померяться!»
Отвечала ему дружинушка хоробрая:
«Уж ты ой еси, Василий Иванович,
Как не стоять нам за Ленина-вождя,
За те правды его народные,
За те порядки нам очень сходные».
Надевает он латы булатные,
Все доспехи боевые,
Он берет с собой саблю вострую,
Он берет с собой палицу тяжелую,
Он берет с собой булатный нож
Да пулеметное орудие-максимочку.

Забил его конь в землю ножкой
правою,
Мать-сыра-земля да всколыбался,
В темных-то лесах древа-то
пошаталися,
В море Хвалынском вода волной
разливалася.
Не путем шли добры молодцы да не
дорожкой,
Шли лесами да чистым полем,
Приворотили-то ко кусточку
к ракитову.
Под кустушком под ракитовым
Сидела тут дѣвица, слезно плакала,
Слезы льются, как река течет.
Она плакала, таковы слова говорила:
«Ай, коса ты, моя коса, коса русая,
Доставалась коса не дородню добру
млодцу,
Не дородню добру млодцу, не
красну воину,
Доставалась коса русая
Злодею енералу на поруганнице!».
Красотой она была прекрасная,
Лицом-то была она белая,
Очи у нее, как у ясна сокола,
Брови-то у не да чѣрна соболя,
Речь-то у нее да очень смирная.
Говорил-то ей сам богатырь Чапай:
«Не плачь, не плачь, дѣвица, душа
красная,
Расскажи-ка мне, какого города,
какой деревенки,
Какого отца да родной матушки,
Как зовут тебя да все по имени,
Как величают тебя да по отечеству?»
«Я из той ли из деревни из
Бедняхи,
Я дочь-то кузнеца да деревенского,
Именѣм-то зовут да Катерина же».
Тут заплакала дѣвица пище старого,
Не видит она свету белого.
Говорил же тут богатырь Чапай:
«Ай же вы, добры молодцы,
Мы возьмем дѣвицу Катеринушку
Во свою дружинушку во хоробрюю,
Нам ведь надо принять ее
да обучить ее,
Как стрелять-то из орудия
пулеметного».
И примали они красну дѣвицу
во товарищи.

Он ведь ездил-то по полям да по
лугам же,
По городам и по деревенкам,
Бился-боролся с енералами со белыми,
Разбил-разбросал собак по чисту
полю,
По тому ли раздолью широкому.
Катерина-девица ему да помогала же,
Из орудия пулеметного да в их
стреляла же.
В бою получил Чапай рану
немалую,
Эта рана была в буйну голову,
Говорила Катерина таковы слова:
«Уж ты ой еси, Василий свет
Иванович,
Дай тебе я да помогу во всем,
Голову твою кровавую у тебя омою,
Завяжу рану платом шелковым,
Зажила рана у тебя чтоб в скорости,
Не повредила тебе мозгу головного».
Отвечал Чапай Катерине же:
«Уж ты ой еси, девица, красна
пулеметчица,
Спасибо за все твое удовольствие,
Эта рана невеликая,
Невеликая да неглубокая,
Есть у меня раны побольше да
поглубже ее,
Перва рана любовная —
Ты мне, Катеринушка, в любовь
пришла,
Втора рана военная,
Военная да самая главная:
У нас есть злодей Колчак-енерал,
Мне-ка надоть побороть его».

Как опять же стоит собака-енерал
среди поля,
Среди поля да среди чистого,
За самим за енералом силы числа-
смёты нет:
За ним сорок енералов, сорок
полковников,
За ним сорок сороковых станичных
подорóжничков.
Он ведь день рубился с утра
до вечера,
Он бился-боролся всю темну ночь
до утра раннего,
Не пиваючи да не едаючи,
А добрым коням отдыху не даваючи,
Он ведь стал тут по силы похаживать,
Стал он ту белу силу поколачивать,

Разметал, разбросал всю силу белую
По разным по сторонушкам.

Захотелся Чапая большой
мудрости,
Большой мудрости, ученьица,
Всем наукам обучитися,
Всех енералов помудрей же быть.
Он садился на добра коня,
Он поехал в каменну Москву,
В каменну Москву, к вождю
Ленину,
Он желал да с ним повидатися,
Совету мудрого попросить у него.
Он ехал немало поры-времени,
Он приехал в каменну Москву,
В каменну Москву, к самому кремлю.
У ворот приворотников не спрашивал,
А махал через стену кремлевскую.
Он брал коня за ремянный повод
И вел по двору широкому,
кремлевскому,
Заводил коня на конюшен двор,
Привязал коня ко столбу ко стоячему,
Насыпал ему пшеницы белояровой.
Сам пошел-то ко крылечушку
ко высокому,
Пошел во горницу к вождю Ленину
И входит-то он безобъявочно.
Его встречал, встречал вождь же
Ленин наш,
Они свиделись да познакомились,
Познакомились да поздоровались.
За его подвиги молодецкие,
За подвиги славно геройские
Благодарил его вождь,
Да он ведь жаловал, сам чествовал.
Он садил Чапая за столечек
белодубовый,
За ту ли за скатерть за полóтнену,
Угощал кушаньем приготовленным —
Стерлужиной, белужиной да хлебом-
солью же,
А поил водицей медовою.
Чапай сидел, повеся буйну голову,
Ясны очи потупил во ту ли во печку
во муравлену,
Он сидел скучный, все не радостный,
Сидит — не тряхнетя, не
ворохнетя.
Тогда Владимир Ильич стал на свое
место,
Низко кланялся

И говорил ему такую речь:
 «Что же ты, Василий Иванович,
 не ешь, не пьешь, не кушаешь?
 Вода ли московская тебе не сладкая,
 Пшена ли моя тебе не дошлая
 Иль хозяйка к тебе нелюбезная?
 Какое горюшко у тебя
 на сердечушке?»

Отвечал тогда Василий Иванович:
 «Уж ты ой еси, Владимир Ильич,
 Уж ты дай мне совету лучшего,
 Совету лучшего, самого мудрого,
 Как мне обучитися,
 Обучитися да поучитися:
 Без ученьца жизнь самая гибшая,
 Енералов бить — надо ученым быть!»
 Написал вождь да скору грамотку,
 Чтоб приняли его во ученьце,
 Во ученьце да во возное,
 В главные науки, в наукодемию.
 Чапай берет скору грамотку во праву

руку,
 Кладет грамотку во правдой карман,
 Благодарит его да земно кланяется,
 Светлыми шпорами принабрякивает,
 Со улыбочкой крепко руку жмет.

Прочитали в наукодемии скору
 грамотку —

Его приняли,
 Они стали его спрашивать,
 Про все стали они выведывать:
 «Ты скажи-ка, Василий Иванович,
 Где така иностранная река течет?»
 На это Чапай да разобиделся,
 Почему такой вопрос ему задали,
 Он у них да сам спрашивал,
 Он сам им да вопрос лукавый
 задал же:
 «Вы скажите мне, где Солянка
 течет?»

Они призадумались да
 приразмыслились,
 Отвечать они не знали как.
 Он тогда им да возговорил же всё:
 «Ах, вы люди да всеученые,
 Вы ученьца-то немалого,
 Образованьица-то всего полного,
 Почему про то не знаете,
 Где течет река да славная Солянка?
 А на речке на славной на Солянке
 Я держал битву великую
 С енералами все со белыми,
 Много, много я побил же их».

Долго учиться Чапаю не пришлось,
 Тут случилися несчастья страшные:
 Со всех четырех сторон
 Енералы белы с'ехались,
 Они хотели забрать всю страну
 советскую,
 Они хотели вернуть порядочки
 досельные,
 Порядочки досельные, богатейные, —
 Меж собой собаки дёл делят:
 Со избы они брали по петуху
 и по курице,
 С каждого двора по добру коню
 Да по сто-пуд пшеницы белояровой,
 У кого коня иль пшеницы нет,
 Дак жону возьмут,
 У кого жоны нет — самого в полон
 уволукут.

Ясны очи Чапая помутилися,
 Могучи-то плечи сшевелилися,
 Лепет в лице переменялся,
 Геройское сердце растреложилося,
 раз'ярилося,
 Раскрывал он те двери дубовые,
 Разлетались двери на середь двора.
 «Уж вы ой еси, начальнички
 наукодемии,
 Отмыкайте замочки висучие,
 Выпускайте добра молодца
 на волюшку,
 Приходит времячко строчное,
 необходимое,
 Сейчас не пора, не времячко учитися,
 Ехать мне надо на силу неверную,
 На силу неверную, на подвиги
 на великие.
 То не честь молодецкая,
 Не выслуга славна геройская
 Сидеть Чапаю в комнатке,
 Надо мной добры молодцы будут
 ужаться,
 А малые ребята будут смеяться.
 Дайте-ка vybrать у вас самолучшего
 коня

Из всего табуна!»

И заводят Чапая
 да во конюшенку,
 Где Серюшко стоит да конь ведь
 серенький,
 Конь бросился да от яслей к нему,
 Он ведь пал да на колени же,
 Заговорил конь Василию Ивановичу:
 «Ты возьми, возьми, богатырь Чапай,

Еще чад от боев велик, дымом
валит,
Они во всех подвигах утомились,
Отдохнуть с подвигов захотелось,
Спать в домах повалились,
Повалились, прираздспались.

Был-то у Чапая молодец
ухватчивый,
Молодец ухватчивый, Петруша —
кудри русые,
За Чапаем он смотрел да все
усматривал,
Он любил его да помогал во всем.
В последнюю ноченьку в треложную
Петруше не спалось никак,
Не спал он да все треложился,
Разбудил он Чапая
Да говорит ему таковы слова:
«Я гулял-ходил во чистом поле,
Во чистом поле дуб стоит,
На дубу сидит да черный ворон,
Ворон черный да птица вещая.
Хотел я подстрелить да черна ворона,
Проговорил черный ворон голосом
человеческим:
— Уж ты ой еси, добрый молодец,
Не стреляй меня да понапрасну,
От меня тебе да корысть малая,
А польза невеликая!
Я скажу тебе правду сущую:
Недалече отсюда во чистом поле
Там ходят-проезжают разбойнички,
Разбойнички, губители великие.
Я летал над теми лесами высокими,
Над теми лугами зелеными,
Около той ли Урал-реки,
Я видал там силу несметную,
Мне-ка, черному ворону,
Той силы не облететь будет,
Волку серому не обежать будет.
Поговорил ворон да полетел же сам
На дуб на дерево на высокое,
На самую на вершину же».
Василий Иванович не расслушал
ничего спросонья,
Не разгадал про то, про что идут
дела,
Про что дела идут да разговоры
ведут,
С боку на бок перевернулся он,
Очи ясные не открыл же он,
Не промолвил он ни одного
словечушка,

Заснул опять крепким сном,
Ничего-то он не думал о смерти
скорой.

Как нагрянули за полночь
неприятели
В ту темную ночь да в ту
деревенку же,
Наехал проклятый чудище
Сладков-енерал,
Сам чудище да престрашное:
Голова большущая, как пивной
котел,
Ножища будто дубины стоялые,
Ручища будто больша хоботы,
А глазища будто у тигра лютого.
Как кричал тогда зычным голосом
Чапай-богатырь:
«Восставайте-ка, пробуждайтесь,
добры молодцы,
Добры молодцы, дружинушка
хоробрая,
Он пришел енерал да целком
сгднет!».
Чапай крик крикнул не
по-человеческому,
Он свист свистнул по-соловьиному,
Дак слышало сердечушко
кониное,
Сереюшко как жалобно заржет,
Будто с Чапаем распроцался он
И навечно расставался же.
Вскочил Чапай на резвы ноги,
Выбегал он на широкую на улицу
В одной рубашечке во нижней да
без пояса,
Тут добры молодцы пробуждались,
За ружья они хватились,
Выходили на скорый бой,
на поединок.
Кричал тут Чапай-богатырь:
«Уж я был бы на волюшке во чистом
поле,
Во чистом поле да на добром коне,
Я отсек бы тебе собачью голову!»
Они бились ружьями военными,
Они бились копьями булатными,
Они секлись саблями вострыми.
Сколько ни бились, ни боролись,
Не могли осилить силу белую:
Одну голову отрубят — две
покажется,

Стихотворения

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

ЭТО БЫЛО ТАК...

Мы с нею говорили час.
Уйти бы мне! Спешить бы надо!
Но оторвать не мог я взгляда
От нежных губ и ясных глаз.

Быть может, это вышло грубо,
Но вдруг беседу я прервал,
К ее губам приблизил губы
И девушку
поцеловал.

Я не припомню:
миг,

минута,

Или столетие прошло...
Она вскочила в гнев лютый,
Она дышала тяжело,
Она, рванувшись, поломала
Мной презентованный цветок,
Она, волнуясь, то сжимала,
То разжимала кулачок,
Она, сердясь, лишилась речи,
Она была алей зарю...

Она, смутясь по-человечьи,
Мне руки бросила на плечи
И приказала:

— Повтори.

ПИСЬМО

О всем, что чувствую и знаю,
Я рассказать тебе хочу.
Но почему же я вздыхаю?
Но почему же я молчу?

Во мне клокочут слов потоки,
А сходят с губ едва-едва
Полустихи, полупаеки,
Полунапев, полуслова.

Но сладко-сладко тем счастливым,
Чье сердце, искренне любя,
В своем смятении молчаливом
Не в силах рассказать себя.

... Когда увижусь я с тобою,
Тебе полнее слов любых
Расскажет все
одно
простое
Прикосновение рук моих.

Стихотворения

ВИЛЬГЕЛЬМ ЖУРАВЛЕВ

ПЕРЕД ПОСЕВОМ

Так бывает всегда.
Пробуждаясь от зимнего сна,
Видишь:
 день обновленный,
 как новое знамя, встает.

И по всем направлениям
идет молодая весна,
И подснежники
робко встречают
дыханье ее.

Вместо скрипа саней
слышишь гром
 тракторов и телег,
Распевают скворцы
в благодарность
за пищу и кров.
Кое-где по оврагам
сочится израненный снег,
И стекает в болота
его побуревшая кровь.

Появляется зелень.
Идут к должностям пастухи,
И коровы идут,
И телята за ними
в аллюр.
И над каждым двором
что есть силы
орут петухи,

И крылами гремят,
настигая
растерянных кур.

А по стеблям растений
Уже забродило вино —
Зашумела, как хмель,
Плодоносная влага земли.
И

С клюкою в руках,
как старик,
 молодой агроном
Колесит по полям
между саженцев,
яблонь и слив.

Сапоги тяжелеют,
и грязь,
 подступая к ногам,
 начинает ворчать.

Но радетель земли
не стоит —

Он,
 подверженный теплым,
 пропитанным влагой
 ветрам,

Через топи полей,
Через птичий
восторженный гам
Богатырской походкой
обходит владенья свои.

Под ногами горит
пропитавшийся солнцем
навоз.

День склоняется набок,
Туманы ползут на поля.

И тогда агроном
направляется
в дальний колхоз,

И ему по дороге
салют отдают
тополя.

И над ним,
пролетая кривым
расписным косяком,

Из-за моря
на крыльях

Пронесут весну журавли.

А селом,
вдоль ручьев,
без дорог
и совсем босиком

Ребятишки бегут,
нагоняя свои корабли.

И тяжелой походкой
идет агроном
ко дворам,

Где худые черемухи
руки дерут
на овин;

Где в колхозных амбарах
Победно гремят триера,
И девчата, смеясь,
Погружают зерно
в формалин.

А инспектор по качеству,
Взяв лошадей под уздцы,
Проверяет упряжку.
А в кузнице воют меха.
И с зари до зари
Все железом гремят
кузнецы,
Раскаляя до крови,
Блестящие в лоск,
лемеха.

Здесь стальной инвентарь
принимает последний закал.
Здесь весь день посевная
Грохочет своим чередом.
Здесь, крылами гремя,
как петух,
Разноперый закат
Полыхает, как знамя,
над мирным
колхозным
трудом.



Я надену плащ громовый
И ботинки желтый хром.
На рубахе старорублевой
Пояс-радуга с махром.

Выйду в поле на дорогу
И возьму с собой пакет.
В нем душевную тревогу
Положу среди конфет.

Напишу в письме: «Пишите
Поскорее мне ответ:
Мол, посватать разрешите,
Сообщите: да иль нет».

И, раскрывши сердце настезь,
Я подставлю грудь ветрам.
Встречу дорогую Настю
И подарок передам.



Вспомни: тучи уходили за лес,
Рассыпая искры по полям,
В распри грома молнии врезались,
Небо расщеплялось пополам,
Буря мелколесие крушила,
Головы склоняли тополя,
И гремели по камням шины,
Грузно шли телеги и машины,
И ломались от хлебов поля;
И казалось — расправлялся камень,
Вековой теряли люди страх,
И глаза горели огоньками,
И сидели листья мотыльками
На немного согнутых ветвях,
И плоды свисали, и со свистом
Падали на травы, семеня;

И летели, как парашютисты,
Одуванчиковые семена.
Что тогда на сердце каждый не
жил? —
Помнишь, мы видали у реки,
Как лежали мертвыми на межах
Уничтоженные васильки..
Только мы не плакали.
У клуба
Гармонист играл. И перед ним
Розы нежно открывали губы,
Георгины, распирая клумбы,
Славили общественный цветник;
И, подняв зеленые запястья,
Яблони шумели (до зимы!).
Ты спросила: «Что такое счастье?»
Я ответил: «Счастье, это — мы!».



Стихотворения

С. ЩИПАЧЕВ

РАБОТА.

Пусть жизнь твоя не на виду
какое счастье
жить

и знать,
что не на ветер
дни твои идут,
что жизнь тебе
до капельки ясна,

что не напрасно
бьет дождями лето,
зимою—вьюги обжигают лоб,
что есть в большой работе пятилеток
твоя работа,
рук твоих тепло!

К тебе идут
твоих стихов герои,
идут —
из шахт,
с зимовок,
с новостроек,
и теплой рифмой
ты встречаешь их.

(Когда то вместе мокли под
дождем!)

Они

из жизни
просто входят в стих,
как наши близкие
к нам входят в дом.

Ты рад до слез —
чернявым, белобрысым,
глядишь в глаза им
сквозь табачный дым,
и в чем себе порой бы не
открылся,
расскажешь все,
все выболтаешь им.

В рассветэ в зарю летит остаток
ночи.

Какая близость будущих веков!
Но с каждой строчкой
Жизнь короче
и меньше ненаписанных стихов.



По травам входит лето.
Прошел в работе вечер,
и ночь — за поздний час,
и голубая вечность
миров течет сквозь нас.
Холодным ясным светом
вся залита земля.
По травам входит лето,
дорогами пыля.
И душен сон пшеничный,
и, на ветру остыв,
румяные от вишни
идут в рассвет сады.
И все черствее воздух
над полыньями льда,
и на большие звезды
зимовщики глядят.

Они отметят ветер,
они в ночах седых
не меньше нас в ответе
за травы и сады.
И над скалой, над лесом
ущелья высота,
и отдает железом
в источнике вода.
И путник
пьет
за лето,
за север и за юг,
за дождь и снег на Млетах,
за родину свою.
Он кружку жестяную
опорожняет враз
за ясность ледяную
твоих вершин, Кавказ.



Победа

Пьеса в 3 действиях¹⁾

Илья ВЕРШИННИН, Мих. РУДЕРМАН

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЛЕЙТЕНАНТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ.

КУЛЬКОВ ПЕТР — командир отделения
стрелкового полка.

КИРИЧЕНКО КАРА — боец стрелкового
полка.

ГЕНЕРАЛОВ — повар.

БРОЙЕР ЭММА — крестьянская девушка.

ЛЕЙТЕНАНТ НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ АР-
МИИ.

КРАФТ — унтер-офицер.

ГАЛЬКРОНЕ
ШТИЛЬМАН
КРАНЦ
ЭРНЕМАН
ГИЛЬЦПАРЕР

} пехотинцы

1-й ПЕХОТИНЕЦ.

2-й ПЕХОТИНЕЦ.

Артиллерист.

Телефонист.

Красноармейцы, жители деревни, солдаты
неприятельской армии.

Место действия — территория противника.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Наверху, на поверхности земли, идет бой. А здесь, в подвале крестьянского дома, мирные вещи: горки картофеля, вязанки лука, ящики, доски, дрова. Но в распахнутые настежь двери врывается грохот разрывов, цокот пулеметов, низкое урчание танков, бешеный, все покрывающий вой моторов штурмовой авиации. Взрывы — один за другим. Наверху идет бой.

Погреб пуст. Полтора десятка истертых ступеней ведут наверх, к дверям, к синему квадрату яркого летнего неба. На этом синем квадрате мелькают фигуры людей, бегущих с винтовками наперевес, отстреливающихся, бросающих гранаты. Изредка на этом фоне, застилая все, взмывает вверх черный фонтан разрыва.

Солнце лежит на полу погреба яркой полосой. Глубокая черная ниша в правой стене кажется в солнечном свете еще черней. Нестовый, угрожающий грохот боя.

Сверху неожиданно скатывается первый неприятельский пехотинец. Он снимает каску, прислоняет винтовку к стене. У него подги-

баются колени. Он жадно пьет из фляги.

Почти тотчас же наверху появляется второй пехотинец. Он, крадучись, спускается по лестнице, спотыкается на нижней ступеньке и испуганно садится.

ПЕРВЫЙ. Ты кто?

ВТОРОЙ. А ты кто?

(Молчание).

ПЕРВЫЙ. Почему ты вошел, крадучись?

ВТОРОЙ. А ты что здесь делал?

(Молчание).

ПЕРВЫЙ. Я знал, я знал это еще ночью, когда наступила эта проклятая тишина.

ВТОРОЙ. А теперь все пропало. Они никогда не перестанут стрелять.

ПЕРВЫЙ. Сорок минут... Сорок минут... Ночью тишина, а на заре лопнуло небо, и оттуда посыпались огонь и осколки.

¹⁾ Литературный вариант.

ВТОРОЙ. По-моему, снарядов было столько, что они сталкивались в воздухе от тесноты.

ПЕРВЫЙ. У них много орудий.

ВТОРОЙ. И дьявольские артиллеристы. Они стреляют сразу, все сразу и в одно место. Бьют, бьют.

ПЕРВЫЙ. Ты какой роты?

ВТОРОЙ. Покойной. Они смешали нас с землей.

(Молчание).

ПЕРВЫЙ. Они перенесли огневой вал на тылы. И в это же время масса танков прорвала наши заграждения. И я ушел.

ВТОРОЙ. Эти танки тебя не касаются.

ПЕРВЫЙ. Ничего, следом за ними посыпятся легкие танки. Специально для нас с тобой.

ВТОРОЙ. Да, эти пройдутся прямо по нашей шкуре. Я не уйду отсюда.

(Рев моторов становится все более и более оглушительным).

ПЕРВЫЙ. Слышишь? Это их штурмовики.

(Сверху спускается артиллерист).

Артиллерист. Здравствуйте.
(Сел.)

(Молчание).

Артиллерист. Что же... Я не виноват. Этого никто не мог предвидеть. Подавить артиллерию в самой глубине. Ах, дурак, старый дурак... Я думал, что в артиллерии безопаснее всего. Я устроил младшего брата... Огневой вал, танки, сотни бомбовозов — и у меня больше нет брата. А я не виноват...

ПЕРВЫЙ. Масса огня и масса танков. Это слишком много для живого человека.

Наверху — нарастающий грохот. И — сразу же — по лестнице скатывается вниз группа неприятельских солдат. Они прижимаются к стенам. Грохот наверху — грознее, громче. Солдаты прижимаются к стене.

ПЕРВЫЙ *(кричит)*. Танки! Опять танки!

(Грохот становится невыносимым. Солдаты у стен медленно опускаются к земле. Они стараются слиться со сте-

нами, с земляным полом. И — грохот тише).

ВТОРОЙ *(вытирая пот)*. Ф-фу...

Артиллерист. Вот... вот об этом я и говорил.

(Сверху спускается телефонист).

Телефонист. Во-время ушли. Они скоро будут здесь.

ПЕРВЫЙ. Откуда ты знаешь?

Телефонист. Я телефонист.

ПЕРВЫЙ. Все телефонисты лгуны.

Телефонист. Только что ухлопали моего старшего. Я взял трубку и услышал такие крики, что у меня свело уши. Это кричал наш корпусной. «Штаб корпуса атакует воздушным десантом красных», — кричал он.

ПЕРВЫЙ. Они все делают одновременно.

Телефонист. Потом я вызвал штаб полка, чтобы получить приказание. А Макс сказал мне: «Иди к чорту, пусть он теперь отдаст тебе приказы».

ВТОРОЙ. Это мой третий бой, и третий раз одно и то же. Сперва бешеный огонь, потом тяжелые танки, потом легкие — и, наконец, их цепи.

Артиллерист. И вся операция продолжается около часа. Они скоро будут здесь.

Телефонист. Они одновременно уничтожают всю глубину нашей обороны. Так говорят офицеры в штабе.

ПЕРВЫЙ. А мне кажется, что все это предназначено для меня одного.

Телефонист. От этого можно рехнуться.

Артиллерист. У кого есть табак?

(Наверху появляется лейтенант неприятельской армии с револьвером в руке).

Лейтенант. Гнусь! Наверх! *(Солдаты нерешительно топчутся на месте.)* Трусов буду стрелять. Наверх, скоты! *(Солдаты, прижимаясь к стене, медленно поднимаются наверх.)* Испугались, дэвки! Еще не все потеряно. В восемь двадцать мы им закатим такую газовую атаку, что они лопнут со всей своей техникой. Веселее в бой, сопляки! *(Выбежал следом за солдатами.)* *(Погреб снова пуст. Грохот боя не замолкает ни на минуту. Наверху снова*

возникает группа людей. Это отступающие. Они скатываются вниз по ступеням, сбрасывают вещевые мешки, готовятся — молча и быстро — к обороне. Но почти тотчас же в дверях подвала появляется фигура красноармейца. На синем фоне неба, освещенный сзади, с гранатой в высоко поднятой руке, красноармеец кажется огромным).

КРАСНОАРМЕЕЦ. Бросай оружие!

(Люди внизу поднимают руки. Одни делают это панически-быстро, другие медленнее. Следом за красноармейцем в подвал вбегают во главе с лейтенантом бойцы).

ЛЕЙТЕНАНТ. Отойти от оружия!

(Пленные внизу, сгрудившись кучей, отступают на несколько шагов. Одни делают это панически-быстро, другие — медленнее).

ЛЕЙТЕНАНТ. Петренко, Щипков! К выходу! Кульков, Кириченко! Обыскать пленных!

КУЛЬКОВ. Приказано обыскать пленных, товарищ лейтенант!

(Кульков — небольшого роста, плотный и спокойный человек. Подтянутость и уверенность движений. Каска низко надвинута на лоб).

КИРИЧЕНКО. Приказано обыскать пленных, товарищ лейтенант!

(Кириченко — большой и широкий в кости молодой боец. На лице — простом, рубленном с плеча — написаны яркими красками глаза и губы. Левая рука перевязана. Он взволнованно-сдержан. Это его первый бой и первая рана).

ЛЕЙТЕНАНТ (Кулькову). Оставайтесь за старшего, Кульков. Будете ожидать моих приказаний.

КУЛЬКОВ. Приказано остаться за старшего, товарищ лейтенант, и ожидать ваших приказаний!

(Пленные, сбившиеся тесной кучей вокруг широкоплечего, высокого унтер-офицера, отступают еще на несколько шагов. Тревога охватывает их: зачем их загнали в подвал? Почему те, вооруженные, стоят наверху?).

ОДИН ИЗ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ (сверху). Вышибли их за околицу, товарищ лейтенант.

(Наверху с новой силой загремели разрывы).

ЛЕЙТЕНАНТ (красноармейцам). Снимете первый допрос. Если сумеете, узнайте, где их танковые резервы. Противогазы у пленных не отбирать. Ваши — в порядке?

КУЛЬКОВ. В порядке, товарищ лейтенант! Есть один запасный.

ЛЕЙТЕНАНТ (поднимаясь по ступеням). В 20 часов 20 предвидится газовая атака. Дальнейшие приказания получите позже. Все!

КУЛЬКОВ. Есть, товарищ лейтенант!

ЛЕЙТЕНАНТ. Счастливо! (Остальным красноармейцам.) Взвод, бегом...

(Напряглись мускулы, люди приготовились к прыжку, лейтенант взбежал на верхнюю ступеньку. Грохот боя стал отчетливей, грозней).

ЛЕЙТЕНАНТ. Марш!

(Выскочили люди под обстрел).

ПОСЛЕДНИЙ КРАСНОАРМЕЕЦ (Кулькову, зубоскаля). Ух! Как под холодный душ! (И — следом за всеми в огонь.)

(Отчетливей слышна стрельба. Пленные испуганы. Они все еще стоят неподвижно. Оба красноармейца — на лестнице).

ОДИН ИЗ ПЛЕННЫХ (рванувшись к красноармейцам). Вы... вы нас расстреляете?..

КИРИЧЕНКО. Холодом. Мы пленных не трогаем.

КУЛЬКОВ. Построиться!

(Пленные неуверенно вытянулись в один ряд. Кириченко спустился вниз; он собирает брошенное пленными оружие составляет его у стены, вынимает затворы из винтовок).

КИРИЧЕНКО. Бинобль, товарищ Кульков! И револьвер.

КУЛЬКОВ (Кириченко). Присмотрите за ними. (Прошел к брошенным вещам и оружию, поглядел). Да... И полвая книжка тоже. (Пленным.) Офицер — вперед!

(Никто из пленных не шевельнулся).

КУЛЬКОВ. Офицер — вперед!

КРАФТ (медленно, убежденный в своей гибели, выходит вперед). Я — унтер-офицер. Унтер-офицер Крафт.

(Крафт широкоплеч и медлителен. Это — унтер-офицер механизированной армии. Он умен и осторожен. Он абсолютно исполнительен).

КУЛЬКОВ. Какой части?

КРАФТ. Я — солдат.

КУЛЬКОВ. Так. *(Кивнув на пленных.)* Ваше отделение?

КРАФТ. Наше.

КУЛЬКОВ. Кто здесь офицер?

КРАФТ. Наш офицер остался наверху.

КУЛЬКОВ. А здесь — всех знаете?

КРАФТ. Плохо знаю. Это — пополнение. Вчера пришли.

КУЛЬКОВ. Так... *(Следующему пленному.)* Имя, фамилия, часть?

ЭРНЕМАН. Рядовой второго разряда Эрнеман. Эрнст, господин красноармеец. Меня... Я — мобилизованный.

(Это и есть второй пленный, только что спрашивавший о расстреле. Незначительное, без особых примет лицо. Незвзрачный вид и выправка.)

КИРИЧЕНКО *(подходя к Эрнеману)*. Документы?

ЭРНЕМАН *(торопливо подавая документы)*. Вот, пожалуйста... Я мобилизованный... А раньше я был шорником, ремесленником...

КИРИЧЕНКО *(Кулькову)*. С документом совпадает.

ЭРНЕМАН *(возбужденно)*. Нам говорили, что вы пленных расстреливаете.

КИРИЧЕНКО. Мало вам о нас глупостей говорили!

* КУЛЬКОВ. Офицера здесь знаете?

ЭРНЕМАН. Никак нет. Я только вчера прибыл в часть, господин красноармеец.

КУЛЬКОВ *(следующему пленному)*. Вы?

КРАНЦ. Я тоже вчера прибыл. Я пришел вместе с ним.

(Кранц — невысокий, немолодой солдат. В пенснэ. Военная выправка дается ему с трудом).

КИРИЧЕНКО. Документы?

КРАНЦ *(вытягивая документ)*. Вот, Кранц, Вильгельм Кранц, господин красноармеец. Учитель в прошлом, солдат в настоящем. *(Помолчав.)* Я имею надежду, что вы оставите мне мою маленькую жизнь. Я — учитель.

КУЛЬКОВ. В какую дивизию входил ваш полк? Быстро!

КРАНЦ. Откровенно говоря, не знаю.

КИРИЧЕНКО *(рассматривая бумаги Кранца)*. Это что — диплом?

КРАНЦ. Диплом... Диплом на звание учителя, господин красноармеец.

КИРИЧЕНКО. Учитель, а какая дивизия, не знаете?

КРАНЦ. Клянусь богом, я сказал правду.

(Внезапно ошутимой стала тишина наверху. Только продолжает звучать хор пулеметов).

КИРИЧЕНКО *(настороженно)*. Контратака?

КУЛЬКОВ. Угу...

(Нарастая, зазвучало «ура». Смолкли пулеметы).

КУЛЬКОВ. Осмотрите помещение. Быстро!

КИРИЧЕНКО. Есть быстро, Кульков. *(Ушел в нишу.)*

КУЛЬКОВ *(пленным)*. Следующий.

ШТИЛЬМАН. Штильман. Иоганн.

(Это — крестьянин, светловолосый, ясноглазый. Выправка, одежда и возраст выдают в нем солдата-профессионала).

КУЛЬКОВ. Какой части?

ШТИЛЬМАН. Такой же, как и все.

КУЛЬКОВ. Вы что — все в молчанку играть будете? Говори, какой части!

ШТИЛЬМАН. Не знаю.

КУЛЬКОВ *(рассматривая документы Штильмана)*. В армии — девять лет?

ШТИЛЬМАН. Девять лет.

КУЛЬКОВ. Из крестьян?

ШТИЛЬМАН. Я забыл уже, когда я был крестьянином.

КУЛЬКОВ. А пошел почему?

ШТИЛЬМАН. Жрать нужно каждому.

КУЛЬКОВ. Часть назовете?

ШТИЛЬМАН. Нет.

(Из ниши выходит Кириченко. Он смущенно тянет за собой крестьянскую девушку лет 19—20. Это Эмма Бройер — светловолосое и светлоглазое существо. Она не уродлива и

не красива — обыкновенная крестьянская девушка).

КИРИЧЕНКО (преувеличенно бодро.) Идите, идите! (Кулькову.) За картофелем нашел!

ГАЛЬКРОНЕ (негромко Кранцу). Какой пухлый картофель.

ЭММА (бросилась к Кулькову). Не убивайте меня!

КУЛЬКОВ. Вы кто такая?

ЭММА. Я дочь арендатора... этого дома... Я — Эмма... Эмма Бройер...

КУЛЬКОВ. Прятались здесь?

ЭММА. Нет... То-есть да... Начали стрелять, и я спряталась.

КИРИЧЕНКО. Кончайте плакать.

ЭММА. Я... я... боюсь... Они так сильно стреляют!

КИРИЧЕНКО. Постреляют — и перестанут.

ЭММА. Как смешно вы говорите по-нашему!..

КУЛЬКОВ. А вы не смейтесь, а поправляйте. Ладно, оставайтесь пока здесь.

КИРИЧЕНКО (кивнув на пленных). С ними не разговаривать!

ЭММА. Я не буду.

КИРИЧЕНКО. Садитесь.

КУЛЬКОВ. Следующий! Фамилия?

ГИЛЬЦПАРЕР (возбужденно). Не все ли вам равно, как зовут мертвых?

(По внешности это человек огромной физической силы. Он, очевидно, спортсмен; разговаривая, он часто поправляет прическу).

КУЛЬКОВ (сдерживая бешенство). Назовите фамилию, чорт вас возьми!

ГИЛЬЦПАРЕР (с достоинством). Гильцпарер.

КУЛЬКОВ. Какой части? Подробно!

ГИЛЬЦПАРЕР (подумав, с вызовом). Солдат Великой Армии.

КУЛЬКОВ. Ваше молчание ухудшит ваше положение. Профессия до войны?

ГИЛЬЦПАРЕР. Безработный.

КИРИЧЕНКО (рассматривая его документы). Непризывной возраст, Кульков.

КУЛЬКОВ. Вот как? Доброволец?

ГИЛЬЦПАРЕР. Я уже сказал. Я — безработный.

КУЛЬКОВ. Общитесь, Кириченко.

КИРИЧЕНКО. Сейчас, товарищ Кульков! (Осматривает пояс брюк, гимнастерку и ремень Гильцпарера.) Метки везде одинаковые. (Склонился над документами, неожиданно — Гильцпареру.) Что такое «Черный Орел»?

ГИЛЬЦПАРЕР. Спортивная организация. Второе место в мире по стайерскому бегу. Седьмое — по штанге и гириям.

КИРИЧЕНКО. Спортсмен, значит? ГИЛЬЦПАРЕР. Так точно. Но не офицер.

ШТИЛЬМАН (Крафту, шопотом). Девочка, а?

КРАФТ. Тебе не достанется.

ШТИЛЬМАН. А не мешало бы...

КУЛЬКОВ (следующему пленному). Дальше!

ГАЛЬКРОНЕ. Рядовой 14 штрафного батальона 8-й дивизии, пожелавший по приказанию начальства искупить свою вину перед дорогим отечеством смертью храбрых на поле брани. Юлиус-Фридрих-Густав Галькрене, к вашим услугам, господин неприятель! (Это худой и высокий человек. Так худы, обычно, долго недоодевавшие или болевшие люди).

КИРИЧЕНКО (глядя в документ). Совпадает. За что попали в штрафные?

ГАЛЬКРОНЕ. Наследственный алкоголизм, господин неприятель.

КУЛЬКОВ. И вы офицера не знаете?

ГАЛЬКРОНЕ. Так точно, не знаю. Угостите русской папиросой, господин неприятель!

КИРИЧЕНКО (протягивая портсигар). Берите.

ГАЛЬКРОНЕ. Гигантская благодарность! (Возвращаясь на место — Эмме.) Какой ветер занес вас сюда, фея?

ЭММА. Я не фея. Я — Эмма.

ГАЛЬКРОНЕ. Тем более.

КУЛЬКОВ. Замолчите, пленный.

ГАЛЬКРОНЕ. Замолкаю.

ШТИЛЬМАН (Крафту, шопотом). Что я тебе говорил?

КРАФТ. Да...

КУЛЬКОВ (пленным). Можете сидеть.

(Пленные садятся).

КУЛЬКОВ (*Кириченке*). Каторжный народ! Видал — все шестеро рядовые! КИРИЧЕНКО. А. может, Петя, в тылу разберутся?

КУЛЬКОВ. Надо сопроводительный список составить. Нехорошо — напишем, есть офицер, а кто он — не узнали.

ЭРНЕМАН (*Кулькову*). Скажите, господин красноармеец, нас скоро отправят в тыл?

КУЛЬКОВ. Своевременно. А вы что, торопитесь?

ЭРНЕМАН. Будет очень обидно, если меня ранят после того, как я попал в плен.

КУЛЬКОВ. Не беспокойтесь.

(*Синий квадрат наверху на мгновение меркнет — широкий силуэт повара Генералова заслоняет небо. В одной руке у Генералова ведро, в другой — бачок и хлеб. Левая щека подвязана*).

ГЕНЕРАЛОВ (*мрачно*). Ну, ты, директор ковысиных нор, получай обед!

КИРИЧЕНКО. Что принес?

ГЕНЕРАЛОВ. Бламанже не поспело! Обойдешься котлетами с гречневой кашей. Осколок в каше найдете — выкиньте. Не я стрелял.

КУЛЬКОВ. Горячо?

ГЕНЕРАЛОВ. Я ж говорю — бламанже растаяло.

КУЛЬКОВ. Что там?

ГЕНЕРАЛОВ. Две контратаки. Ничего, отбили. А снарядов у них, видно, много.

КУЛЬКОВ. Ну, у нас на два больше.

ГАЛЬКРОНЕ (*мрачно, Крафту*). Им принесли обед. А у меня от голода в животе играет сводный оркестр под управлением Вагнера.

КРАФТ. Поидется поголодать...

ГАЛЬКРОНЕ. Кушать надо всегда.

ГЕНЕРАЛОВ. Берите обед. некогда мне с вами тут. (*Увидев Эмму*.) Дамское общество? Они что — с женами в плен сдаются?

КИРИЧЕНКО. Пряталась здесь. Ну и оставили.

ГЕНЕРАЛОВ. А что там делается! Штурмовики — сверху, танки подавили их пулеметные гнезда к чортовой матери, а мы поливаем, поливаем, поливаем.

Головы поднять не могут! Вот она — пехота!

КРАНЦ (*робко*). Пехота — королева боя, как справедливо заметил генерал Клаузевиц.

ГИЛЬЦПАРЕР. Здесь не только пехота. Это — одновременное подавление глубины всей нашей обороны.

КИРИЧЕНКО (*схватил Кулькова за руку*). Этот!

КУЛЬКОВ. Найдем!

ГЕНЕРАЛОВ. Такой огонь, даже зубы перестали болеть.

КИРИЧЕНКО. Важные у тебя зубные врачи!

ГЕНЕРАЛОВ. Смейся, смейся, вот заболят — узнаешь. Ну, счастливо! (*Ушел*.)

КУЛЬКОВ. Садись обедать, пленные.

ГАЛЬКРОНЕ. Быть не может!

КРАФТ. Садись обедать, солдаты.

КУЛЬКОВ. Слушайте, унтер, кончайте это дело. Здесь команду я!

КРАФТ. Я только повторяю вашу команду.

КУЛЬКОВ. И этого не надо.

КРАФТ. Слушаю.

(*Люди пошли к столу. Галькроне успел уже заглянуть в ведро и бак*).

ГАЛЬКРОНЕ. Какой обед! И как много! Сказка на 200 персон. Если это будет ежедневно — мой желудок перейдет на сторону щедрого врага!

КИРИЧЕНКО (*Эмме*). Садитесь и вы, барышня.

ЭММА. О, я вас стесню, господин!

КУЛЬКОВ. Еды у нас хватает.

ЭММА. Спасибо, господин солдат. Я вымою потом посуду.

ГАЛЬКРОНЕ. Могу вас успокоить — после меня посуду мыть не придется.

КУЛЬКОВ (*сидясь, пленным*). Ешьте!

(*Пленные начали есть*).

ШТИЛЬМАН У нас никогда днем не приносили обед.

КУЛЬКОВ (*равнодушно*). А у нас — всегда.

ГАЛЬКРОНЕ. Кушать надо всегда.

КУЛЬКОВ. Правильно. Желудок — это фактор.

КИРИЧЕНКО. Как сказал профессор Петр Кульков — бытие определяет сознание.

КУЛЬКОВ (*улыбнулся*). Понимаешь... Я когда в техникум поступал, забыл эту формулу и сказал: занятие определяет понятие. Про это в газете писали.

ГАЛЬКРОНЕ. Можно сказать, господин неприятель? (*Кульков кивнул*). Обед требует, по-моему, небольшой рюмки предварительно.

КУЛЬКОВ (*пожав плечами*). Еще, может, оркестр вызвать?

ГАЛЬКРОНЕ (*серьезно, кивнув в сторону выхода*). А чем плох этот любительский джаз?

ГИЛЬЦПАРЕР (*медленно вытягивает из кармана плоскую флягу*). У меня есть немного. Я был бы рад поделиться со всеми.

КУЛЬКОВ. Это что?

ГИЛЬЦПАРЕР. Коньяк...

КУЛЬКОВ. Давайте сюда!

ГИЛЬЦПАРЕР (*замявшись, подает флягу*). Там хватило бы всем.

(*Люди провожают флягу жадными взглядами*).

ГАЛЬКРОНЕ (*тихо*). Да, но он выпьет ее один...

КУЛЬКОВ. Будет возвращено в тылу.

ГАЛЬКРОНЕ. Можно сказать? Последняя моя довоенная профессия приучила меня к сдержанности и трезвости. Да будет!

КУЛЬКОВ (*ему хочется разрядить атмосферу*). А какая она была, ваша последняя профессия?

ГАЛЬКРОНЕ. Ставлю свои уши, что никто не угадает.

ШТИЛЬМАН. Он был обезьяной в бродячем цирке.

ГАЛЬКРОНЕ (*медленно, наслаждаясь эффектом*). У меня была небольшая фабрика.

КРАФТ (*фыркнув*). Фабрика вшей!

ГАЛЬКРОНЕ (*с достоинством*).

Нет, табачная фабрика.

КИРИЧЕНКО. И плантации свои были?

ГАЛЬКРОНЕ. О, табак у меня был прекрасный!

ГИЛЬЦПАРЕР. Ты его крал?

ГАЛЬКРОНЕ. Нет, зачем же? (*Пауза*.) Я собирал на улицах окурки, высыпал из них табак, набивал папиросы и торговал ими.

(*Общий смех*).

ЭММА. О, а я вам поверила!..

ГАЛЬКРОНЕ (*он заготовил потрясающую остроуту*). Я могу вам только сказать, что...

(*Дикий, неистовый грохот взрыва. Полная темнота. Исчез синий квадрат неба в дверях. В затихающем гуле взрыва неистовый крик. Его не может заглушить громкая возня в подвале*).

ГОЛОС КИРИЧЕНКО. Молчать!

КУЛЬКОВ. Назад! Назад, говорю! Кириченко, спичку!

(*На сцене возник едва ощутимый свет, намечающий только силуэты. Постепенно наметились застывшие фигуры: Кульков, нагнувшись вперед на ступенях лестницы, направил винтовку на пленных. Кириченко — в центре погребка — застыл, высоко подняв зажженную спичку. Эмма упала лицом на ступени. Гильцпарер стоит у стены совершенно прямо. Штильман остановился, не закончив прыжка. Крафт сжался в комок. Крафт стоит, бессмысленно поглаживая руку. Не видно Эрнемана и Галькросне*).

КУЛЬКОВ. Фонарь!

(*Спичка погасла. Шорох. И снова вспыхнула спичка в руках у Крафта*).

КУЛЬКОВ. Фонарь! Быстро!

КИРИЧЕНКО. Петя, что ж это?..

КУЛЬКОВ. Дай фонарь!

КИРИЧЕНКО (*медленно*). Выходит — пропали, Петя?

КРАФТ (*проходя в угол к фонарю*). Влипли...

КУЛЬКОВ. Не шевелись, пока света не будет.

КИРИЧЕНКО (*медленно*). Выходит — пропали, Петя?

КУЛИКОВ. Боец Кириченко — два наряда вне очереди!

КИРИЧЕНКО. Есть два наряда вне очереди... Петро!

(*Крафт зажигает фонарь*).

ЭММА (*она медленно подняла голову, она ничего не сообщает*). Что? Что это?

КУЛЬКОВ (жестко). Молчать!

ЭММА. Боюсь! (Это визг, истерика, которая сейчас разразится.)

КИРИЧЕНКО (спокойно). Перестаньте.

ЭММА. Боже мой!.. Боже мой!..

КУЛЬКОВ. Все живы?

КРАФТ (медленно). Очевидно, все.

КУЛЬКОВ (оглядывая пленных). Гильшпарер, Штильман, Крафт, Кранц — здесь, Эрнеман?

(Тишина).

КУЛЬКОВ. Эрнеман!

(Эрнеман медленно выбирается из-за ящиков).

КРАФТ (плюнул). Эрнеман?

(Легкий смешок прокатился и сразу погас. Но этого достаточно для Эрнемана. Он вскочил и кинулся к двери).

ЭРНЕМАН (на-бегу). Я знаю! Мы в могиле! Это смерть, братья! Нас завалило! Мы погибнем здесь! Я не хочу!

КУЛЬКОВ (подошел вплотную к Эрнеману). Если ты не замолчишь — я тебя...

ЭРНЕМАН (сразу обмякнув). Хорошо. (Зашептал.) Я молчу, молчу, молчу...

ГАЛЬКРОНЕ (выбираясь из-за ящиков). Как тебе не стыдно, Эрнеман, успокойся!

(Истерический смех. Он очень недолг и снова — тишина).

КРАФТ. Герой!

ГАЛЬКРОНЕ (оправдываясь). Я по крайней мере не бросался к выходу, как идиот.

КРАФТ (Кулькову). Посмотрим, русские, что это?

КУЛЬКОВ. Пошли!

(Кульков и Крафт при общем молчании и неподвижности проходят к лестнице. Провожаемые взглядами всех, они идут вверх).

ЭРНЕМАН (бормочет). Я молчу, молчу, молчу...

КРАФТ (сверху). Завалило основательно. В домишко, видимо, стукнул тяжелый снаряд.

КУЛЬКОВ. И по звуку, и по работе видно. А держит крепко.

КРАФТ. Вниз не посыпется. Но и вверх выбраться... (сделал шаг вниз) невозможно.

ЭММА (она вдруг встала). Это наш дом обвалился? А мама? (Бросается к Крафту.) А моя мать?..

КРАФТ (неуклюже гладит Эмму по голове). Ну ничего, ничего.

ЭММА (сквозь слезы). Что ж это такое, что ж это такое?

КИРИЧЕНКО (неуклюже). Не плачьте, честное слово, не надо. Живы-здоровы, — вот и ладно, серьезно... Не надо плакать.

ЭММА (сквозь слезы). Я не хочу так... я боюсь...

КИРИЧЕНКО (взял ее за плечи, отвел в сторону). Ты чего раньше времени плачешь? Сядь, успокойся, береги здоровье.

ЭММА (всхлипывая, идет за Кириченко). Я пришла за капустой...

(Молчание).

КУЛЬКОВ (внимательно оглядев пленных). Давайте разберемся.

КРАФТ. Я думаю, что какая-нибудь каналья ударила по дому бертой...

ШТИЛЬМАН. И дом рухнул.

КРАНЦ. Начнем копать?

КРАФТ. Отсюда только тронь — все завалится. Скажи спасибо, что все вниз не посыпалось.

ЭРНЕМАН. А сейчас? Сейчас?

КУЛЬКОВ. Эмма, когда дом строили?

ЭММА. Три года назад. (Всхлипнув.) Бог мой!

КУЛЬКОВ. Выдержит погреб.

ШТИЛЬМАН. Застражи. Посидим здесь, как...

КУЛЬКОВ. Насчет этого не беспокойтесь. Ночью обстрел утихнет, вызвонят саперов.

ЭРНЕМАН. Из-за двух человек не станут вызывать саперов.

КУЛЬКОВ. Нас здесь не двое, а девять. На свой аршин не мерьте.

ЭРНЕМАН. Может быть...

ШТИЛЬМАН. Если б это было у нас... на юге... Там у нас в погребах всегда проводится длинный ход — хранить вино.

ЭРНЕМАН (вскакивая). А здесь?..

КРАФТ. Здесь нет виноградников.

ЭРНЕМАН. Здесь тоже должен быть... Обязательно должен быть... (Кулькову.) Умоляю вас... разрешите нам поискать... поискать выход.

КУЛЬКОВ. Что ж, ищите. Ищите, ребята.

КИРИЧЕНКО. Ребята?... Эх, Петя, придется нам с тобой тут детский сад открывать — жидкий они народ!

КУЛЬКОВ. Пусть ищут. Дело в руки дать надо.

ЭРНЕМАН. Разрешите, мы осматриваем нишу?

КУЛЬКОВ. Идите. (Штильман, Крафт и Эрнеман ушли в нишу).

ГАЛЬКРОНЕ (пошел к ящикам). Помогите, парни. Гильцпарер, ты силен, как вол. Пойдем, перебросим дрова.

ГИЛЬЦПАРЕР (угрюмо). Пойдем. Только едва ли в этом есть смысл.

КУЛЬКОВ (Эмме). Помогите и вы, барышня!

ЭММА (медленно пошла к Галькроне). Хорошо. Я попробую.

КУЛЬКОВ. Кажется, малость успокоились?

КИРИЧЕНКО. Детский сад?

КУЛЬКОВ. Сумасшедший дом лучше?

ГИЛЬЦПАРЕР (Галькроне). А теперь постучи.

ГАЛЬКРОНЕ. Головой о стену?

КУЛЬКОВ. Попродержите-ка язык, пленный!

ГИЛЬЦПАРЕР (подходя). У вас есть гранаты?

КУЛЬКОВ. Что?

ГИЛЬЦПАРЕР. Если подложить связку гранат — тогда одно из двух: либо вырвемся на волю, либо...

КУЛЬКОВ. Инженер вы, я вижу, неважный.

ГАЛЬКРОНЕ. Когда ты останешься здесь один, взрывайся в полное удовольствие.

ГИЛЬЦПАРЕР. Другого пути наверх нет.

(Из ниши медленно выходит Штильман. Садится.)

КУЛЬКОВ (Штильману). Как?

ШТИЛЬМАН. Ни черта. (Уронил голову.)

КИРИЧЕНКО. Подберите слюни, пол замараете.

КРАФТ (выходя следом за Штильманом в нишу). Хорошо. (Кулькову.) Там нет выхода, русский.

КРАНЦ. Я обыскал все... (Сел.)

ЭРНЕМАН. За ящиками — ничего. Камень и камень.

ЭММА (робко). Я помню... Когда строили этот дом, говорили, что фундамент придется опустить очень глубоко.

ЭРНЕМАН. Значит...

КУЛЬКОВ. Ничего не значит! Искать надо!

КРАФТ. Не надо. Не надо нас мочить, русский. Здесь, в конце-концов, все солдаты. Скажем прямо — выхода нет.

ШТИЛЬМАН. Надо сидеть и ждать.

ЭРНЕМАН. Чего ждать? Смерти?

КРАФТ. Заткнись! Противно!

КИРИЧЕНКО. Смотрю я на вас — и смешно мне. Коего чорта распускаетесь?

ЭРНЕМАН. Молчу, молчу, молчу...

ЭММА. Господи, господи...

ГИЛЬЦПАРЕР. Надейся на господя, но помни, кто ты.

ЭММА. Я буду просить господя о своих братьях.

ГАЛЬКРОНЕ. Мышеловка сделана прочно. Ничего, мы хорошо сохранимся.

КРАФТ. Есть шутки, за которые бьют по морде.

КРАНЦ. Смерть — всегда смерть...

КИРИЧЕНКО. А еще учитель!

КРАНЦ. Я объективен. И я мужичина. Я вижу опасность и гляжу ей в глаза.

КИРИЧЕНКО. А я, по-вашему, замурился, что ли?

КРАНЦ. Не знаю...

ЭРНЕМАН (истерически). Я хочу есть! Дайте мне сухарь!

ГАЛЬКРОНЕ. Мудро. Кушать надо всегда.

КИРИЧЕНКО. Возьмите хлеб. На ящике.

ЭРНЕМАН. Нет, я хочу сухарь!

КУЛЬКОВ (протянул сухарь). На, чудак!

ЭРНЕМАН (*схватил сухарь, надкусил его, потом положил обратно*). Нет, не хочу. Показалось...

КИРИЧЕНКО (*Кулькову*). Психует парень.

ГИЛЬЦПАРЕР. Успокойтесь, Эрнеман. Берите пример с девушки.

ЭРНЕМАН. Я молчу, молчу, молчу...

ЭММА (*медленно опускаясь на колени*):

Благословенна будь ты, Мария,
Исполненная благодати,
Господь да будет с тобой.
Ты — благословенная среди жен
И благословен плод чресел твоих —
Младенец Иисус.
Святая Мария, мать божья,
Моли бога за нас,
Бедных грешников,
Ныне и в час нашей кончины.
Амен...

(*Упала наземь, заплакала*).

КРАНЦ (*благоговейно*). Амен...

ШТИЛЬМАН. Ныне, в час нашей кончины, чорт возьми!

ЭРНЕМАН (*истерически, упав на колени*). Ныне, в час нашей кончины! Слышишь, Гильц? В час нашей кончины!

ГИЛЬЦПАРЕР (*глухо*). Слышу — в час нашей...

КУЛЬКОВ. Прекратить балаган!

ГИЛЬЦПАРЕР. Балаган?.. Я хочу жить! (*Бросился к Кулькову*).

ЭРНЕМАН (*не поднимаясь с колен, ползет к Кулькову*). Я молчу, молчу, молчу...

КУЛЬКОВ (*поднимая винтовку*). Прекратить!

(*Штильман одним прыжком бросается к Кулькову и хватает его за винтовку*).

КИРИЧЕНКО. Стой, скаженные! Стрелять буду! (*Спокойнее*). Холодком. (*Люди остановились на полудвижении*).

КУЛЬКОВ. Смирно! (*От привычного окрика люди подтянулись*).

КУЛЬКОВ. Крафт!

КРАФТ (*мрачно*). Виноват...

КУЛЬКОВ. Кранц!

КРАНЦ. Я здесь.

КУЛЬКОВ. Учитель, спокойствие. Спокойно, учитель. Штильман!

ШТИЛЬМАН. Я здесь. Но я хотел бы не быть здесь, будьте вы прокляты с вашей войной!

КРАФТ. Стыдно, солдат! Слюни распустил.

ШТИЛЬМАН. Не буду.

КУЛЬКОВ. Гильцпарер!

ГИЛЬЦПАРЕР. Я уже. Я уже взял себя в руки.

КУЛЬКОВ. Эрнеман! Если ты...

ЭРНЕМАН. Я молчу, молчу, молчу...

КИРИЧЕНКО (*зло*). Ну и молчи! (*Кулькову, негромко*). Положение, конечно, незавидное. Ждать да не верить — невесело. А только, Петя, больно уж у них паника-то организованная.

КУЛЬКОВ. Это ты верно. Мутят их...

КИРИЧЕНКО. Теперь на особый отдел рассчитывать нечего.

КУЛЬКОВ. Да. Надо — самим. Мутит, подлец!

КИРИЧЕНКО. Что ж, их офицер — дурак, что ли? Он-то ведь наш устав читал — понимает, что его не тронут. Сказался бы, и все?

КУЛЬКОВ. Многое, видно, знает. (*Помолчав*). Если мы с тобой офицера найдем и изолируем, солдаты говорить начнут. Они тебе побольше офицера расскажут — по добру-то.

КИРИЧЕНКО. Надо искать, Петя. А то зря просидим здесь. Разрешите, я тут одного...

КУЛЬКОВ. Кого?

КИРИЧЕНКО. Труса этого. Он, пожалуй, сразу скажет.

КУЛЬКОВ. Без угроз только.

КИРИЧЕНКО. Что ты, товарищ Кульков! (*Эрнеману*). Подите сюда!

ЭРНЕМАН. Здесь, господин красноармеец.

КИРИЧЕНКО. Вы — офицер?

ЭРНЕМАН (*испуганно*). Клянусь богом... клянусь богом!

КИРИЧЕНКО. Я имею сведения. Вы лучше сознайтесь.

ЭРНЕМАН. Какие... какие могут быть у вас сведения? Если вам сказали — это ложь...

КИРИЧЕНКО. Кто ж тогда офицер?

ЭРНЕМАН. Клянусь всемогущим богом... Я вчера прибыл... Я...

КИРИЧЕНКО. Не знаете?

ЭРНЕМАН. Я не знаю... мне кажется...

КИРИЧЕНКО. Что кажется?

ЭРНЕМАН. Вы не скажете ребята там?

КИРИЧЕНКО. Давай, давай...

ЭРНЕМАН. Мне кажется, что Галькроне... Он слишком смешной. Я его первый раз вижу.

КУЛЬКОВ (*Эрнеману*). Садитесь. (*Галькроне*.) Идите сюда!

ГАЛЬКРОНЕ (*подходя*). Иду сюда, парень.

КУЛЬКОВ (*протягивая Галькроне полую книжку*). Ваша?

ГАЛЬКРОНЕ (*вытягиваясь*). Правильно. Моя. Я — обер-генерал-кашевар.

КУЛЬКОВ (*сурово*). Говорите толком — ваша?

ГАЛЬКРОНЕ. Вы... это серьезно?

КУЛЬКОВ. Говорите толком — ваша?

ГАЛЬКРОНЕ. Не моя.

КИРИЧЕНКО. Врете, офицер. Книжка ваша!

ГАЛЬКРОНЕ. Вы решили это?

КУЛЬКОВ. Не притворяйтесь! Покажите белье.

ГАЛЬКРОНЕ (*растегивая гимнастерку*). На, смотри — носят такое белье офицеры?

КИРИЧЕНКО. Носят. Когда надо — носят.

ГАЛЬКРОНЕ (*только сейчас по-настоящему ощутил ужас своего положения*). Парни... Солдаты... Какой же я офицер? Откуда вы взяли?..

КУЛЬКОВ. Сорока на хвосте принесла. Говорите прямо!

ГАЛЬКРОНЕ. Я не офицер.

КУЛЬКОВ. Вас ваши солдаты выдали. Понятно?

ГАЛЬКРОНЕ. Наши солдаты?

КИРИЧЕНКО. Взяло?

ГАЛЬКРОНЕ. Спросите их! Спросите их вместе и порознь — это же бессмыслица!

КУЛЬКОВ. В партии состоите?

ГАЛЬКРОНЕ (*тихо*). Бог мой... бог мой...

КУЛЬКОВ. Я спрашиваю: в партии фашистской состоите?

ГАЛЬКРОНЕ (*круто повернувшись*). Крафт, старик, скажи им. Ты же знаешь — солдат я! (*Красноармейцам*.) Я солдат, понимаете, солдат штрафного батальона!

КУЛЬКОВ. Крафт! Сюда!

КРАФТ (*медленно подходит*). Я здесь.

КУЛЬКОВ. Этот человек — офицер?

КРАФТ (*долго молчит*). Не знаю. Он не моего взвода.

КУЛЬКОВ. Значит, он офицер?

КРАФТ (*угрюмо*). Не знаю. Быть может.

ГАЛЬКРОНЕ. Ладно. Чорт меня возьми! Я — главнокомандующий. Больше того — я премьер-министр! Я — господь Саваоф!

КУЛЬКОВ. Спокойно, бог Саваоф. До всего доберемся.

ГАЛЬКРОНЕ (*Крафту*). Крафт, еще вчера — чего там — еще сегодня я был у тебя во взводе. Сегодня утром я чистил сапоги тебе и лейтенанту. Что ты говоришь?

КРАФТ (*еще угрюмей*). Сказать можно многое.

ГАЛЬКРОНЕ. Обождите... Ребята, вашего я взвода или нет?

КИРИЧЕНКО. Без демагогии.

ГАЛЬКРОНЕ. Нет, спросите их! Спросите! Я не хочу быть офицером!

КУЛЬКОВ. Чей же это тогда документ? Кто здесь офицер? Я, что ли?

ГАЛЬКРОНЕ. Я... (*Осекся под тяжелым взглядом одного из пленных*.) Я... не знаю...

КИРИЧЕНКО. Вы говорили, что это — ваш взвод. Значит — вы должны знать каждого. А если вы знаете каждого — как же вы не знаете, кто здесь офицер?

ГАЛЬКРОНЕ (*новая надежда появилась у него*). Хорошо. Хорошо. Пожалуйста. Я офицер. Посмотрите мои руки — бывают такие руки у офицера?

КИРИЧЕНКО. Отчего же. Бывают.

КУЛЬКОВ. Покажите руки.

ГАЛЬКРОНЕ. На, смотри! На моих руках труд и голод. (*Рванул гимнастерку.*) На, смотри! У меня торчат ребра, как у старой собаки.

КИРИЧЕНКО (*индифферентно*). Кто вас знает — у вас, может, язва какая от пьянства. Вот и худой.

КУЛЬКОВ. Какая у вас была профессия до войны?

ГАЛЬКРОНЕ (*загибая пальцы*). Шофер...

КИРИЧЕНКО. Своей машиной управляли?

ГАЛЬКРОНЕ. Я был подметальщиком в музее.

КУЛЬКОВ. Так. А еще?

ГАЛЬКРОНЕ. А еще я открывал автомобильные дверцы. Был сторожем. Был певцом в бродячем хоре, собирал окурки, был шахтером...

КУЛЬКОВ. Шахтером? Кем именно?

ГАЛЬКРОНЕ. Саночником.

КУЛЬКОВ. Саночником?

ГАЛЬКРОНЕ. Мы входили в клеть, и нас несло вниз, а потом два километра вверх, вниз, по штрекам, на место работы.

КУЛЬКОВ. А дальше?

ГАЛЬКРОНЕ. А дальше я тащил почти на брюхе салазки к коногонам. А к вечеру так ныло плечо!

КУЛЬКОВ (*настороженно*). Какое?

ГАЛЬКРОНЕ. Левое. Правая рука себе нужнее.

КУЛЬКОВ (*Кириченко*). Верно. Шахтером он был.

КИРИЧЕНКО. Верно?

КУЛЬКОВ. Факт! Когда я на метро по механизации лавы работал, я у стариков справлялся, как оно раньше было. (*Галькросне.*) Можете быть свободны.

ГАЛЬКРОНЕ. Прощай, мечты! Фридрих-Юлиус-Густав Галькросне вновь возвращен в рядовые.

КУЛЬКОВ. Слушайте, Галькросне. Вы как-никак — рабочий. Скажите толком — кто офицер?

ГАЛЬКРОНЕ. Я... не знаю.

КУЛЬКОВ. Идите (*подчеркивая*) к своим.

ГАЛЬКРОНЕ (*горячо*). Я не знаю, парни, честное слово, не знаю!

КУЛЬКОВ. Эрнеман!

ЭРНЕМАН (*подходя*). Здесь!

КУЛЬКОВ. Зачем соврал?

ЭРНЕМАН. Я не соврал. Я сказал — я так думаю, что это — он. И как я могу знать, кто офицер, кто нет? Своего офицера я знаю. А чужих...

КУЛЬКОВ. Так. А может, вы сами — офицер?

ЭРНЕМАН. Ой, нет, нет! Вы знаете.

КИРИЧЕНКО (*зайдя сзади, шепнул над ухом Эрнеману*). Лейтенант! (*Эрнеман не шевельнулся.*) Нет, не этот. У него в чеопушке материала мало.

КУЛЬКОВ. Идите.

ЭРНЕМАН. Я иду, иду. (*Ушел на место.*)

ГАЛЬКРОНЕ (*Эрнеману глухо*). Спасибо.

ЭРНЕМАН. Это — не я... Не я...

ГАЛЬКРОНЕ (*упрямо*). Спасибо.

КУЛЬКОВ. Да. Муштруют-то как — пикнуть боятся.

КИРИЧЕНКО. Не простая это птица, Петя.

КУЛЬКОВ. Они-то его все знают. Один это взвод. Не бывает так, чтоб чужой офицер в бой вел. А молчат. (*Молчание.*)

КРАНЦ (*робко*). Разрешите спросить... господин красноармеец?

КУЛЬКОВ. Ну?

КРАНЦ. Видите ли... Я хотел бы спросить... Поскольку все мы, по-человечески говоря, оказались в таком безвыходном положении... Для нас с вами война кончилась, понимаете ли...

КИРИЧЕНКО. Интересно!

КРАНЦ. Мы здесь все — люди, просто люди. И не все ли равно, кто был офицером, а кто солдатом? Все мы здесь — одинаковые люди перед лицом неизбежности.

КУЛЬКОВ (*строго*). Здесь все должно быть так, как было бы наверху. Я его найду. Он здесь мутить не будет!

КРАНЦ. Неужели вы думаете, что человек, обреченный на гибель здесь, в этом проклятом каменном мешке, будет думать о том, как... как мутить?

КИРИЧЕНКО. Врага посади не то что в подвал, а в самый центр земли — он и там какую ось найдет, чтоб вредить.

КРАНЦ. Не знаю. Не понимаю. Извините меня, но это — безрассудная ненависть. Был офицер — и остался только человек. Разве важны чины и титулы здесь, под землей?

КИРИЧЕНКО. Восемь часов пятнадцать минут, Кульков.

КУЛЬКОВ. Правильно! Внимание! Приготовить противогазы! Кончай курить!

КРАФТ (вполголоса, пленным). Кончай курить! Приготовь противогазы!

(Движение: люди приготовили противогазы).

ЭММА. А я?.. Господи! Господи! (Подбежала к Кулькову.) Умоляю вас... умоляю вас...

КУЛЬКОВ (Кириченке). Выдай ей маску. Из запаса.

КИРИЧЕНКО (Эмме). Иди сюда. (Подумав.) Маруся!

ЭММА. Господь воздаст вам... Господь воздаст вам...

КИРИЧЕНКО (помогая ей надеть противогаз). Суй личико и дыши носом. И не реви — стекла запотеют. Не бойся — молись своему небесному начальству и сиди камешком. Ну вот! (Распяливая на пальцах свой противогаз.) Ого! Кульков, опечатка вышла — мой-то... коробка пробита.

КУЛЬКОВ. Покажи. (Взял, поглядел.) Пробита, говоришь? Нет, пробиты!

КИРИЧЕНКО (Кранцу). Все здесь люди? (Кулькову.) Восемь часов семнадцать, Петя.

КУЛЬКОВ (пленным). Кто из вас офицер?

(Молчание).

КУЛЬКОВ. Молчите? Дело ваше. Отвечать будет старший. Унтер-офицер Крафт, тебя спрашиваю... (Крафт молчит.) Молчишь? (Вскинул винтовку, доведя штык почти до груди Крафта.) Отдай противогаз!

КРАФТ (медленно). Отдать противогаз?

КУЛЬКОВ (доведя штык до груди). Быстрее! Бери, Кириченко!

КРАФТ. На, убийца!

(Эмма упала на колени).

КИРИЧЕНКО (забирая противогаз у Крафта, жестко). А ты... возьми у своего офицера.

КРАФТ. Я...

КРАНЦ (глухо). Прощай, Крафт...

КРАФТ. Я... молчу.

КУЛЬКОВ. Надеть противогазы!

КИРИЧЕНКО. Восемь часов девятнадцать...

(Люди надевают противогазы. Кульков еще ждет).

КРАФТ (обводит всех тусклым взглядом). Какие вы все... одинаковые...

КУЛЬКОВ (Крафту). Скажешь?

КРАФТ (глухо). Нет.

КУЛЬКОВ (медленно подносит противогаз к лицу). Дело твоё.

КРАФТ. Это... это...

КУЛЬКОВ (сухо, надевая противогаз). Это — война!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Все тот же подвал. Коптит тусклый фонарь. Люди спят — или делают вид, что спят. КИРИЧЕНКО сидит под фонарем с винтовкой, тихонько напевая:

КИРИЧЕНКО.

Гремит канонада, снаряд за
снарядом,
А сердце, как птица, поет.
Пехота, пехота, стрелковая рота
По пыльным дорогам идет.

Мы отдали жизни великой отчизне,
Нас время в атаку ведет.
Пехота, пехота, стрелковая рота
По пыльным дорогам идет!..

(Застонал во сне один из пленных).

ЭММА (вскочила). Что? Что?

КИРИЧЕНКО. Ничего. Спать надо, Маруся.

ЭММА. Спать? Я не могу спать. Я не хочу спать.

КИРИЧЕНКО (прошел к Эмме, ласково-наильно уложил ее, укрыл плотнее шинелью). Спи, говорят тебе. Экая ты!

ЭММА. Вы очень храбрый человек.

КИРИЧЕНКО. А ты — трусиха. Спи. Ночь еще.

ЭММА. Здесь все время ночь.

КИРИЧЕНКО. Эх ты, Эмма! (Отшел. Запел снова).

КИРИЧЕНКО.

Нам надо пробиться, дорога
струится,
И солнце над миром встает,
Пехота, пехота, стрелковая рота
По этой дороге идет.

ЭММА (*задумчиво*). Иона был во
чреве китовом, и господь вывел его от-
туда.

КИРИЧЕНКО. Господь — не гос-
подь, а люди выручают. Спи, тебе го-
ворят, неслух!

ЭММА. Какой сердитый!

КИРИЧЕНКО.

Пехота, пехота, стрелковая рота
По этой дороге идет...

КУЛЬКОВ (*встал. Потянулся. Кири-
ченко*). С добрым утром!

КИРИЧЕНКО. Чего и вам желаю!
Седьмой час только.

КУЛЬКОВ. Я и сам знаю. Как я
проснулся — так и шесть часов.

КИРИЧЕНКО. По тебе, что ли, в
полку часы проверяли?

КУЛЬКОВ (*улыбнулся*). А вы тут
ухаживаете, Карл Иванович.

КИРИЧЕНКО. Иди, иди, будиль-
ник!

(*Кульков вынул из мешка крем, щет-
ки, начал ваксить сапоги*).

КИРИЧЕНКО. И ты, видать, уха-
живать собрался?

КУЛЬКОВ. Закрой рот — надует.
(*Смолкли*).

КИРИЧЕНКО. Газа почему не было,
как ты думаешь?

КУЛЬКОВ. Ветер перемениться мог —
раз. Погнали их далеко — два. Навер-
ное, сообщение получили — три. Опять
над нами бой — четыре.

КИРИЧЕНКО. Хватит. Ты б еще до
шести, как тот будильник, досчитал.

КУЛЬКОВ. Сам меня спросил.

КИРИЧЕНКО. Я сам себя спро-
сил — вот что.

(*Молчат. В другом углу зашевели-
лись пленные*).

КРАФТ. Какие сволочи артиллери-
сты! Мало того, что они всю войну си-
дят в безопасном месте — они еще не
дают спать порядочным людям!

ШТИЛЬМАН (*в пространство*). Вот
уже, и ночь прошла, а нас все еще не вы-
тащили отсюда.

ГИЛЬЦПАРЕР (*лежа*). И не вытя-
нут, будь покоен!

ШТИЛЬМАН (*зло*). Иди к чорту!
Я сплю. (*Лег*).

ГИЛЬЦПАРЕР (*сел*). Ладно. Допу-
стим, что их сказка — не сказка. Допу-
стим, что нас вытащат отсюда. А
дальше?

ШТИЛЬМАН (*не поднимаясь*).
Твое «дальше» меня не беспокоит. Нас
отошлют туда, где не ранят и не убива-
ют. За тысячи русских верст отсюда.

ГИЛЬЦПАРЕР. А дальше? А по-
том, после войны?

ШТИЛЬМАН (*задумчиво*). Да...
мне обещали клочок земли... После вой-
ны. Теперь мне его, пожалуй, не дадут.

КРАНЦ. Не дадут. Давать будут ге-
роям. А пленные...

ШТИЛЬМАН (*робко*). Слушай, а
если...

ГИЛЬЦПАРЕР (*резко*). Иди к чор-
ту! Я сплю.

ШТИЛЬМАН (*со вздохом*). Да...
Пленные — не герои...

КРАФТ (*полулежа*). Помолчите —
я хочу опять заснуть.

КРАНЦ. Во сне ни о чем не ду-
маешь...

КРАФТ. Извините меня, но вы —
как блоха, Кранц. Ужалите — и отско-
чите. А потом зудит, будь оно про-
клято!

ГИЛЬЦПАРЕР. Зайцы тоже скачут.

КРАФТ (*побагровев, гневно*). Я не
заяц, ты это прекрасно знаешь! Если б
я кинулся отбивать у него свою мас-
ку — он бы меня прикончил.

КРАНЦ. Вы это объясните мне всю
ночь. Мне кажется, что это не оправда-
ние.

ГИЛЬЦПАРЕР. Так вам скажет в
свое время и командование. Если бы вы
кинулись — кинулись бы все. А вы по-
ступили, извините меня, как трус.

КРАФТ. Я не трус. Командование
это знает!

ГИЛЬЦПАРЕР. Если солдат не ра-
нен и попал в плен — он сволочь. Тем
более — унтер-офицер.

КУЛЬКОВ (*кончил чистить сапоги. Кириченко*). Сменить?

КИРИЧЕНКО. Сменяй.

(*Кульков сел с винтовкой. Кириченко начал чистить сапоги*).

КРАНЦ (*Крафту*). Отчего вы молчите?

КРАФТ. Я взвешиваю.

КРАНЦ (*задумчиво*). У вас будет запачканный формуляр. Там будет написано — нарушил воинский долг и сдался в плен. А таким, к сожалению, пенсия за выслугу лет не дают.

ГИЛЬЦПАРЕР. Взвесь уж ксгати и это.

КРАФТ (*Кранцу*). Вы можете быть довольны, блоха. Вы меня укусили в самое сердце.

КРАНЦ. Я не хотел вас обидеть. Я хотел вам добра. Меня мучит мысль о том, что верный солдат будет в конце-концов просить милостыню.

КРАФТ. Заткнитесь! (*Отвернулся.*)

КРАНЦ. Я хочу вам добра. (*Улегся снова.*)

КРАФТ. Что ж я, по-вашему, должен делать?

ГИЛЬЦПАРЕР. Тебе скажут.

КУЛЬКОВ (*Кириченко*). Кончил?

КИРИЧЕНКО. Никак нет. Сейчас.

Бриться буду, а потом подменю...

КУЛЬКОВ. Воды-то у нас...

КИРИЧЕНКО. А я — рассолом. Изпод капусты. Пошиплет, правда, зато дезинфекция.

КУЛЬКОВ. Одним словом, рассол — не роскошь, а гигиена?

КРАНЦ. Простите... Я, как педагог, внимательно изучаю движения человеческой души... Мне до сих пор казалось, что небрежность — это отличительное свойство русского человека, так гениально описанного Достоевским.

КУЛЬКОВ. А Пушкина и Горького вы читали?

КРАНЦ. Как же, читал. Но, видите ли, они не анатомировали душу так, как это делал Достоевский.

КУЛЬКОВ. Они предпочитали ее лечить.

КРАНЦ. Да... И у всех у них звучала тема добра и милосердия...

КУЛЬКОВ. Это зависит от того, как их читать.

КРАНЦ. Вероятно. (*Жадно.*) Знаете ли, я сейчас подумал, что вы, с вашей широкой русской душой, должны быть склонны к состраданию.

КИРИЧЕНКО (*бреясь*). Так и порезаться можно.

КУЛЬКОВ. Вы это, собственно, к чему?

КРАНЦ. Я говорю отвлеченно. И главное — всякий акт милосердия оплачивается добром там, наверху. Делать добро приятно так же, как передавать знания.

КИРИЧЕНКО. На каком это наверху? На небе или на земле?

КУЛЬКОВ. А у вас плохое ухо, учитель.

КРАНЦ. Простите, я вас не понимаю.

КУЛЬКОВ. Неужели вы не слышите, что это не наши орудия бьют по вашей деревне, а ваши орудия бьют по нашей деревне?

КРАФТ (*Гильцпареру, шопотом*). Он думает, что наверху...

ГИЛЬЦПАРЕР (*убежденно*). Не может быть! Наверху — наши.

КРАФТ. Это очень меняет дело.

КРАНЦ. Добром с ними ничего не сделаешь. Это ужасно!

КРАФТ. Вы что — хотите добра всем?

КРАНЦ. Добро и истина надпартийны.

ШТИЛЬМАН. У меня от ваших разговоров живот болит.

ГИЛЬЦПАРЕР. Что ж, мы их прекратим.

КРАФТ. И начнете отдавать приказания?

ШТИЛЬМАН. Это, во всяком случае, спокойнее.

(*На своей импровизированной постели сел вдруг Эрнеман*).

ЭРНЕМАН. Обожди, обожди... Я еще... (*Упавшим голосом.*) Господи!

ГАЛЬКРОНЕ. Я вижу — вас мучил кошмар?

ЭРНЕМАН. Кошмар? Нет, Галькросне. Я видел дивный сон.

ГАЛЬКРОНЕ. С бабой?

КРАНЦ (*вмешиваясь в разговор*). Вы пошляк, Галькросне. Вы не понимаете

те, что ночью душа, освобожденная от бремени будней, парит в бесконечности.

ГАЛЬКРОНЕ. Еще немного — и вы заговорите стихами, учитель.

ЭРНЕМАН (*Кранцу, вежливо*). Как вы думаете, сколько времени девушка может ждать своего жениха?

ГАЛЬКРОНЕ. Один день или всю жизнь. Середины не бывает.

ЭРНЕМАН (*задумчиво*). Я видел ее во сне... Я видел во сне свою невесту.

ГАЛЬКРОНЕ. Нормальный сон физически здорового человека.

ЭРНЕМАН (*не слушая*). Моя Эрна подходит ко мне. Она идет по воздуху...

ГАЛЬКРОНЕ. Голая?

ЭРНЕМАН (*менторским тоном*). Кранц сказал уже тебе, что ты пошляк. Она подходит, она берет меня за руку и идет. И я иду за ней.

ГАЛЬКРОНЕ. По воздуху?

ЭРНЕМАН. Глупый человек! И мы идем легко и радостно через этот подвал, через подземный ход. И мы видим дневной свет, понимаете, дневной свет!

КРАНЦ (*серьезно*). Дневной свет... Его хорошо увидеть. Даже во сне. (*Вдохновенно*.) Это — вещий сон, Эрнеман, говорю я вам! Здесь есть второй выход. (*Упавшим голосом*.) Впрочем, ерунда!

ЭРНЕМАН. Да, жалко...

ГАЛЬКРОНЕ. Совсем свихнулся!

(*Проходит в левый угол и останавливается, наблюдая за бредущимся Кульковым*.)

КУЛЬКОВ (*Галькрене*). Что, не чисто? (*Улыбается*.)

ГАЛЬКРОНЕ. Ваш приятель отобрал у нас бритвы. Он, вероятно, думает, что это огнестрельное оружие.

КУЛЬКОВ. Не огнестрельное, но оружие. Все личные вещи в тылу вернут. А пока — могу предложить свою самобрейку.

ГАЛЬКРОНЕ. Спасибо, не буду. Если, конечно, не прикажете.

ШТИЛЬМАН (*Крафту, немного навивно*). Слушай-ка, быть может, побриться и нам?

ГИЛЬЦПАРЕР. Не все ли равно будет сатане — попадешь ты к нему бритый или небритый!

ШТИЛЬМАН. Ну вас всех к чорту!

КИРИЧЕНКО (*кивнув в сторону пленных*). Валяются. Непорядок. Лежачий человек — он полчеловека только. (*Молчание*).

КИРИЧЕНКО. Петя, выкопают нас скоро?

КУЛЬКОВ. Своевременно или несколько позже.

КИРИЧЕНКО. Ты подумай... Прешь — а кругом шопот: это какой Кириченко? Который в завале был и бритый вышел? Это, брат, в дивизионном масштабе!

КУЛЬКОВ. Бери выше — не иначе, как тебя в Москву пошлют. В музей. Вот, дескать, ископаемый человек.

КИРИЧЕНКО. Ну, чего ты смеешься.

(*Молчание*).

КУЛЬКОВ. Злые они спать легли. И злые встанут.

КИРИЧЕНКО (*достает иголку и подшивает воротник гимнастерки*). А с чего им добрыми быть?

КУЛЬКОВ (*кончил бриться, проходит к пленным*). Вот что, — сдавайте-ка воду.

(*Пленные быстро поднимаются*).

ШТИЛЬМАН. Сдавать воду?

КРАФТ (*пленным*). А мы — издыхай?

КРАНЦ. Я говорил...

(*Все вынимают фляги*).

КРАНЦ (*Гильцпареру*). Это... это хуже, чем с Крафтом!

ГИЛЬЦПАРЕР (*тихо*). Сегодня заберут воду, а завтра попросту пристукнут во сне.

ШТИЛЬМАН. Эх, выпью на прощанье! (*Подносит флягу ко рту*.)

КУЛЬКОВ. Положить на место!

ШТИЛЬМАН. Я хочу пить!

(*Кульков молча приподнял винтовку*).

ШТИЛЬМАН. Дела-а... (*Положил флягу*.)

ГИЛЬЦПАРЕР (*шопотом*). Кинуться бы на них и...

ЭРНЕМАН (*тихо*). Не отбирай воду!..

ГИЛЬЦПАРЕР. Командуй, Крафт!

КРАФТ (*делает шаг к Кулькову*). Я...

КУЛЬКОВ. Наверху — бой. Забыть нас здесь не забудут, однако же время пройти может. Ясно?

КРАНЦ. Ясно.

ГИЛЬЦПАРЕР. Вам ясно, Крафт?

КРАФТ. Да. Я...

КУЛЬКОВ (*остановив его жестом*). Значит — придется нам посидеть на пайке.

ЭРНЕМАН. Как это — на пайке?

КРАФТ. У меня оставалось много воды. Я пил осмотрительно.

КУЛЬКОВ. А у других — мало.

КРАФТ. Я не должен заботиться об остальных.

КУЛЬКОВ (*очень серьезно*). Вот что, парни, вы, должно быть, хорошие, но дисциплина у вас никуда. Будем воду делить на девять ртов — и точка.

ШТИЛЬМАН. На девять?

КУЛЬКОВ. А вы, небось, думали, что я все себе забираю?

ШТИЛЬМАН. Я — не думал.

ЭРНЕМАН. А почему девять?

Нас — восемь.

КУЛЬКОВ. А себя не посчитали?

ЭРНЕМАН. Почему? Шестеро нас и двое вас. Ах да... девочка...

КУЛЬКОВ. Не тряситесь, шорник.

ШТИЛЬМАН. Это несправедливо.

ЭРНЕМАН. Лишний рот...

КУЛЬКОВ. Ну и народ! Значит — так: по полкружки воды в день на душу. И хватит. (*Отошел к Кириченко.*)

ШТИЛЬМАН (*упрямо*). Лишний рот.

ЭРНЕМАН. Лишним ртом меньше — лишним днем больше.

ГИЛЬЦПАРЕР. Я думаю — здесь не один лишний рот.

ГАЛЬКРОНЕ. Твой рот сейчас во всяком случае лишний — заткни его!

ЭММА (*подняла голову*). Господа... Я хочу встать. (*Люди отвернулись.*)

ГАЛЬКРОНЕ. Берегись, Эмма, Крафт подглядывает!

КРАФТ (*вспыхнув*). Лопни мой глава, если я...

(*Засмеялись*).

ЭММА. Зачем вы смеетесь? Мне очень стыдно. (*Помолчав.*) Можно мне помолиться?

КРАНЦ (*негромко*). Бедная девочка...

(*Среди пленных движение*).

КУЛЬКОВ. Молись на здоровье!

(*Эмма беззвучно молится*).

ГИЛЬЦПАРЕР (*Крафту, шопотом*). Он сказал: когда Крафт закашляется — всем сразу кинуться на них.

КРАФТ. А потом?

ГИЛЬЦПАРЕР. Не твое дело! Так он ответил и мне.

КРАФТ. Сделаю. Остальные?

(*Эмма кончила молиться*).

КИРИЧЕНКО (*участливо*). Полетало?

ЭРНЕМАН (*искренно*). Помогите нам бог.

КИРИЧЕНКО (*Эмме*). Сколько суток провел Иона во чреве китовом?

ЭММА. Одну седмицу.

КИРИЧЕНКО. Терпеливый был парень!

ГАЛЬКРОНЕ. Интересно — был ли этот кит комфортабельнее нашего под-земелья?

КРАНЦ. У вас давно такой образ мыслей, Галькране?

ГАЛЬКРОНЕ. Давно, учитель.

ЭММА. Только господь может вывести нас из этого испытания.

КИРИЧЕНКО. Эх, Маруся!

ШТИЛЬМАН. Действительно... Здесь, в погребе, — сплошь апостолы и святые...

КРАФТ. Станет бог заботиться о всякой швали!

ЭММА. Не надо так говорить. Так нехорошо говорить. (*Показала на Кулькова*). Он — враг нашего бога, а встал, когда я молилась, а вы — верите и хвалите его святое имя.

ГАЛЬКРОНЕ. Э, девочка, бог слушает только то, что говорят порядочные люди.

ЭММА. Порядочные люди верят в бога.

КИРИЧЕНКО. Бога от страха выдумали.

КРАНЦ. Бог — это выражение веры в загробную жизнь, в бессмертие.

КИРИЧЕНКО. Путаете, учитель, бессмертные другой раз и в руки взять

можно. А жизнь эта загробная... (*Махнул рукой.*)

ГАЛЬКРОНЕ. Если бессмертие выглядит так, как его описывал полковой пастор, — я не беру билета на этот спектакль. Там скучно.

КУЛЬКОВ. Поняли, учитель?

КРАНЦ. Разрешите мне остаться при своем мнении.

КУЛЬКОВ. Пожалуйста. Вас к этому обязывает ваша философия.

КРАНЦ (*отходя, Крафту*). Он сказал...

КРАФТ. К чему эта конспирация? Мы с вами прекрасно знаем, кто он.

КРАНЦ. Он сказал — поговорить со всеми и действовать сейчас же.

КРАФТ. Война, будь она неладна!

ЭРНЕМАН (*вдруг вскочил*). Тише! Тише!

(*Смолкли все. Сверху послышался едва различимый шум.*)

КРАНЦ (*бросаясь к лестнице*). Копают!

КУЛЬКОВ (*прыгнул к лестнице*). Не подходи! Завалит!

(*Люди сгрудились кучей. Шум нарастает.*)

ШТИЛЬМАН. Нас... нас вытягивают отсюда?

(*Шум сильнее. Люди бросились к лестнице снова.*)

КУЛЬКОВ. Назад, дурни! Завалит! Рухнуть может!

КИРИЧЕНКО. Петя, уйди оттуда!

КРАФТ (*медленно, Кулькову*). Уйдите и вы оттуда, русский! (*Пленным.*) Не подходите к лестнице!

КУЛЬКОВ. Нет (*прислушался, упавшим голосом*), это танки, товарищи... (*Медленно ушел от лестницы.*)

КРАФТ (*прислушался*). Танки...

ЭРНЕМАН. Это ложь! Это не танки! Это ложь!

(*Люди тянутся к лестнице медленно, едва заметно. Гул нарастает. Теперь кинулись к лестнице все. И застыли в напряженных позах.*)

ЭММА (*закричала*). Ма-ма!

ЭРНЕМАН. Она права! Она права! Надо крикнуть всем... всем сразу! Нас услышат!

(*Громче гул. Он заполняет погреб. Люди кричат — хрипло, бешено. Но го-*

лоса их тонут в мощном грохоте танков, там, наверху. И — гул чуть тише. И — еще тише.)

ШТИЛЬМАН. Свиньи... Они ничего не слышат, кроме своего грохота!

ГАЛЬКРОНЕ. К чорту! Я ложусь спать. И горе тому, кто меня разбудит!

КУЛЬКОВ (*Кириченко*). Я полежу. Ты покараулишь?

КИРИЧЕНКО. Петя?

КУЛЬКОВ. Обидно. (*Помолчав.*) Я полежу, Кириченко. Устал. Если что — буди.

КИРИЧЕНКО. Ложись. (*Подумав.*) Ложись, Петя!

КУЛЬКОВ. Ладно. Подожду.

КРАНЦ (*Штильману*). Это ужасно — мы рассчитывали на милосердие, на братскую любовь.

КРАФТ. Братская любовь? Братская могила, вот что! Я солдат, и раз я воюю — я приговорен. (*Мрачно.*) Это и есть моя братская любовь. И мой долг.

ГАЛЬКРОНЕ. Э, нет... У каждого солдата есть сотая надежды на то, что убьют соседа, а не его.

ЭРНЕМАН. Даже с этой сотой страшно. Сейчас у нас украли эту сотую.

КРАФТ. Какая к чорту сотая! Они начинили свой участок такой музыкой, что мы шевельнуться не могли!

ШТИЛЬМАН. У них замечательная артиллерия. Когда слышишь их выстрел, знаешь: снаряд ударит в цель.

КРАНЦ. Меня больше всего потрясли танки.

ГИЛЬЦПАРЕР. Потрясли! Они вас вытрясли из окопа!

ШТИЛЬМАН. Они перли, как стадо слонов. И они прыгали, как блохи, Крафт, а?

КРАФТ. У них — страшная всепокрушающая система. Сверху — авиация, в лоб и в тыл и с флангов — танки и пехота, а над всем этим — сотни орудий.

КРАНЦ. Эти орудия бьют и сейчас. Слышишь?

(*Все прислушиваются.*)

ГИЛЬЦПАРЕР. Сейчас Крафт кашляет — бросайтесь на них. Все сразу!

ЭРНЕМАН. Я... молчу, молчу, молчу...

ГИЛЬЦПАРЕР. Слушайте!
(Все настораживаются).

КУЛЬКОВ (подходя). Вы к чему это прислушиваетесь?

КРАНЦ. Мы пытаемся определить калибр орудий.

КУЛЬКОВ (прислушивается). То, что погромче, — наши, тяжелые.

КРАНЦ. А мне кажется, что это разрывы наших тяжелых гаубиц.

КУЛЬКОВ. Ошибаетесь. Спросите Крафта.

КРАФТ (поднимает палец). Тише! (Прислушивается.) 152. Русские.

КУЛЬКОВ (возвращается на место). Вот видите.

ШТИЛЬМАН (Крафту). Выходит, что наверху действительно русские?

КРАНЦ (берет Штильмана об руку, уводит в сторону). Я хочу поговорить с вами. (Отошли.)

ЭРНЕМАН (Эмме). Будем надеяться на милосердие божие.

ЭММА. Да, здесь, на земле, для нас нет милосердия.

ЭРНЕМАН. Не на земле, а под землей.

ЭММА. Зачем все время повторять это?

ЭРНЕМАН. Потому что вы — наша последняя надежда.

ЭММА. Что может сделать здесь слабая женщина?

ЭРНЕМАН. Все, что ей подскажет господь.

ШТИЛЬМАН (возвращаясь, Кранцу). Я — как все.

КРАНЦ. Это хорошо. Это очень хорошо. Так я им и скажу.

ШТИЛЬМАН (убежденно). Лишние рты надо убрать. Ртом меньше — днем больше. А Галькране?

КРАНЦ. Мне кажется, что его купили супом.

ШТИЛЬМАН. Что ж, нас осталось пятеро. А все-таки я поговорю с ним.

КРАНЦ (пожав плечами). Попробуйте.

ГИЛЬЦПАРЕР (Крафту, многозначительно). Как ваше горло, Крафт?

КРАФТ (встает) Я... (Откашлялся негромко.)

(Люди встали).

КУЛЬКОВ. Галькране!

ГАЛЬКРАНЕ. Неужели — бриться?

КУЛЬКОВ (резко поднялся). Слушайте, долго вы были шахтером?

ГАЛЬКРАНЕ. Почти год. Разрешите папиросу? (Взял.)

КУЛЬКОВ. Вы шахтер, и я шахтер. Я вчера смотрел грунт. Если работать в две смены, по три человека, можно в день пройти 8 — 9 метров.

ГАЛЬКРАНЕ (бросил папиросу). Ей-богу... Ей-богу, вы человек! А крепить как?

КУЛЬКОВ. Нам не нужна штольня. Нам нужно сделать лаз, понимаешь? Полметра в высоту, полметра в ширину.

ГАЛЬКРАНЕ. Правильно. Один копает, один крепит, а третий выбрасывает землю назад.

(Пленные сделали несколько шагов к краснорамейцам).

КРАФТ. Чорт! Я, очевидно, простудился.

(Штильман медленно заходит в тыл краснорамейцам).

КУЛЬКОВ. Если вести ход не прямо, а под небольшой уклон, можно будет пользоваться естественным скатом и бросать землю под себя.

ГАЛЬКРАНЕ. Замечательно! Тогда второй и крепит, и отгребают, а третий подает крепежный материал.

КУЛЬКОВ. Давай! (Встал, пленным.) Ребята, дело надо делать. (Пленные подошли.)

ГИЛЬЦПАРЕР. Верно. Надо делать дело. Как ты думаешь, Крафт?

КРАФТ (вынимает папиросу, Кулькову). Разрешите огня.

(Пленные сгрудились тесной группой). КРАФТ (закурил, набрал полные легкие дыма, готовясь раскашляться).

КУЛЬКОВ. Лопаты есть у всех? Начнем рыть не у входа, а в нише. Там мягкий грунт. Если работать в две смены по три человека, можно в день вырыть 8 — 9 метров.

КРАФТ. Верно!

ШТИЛЬМАН. Это хорошо!

КРАФТ. (*выпуская тоненькую струйку дыма*). У меня даже кашель прошел.

ГИЛЬЦПАРЕР. Вот как?

КРАФТ (*зло*). Да, вот как! Этот человек нашел выход наверх. А ты?...

ГИЛЬЦПАРЕР. Я...

КРАФТ. Он нашел наш лаз в жизнь и стоит своей жизни.

КУЛЬКОВ. С двумя буду работать я, с двумя — Галькроне.

КРАНЦ (*удивленно*). Галькроне?

ГАЛЬКРОНЕ. Я шахтер, а не учитель! (*Кулькову*). Возьмите к себе Гильцпарера и Крафта. А я возьму Кранца и Штильмана.

ЭРНЕМАН. А я?

ГАЛЬКРОНЕ. Там темно, Эрнеман. Вы можете испугаться окончательно и бесповоротно.

ЭРНЕМАН. Нет, я хочу, я хочу работать!

КУЛЬКОВ. Будете запасным. А пока — помолчите.

ЭРНЕМАН. Молчу, молчу, молчу...

КИРИЧЕНКО. Эх, рука проклятая! Я б вам показал!

КУЛЬКОВ. Первая бригада — пошли!

(*Кульков, Гильцпарер и Крафт пошли в нишу*).

ГАЛЬКРОНЕ. Молодые люди! Здесь — не воскресная школа. Если они выроят три метра, мы должны дать четыре.

ШТИЛЬМАН. Ты точно в карты играешь.

КРАНЦ. Нет, у них это называется социалистическое соревнование.

ГАЛЬКРОНЕ. Это называется иначе — боюба за свою жизнь.

КРАНЦ (*Штильману*). Да, вы были правы — нас осталось пятеро.

ШТИЛЬМАН. Хорошо, когда работаешь. Вся ерунда из головы вылетает. Спокойно.

ЭРНЕМАН. Ты думаешь, что мы спаслись, Штильман? Так ты думаешь?

ШТИЛЬМАН (*сердито*). Меня не учили думать: Пусть думают другие, а я буду делать. Потому что когда я что-нибудь делаю, — мне спокойно.

ЭРНЕМАН (*упрямо*). А я думаю...

ШТИЛЬМАН (*хитро*). А знаешь... Они там швыряются снарядами и даже не видят друг друга. Трубка, прицел и — точка! Какое им от этого удовольствие? Когда дерешься, нужно иметь удовольствие. У нас в деревне поэтому не любят драться ночью. А это — разве это драка?

КИРИЧЕНКО (*Эмме*). Опять заскучала?

ЭММА (*поднимаясь со ступенек, где она сидела, пригорюнившись*). Нет, я не скучаю. (*Прошлась по подвалу*.)

КИРИЧЕНКО. Живы, здоровы, а скучаете!

ЭММА. Как у вас все просто! Если я жива и здорова, я должна быть веселой. А я не могу быть веселой.

КИРИЧЕНКО. Маруся, Маруся... Да бросьте вы бегать!

ЭММА. Я хотела вас спросить, господин Кириченко... Вы женаты?

КИРИЧЕНКО. Я молодой. А вы к чему это спрашиваете?

ЭММА. У меня есть жених. Он тоже на фронте. Но у меня хорошее приданое. А он — бедный, бедняк.

КИРИЧЕНКО. Хорошее приданое? Что же именно?

ЭММА. Отец дает за мной две пары быков, корову, землю и деньги.

КИРИЧЕНКО. Ишь ты!

ЭММА. Он говорил, что будет любить меня и не даст мне тяжело работать.

КИРИЧЕНКО (*немного смущенно*). А нежные слова какие говорил?

ЭММА (*смущенно*). О!

КИРИЧЕНКО. Деловой, видать, парень.

ЭММА. Он — очень работающий. (*Помолчав*.) А у вас — бывает приданое?

КИРИЧЕНКО. Специально — нет.

ЭММА. Значит, вы все очень бедные?

КИРИЧЕНКО. Наоборот — богатые!

ЭММА (*размышляя*). Богатого человека интересует будущее его семьи и его детей. Он создает себе имущество.

КИРИЧЕНКО. Эх, Маруся, набили вам голову чорт-те чем.

ЭММА (*обиженно*). Я не глупее девушек нашей деревни.

КИРИЧЕНКО. Я не про то.

ЭММА. А вы... богатый? У вас хорошее хозяйство?

КИРИЧЕНКО. У нас хозяйство — одних коров четыреста пятьдесят три штуки. Лучших кровей коровы. Удоятся.

ЭММА. И птица есть?

КИРИЧЕНКО. И птица есть, и пасека, и мелкий скот всякий. Свой завод кирпичный, мельница, крупорушка, фруктовый сад. (*Мечтательно.*) Да...

ЭММА. А земли много?

(*Штильман осторожно подошел к ним.*)

КИРИЧЕНКО. Больше тысячи гектаров.

ЭММА. И все это — ваше? Вы ж помещик!

КИРИЧЕНКО. Нет, Маруся. Я колхозник.

ЭММА (*разочарованно*). И все это богатство — общее? А своего у вас ничего нет?

КИРИЧЕНКО. Ах ты! Это и общее, и мое. Опять же кое-какое личное имущество у меня есть. (*Подошел Кранц.*) Ну, корова личная, что ли, есть. Свинья с поросятами. Куры там... Индюка перед самой войной выписали. Огород, конечно!

ШТИЛЬМАН. Простите... Собственной земли у вас много?

КИРИЧЕНКО. Усадьба — полгектара будет.

ШТИЛЬМАН. Где ж вы пасете корову?

КИРИЧЕНКО. Колхозный выгон — раз. А зимой — на обобщественном скотном дворе.

ШТИЛЬМАН. Значит — это не ваша корова?

КИРИЧЕНКО. Нет, наша.

КРАНЦ. Наша — колхозная, или наша — ваша?

КИРИЧЕНКО. Вот темнота! (*Быстро.*) Колхозное стадо — это само собой. Оно общественное, общее, понимаете? А собственные коровы только на общественном дворе стоят и на общем выгоне пасутся. Ясно?

ЭММА. Не совсем.

ШТИЛЬМАН (*жадно*). Но вы платите за выпас?

КИРИЧЕНКО. Платим. Ведро со ста. А остальным сами пользуемся.

КРАНЦ. Это — немного.

ЭММА. А от общих коров молоко куда идет?

КИРИЧЕНКО. Колхоз продает в город — раз. Сыроварня берет — два. Отпой телок — три.

КРАНЦ. Большой доход?

КИРИЧЕНКО. Большой. В прошлом году с нашего молочного хозяйства мы получили чистой прибыли около трехсот тысяч.

КРАНЦ. Кто это мы? Мы — государство, мы — колхоз или мы — вы?

КИРИЧЕНКО. Тю! (*Спокойнее.*) Мы — колхоз.

КРАНЦ. Но эти деньги, эти триста тысяч идут государству?

КИРИЧЕНКО (*свирепо*). Не государству, а колхозу!

КРАНЦ. Это одно и то же.

КИРИЧЕНКО. Вам не ребят учить, а самому у ребят учиться! Какое ж это одно и то же, если этот доход между колхозниками распределяется?

КРАНЦ. Значит — это коммуна?

КИРИЧЕНКО. Да что вы, русского языка не понимаете? Не коммуна, а колхоз!

ШТИЛЬМАН. Обождите... Если вы говорите, что доход делят — сколько вы получили?

КРАНЦ. Вы лично, а не вы — колхоз.

КИРИЧЕНКО. Я? Тысячу семьсот пятьдесят один трудодень.

ЭММА. Это такие деньги?

КИРИЧЕНКО (*в полном отчаянии*). Трудодень — это сколько я дней работал. Полных рабочих дней. Ясно?

ШТИЛЬМАН. Значит, вы за свою работу в прошлом году получили наряд на новую работу в этом году?

КИРИЧЕНКО. Какой к чорту наряд! Я, выходит, проработал на свой колхоз тысячу семьсот пятьдесят один день. А другие — кто больше, кто меньше. Вот все трудодни складывают и делят на них доход со всего колхоза. Понимаете?

ШТИЛЬМАН. Поденная плата?

КИРИЧЕНКО. Хай будет поденная, чорт с тобой! И вот за эту за поденную плату я получил зерна девятьсот пудов. Овощей разных — семьсот пудов. Меду — четыре пуда. Масла тринадцать пудов. И деньгами — две с половиной тысячи. Понимаете?

ШТИЛЬМАН. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

КРАНЦ (*негромко*). Красивая сказка.

ЭММА (*скорое Штильману, чем Кириченко*). Я же сказала, что вы — помещик.

КИРИЧЕНКО. Что же мне с начала начать, что ли?

КРАНЦ (*Штильману*). Если хотите, возьмите у меня в мешке папиросы.

ШТИЛЬМАН (*грубо*). Выйди, мальчик, из класса — детям об этом вредно слушать! Не так ли?

КРАНЦ. Неужели я должен спросить вас: не четверо ли нас остается, Штильман?

ШТИЛЬМАН (*сердито*). Где папиросы? (*Ушел.*)

КРАНЦ (*Кириченко*). Нет, конечно, вы не помещик. Но вы, вероятно, один из тех, что у вас называют лучшими людьми.

КИРИЧЕНКО (*в отчаянии взмахнул руками и застонал*). Забыл про руку!

ЭММА. Болит?

КИРИЧЕНКО. Очень.

ЭММА. Бедный!

КИРИЧЕНКО. То я у тебя помещик, то я у тебя бедный. Не поймешь тебя!

(*Из ниши выходят Кульков, Гильцпарер и Крафт*).

КУЛЬКОВ (*Галькроне*). Дело, значит, обстоит так... (*Перешел на шопот.*)

КРАНЦ (*Гильцпареру*). Штильман... кажется, тоже...

ГИЛЬЦПАРЕР. Ладно.

(*Штильман остановился, посмотрел на Крафта*).

КРАФТ (*сухо*). Со мной уже говорили.

ШТИЛЬМАН. Я — как ты, Крафт.

КРАФТ. А я — как все.

ШТИЛЬМАН. А Галькроне?

КРАФТ. Галькроне — не в счет. Нас сейчас пятеро.

ШТИЛЬМАН. Пять — это тоже достаточно.

КРАФТ. Да. Особенно, если один из пяти — офицер.

ШТИЛЬМАН. Ты сомневаешься, старик?

КРАФТ. У меня немного перепуталось все.

ШТИЛЬМАН. А ты не думай. Это не солдатское дело.

КРАФТ (*иронически и зло*). Солдатское дело лезть на рожон и дохнуть.

ШТИЛЬМАН. А так — лучше?

КРАФТ. Знаешь, мужик, мне кажется, что ты уговариваешь не меня, а себя.

ШТИЛЬМАН (*подумав*). Чорт возьми!

КРАФТ. А ты не думай. Это не солдатское дело.

ШТИЛЬМАН (*встал*). Идите вы все к чорту!

ГАЛЬКРОНЕ (*Кулькову*). Есть, господин инженер! Все ясно. (*Всем.*) Орлы! За мной! (*Побежал в нишу. Штильман и Кранц пошли за ним.*)

КУЛЬКОВ (*Кириченко*). Что с тобой?

КИРИЧЕНКО. Рука...

КУЛЬКОВ. Ах ты, будь ты...

КИРИЧЕНКО. Ничего...

КУЛЬКОВ. Перевязку, может, сделать?

КИРИЧЕНКО. Как бы хуже не стало.

ЭРНЕМАН (*подходя*). Разрешите?

КУЛЬКОВ. А вы умеете?

ЭРНЕМАН. Я был также и санитаром.

КУЛЬКОВ. Кириченко, не возражаешь?

КИРИЧЕНКО. Вроде — нужно.

ЭРНЕМАН (*начиная разбинтовывать рану*). Мы все вам очень сочувствуем и жалеем.

(*Медленно повернулись головы. Все смотрят, как Эрнеман перевязывает рану*).

КИРИЧЕНКО. Жалеть не надо.

КРАФТ. Я бы орал...

ЭРНЕМАН (*Кулькову*). Дайте коньяк.

КУЛЬКОВ. Зачем?

ЭРНЕМАН. Промыть рану. И дать хлебнуть парню.

КУЛЬКОВ (*протягивая флягу*). Верно.

ЭРНЕМАН (*протягивая флягу Кириченко*). Пейте! (*Еще острее, еще внимательнее взгляды.*)

КИРИЧЕНКО. На линии огня пить воспрещено.

КУЛЬКОВ. Тебе сейчас здорово больно будет. Он хочет рану промыть. Хлебни — спокойнее перенесешь.

КИРИЧЕНКО. Не надо. (*Строго, Эрнеману.*) У нас раненый боец — еще боец. На него устав все равно распространяется.

ЭРНЕМАН. Как хотите... (*Начал промывать рану.*)

(*Кириченко поднял голову, начал навистывать*).

КРАФТ (*вскочил*). Вот это — солдат! (*Сел.*)

ЭРНЕМАН (*кончил перевязку*). Будьте здоровы!

КИРИЧЕНКО. Спасибо.

ЭРНЕМАН. Будьте здоровы! (*Ушел.*)

КУЛЬКОВ. Отдохни, Кириченко, посиди.

КИРИЧЕНКО. Ты б меня еще в постель уложил.

КУЛЬКОВ. Отчего же?

КИРИЧЕНКО. От того самого...

ЭММА (*подходя*). Меньше болит?

КИРИЧЕНКО. Гораздо меньше. Садитесь, посидите.

ЭММА (*села*). Все-таки, война — это страшное дело.

КИРИЧЕНКО. Правильно. Давайте-ка лучше о чем другом поговорим.

КУЛЬКОВ. Ай да Карлуша!

КРАФТ. Ваше имя — Карл? Вы — не русский?

КИРИЧЕНКО. У меня только имя не русское. Мне его в честь двух самых лучших немцев во всем мире дали.

ГИЛЬЦПАРЕР (*к Эмме*). Меня тоже зовут Карл. Я, конечно, не самый лучший немец во всем мире...

КИРИЧЕНКО (*небрежно*). Карлы, однако, разные бывают.

КРАФТ (*не торопясь подходит к*

Кулькову). Могу я предложить вам папиросу, русский?

КУЛЬКОВ. Спасибо. У меня есть. Хотите, может, нашу папиросу?

КРАФТ. Спасибо. Возьму. Скажите, какого вы года?

КУЛЬКОВ. Хорошего года. 1917-го.

(*Молчание*).

КРАФТ. Пехоте — тяжелее всего.

КУЛЬКОВ. Это смотря какой пехоте.

КРАФТ. Пехота — всегда пехота. Я двадцать пять лет в пехоте, в разных частях. Везде побудка в шесть часов, везде одинаковый рацион.

КУЛЬКОВ. Разбираться надо.

КРАФТ. Я все думаю — ловко вы нас выбили из окопа. (*Молчание.*) Мы вас не ждали. Ваша артиллерия продолжала бить до последней минуты.

КУЛЬКОВ (*неопределенно*). Да...

КРАФТ. Хороший у нас был окоп. И блиндажи хорошие.

КУЛЬКОВ. Входы у вас в блиндажи широкие. Гранаты кидать удобно.

КРАФТ. Да. Гранаты у вас удобные. По руке. (*Молчание.*) Да... (*Искренно.*) Вы стали на лестнице только что... чтобы не пришлось в нас стрелять?

КУЛЬКОВ (*приподнялся*). А я считывал — не догадаетесь.

КРАФТ. Я старый солдат, И я не знаю — рискнул бы я поступить так...

КУЛЬКОВ. Видно — я молодой солдат. Я о риске и не подумал.

КРАФТ. Я только хотел сказать, что с водой вы поступили справедливо. (*Встал. Отошел. И вернулся.*) И с маской, если хотите, тоже. Я сделал бы то же самое. (*Ушел.*)

КУЛЬКОВ. Крафт! Ушел, чудак... (*Подходит к Кириченко.*) Она тебе что говорила?

КИРИЧЕНКО. Про свое приданое рассказывала.

КУЛЬКОВ. Кулачка?

КИРИЧЕНКО. Да... То-есть нет. Крупные середняки вроде.

КУЛЬКОВ. Ты смотри!

КИРИЧЕНКО (*обиженно*). Я не маленький.

ГИЛЬЦПАРЕР (*Крафту*). О чем ты с ним говорил?

КРАФТ. Мое дело.

ГИЛЬЦПАРЕР. И трус, и предатель?

КРАФТ. Как ты смеешь грубить своему унтер-офицеру!?

ГИЛЬЦПАРЕР. Здесь твои нашивки ничего не стоят.

КРАФТ. И слава богу.

(*Из ниши выходят Галькроне, Кранц и Штильман*).

ГИЛЬЦПАРЕР (*Кранцу, быстро, шопотом*). А теперь я вам скажу — Крафт...

КРАНЦ. Не может быть!

ГИЛЬЦПАРЕР. Что ж, нас останется трое.

ГАЛЬКРОНЕ. Честь имею доложить, что вторая бригада обставила первую не меньше, чем на метр!

КУЛЬКОВ. Мерил, что ли?

ГАЛЬКРОНЕ. А как же! Поясом. Когда мы полезли, был пояс с четвертью. А теперь (*гордо*) три пояса!

КУЛЬКОВ. Ну, первая бригада, не осрамимся! (*Галькроне*.) Давай пояс!

ГАЛЬКРОНЕ. На, только имей в виду, что штаны у меня будут держаться на честном слове.

ШТИЛЬМАН (*к Галькроне*). Есть с тобой разговор, парень.

ГАЛЬКРОНЕ. Валяй.

ШТИЛЬМАН. Примкнешь к нам?

ГАЛЬКРОНЕ (*подумав*). Ты как, сам это выдумал?

ШТИЛЬМАН. Нет.

ГАЛЬКРОНЕ. За тебя думает командование?

ШТИЛЬМАН. Иди ты! Я не так уж глуп.

ГАЛЬКРОНЕ. Нет, мужик, со мной дело не выйдет. Я кончил воевать за чужое счастье. (*Помолчал*.) А что вы задумали?

ШТИЛЬМАН (*хитро*). Мы хотели, чтобы ты что-либо придумал.

ГАЛЬКРОНЕ. Да, ты не так уж глуп.

ШТИЛЬМАН. Смотри — не болтай языком.

ГАЛЬКРОНЕ (*раздельно*). Я иду отдыхать. (*Ко всем*.) Бригада генерала Галькроне! Ложись и не двигайся. Ше-

велить можно только языками. Мы должны их перекрыть.

(*Люди садятся у лестницы*).

ШТИЛЬМАН (*Кириченко*). Какие у вас хорошие сапоги.

ЭРНЕМАН. Свои сапоги?

КИРИЧЕНКО. Сапоги у меня казенные.

ШТИЛЬМАН. Хорошие сапоги!

КИРИЧЕНКО. Фабрика Сталина.

ШТИЛЬМАН. Сталина? У него своя фабрика?

КИРИЧЕНКО. Эх ты, темнота! Фабрика его имя, как орден, носит.

КРАНЦ (*заученно-вежливо*). Сталин — всемирно известная личность.

КИРИЧЕНКО. А еще учитель! Сталин это... (*Подумав*.) Это — Сталин!.. Это понимать надо! Поживете у нас — своей глупости стыдиться будете!..

(*Отдаленный шум. Почти тотчас же выходят из ниши Кульков, Крафт и Гильцаперер*).

КУЛЬКОВ (*угрюмо*). Придется прервать...

КРАФТ. Скажите — не прервать, а кончить.

ГИЛЬЦПАРЕР. Все доски треснули. Сверху сыплется, сыплется.

ГАЛЬКРОНЕ (*вскочил*). Попробуем укреплять вдвойне.

КУЛЬКОВ (*тихо, Галькроне*). Не стоит. Наверху такая тяжесть навалена, она во всякое отверстие будет землю вдавливать. (*Просто*.) На, пояс.

ГАЛЬКРОНЕ. Спасибо. Только... На нем нельзя удавиться.

КУЛЬКОВ (*заботливо*). Сдаешь?

ГАЛЬКРОНЕ (*мрачно*). Нет. Шучу.

КУЛЬКОВ. Эх ты... (*Остальным*.) Вот что... Отдохнем малость и попробуем копать в другой стороне.

(*Молчание. Никто не шевельнулся*).

ЭММА (*встала, уходя*). Какие мы все здесь несчастные!

ГИЛЬЦПАРЕР (*идя следом за Эммой, тихо*). Надо сбросить фонарь...

ЭММА (*испуганно*). Нет, нет!

ГИЛЬЦПАРЕР (*сирово*). Да!

ЭММА. Теперь... Теперь уже поздно...

ГИЛЬЦПАРЕР. Заговори тогда зубы второму. В сторонке.

ЭММА. Я боюсь.

ГИЛЬЦПАРЕР. Ты здесь будешь не при чем.

ЭММА. Я боюсь.

ГИЛЬЦПАРЕР. Бояться не надо. Я тебя поддержу. *(Обнял ее.)*

КИРИЧЕНКО. Оставь, Гильцпарер!

ГИЛЬЦПАРЕР *(отходя от Эммы)*.

Каждый шаг... Каждый шаг...

КИРИЧЕНКО. Сядь и сиди тихонько.

ГИЛЬЦПАРЕР *(истерически)*. Почему я не должен ее трогать? Сиди спокойно, сиди спокойно — я не хочу сидеть спокойно! *(Вскочил.)* Что от меня останется, когда я протяну ноги? Падаль, падаль, обед для червей!

ГАЛЬКРОНЕ. У дамы — истерика.

ГИЛЬЦПАРЕР. Я молодой. Если хочешь знать — я тоже родился в 1917 году. Я думал жить до ста лет. И все сто лет брать от жизни! А что я получил? Я подохну, и со мной окончится все! Плевал я на свои памятники! Я-то буду в земле!

КРАФТ. Заткнись! Противно!

ГИЛЬЦПАРЕР. Нет, я буду говорить. Я не глупей тебя. Не мог жить, как хотел, — дайте мне подохнуть, как я хочу. Отдай мой коньяк! Отдай мою бабу!

КУЛЬКОВ. Кончил кричать?

ГИЛЬЦПАРЕР *(сел)*. Кончил. Я не глупее его. *(Молчание.)*

КУЛЬКОВ *(очень спокойно)*. Что ж, по-своему ты прав. Если бы лошадь могла говорить, она то же самое сказала б.

КРАНЦ. Он солипсист.

ГАЛЬКРОНЕ. Как?

КРАНЦ. Солипсист. Это такая философская школа.

ГАЛЬКРОНЕ. Нет. Он жеребец. Это такая скотская порода.

ЭММА. Когда господин Гильцпарер говорит такие... такие вещи, он забывает о своей матери.

ГАЛЬКРОНЕ. Наоборот. Он все время думает о конюшне.

ГИЛЬЦПАРЕР. Ослы! *(Уходит в угол.)*

(Молчание.)

КУЛЬКОВ. Слушайте-ка, люди добрые. Эмму не трогать. Понятно? Эм-

ма — мирное население. Ее наш закон особо охраняет, ясно?

(Молчание.)

КИРИЧЕНКО *(Эмме)*. А ты не плачь, Эмма. Больше не тронет.

ЭММА. Я плачу не поэтому. Я плачу... я плачу потому, что... *(еще плаще заплакала)*.

КРАНЦ *(встал)*. Прости его, Эмма, и забудь. Все мы здесь сумасшедшие. Здесь очень плохо, а мы мечтаем о хорошем.

КУЛЬКОВ. И на этом — точка. Выяснили все и забудем.

ЭММА. Мне очень стыдно... Я больше не буду плакать... Но вы себя ведете так, будто вы — большевики.

КИРИЧЕНКО *(иронически)*. Образование!

ЭММА. А большевики... Вы самый хороший здесь, господин Кульков! *(Вспыхнула, убежала в нишу.)*

(Молчание.)

КРАФТ. Люди одурели от тоски.

КУЛЬКОВ. Говорить будем. Петь будем. И чтоб без дурости! Нечего нысь вешать!

КИРИЧЕНКО. Эх, жаль, патефона нашего нет!

КРАФТ. У вас есть патефон? В окопах?

КИРИЧЕНКО. Нам после первого боя шефы в подарок прислали.

КРАФТ. У вас есть шеф?

КУЛЬКОВ. А у вас что — тоже есть шефы?

КРАНЦ. Наш шеф — наш Зигфрид, наш национальный герой.

КИРИЧЕНКО. Ну, от него патефоном не разживешься. Я его на картине видел — босой да с дудочкой.

КРАНЦ. А кто ваш шеф?

КУЛЬКОВ. У нас не шеф, а шефы.

ШТИЛЬМАН. Да. Когда шефов много, это выгоднее.

КИРИЧЕНКО *(засмеялся)*. Сразу видать, что твой шеф — донсторическая фигура. Развитие у тебя с ним одинаковое.

КРАНЦ. А кто ваши шефы?

КУЛЬКОВ. Сто сорок седьмая школа-десятилетка Дзержинского района.

ГИЛЬЦПАРЕР (*подходя*). Я прошу прощения. Я распустился. Очевидно, и у меня есть нервы.

ЭРНЕМАН. Давайте не говорить об этом. Было — и прошло, как сказал господин красноармеец. Будем велиться!

(*Галькроне пошел в нишу.*)

КУЛЬКОВ. Ты куда?

ГАЛЬКРОНЕ. Я не такой породы.

КИРИЧЕНКО (*громко*). Эмма, выдь сюда.

ЭММА (*выходя*). Я не хочу ни на кого смотреть. (*Села в стороне.*)

КИРИЧЕНКО. И на меня тоже?

КРАНЦ. Эмма, зачем вы обижаете господина Кириченко?

ЭММА. Я... не обижаю. (*Тихо.*) Если он хочет... (*Кириченко.*) Садитесь ко мне, хорошо?

КИРИЧЕНКО (*проходя к ней*). Слезы подбери. Здесь и так сыро. (*Сел, тихий разговор.*)

КУЛЬКОВ. Ну, что будем делать?

ГИЛЬЦПАРЕР. Что хотите.

КРАНЦ. Здесь так весело, так весело...

КУЛЬКОВ. Бросьте вы... (*Фыркнул.*)

(*Из ниши появляется Галькроне. Он убрал листьями и связками лука. Платочек Эммы повязан бантом. Общий смех.*)

ГАЛЬКРОНЕ. Почтенные господа и дамы! Первым номером нашей программы мы выпускаем всемирно известного танцора, певца и исполнителя Галькроне. Только сегодня! Только сегодня! Проездом из Берлина в Сибирь! (*Крафту.*) Вытащи гармошку, старик! Ты будешь оркестр.

КРАФТ (*улыбаясь, достает губную гармошку*). Что ты будешь петь?

ГАЛЬКРОНЕ (*кланяясь*). Детская песенка «Марианна».

(*Общее одобрение.*)

ГАЛЬКРОНЕ (*поет, пританцовывая*):

У меня соседка есть,
У нее красот не счесть:
Светло-синие глаза,
Как морская бирюза.

Завлекает и зовет
Безусловно сладкий рот.

Как зовут ее? — Марьянна!
Поздно ночью, утром рано
Марианна нам желанна,
Но одно для нас беда —
Деньги ей нужны всегда!

У меня соседка есть,
С ней бы только рядом сесть
И, обнявши тонкий стан,
За нее поднять стакан,
Целоваться до утра,
Чтоб губы вспухли, как гора.

Как ее зовут? — Марианна!
Но это трудно... для кармана.
И, как ни странно, как ни странно,
но,

Марианна не желанна,
У нее одна беда —
Деньги ей нужны всегда!

(*Аплодисменты и веселый хохот. Все сгрудились вокруг Галькроне.*)

КУЛЬКОВ. А говорил — детская песенка!

ЭММА. У наших соседей есть эта пластинка. Но там поют хуже.

КРАФТ (*подошел к Кулькову*). И у нас, как видишь, не плохие парни есть! КУЛЬКОВ (*искренно*). Парень — золото! (*Галькроне*). Спой нам еще!

(*И в этот момент со звоном падает фонарь. Темнота поглощает подвал. Не видно даже силуэтов — полная, всепоглощающая темнота. Глухой хрип и свет — Кульков зажжет спичку. Кириченко лежит на земле. Пленные, как и раньше, столпились кучей вокруг Галькроне.*)

КУЛЬКОВ. Кириченко!

(*Погасла спичка.*)

КУЛЬКОВ. Не шевелиться!

(*Снова вспыхнула спичка.*)

КУЛЬКОВ (*жестко*). Эмма, подними фонарь. Остальные ни с места! (*Эмма проходит в угол, поднимает фонарь. Кульков проходит к ней и зажигает огонь.*)

КУЛЬКОВ. Все к стене! Не разговаривать!

(Все поняли к стене. Кульков прошел к Кириченко.)

КУЛЬКОВ *(опустился на корточки)*. Карлуша, Карл...

КИРИЧЕНКО *(глухо)*. М-м...

КУЛЬКОВ *(радостно)*. Жив?!

КИРИЧЕНКО. Сзади... по голове...

КУЛЬКОВ *(поднимаясь, пленным)*. Кто?

(Молчание).

КУЛЬКОВ. Кто? *(Поднял винтовку.)* Всех, всех, как собак поганых! Кто, говори!

ЭРНЕМАН *(падая на колени)*. Это не я! Это не я!

КУЛЬКОВ. Кто отойдет — пристреляю! *(Не выдержав.)* Сволочи...

ЭРНЕМАН *(опускаясь наземь, бормочет)*. Не я... не я...

КУЛЬКОВ. Эмма, носи фонарь.

ЭММА *(поднимает фонарь)*. Бог мой, бог мой... Несу...

КУЛЬКОВ. Галькрене, Крафт, — поднимите товарища Кириченко, несите сюда.

(Галькрене и Крафт подняли Кириченко. Понесли.)

КУЛЬКОВ. Положите. Осторожно. *(Крафту и Галькрене.)* На место!

(Крафт и Галькрене прошли к стене.)

КУЛЬКОВ *(Кириченко)*. Кириченко...

КИРИЧЕНКО. Голова... больно... *(Опуская голову.)* Крови нет, а больно...

КУЛЬКОВ. Дьяволы! Лежи, лежи тихо... Я сейчас.

КИРИЧЕНКО. Они меня... пленом... *(Застонал.)*

КРАФТ *(глухо)*. Я бы отдал свою голову... свою голову...

КУЛЬКОВ. Галькрене — пел... Кранц, Штильман, Крафт, Эрнеман, Гильцпарер, — два шага вперед! *(Пять человек вышли вперед.)* Кто сбросил фонарь? *(Молчание.)* Кто сбросил фонарь? Кто ударил? *(Молчание.)*

КРАФТ. Парень...

КУЛЬКОВ. Молчать! Исподтишка, гады? Слушай... Если через пять минут не скажете, перестреляю!

(Молчание).

КИРИЧЕНКО. Петя...

КУЛЬКОВ. Что? *(Отступил к нему.)*

КИРИЧЕНКО *(с трудом)*. Без суда...

КУЛЬКОВ *(хрипло)*. Знаю...

КРАНЦ. Стреляйте сейчас... Мы не знаем...

ЭРНЕМАН. Мы не видели... Мы не виноваты...

КРАФТ *(очень спокойно)*. Мы не знаем, кто это сделал, парень. Было темно.

КУЛЬКОВ *(спокойнее)*. Две минуты.

ЭММА *(бросается к Кулькову)*. Я сидела рядом... И я не видела... Я только слышала... Бог мой... Не надо, не надо всех...

КУЛЬКОВ. Отойди!

КИРИЧЕНКО. Петя...

КУЛЬКОВ *(отошел к нему)*. Сейчас... *(Пленным.)* Не шевелись, убью! *(Кириченко.)* Плохо?

КИРИЧЕНКО. Я сдужаю, Петя... Ничего. Полежу, отойду...

КУЛЬКОВ *(тихо)*. Нас двое, Кириченко.

КИРИЧЕНКО *(так же тихо)*. Знаю, Петя. Я сдужаю... *(Горячо.)* Нельзя их...

КУЛЬКОВ. Знаю. Гады! *(Неожиданно сильно)*. Нас двое, Кириченко. Мы и суд...

КИРИЧЕНКО. Нет... Нельзя... Ответ... Ответ на нас...

КУЛЬКОВ *(пленным, свирепо)*. Не шевелись! *(Штильману.)* Ты куда?

ШТИЛЬМАН. Не кричи. Я думаю...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Все тот же подвал. Ночь наверху. Ночь внизу. Тускло светит фонарь. Люди спят — пленные в одном углу, Кириченко в другом. Эмма — посередине между ними. Кульков ходит из угла в угол с винтовкой в руках.

(Кириченко застонал — тяжело, мучительно.)

КУЛЬКОВ. Такое дело... Плохое дело... *(Зашагал снова, остановился)...*

Вот я встаю и говорю — можно мне слово? (С другой интонацией.) Говори, Кульков... (Прошелся, остановился.) И сказал бы я: товарищи, я трое суток не спал... сомнения у меня есть... (Снова с другой интонацией.) Что ж, товарищ Кульков, изложи свои сомнения партийному собранию... Это — помполит скажет... (Прошелся, стал.) Видали, товарищи, в какое положение я попал? Комсомолец мой, дружок... Врага открыть не сумел. Агитировал — а может, их всех перестрелять надо было? (Снова другим тоном.) Стой, Кульков, стой! Здесь ты путаешь. (Переменяет голос.) Да, товарищ комиссар, я это понимаю... Понимаю, а на место все поставить не могу. Кто его ударил? Кто фонарь сбросил? Не могу найти. Подозрение имею, а... я, товарищи, третьи сутки без сна... Я спать хочу... Хожу и хожу. Сесть боюсь, чтоб не задремать. (Голосом помполита.) Стыдись, Кульков, разжалобить хочешь? Ты — кто? Ты — красноармеец. (Другим голосом.) Я, товарищ, знаю. Я буду держаться. Я выстою до смены, не сомневайтесь. Только — трудно. Честное слово, трудно. Ко мне сон, как враг, подбирается. (Голосом помполита.) Легко на войне не бывает, Кульков. А ты — держись. За нас держись. Ты не думай — мы о вас уже давно в штаб фронта сообщили. Да обстановка такая — никак невозможно тебя сейчас сменить. (Изменил голос.) И буду стоять. Буду. (Очнулся, ощутил обстановку подвала, удивленно.) Такое дело, товарищ Кульков... (Зашагал было снова, но остановился у лестницы, оперся на винтовку.) Такое дело, товарищ Кульков...

(Тишина).

КИРИЧЕНКО. Нагнись, Петя...

КУЛЬКОВ (подошел к нему, нагнулся). Чего тебе?

КИРИЧЕНКО. Не давай ты мне спать. Хуже мне от этого...

КУЛЬКОВ. Ладно. А то б спал лучше?

КИРИЧЕНКО. Голову разломило...

КУЛЬКОВ. Потерпи, колхоз, потерпи. На войне легко не бывает. Ты что

думаешь? О нас уже давно в штаб фронта сообщили. Да обстановка такая — нельзя нас сменить.

КИРИЧЕНКО. Я знаю... Обидно, Петя...

КУЛЬКОВ. А сам как говорил? Какой это Кириченко идет? Который изпод земли бритый вышел?

КИРИЧЕНКО. Не шути, Петя. Мне от смеха в голову отдаст.

КУЛЬКОВ. Ладно, не буду. Надо продержаться и — точка!

КИРИЧЕНКО. Ладно. (Помолчав.) Пить хочется.

КУЛЬКОВ. А ты пей — воды хватит!

КИРИЧЕНКО. Маленький я, по-твоему, что ли? Воды только и есть, что у меня во фляге. Я знаю.

КУЛЬКОВ. Ладно, молчи. Будет скоро вода. Всем хватит...

КИРИЧЕНКО. Я ж не Эмма.

КУЛЬКОВ (отходя). Ну тебя! С тобой говорить — полтонны гороху с'есть надо!

КИРИЧЕНКО (сердито). Молчи!

ШТИЛЬМАН (в другом углу. Толкая соседа). Крафт!

КРАФТ (сел). Спи, мужик. Не мешай.

ШТИЛЬМАН. Я хочу говорить с тобой, Крафт.

КРАФТ. Мог бы обождать, пока я проснусь.

ШТИЛЬМАН. Нет, я не могу ждать.

(Галькроне сел тоже.)

ШТИЛЬМАН (с трудом подбирая слова). Я хочу говорить. Я могу говорить, я обдумал то, что я скажу.

ГАЛЬКРОНЕ (устало). Тишина! Слово имеет министерская голова, депутат-одиночка Штильман!

КРАФТ (Галькроне). Заткнись! Меня мутит от твоих дурацких острот!

ГАЛЬКРОНЕ. Если я не буду острить, я тронусь...

(Поднялся и Гильцпарер).

ГИЛЬЦПАРЕР. Не мешай ему. Пусть. Здесь слишком тихо.

ШТИЛЬМАН. Я думал, я думал...

КРАФТ. Ну?

ШТИЛЬМАН. Наши часовые поделились бы с их пленными водой? На-

ши часовые говорили бы с их пленными, как они с нами говорили?

КРАФТ. Что ж из этого?

ШТИЛЬМАН. Я много видел. Я видел, как подбили наш танк и люди орала в нем всю ночь. И ни один не пошел их спасать. А когда подбили их танк, они снова пошли в атаку, а тем временем подбитую машину увез тягач. А когда нельзя было увезти другой подбитый танк, они подожгли и его и самих себя.

(Молчание).

ШТИЛЬМАН. Мне трудно сказать, как я думаю. Но я человек — и я не плохой человек. Мне нравится жить. Мой старший сын не имеет сапог. Кем он будет, когда подрастет? Такой же собакой, как я? Я не хочу! Я так не хочу!

КРАФТ. Сядь. Не кричи.

ГАЛЬКРОНЕ. Не кричи — криком тут не поможешь.

(Молчание.)

ГАЛЬКРОНЕ. У меня тоже есть сын... Ганс, Гансик... Он живет с матерью, в городе. И он знает, что его отец умер. Мать не хочет портить ему жизнь таким отцом.

ЭРНЕМАН. Она права, твоя жена. Лучше быть сиротой, чем иметь отцом такого оборванца.

КРАНЦ. Он учится — ваш сын?

ГАЛЬКРОНЕ. А ты кого-нибудь учишь бесплатно? Я ничего не могу сделать. Я нищий. Я переменял сто профессий и нигде не мог скопить денег даже на приличные штаны...

КРАНЦ. После войны все будет иначе.

ГАЛЬКРОНЕ (жестко). Будет иначе — только не после войны...

КРАНЦ. Договаривайте!

ГАЛЬКРОНЕ. Договаривать незачем.

ГИЛЬЦПАРЕР. Быстро же, однако, они начинили тебе мозги!

ГАЛЬКРОНЕ. Мне — начинили?

ГИЛЬЦПАРЕР. Что ж, иди, выдавай.

ГАЛЬКРОНЕ (устало). Я тебя не боюсь. Я знаю, что вы все решили убрать того, кто выдаст.

ЭРНЕМАН (робко). Был еще разговор о том, что за это будут судить там, дома, — жену.

ГАЛЬКРОНЕ. Наплевать мне на все это.

ГИЛЬЦПАРЕР. Что ж! Иди, скажи.

ГАЛЬКРОНЕ. Нет, не пойду.

ЭРНЕМАН. Почему?

ГАЛЬКРОНЕ (устало). Не знаю...

(Молчание).

ГИЛЬЦПАРЕР. Я знаю многих, которые были в таком же отчаянном положении и стали людьми.

ГАЛЬКРОНЕ. Начни мне еще читать Библию!

КРАФТ. Нет, это не из Библии. Я тоже знаю многих, которые были в отчаянном положении и вышли в люди, став штурмовиками.

ГАЛЬКРОНЕ. Ты что, советуешь?

КРАФТ. Нет. Взвешиваю.

ГИЛЬЦПАРЕР. В штурмовики тоже брали не всех.

ГАЛЬКРОНЕ (убежденно). Да. Тех, кто не сволочь, — не брали.

(Молчание).

КИРИЧЕНКО. Я, знаешь, все думаю... Вот — умер человек, допустим... А ума у него — много. Читал, учился, копил мозги — и нету!

КУЛЬКОВ. Эх ты, философ!

КИРИЧЕНКО. Жалко ума, понимаешь...

КУЛЬКОВ. Жалко. Только жалость эту во как держать надо. А то, знаешь, от жалости и мушка дрогнуть может.

КИРИЧЕНКО. Ты посиди со мной, Петя... Вот лежу я — и вижу: будто я в секрете лежу. Ночью лежу один. А не одинокий. Созид меня — ядро дозора, а дальше моя рота, а еще дальше, мой полк и дивизия моя. А еще дальше Москва, и ниточка будто идет от меня к Москве.

КУЛЬКОВ (задумчиво). Помолчи лучше.

КИРИЧЕНКО. Нет... И сейчас... Здесь я все о Москве думаю.

(Молчание).

КИРИЧЕНКО. Постой... (Приподнимается, опираясь на локоть). Постой, Петр... (Горячо.) Ты не забудь —

скажи наверху, обязательно скажи: проштрафился красноармеец Кириченко. Ошибся. Не досмотрел.

КУЛЬКОВ. Ты сам скажешь.

КИРИЧЕНКО (*устало*). Сам? Да, я сам скажу. Ты б лег тоже. Дай мне винтовку.

КУЛЬКОВ. Я тебе сейчас целое оружие подам... Герой...

КИРИЧЕНКО. Ты ж не спал.

КУЛЬКОВ. Ну и что же?

ЭММА (*поднимаясь*). Боже мой! Мне показалось, что я — дома.

КУЛЬКОВ. Спали бы еще.

ЭММА. Мне надоело спать. (*Пошла к нише.*)

ГИЛЬЦПАРЕР (*задержал ее в арке ниши*). Удели мне минутку, Эмма.

ЭММА (*смущенно*). Я слушаю.

ГИЛЬЦПАРЕР. Приказано мне передать тебе, что, если его откроют, — он потянет за собой всех. И тебя также.

ЭММА. Я понимаю.

ГИЛЬЦПАРЕР. Некоторые колеблются. Но это — мусор, Эмма. Спасать надо людей, а не стадо.

КУЛЬКОВ. Эмма!

ЭММА (*идет к нему*). Что?

КУЛЬКОВ. Что за секреты?

ЭММА. Он... Он все извиняется за ту историю. Смешно.

КУЛЬКОВ. Так. Ты — с ними поменьше.

ЭММА. Хорошо, я их сама боюсь. (*Садясь подле Кириченко.*) Здесь очень тоскливо.

КИРИЧЕНКО. Не грустите.

ЭММА. Мне больно за вас.

КИРИЧЕНКО. Очень благодарен.

КУЛЬКОВ (*остановившись подле них*). Ты ему много говорить не давай. Вредно.

ЭММА. Хорошо. Я ему буду рассказывать, а он будет слушать.

КИРИЧЕНКО. Это уж не детский сад, а ясли получают!

КУЛЬКОВ. Помолчи ты, пожалуйста! Отдыхай.

КРАФТ. Он мне сказал вчера... или нет — позавчера — сказал так: будьте спокойны... Те, кому война выгодна, — не на фронте. И им не грозит никакая опасность. Не скажите — ответил ему я, я видел, как идут в бой

наши офицеры. Они идут впереди, сказал я. А он говорит — я думаю не об офицерах. А офицеры — что ж... они ремесленники. Понимаешь, Штильман?

ШТИЛЬМАН. Я думаю, думаю, думаю — у меня голова трещит. То, что он тебе сказал, — это очень просто. Но я этого еще не обдумал. Я обдумал другое — про мечты.

КРАФТ. Про мечты?

ШТИЛЬМАН. У каждого своя мечта.

КРАФТ. Я думаю — это верно.

ШТИЛЬМАН. Мне положили мою мечту в вещевой мешок. Иди, умирай, сказали мне, если не подохнешь — дадим клочок земли. Плевать мне теперь на землю!

КРАФТ. Ого!

ШТИЛЬМАН. У меня золотые руки. У меня мышцы, как у вола. И я все это закопаю в поганую пашню? Э, нет, дудки!

КРАФТ (*медленно*). Ты вырос за это время, парень.

ШТИЛЬМАН. После войны? Наплеватель! Я не уеду из плена. Меня не выгонят, Крафт?

КРАФТ. Не выгонят.

ШТИЛЬМАН. Я им покажу работу! Я все умею делать. У меня под руками земля золотом станет!

ГАЛЬКРОНЕ (*с силой*). Ложь! Двадцать четыре года лжи!

КРАНЦ. Ого!

КРАФТ (*Галькроне*). Ты — про себя думай.

ЭММА. Я пойду намочу компресс.

КУЛЬКОВ. Правильно. Иди.

(*Эмма пошла.*)

ГАЛЬКРОНЕ (*Эмме, тихо*). Скажи Кулькову — я хочу с ним говорить.

(*Эмма, кивнув головой, прошла в нишу. Молчание.*)

ШТИЛЬМАН. Вот у нас говорят солдату: учись, как следует умирать за отечество, а у них — сражайся, не щадя жизни. У них про жизнь больше говорят.

КРАФТ. В таких случаях лучше не думать.

ШТИЛЬМАН. А, нет! Теперь я не перестану думать. Это здорово!

КРАФТ. Он впервые думает головой.

ГАЛЬКРОНЕ. Теперь ты остришь, Крафт?

КРАФТ. Я могу остричь. Мне все ясно.

КРАНЦ. А мне еще многое непонятно.

КРАФТ (*Кранцу, сурово*). Я старый солдат. Моя профессия — убивать и жертвовать жизнью. И я знаю, что в осажденной крепости месяц считается за год.

КРАНЦ. Ну и что же?

КРАФТ. А здесь, в этой дыре — день считается за год. Значит — прошло четыре года с того дня, как нас завалило, понял? А за четыре года можно успеть обдумать всю жизнь. (*Помолчав.*) Ничего жизнь была...

ЭММА (*Кулькову*). Этот... Галькроне... Он просил меня потихоньку дать ему воды.

КУЛЬКОВ. Вот как!

КИРИЧЕНКО. Мне бы еще компресс. Хорошо, когда голове холодно...

ЭММА. Сейчас принесу. Вы лежите совсем, совсем тихо, хорошо? (*Пошла к нише.*)

ГАЛЬКРОНЕ (*навстречу ей*). Ну?

ЭММА. Он сказал, что ему не о чем с тобой разговаривать.

(*Ушла в нишу*).

ГАЛЬКРОНЕ (*про себя*). Он прав. Я должен был раньше...

(*Эмма выходит из ниши*).

КРАФТ (*Эмме*). Как второй?

ЭММА. Умирает.

ШТИЛЬМАН. Я... я не хочу, чтобы он умер!

КРАФТ. Носит ему рассол... Ему бы бульону...

ГАЛЬКРОНЕ. Вот сейчас. Я снесу яичко, сяду на него и высижу цыпленка. И будет бульон.

КРАФТ. Нашел над чем смеяться, скот!

КРАНЦ. Мне тоже кажется, что этот человек — подлинный герой.

ГАЛЬКРОНЕ (*негромко*). Крафт, если говорить начистоту, то я с охотой отдал бы свое сердце, чтобы помочь этому парню.

КРАФТ. Из такой дряни, как твое сердце, бульона не сделаешь. (*Размышляя вслух.*) И потом — такой парень заслуживает, по-моему, лучшей пищи, нежели твоя требуха. Замечательный парень! Не вам чета. Если бы у меня во взводе были такие парни, я бы давно дошел до Москвы.

ШТИЛЬМАН. Таким надо родиться.

ГАЛЬКРОНЕ. Нет. Воспитать такого можно. (*Решительно встал*). Кульков!

КУЛЬКОВ. Я сказал — пока вы не выдадите, нам разговаривать не о чем.

ГАЛЬКРОНЕ. Я..

ГИЛЬЦПАРЕР. Сядь, Галькроне. (*Тихо.*) Не унижайся.

ГАЛЬКРОНЕ. Да. Я сяду. (*Молчание.*)

КИРИЧЕНКО. Кульков!

КУЛЬКОВ. Чего тебе?

КИРИЧЕНКО. Положи мне шинель выше. Дышать трудно...

КУЛЬКОВ. Здесь и здоровому не легко. Это — так...

КИРИЧЕНКО. Ты бы мне еще пульс пощупал да на часы посмотрел. Врачи это всегда делают.

КУЛЬКОВ. Не готовился я на врача.

КИРИЧЕНКО. Положи шинель еще повыше.

КУЛЬКОВ. Да уж некуда больше.

КИРИЧЕНКО. Ничего... Ты мне руку дай...

(*Кульков протянул руку*).

КИРИЧЕНКО. А то... не надо... Винтовку держать неудобно. А левый фланг — сдает... Надо сообщить в правление... Нет, в штаб...

КУЛЬКОВ (*в тоске*). Душу бы... душу бы вынул...

КИРИЧЕНКО (*вздыхнув*). Вот и отошло, вроде... Я ничего, Петя. Ты не бойся... У меня... так... как в яму проваливаюсь... а потом... опять легче...

КУЛЬКОВ (*со слезами почти*). Держись, Кириченко!

КИРИЧЕНКО. Я отлежусь, Петя... У нас семья крепкая... Голова... Голову ломит...

ЭММА (*Кулькову*). Тише! Ему надо спать.

КУЛЬКОВ (*нагнулся*). Кириченко... поспи...

ЭММА. Можно — я спую? Он заснет.

КУЛЬКОВ. Пой. (*Отошел, стал у стены.*)

ЭММА (*тихонько напевает*):

Спи, мой мальчик светлоглазый,
Спи, сладко спи.

Звезды высыпали сразу,
Ветер по степи.

Спи, мой мальчик белокурый,
Будут сниться сны —
Карлики в медвежьих шкурах,
Пляски у сосны,

Незабудки на дороге
Зори вдалеке.

Спи, мой мальчик. Месяц строгий
На твоем штыке.

(*Под ее песню Кульков прислонился к стене и — забылся. Трое бессонных суток сморили его; и в тот момент, когда голова Кулькова склонилась низко, — встал Эрнеман.*)

ЭРНЕМАН (*глядит на Эмму. Кивнул головой. Пошел. Это другой Эрнеман. Это — не Эрнеман, трус и ничтожество. Это — офицер неприятельской армии, сбросивший маску.*)

Тише!

КРАФТ (*еще не поняв*). Пусть спит. (*Пленные застыли. Эрнеман медленно пошел к Кулькову. Эмма сбилась на мгновение и запела опять.*)

КРАФТ (*встал*). А?

ЭРНЕМАН (*прошел еще шаг. И еще*). Тише!

КРАФТ (*встав на пути Эрнемана, шопотом*). Ты его не тронешь!

ГАЛЬКРОНЕ (*становясь рядом*). Назад!

ЭРНЕМАН. Прочь, скоты! (*Сделал еще шаг.*) Гильцпарер!

ГИЛЬЦПАРЕР. Здесь, господин лейтенант!

ШТИЛЬМАН. Я его ударю сейчас. (*Эмма кончила петь. Кульков очнулся.*)

ЭРНЕМАН (*сразу схватив Крафта*). Он хотел... Он хотел тебя убить, русский!

КУЛЬКОВ. Что?

КРАФТ (*медленно*). Я хотел убить? (*Наступая грудью на Эрнемана.*) Я хотел убить?

КУЛЬКОВ. Назад! На места!

(*Застонал Кириченко.*)

КУЛЬКОВ (*нагибаясь к нему*). погоди, Кириченко. Я — сейчас.

(*За это время Крафт оттеснил Эрнемана в нишу. Следом скользнул Галькросне.*)

КУЛЬКОВ (*пленным*). Где все остальные? Выходи!

(*Крафт и Галькросне медленно выходят из ниши. Они всклокочены и красны, воротник гимнастерки Крафта разорван. Несколько мгновений слышно только тяжелое дыхание двух людей.*)

КУЛЬКОВ (*сурово*). В чем дело?

КРАФТ. Ничего. (*Помолчал*). Ничего, часовой.

ГАЛЬКРОНЕ (*медленно*). Просто больше не будет никаких несчастных случаев...

ЭММА (*вскочив*). Они... они его... (*Гильцпарер скользнул в нишу.*)

КУЛЬКОВ (*сурово*). Говори, Крафт!
КРАФТ (*тихо*). Он был сволочь, часовой... Он был офицер. Он был наци, Кульков.

ГАЛЬКРОНЕ. Он ударил. А мы — его.

ЭММА (*кричит*). Был?!

КРАФТ (*сурово*). Да, был.

(*Молчание.*)

ГИЛЬЦПАРЕР (*выходя из ниши*). Готов. (*Засмеялся неожиданно и громко.*)

КУЛЬКОВ. Крафт и Галькросне — в сторону. Остальные — не шевелись. (*Прошел в нишу.*)

ШТИЛЬМАН (*пленным*). Они сделали правильно.

КУЛЬКОВ (*выходит*). Будете отвечать!

ГАЛЬКРОНЕ (*хитро*). Нет, не будем. Я читал ваши листовки. В них сказано — бей своих офицеров и иди к нам. Вот и я! (*Жест.*)

КУЛЬКОВ. Не наше это было дело. На то суд есть.

КРАФТ (*убежденно*). Мы его суди-

ли, Кульков. Мы его судили все время, со дня прихода в наш полк.

ГАЛЬКРОНЕ (*жестко*). Ты мне доверяешь, Кульков?

КУЛЬКОВ. Доверять — доверяю, а убивать тоже не дело. Один разговор — ежели ты его у себя в окопе, да потом — к нам. А тут, втихую — вредное это дело. Оно на нас тень наводит, вот...

ГАЛЬКРОНЕ (*еще жестче*). Ты мне доверяешь, Кульков?

КУЛЬКОВ. А ну тебя!

ГАЛЬКРОНЕ. Ты мне доверяешь, Кульков?!

КУЛЬКОВ. Еще что задумал? Говори прямо!

ГАЛЬКРОНЕ (*показывая на Гильцпарера*). Его тоже...

ГИЛЬЦПАРЕР. Сумасшедший!

ГАЛЬКРОНЕ. Он сбросил фонарь. И девка... Они ее послали шпионить за вами.

ГИЛЬЦПАРЕР. И кого еще? Он помешался!

КУЛЬКОВ (*напряженно*). Галькрене и Крафт, вы будете преданы суду за убийство пленного офицера.

ГАЛЬКРОНЕ. Суд найдет для нас снисхождение.

КУЛЬКОВ. Штильман! Возьми винтовку и охраняй арестованных!

КРАФТ. Меня не надо охранять.

ШТИЛЬМАН (*подошел к оружию*). Не тебя, дурень! (*Взял винтовку на руку*). Ну-ка, Гильцпарер, ну-ка, девка, — в уголочек! И не шевелиться.

КИРИЧЕНКО (*с трудом поднимаясь*). Тише... вы..

(*Все замолкают, тревожно прислушиваясь*).

КУЛЬКОВ. Я же говорил...

(*Сверху доносится едва ощутимый шорох. Это отдаленный шум работы, это слышны лопаты*).

ГАЛЬКРОНЕ. Идут... Ей богу, идут... Откапывают.

(*Шорох сильнее, это уже шум*).

КРАФТ. Меня будут судить. Пусть меня судят! А все-таки я сейчас тресну от радости!

ГАЛЬКРОНЕ (*Штильману*). Морда, дай я тебя обниму! Мы будем жить. Нет, ты подумай — будем жить!..

ШТИЛЬМАН. Тише, тише! Они еще могут уйти.

КУЛЬКОВ (*нагибаясь к Кириченко*). Продержишься минут с десяток? Держался ведь...

КИРИЧЕНКО. Живы будем, не помрем.

(*Шум нарастает. Он все сильнее и сильнее*).

ГАЛЬКРОНЕ (*танцуя, припевает*). Кому воды, кому холодного пива, кому воды...

КРАФТ (*оглядывая всех*). Я гордился своим взводом... Вот теперь я горжусь им! Это... Это не взвод, а люди!

КРАНЦ (*вздыхая*). Конечно, это очень радостно, но я боюсь, что я еще не все понял.

ЭММА (*падает на колени*). Господи...

КРАФТ (*строго*). Молчи, тварь!

КУЛЬКОВ. Не кидайся только скопом на волю — по одному выходи.

КРАФТ. Разбирай вещи, подтянись, отделение!

ШТИЛЬМАН (*с хохотом*). Пить, жрать и видеть солнце!.. А!..

КУЛЬКОВ. Арестованные — вперед! Галькрене, Крафт, понесите Кириченко. (*Прошел к лестнице*).

(*Все прислушиваются. Стук лопат все ближе и ближе*).

КРАФТ. Сейчас они будут здесь. (*И внезапно сверху, оттуда, где солнце, жизнь и вода, — раздается голос*).

ГОЛОС. Sind sie noch lebendig dort?

КУЛЬКОВ (*отступая от лестницы*). Противник! (*И еще раз громче*.) Противник!

(*Больше света проникает в подвал. И снова голос: «Sind sie gestorben da alle?»*).

КРАФТ (*круто поворачиваясь к столпившимся позади него пленным*). Отделение, мол-чать!

ШТИЛЬМАН (*приставил штык к горлу Гильцпарера*). Только пикни, собака, только пикни!

(*Еще больше света, еще отчетливей шум работы*).

КРАФТ (*вполголоса*). Они сейчас будут здесь...
(*Сверху раздается тихий старушечий голос*).

ГОЛОС. Эмма, Эмма!

ЭММА (*бросаясь к лестнице, звериным воем*). Ма-ма!

ГАЛЬКРОНЕ (*зажимает Эмме рот рукой*). Тварь!

КУЛЬКОВ (*медленно*). Кириченко, сумеешь?

КИРИЧЕНКО (*встает, шатаясь, винтовка ходит у него в руках*). Сумею...

КРАФТ. Они сейчас будут здесь.

ГИЛЬЦПАРЕР. Я стану за вас грудью! Я вас возьму под свою защиту! Я им скажу!

ГАЛЬКРОНЕ. Ты им ничего не скажешь.

КУЛЬКОВ (*вскинув винтовку*). Пленные — в нишу!

КРАФТ. Я не пойду в нишу. Я стану рядом с тобой, солдат.

ШТИЛЬМАН. Ты мне дал винтовку, и я ее никому не отдам.

КРАНЦ. Извините меня, но и я возьму винтовку.

КУЛЬКОВ. Отойти от оружия!

КИРИЧЕНКО. Петя! Нас здесь двое. Я — за.

КУЛЬКОВ (*строго*). Отделение! В ружье!

(*Люди кинулись к винтовкам, к оружию. Мгновение молчания*).

ГОЛОС СВЕРХУ. Sind sie gestorben da alle?

ГАЛЬКРОНЕ. Говори, говори!

КУЛЬКОВ. Гадов — в нишу!

ШТИЛЬМАН (*с винтовкой наперевес заставляет отступить Гильцпарера и Эмму в нишу*). Я их держу на мушке... (*Подумав*.) Командир!

КУЛЬКОВ. Отделение, слушай! Ложись! Без команды огонь не открывать!

(*Люди легли за ящиками, за дровами. Молчание. Еще больше света в погребе, еще отчетливей шум работы там, наверху*).

КИРИЧЕНКО. Прощай, Петро!

КУЛЬКОВ. Прощай, Кириченко!

КРАФТ (*со вздохом*). Прощайте, парни!

КРАНЦ. Что ж... Прощайте.

ШТИЛЬМАН. Я вам жму руки, товарищи. (*И удивленно, точно ощупывая это слово*.) Товарищи... †

(*Свет все ярче и ярче. Он залил теперь всю сцену*).

ГАЛЬКРОНЕ. Петь... Петь мы не умеем.

КУЛЬКОВ. Отделение! По наступающему противнику...

(*Люди изготовили винтовки. Свет залил сцену. Там, наверху, в облаках пыли возникли силуэты. Кульков поднимает руку*).

ГОЛОС СВЕРХУ. Ну-ка, пропусти-те меня...

КУЛЬКОВ (*огромная радость звучит в его голосе*). Отставить!

(*Сверху, с лестницы сбегает лейтенант. Красноармейцы и жители деревни останавливаются наверху*).

ЛЕЙТЕНАНТ. Живы?

КУЛЬКОВ (*вытгиваясь*). За истекшие четверо суток... Эх, товарищ лейтенант!..

ЛЕЙТЕНАНТ. Ты что это, Кульков?

КУЛЬКОВ. Мы думали — противник...

ЛЕЙТЕНАНТ (*обнял Кулькова за плечи*). Виноват. Рук мало было — дешенных жителей работать поставил. (*Сделал шаг к Кириченке, посмотрел, крикнул наверх*.) Носилки! (*Обнял Кириченко*.) Сейчас, Кириченко, сейчас.

КУЛЬКОВ (*подтянувшись*). Разрешите доложить, товарищ лейтенант... .. танковый резерв противника по приказанию пленных...

ЛЕЙТЕНАНТ (*искренно*). Молодец! Только — не надо. Уже обнаружили. (*Пленным*.) Вы, граждане, можете теперь положить оружие.

КРАФТ. Приказано положить оружие (*подумав*), гражданин лейтенант!

(*Пленные кладут оружие*).

ГАЛЬКРОНЕ. Жаль. Первый раз в жизни винтовка была мне и по руке, и по душе.

ЛЕЙТЕНАНТ. Поднимайтесь наверх, граждане!

ШТИЛЬМАН (*медленно, взвешивая каждое слово*). Верно. Поднимайтесь наверх, товарищи!

Добердо

Роман

МАТЭ ЗАЛКА

(Окончание¹).

6. Разрез Добердо

Торма хотел проводить меня до Нови-Ваш. У мальчика вдруг нашлась тысяча вещей, которые он должен был мне сказать, и только мое категорическое приказание заставило его отказаться от этого намерения. Он спрятал мой приказ в верхний карман френча и крепко пожал мне руку.

— То, что ты идешь, — это самый логический поступок. Только боюсь, чтобы не было поздно.

— Будем надеяться на лучшее. Знаешь, как приветствуют друг друга шахтеры, встречаясь под землей: «Глюк ауф!»

— Глюк ауф, господин лейтенант!

В устье хода сообщения я остановился и прислушался. Тихо.

— Куда это ты собрался? — вдруг спросил кто-то рядом со мной.

— Бачо!

— Да, был здесь у старины Сексарди. Играли в карты. Ну и общипали же мы егерского обер-лейтенанта! Помнишь, блондин был вчера у нас? Мне теперь везет. Наверное, невеста с кем-нибудь флиртует.

— Возможно, — сказал я, порываясь продолжать свой путь, но Бачо удержал меня.

— Я спрашиваю, куда ты собрался? Ведь не на прогулку же с этой сумкой и палкой?

Я объяснил ему, что иду в штаб бригады.

— Жаль, жаль, — откровенно сказал Бачо. — Мы сегодня затеваем маленький кутеж. Эрцгерцог все равно не придет, и мы с обер-лейтенантом Шиком решили устроить отвальную. А третья рота готовит мне встречу. Будет несколько офицеров из четвертого батальона и от егерей. Я очень на тебя рассчитывал. А потом Шик сказал, что на свою ответственность хочет спустить седьмую латрину в итальянские окопы. Значит, будет весело.

— Смотрите, чтобы не влетело вам за это от штаба батальона, — сказал я, подзадоривая.

— Да ну его к чорту, этот штаб! Пусть приходит сюда, если хочет командовать. Ты думаешь, я бы им уже не задал на твоём месте? Ого!

— Это правда, ты задал бы, — согласился я. — Но моему терпению тоже конец. Видишь, иду.

Бачо еще пытался удержать меня, упрашивая, чтобы я отложил все на завтра, но я решительно двинулся вперед.

Когда отошел шагов на двадцать, он вдруг крикнул мне вслед:

— Гей, Матраи, слышал, что фельдфебеля Новака ребята искупали в латрине?

Сделал вид, что не слышу, и ускорила шаг. Когда я миновал штаб батальона, мрак уже начал редеть. Взлетающие на небо ракеты бледнели, предвещая близкий рассвет. Но в ходах со-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. №№ 3 и 4 с. г.

общения еще царило оживление. Ночью они полны людьми: сменяемые, сменяющие, дежурные, навьюченные термосами, консервами, мешками с галетами, патронами, усталые обозники с ящиками амуниции движутся без остановки туда, на передовую линию. А сзади, куда я иду, стоят резервы, перевязочный пункт, бомбометчики. Все это находится на метр-два под землей, хорошо замаскировано и спрятано от глаз противника. У второго резерва начинается линия тяжелой артиллерии, а дальше уже все находится на поверхности земли. Это та часть войны, которая вне линии огня.

Иду, иногда останавливаюсь, пропуская двигающихся навстречу солдат. Из одного разветвления в главный ход вливается молчаливая группа. Ее обходят все спешащие на передовую линию, обходят, не проронив ни слова. На носилках окровавленные желтые лица, неподвижные глаза. Санитары идут, сгорбившись, с напряженными лицами. Дальше—носилки с больными и ранеными.

Перед Нови-Ваш, где зигзаги ходов сообщения расширяются, кто-то окликнул меня.

— Доброе утро, господин лейтенант!

Смотрю на солдата, с ног до головы нагруженного всякими пакетами.

— Кто вы такой?

— Денщик господина фенриха Шпрингера.

— Куда направляетесь?

— Нас послали обратно, господин лейтенант.

— А где фенрих?

— Там, идет сзади.

Денщик понижает голос:

— Господин лейтенант идет в полк? Не говорите там, что наверху нас буравят.

— Почему?

— Господин фенрих вчера только одним словом обмолвился в офицерском собрании, и сегодня, господин лейтенант, как видите, мы уже идем назад. А у нас уже были все бумаги на курсы в Лайбах.

— Спасибо, братец, что предупредил, — сказал я, еле сдерживая улыбку.

Шагов через сто встречаю фенриха и отхожу с дороги в тень, чтобы он не заметил меня. Шпрингер идет с артиллерийским лейтенантом и, сильно жестикулируя, говорит:

— Ну скажи, разве я не прав? Ведь это факт, а факты нельзя отрицать, они все равно вылезут, как шило из мешка.

Унылая физиономия Шпрингера вызывает во мне чувство злорадства. Иду дальше и напеваю:

С каким нетерпением солдат ожидает,
Когда золотая труба заиграет,
Труба долгожданного мира.

Это новая солдатская песня. Ход сообщения кончился. Прохожу через разрушенный двор, поворачиваю на тропинку за уцелевшей стеной. Кто-то спрашивает, который час.

— Около пяти, — отвечаю я.

Спрашивающий стоит у какого-то углубления, откуда пробивается бледный свет свечи. Он курит и, не вынимая трубки изо рта, сплевывает. Когда я вступаю в полосу света, он, увидев меня, исчезает в своем прикрытии. Скрипит подобие двери.

Прохожу кустарником, дальше снова ход сообщения. Вдруг на руку мне капнуло что-то холодное. Вздрагиваю от неожиданности. Капля росы, да, капля росы здесь, на Добердо. Какой-нибудь маленький оставшийся в живых куст умывается перед восходом солнца. А может быть, это — слеза Добердо или капля пота обозного солдата.

Быстро светает, от камней подымается холод. Выхожу из хода сообщения. На краю изрытого снарядами шоссе сидит Хусар.

Останавливаюсь, смотрю назад. За легким розовым облачком уже виден край солнца.

— Я уже думал, что господин лейтенант заблудился, — ворчит Хусар.

— Да, здесь не трудно заблудиться.

— Большое хозяйство этот фронт, — говорит Хусар, как бы угадывая мое настроение.

Я не отвечаю, думаю о Дортенберге. «Сколько все это стоит?» Да, сколько стоит? Вот и Хусар говорит: «Большое хозяйство».

— Какое хозяйство? — спрашиваю через некоторое время.

— Как солдаты говорят, господин лейтенант: королевская фабрика мертвецов.

Вдруг перед нами, как из-под земли, вырастают две тени.

— Хальт! Куда идете?

Называю свой чин и фамилию.

— Извините, господин лейтенант, не заметил в темноте, — козыряет полевой жандарм.

— А это — охранники могил, — сказал Хусар, когда жандармы скрылись.

— У вас на все есть определения, — усмехнулся я.

Подымаемся на холм, по которому идут последние ответвления ходов сообщения, и перед нами открывается долина, заполненная сотнями грузовых автомобилей.

— Это разгрузочная, — объяснил Хусар. — Дальше уже все отправляется с помощью солдатских спи и плеч.

Обозный комендант, хромой оберлейтенант, приказывает освободить для нас места на одной из машин, уже готовой тронуться. Я сажусь рядом с шофером, а Хусар лезет в кузов, набитый солдатами.

— Куда прикажете, господин лейтенант?

— В Констанъевце, в штаб дивизии.

— Как-раз по дороге.

Под равномерный шум мотора я погружаюсь в свои мысли. Почему я не отправился в Констанъевце раньше, почему раньше не стряхнул с себя этого непонятного оцепенения?

Когда в Констанъевце я выпрыгнул из автомобиля, сразу ощутил большое беспокойство. Да, я слишком долго не решался и медлил. Надо спешить, каждая минута дорога. Я — посыльный восьмисот осужденных на смерть.

Было половина девятого утра. Разбросанные кругом холмы еще удерживали полумрак на узенькой, спрятанной в ложбине, улице.

Денщик полковника Хруна отказался разбудить своего господина, но старик, видимо, спал очень чутко, так как

вышел через две минуты, услышав мой энергичный голос.

— Что случилось? Входите, пожалуйста.

Полковник был в туфлях и домашней куртке, наброшенной на ночную рубашку. Я рассказал ему, как обстоит дело на Кларе. Сначала он слушал вяло, глядя на раннего гостя сонными глазами, но, когда я дошел до середины рассказа, Хруна вдруг хлопнул ладонью по своему колену, встал и начал ходить взад и вперед по комнате, изредка бросая:

— Ну и дальше! Дальше!

— Все, господин полковник. Сегодня положение таково, что каждую минуту можно ожидать...

— Можно предполагать катастрофу, — поправил полковник.

— Нет, господин полковник, наши наблюдения совершенно точны.

— Скажите, а где эта карта, гидрогеологическая карта возвышенности?

— Как-раз об этом я и собирался доложить господину полковнику. Капрал Хусар, которого я послал за этой картой в штаб бригады, пропал здесь три или четыре дня и ничего не добился. Капитан Лантош не нашел карты.

— Почему капрал не пришел ко мне?

— Господина полковника как-раз не было в Констанъевце.

— Верно, я был в Толмейне. Ну, и карта?..

— Пропала бесследно.

— Карл!

Вбежал денщик.

— Карл, беги за шофером. Раз, два, сейчас же сюда с машиной!

Карл исчез. Старик быстро начал одеваться. Через пять минут, вымытый и одетый, он уже нервно постукивал сапогом на веранде.

— Сначала карта, — сказал полковник, когда мы сели в автомобиль. Я невольно взглянул на стоящего у дверей Хусара.

— Кто это с тобой?

— Мой капрал, господин полковник, которого я посылаю за картой.

— Ну, садитесь, живо! — сказал полковник Хусару, указывая на место рядом с шофером.

Лантош еще спал. Полковник не стал его будить, так как уже поднял с постели Богдановича. Вошли в канцелярию Лантоша. Богданович, несмотря на все старания, не мог подавить сонной зевоты. На лице его виднелись следы ночных походов. Внезапно вырванный из постели, он дрожал всем телом.

— Дайте-ка сюда папку с картами!

— С гидрогеологическими прикажете?

Выкладывая на стол карты в твердых синих конвертах, Богданович сказал:

— Господин лейтенант уже раз интесовался картой Монте-дей-Сэй-Бузи, но, как видно, кто-то ее вынул из папки, так как она пропала. На-днях по приказанию капитана я написал в штаб армии, где имеются две таких папки с картами.

Карты были отпечатаны на твердой гляцевой бумаге с водяным гербовым знаком. Карта Бузи, действительно, исчезла. Здесь были разрезы Косича, Ларокко, Хельца, Полазо, но Бузи не было. Богданович смотрел на меня с затаенным злорадством. Полковник сердито фыркнул, и мы уже повернулись, чтобы уйти, как вдруг Хусар подошел к стене, на которой красовался рисунок с изображением обнаженной женщины. Я невольно повернулся, когда Хусар начал срывать кнопки с рисунка.

— Что ты хочешь делать? — сердито крикнул Богданович.

— Эта бумага очень похожа на карту.

— Оставь! — кричал взбешенный Богданович.

— Но-но, тише. Снимите-ка, капрал, эту картинку, — сказал Хруна, подходя к стене.

Хусар сорвал со стены рисунок, полковник взглянул и, обращаясь к Хусару, резко сказал:

— Арестовать этого мерзавца!

Обратная сторона рисунка изображала гидрогеологическую карту возвышенности Монте-дей-Сэй-Бузи.

Хусар выбежал и через две минуты вернулся с полевым жандармом. Богдановича увели. Когда мы селись в машину, на террасе появился заспан-

ный капитан Лантош. Полковник повернулся к нему:

— Господин капитан, через десять минут явитесь ко мне в штаб дивизии.

Автомобиль тронулся, и Лантош не успел спросить, в чем дело.

Хруна двигался с живостью восемнадцатилетнего мальчика, я еле поспевал за ним. Карл побежал за адъютантом, а мы засели за карту. Прodelав несколько измерений, полковник указал мне на волнистую линию посередине карты.

— Видишь? Это небольшая пещера, вход в нее с южной стороны. Ну-ка, смерть ее мысленно. Совпадает?

Бузи, действительно, оказалась дырявым зубом.

Хруна засыпал меня вопросами:

— Где услышали в первый раз бурение? В каком направлении оно продолжалось? Где находятся каверны? На каком расстоянии друг от друга?

Старик внимательно прислушивался к моим указаниям, и его толстый красный карандаш быстро двигался, отмечая на карте направление подкопа. Временами Хруна глубоко вздыхал.

— Хорошо сделал, сынок, что приехал ко мне, — сказал он, похлопывая меня по плечу. В этот момент вошли длинный адъютант и капитан Лантош. — Хорошо сделал! Ты предупредил большое несчастье: ведь эрцгерцог сегодня к двум часам собирался приехать на Монте-Клару.

— Эрцгерцог? — изумленно спросил я. — Что же мы предпримем, господин полковник?

— Предотвратим катастрофу. Прежде всего предупредим эрцгерцога.

Теперь я сел около шофера. Помчались по шоссе, потом свернули на боковую дорогу, вымощенную зеркально-гладким асфальтом. По краям дороги из-за деревьев то тут, то там выглядывали полевые жандармы. Подняв руки, требовали замедлить ход, но, увидев наши знаки полковника, беспрепятственно пропускали машину.

«Предотвратим катастрофу... Неужели полковник считает катастрофой только посещение эрцгерцога? Нет, нет, он не такой человек» — думал я.

На задних местах сидели Лантош и полковник. Лантош еще ничего не знает. Лицо у него бледное, помятое. Нервно закусил нижнюю губу и неподвижно смотрит перед собой. Все это я вижу в круглом зеркальце около шофера. Полковник за всю дорогу не сказал ни слова, капитан тоже молчит.

«Они готовы с'есть друг друга» — думаю я со злорадством.

А куда девался Хусар? Он провожал арестованного Богдановича. Сволочь этот Богданович.

Как будто пробежала ироническая улыбка по лицу голой женщины, нарицательной на задней стороне карты. Она здесь, у меня в руке, свернутая в трубку, а женская головка пришлась как-раз снаружи.

«Какая мерзость!» — думаю я машинально, но не чувствую никакого возмущения. В мозгу сверлит една мысль: «Опередить, опередить...»

Автомобиль остановился перед особняком. Из раскрывшихся ворот выбежало несколько человек.

— Эрцгерцог еще спит.

Идем по усыпанной гравием дорожке. На веранде нас встречает знакомый хромой капитан, ад'ютант эрцгерцога. Полковник Хруна докладывает, что имеет важное сообщение и должен лично говорить с эрцгерцогом. Пока Хруна вел переговоры с ад'ютантом, Лантош тихо спросил меня:

— Что случилось? Я ничего не понимаю.

— Господин капитан читал мое донесение? — холодно спросил я.

— Ах, вот в чем дело! — по губам Лантоша скользнула презрительная улыбка. — Играем в панику?

Он повернулся и хотел уйти, но полковник, оторвавшись от разговора, остановил его:

— Я не отпускал вас, господин капитан.

— На одну минуту, господин полковник.

— Ни на одну секунду, — сухо ответил Хруна и, отвернувшись, продолжал тихий разговор с ад'ютантом эрцгерцога.

Хромой гусар вначале слушал рассеянно, потом лицо его оживилось, стало внимательным и напряженным. Выхватил записную книжку, что-то пишет, подчеркивает. Нервно играет своей палочкой. Они сидят в креслах. Я вижу только затылок полковника и временами возбужденное лицо капитана.

— Неслыханно! — доносится иногда. — Невероятно!..

Встали. Гусар поворачивается к нам: — Прошу вас, господа, немного подождать. — И скрывается за дверью.

Мы ждем. Хруна закурил, я даю ему огонь. Стоящий рядом Лантош тоже вынимает сигару, угощает меня, но я не предлагаю ему огня.

— Скажите, господин капитан, что это за тип работает у вас в канцелярии?

— Богданович?

— Ну да, ваш капрал. Откуда вы его взяли?

— Богданович — бывший обер-лейтенант, господин полковник, разжалован перед войной. Работает у меня уже три месяца. Но, позвольте узнать, в чем, собственно говоря, дело? — вызывающе спрашивает Лантош.

— Капитан Лантош, я вас уже несколько раз предупреждал, чтобы вы держали служебные дела в порядке. Это чудовищно то, что вы допустили.

— Я?

— Да, вы. Если бы господин лейтенант не приехал сегодня по собственной инициативе, в результате вашей халатности эрцгерцог мог подвергнуться смертельной опасности.

«Эрцгерцог... — думаю я. — А восемьсот человек солдат?».

Лицо Лантоша поминутно меняется, его высокомерие тает на глазах. Полковник поворачивается к нему спиной и углубляется в лежащую на круглом столике карту.

Эрцгерцог принял нас в одиннадцать часов. В час дня кончилось совещание.

... Полковник окинул взглядом окружающих, как бы призывая их к тишине, и веско, подчеркивая каждое слово, суммирует результаты совещания:

— Положение, господа, ясно. После потери Монте-дей-Сэй-Бузи итальянцы предприняли наступление по всему фронту, но вскоре убедились, что все их попытки вернуть потерянную высоту не приводят к желаемому результату. Именно поэтому, ознакомившись с донесением господина лейтенанта Матраи и сопоставив данные наблюдения с гидрогеологической картой высоты, мы можем смело сказать, что опасность, о которой сигнализирует господин лейтенант Матраи, вполне реальна. Господин лейтенант Матраи поступил совершенно правильно, когда, увидев преступное бездействие своего непосредственного начальства, решил обойти его и предупредить высшее командование. Лейтенант Матраи знал о том, что его королевское высочество собирается на высоту Монте-дей-Сэй-Бузи, желая лично передать свою благодарность героическому десятому батальону. Ни бригада, ни капитан Лантош не передали командованию армии письменные донесения лейтенанта Матраи. Поэтому мы должны признать действия лейтенанта Матраи образцом офицерской честности и преданности его королевскому высочеству эрцгерцогу, а к остальным вынуждены применить самые строгие меры.

Полковник посмотрел на сидящего во главе стола эрцгерцога. Тот одобрително кивнул:

— Но только в том случае, если будет доказано, что высоте действительно угрожала опасность.

— Ваше королевское высочество слишком снисходительны к тому командованию, которое по небрежности осмелилось подвергнуть неслыханной опасности вашу драгоценную жизнь, — резко ответил полковник.

Совещание началось сейчас же, как эрцгерцог принял нас. Сначала вокруг длинного стола сидело всего пять-шесть человек, но потом поодиночке и попарно стали приходиться чины высшего командования: генералы, полковники-генштабисты, майоры, подполковники. Я понял, что состоится совещание штаба армии. Но вместо того, чтобы почувствовать робость, я, простой лейте-

нант, смотрел на этих высокопоставленных господ с презрением. Я увидел в истинном свете этих генералов и самого эрцгерцога, который с подчеркнутым вниманием посадил меня рядом с собой.

Мой предварительный доклад и разъяснения полковника Хруна, видимо, произвели на эрцгерцога большое впечатление, но он удачно скрыл испуг и, подчеркивая свою объективность, выражал сомнение в такой близости опасности. Лантош, очевидно, не понимая хода мыслей эрцгерцога, раза два пытался возражать Хруна, но его замечания всякий раз игнорировались собранием. Это заставляло капитана нервничать и впадать из одной ошибки в другую. Господин капитан не замечал, что после того, как сам главнокомандующий согласился с мнением полковника Хруна, все присутствующие в пылу самозащиты бросились искать виновных. Возмущению не было границ.

— Преступная небрежность! Умышленная слепота!

Эрцгерцог чувствовал, что его спасли от большой опасности, и был со мной очень мил. Он не отпустил меня даже тогда, когда собрание начало обсуждать, какие следует предпринять контрмеры.

Я сижу по правую руку эрцгерцога. Адъютант его высочества угощает меня ароматной гаванной из той самой коробки, в которой изнеженные пальцы эрцгерцога перебирают сигары, пока не находят лучшую из них. От эрцгерцога на меня струится легкий запах тонких мужских духов. Все сидящие за столом чисто выбриты, подчеркнута элегантно, пестреют разноцветными орденами и лентами. «Блестящая мишура» — сказал бы Арнольд. И это блестящее общество собралось здесь на зов моего набата. Оно выносит решение о подготовке артиллерии, подтягивании резервов и о привлечении к ответственности виновных лиц. Я несколько раз безуспешно порываюсь получить слово. Я хочу напомнить этим господам, что речь идет не только об эрцгерцоге, как им кажется, а прежде всего о жизни восьмисот человек солдат и офицеров, ко-

торые вчера еще были героями фронта, а завтра могут взлететь на воздух, если...

— Для определения действительного положения капитан Лантош отправится на передовую линию и проверит правильность данных лейтенанта Матраи, а полковник Хруна не позже чем через двадцать четыре часа доложит обо всем заместителю главнокомандующего господину полковнику Фонкач.

— Двадцать четыре часа! А как же батальон?..

Но никто не обращает внимания на мою растерянность и оцепенение. Эрцгерцог встал. Моя рука на минуту задерживается в его мягкой белой ладони. Главнокомандующий благосклонно улыбается.

— Спасибо за преданную службу, лейтенант. Очень рад, что среди офицеров десятого батальона имеются такие герои. Необходимо быстро и энергично выяснить действительное положение, — обращается эрцгерцог к дивизионному генералу, который отечески положил руку мне на плечо. — Подробности обсудите в дивизии.

Шпоры мягко звенят, белые двери широко распахнулись, как крылья большой птицы перед полетом. Потом двери бесшумно закрываются.

— Ну, едем, сынок, в дивизию, там обсудим все подробно.

И генерал сажает меня в автомобиль рядом с собой. Мчимся из Заграя в Констаньевице. Шофер бешено гудит, встречные шарахаются в стороны, испуганно отдают честь.

В штабе дивизии нас ждут смущенный, нетерпеливый полковник Коша и бледный, испуганный капитан Беренд. Холодный кивок командира дивизии ясно дает им понять, что «они во всем виноваты».

По дороге уже пылит автомобиль бригадного. Перед вестибюлем мелькнула импозантная фигура кавалерийского генерала, краснеет лампас генеральских брюк, и мягко звучит привыкший к командованию голос:

— Прости, дорогой генерал, что опоздал на совещание. Сорок пять километров пролетел с бешеной скоростью. В

чем дело, господа? Почему такая спешка, этот галоп-темпо?

Остальное уже слышится за дверями, за которыми скрылись оба генерала и полковник Коша. Через пять минут полковник выскакивает красный, как рак, и со злыми, сверкающими глазами спрашивает капитана Беренда, получил ли он неделю тому назад от батальона донесение об опасности, грозящей эрцгерцогу.

— Такого донесения не было, — заикается Беренд и исчезает с полковником за дверью.

В штабе все приходит в лихорадочное движение. Люди мечутся, звонят телефоны, трещат мотоциклетки, в них на ходу вскакивают офицеры для поручений. А там у ворот знакомая фигура. Хусар. Он — оттуда, с передовой линии, которая сейчас кажется мне такой далекой, чужой и никому не нужной. Действительно, кому есть дело до несчастных солдат и офицеров, составляющих часть, официально именуемую «героическим батальоном»? Кого может интересовать судьба этой ничтожной серой массы, когда в опасности жизнь эрцгерцога, самого эрцгерцога?

Да, эрцгерцога спас от смерти молодой лейтенант, которого дивизионный генерал, выходя из автомобиля, пропустил перед собой. Все видели, что командующий дивизией подымался по лестнице штаба под руку с простым фронтовым лейтенантом. А теперь этот лейтенант стоит у окна, забытый всеми, стоит и ждет, пока там, за дверью, идет великая головоломка. Командир дивизии моет головы господам полковникам, майорам и капитанам. При этом, конечно, не может присутствовать лейтенант. Низший чин не должен слышать, как распекают высших. Это противоречит духу армии.

И вдруг я понял, что больше никому не нужен, что я свободен. Прошел к воротам и окликнул Хусара. Хусар вытянулся в струнку. Он все видел и все знает. У него уже человек десять спрашивали, кто я такой и за что удостоен такой великой чести.

— Что такое, Хусар? Не понимаю, что вы сказали.

— Они здесь все трое на гауптвахте, господин лейтенант.

— Кто они? Говорите яснее, Хусар.

— Когда мы с жандармом, господин лейтенант, привели на главную гауптвахту этого проклятого пьяницу и бабника Богдановича, я увидел здесь ефрейтора Эгри, старика Ремете и Чордаша, который проводил наблюдения в третьем взводе, извольте помнить?

— Что же они делают на главной гауптвахте? — спрашиваю я, ничего не понимая.

— Арестованы, господин лейтенант, — Хусар понижает голос, — как дезертиры.

— Вот как! А где их поймали?

— Эх, господин лейтенант, они даже до Нови-Ваш не дошли, а прятались во второй линии окопов на Добердо. Там и схватили их жандармы, — говорит Хусар с непередаваемым презрением по адресу Эгри и его бестолковых товарищей.

... Пауль Эгри и его товарищи. Ремете, первый услышавший звуки бурения... Чордаш, соорудивший из итальянской сабли и котелка сейсмограф... Пауль Эгри, бросившийся за лейтенантом Бачо, когда началась та знаменитая атака...

— Где помещается гауптвахта? — спросил я Хусара.

— Здесь за углом, господин лейтенант, такой барак с квадратным двором.

Я быстро зашагал, Хусар последовал за мной.

Пауль Эгри и его товарищи — дезертиры! Пойманные жандармами, они предстанут перед полевым судом. Два офицера, поп, три солдата, пачка патронов, — суд скорый и правый. Пауль Эгри, не боящийся штыков, не обращающий внимания на пули «дум-дум», когда нужно было принести из-за проволоки раненого итальянца. Пауль Эгри... Может быть, это он стрелял в Новака. Пауль Эгри не сделался самострелом, а стал самоубийцей, потому что не захотел взлететь на воздух. Он просто дал тягу, и за это... Я тоже бежал оттуда, а свою часть отправил в резерв. Я имею на это право, а Пауль Эгри — беглец, дезертир...

Дежурный по гауптвахте обер-лейтенант вежливо поднялся, пожал руку (он тоже видел, как дивизионный генерал...).

— Что прикажешь, коллега?

— Здесь у тебя содержатся три моих солдата.

— Твои солдаты?

— Да. Эгри Пауль, Ремете и Чордаш Петер. Кажется, Петер, но я не совсем уверен в этом.

— Так что тебе угодно?

— Я хотел бы поговорить со своим ефрейтором. Он очень порядочный малый, но вместе с тем страшный лентяй. Хочу обругать этого лодыря, чорт бы его побрал!

— Эгри? Но ведь он дезертир. Его поймал на седьмой линии жандармский капрал Микольский. Он и его товарищи уже второй день в бегах.

— Не может быть, это недоразумение. Будь добр, разреши мне поговорить с ефрейтором.

Минута колебания. Это против правил, но бог его знает, кто такой лейтенант, которого дивизионный генерал так запросто берет под руку.

— Пожалуйста.

Обер-лейтенант ввел меня в маленькую пустую комнату. На окнах — решетки. Наверное, карцер.

— Сейчас прикажу привести его сюда, только, прошу тебя, недолго.

— Три минуты. Хочу только убедиться...

... Я сказал, что это недоразумение. А если они уже во всем сознались и жандармский капрал составил протокол?..

Дверь открылась, и вошел Эгри. Без ремня, без обмоток, в расстегнутом френче, в расшнурованных ботинках, которые на каждом шагу спадают с ног. Лицо серое, распухшее. Увидев меня, отвел свои черные мальчишески упрямые глаза и уставился в землю. Опустил нижнюю губу, что делает его еще больше похожим на упрямого мальчика.

— Ну, в чем дело, Эгри? Что случилось? — спросил я.

Эгри молчит. Он стоит передо мной с беспомощно повисшими руками, с опущенной головой.

— Ну? Вы слышите меня, Эгри?

Ефрейтор подымает голову и смотрит на меня. Это не бессмысленное, ничего не говорящее лицо солдата, слепо ожидающего приказаний, нет, это лицо обиженного, измученного человека, готового к защите и нападению.

— Идите, господин лейтенант... по своим делам. Здесь все в порядке, -- тихо говорит Эгри.

— Значит, вы сбежали?

Эгри не отвечает, только смотрит на меня горящими повелительными глазами. Его лицо залилось кровью.

— Значит, вы... — ищу чем бы обидеть его, — значит, вы, Пауль Эгри, трусили?

Одну секунду мне кажется, что Эгри бросится на меня, мысленно открываю кобуру револьвера. Лицо ефрейтора кроваво-красное, глаза бешеные. И вдруг парень закрывает лицо руками, и я вижу, как дергаются его плечи. Подскакиваю к нему и отрываю руки от глаз. По щекам катятся слезы, смешанные с грязью давно невымытого лица.

— Пауль, — сказал я тихо, по-дружески, — Пауль, не будьте дураком, говорите толком, что случилось. Может быть, еще возможно поправить дело.

— Нет, господин лейтенант, — плача, ответил Эгри.

— Ну, говорите же, — сказал я сердито.

— В Нови-Ваш составили протокол. Замучили, руки и ноги изломали, били по животу.

— Покажите.

Эгри подымает френч. На спине и на животе вижу длинные вздувшиеся кровоподтеки.

— Почему били?

— Потому что не сознавался.

— А что вы говорили сначала?

Эгри перестает плакать, смотрит на меня недоверчиво и пылливо.

— Когда сначала, господин лейтенант? — делаю вид, что не понимает, спрашивает он.

— Когда поймали.

— Сказал, что отстал от остальных, что...

— Что были на работе?

— Да, но видите ли...

— Как же вы забыли, что вас, Ремете и Чордаша наш отряд послал ночью с Хусаром — с капралом Хусаром, понимаете? — в Брестовице за инструментами?

— За инструментами? — удивленно спросил Эгри.

— Да.

— Нет, господин лейтенант, это уже не поможет. Жандармы составили протокол, и мы признали свою вину.

— Глупости, возьмите себя в руки. И расскажите мне откровенно, почему сбежали. Откровенно, понимаете?

Эгри оторопел, испуганно, подозрительно смотрит на меня. Что это — ловушка? Я понял его мысли. В смущении вынул портсигар, закурил. Глаза Эгри устремились на папиросы.

— Хотите папироску?

Эгри глотнул, но ничего не сказал.

— Ну не будьте дураком, Пауль, берите. Можете брать три, четыре. Ну, берите же.

Рука Эгри неуверенно подымается, большие черные пальцы, туго сгибаясь, с трудом берут папиросу.

— Что это такое? — спросил я.

Эгри молчит. Схватив его за руку, показываю на пальцы.

— Что это?

— Избили. — На его глазах снова наворачиваются слезы. Закурил, дышит тяжело, нос и глаза красные.

— Расскажите все откровенно, — повторяю я.

— Эх, да что говорить, господин лейтенант! Я уже все сказал на допросе.

— Что вы там сказали?

Эгри снова недоверчиво посмотрел на меня, но потом, видимо, вспомнил, что и так много сказал, и говорить откровенно уже не опасно.

— Сказал, что нахожусь в бегах.

— В этом сознались после того, как вас избили?

— Да.

— Ну?

— Больше ничего не говорил.

— Ну, а теперь скажите мне, Эгри, почему вы сбежали?

— Выспаться хотелось, господин лейтенант. Здесь, по крайней мере, поспал как следует.

— Только из-за этого?

— Не мог там спать, господин лейтенант. Двое суток не спал ни одной минуты. Все гдешь, прислушиваешься, всего трясет, господин лейтенант. Если уж надо умереть, то лучше сразу, но невозможно ждать, ждать...

Я посмотрел на коротко остриженную голову парня. Среди темных волос на висках ясно выделялись белые пятна.

— Из-за бурения не спали?

— Да, господин лейтенант. Я видел, как взрываются позиции, в одном месте был за окопами, когда наши их взорвали.

К двери кто-то подошел, но не открыл ее.

— А все из-за вашей лени, Эгри,— сказал я сурово. — Где у чорта на гуличках вы пропадали три дня? Что я теперь буду с вами здесь делать? Капрал Хусар два дня ждал вас в Брестовице.

Эгри выхватил изо рта папиросу и, не потушив, сунул в карман. Дверь открылась, вошел жандармский капитан в сопровождении дежурного обер-лейтенанта. Этого светлоусого капитана я видел сегодня на утреннем заседании. При виде меня его свирепое, хищное лицо прояснилось, на губах появилась улыбка.

— Ах, это ты? Что случилось? Это твой подчиненный?

— Не совсем. Он из первой роты лашего батальона, но в последнее время с двумя своими товарищами находился в моем распоряжении. Лентяи, бездельники, дождались того, что их схватили за шиворот!

Капитан повернулся к обер-лейтенанту.

— По данным, они — дезертиры, — сообщил обер-лейтенант.

— Простите, здесь явное недоразумение. Этого не может быть, — возражал я.

Часовой уводит Эгри, он лениво, вразвалку идет перед вооруженным солдатом. Мы входим в канцелярию капитана.

— Господин капитан, — говорю я сухо, — я вынужден буду подать жалобу. Твои люди задержали этих несчастных

оболтусов, которые заблудились в ходах сообщения, и бояжами вынудили их к признаниям, не соответствующим действительности.

— Как так бояжами?

— Очень просто. Твои люди избили их.

— С чего ты это взял?

— Арестованный показал мне следы избивания.

Лицо капитана потемнело.

— Ну, и чего же ты хочешь?

— Чтобы этих людей немедленно отпустили. Передайте их моему унтер-офицеру, который ждет внизу, и они пойдут в Брестовице, куда я их послал за инструментами.

— Ты подтвердишь это письменно?

— Конечно.

Дверь открылась, вошел молодой обер-лейтенант егерского полка.

— Господин лейтенант Матрай?

— Я здесь.

— Куда ты пропал, шут возьми? Командир дивизии заставил всюду искать тебя, — улыбаясь, кричит офицер для поручений. Жандармский капитан встал.

— Не нужно письменного удостоверения. Пришли сюда своего капрала. — И, выругавшись, заорал на обер-лейтенанта: — Микольскому пять дней карцера! Это преступление.

Капитан проводил нас и закрыл дверь только после того, как мы спустились по лестнице.

— Если бы ты знал, что творится у нас в штабе! Старик зверствует, головы так и летят. Девять человек из штаба дивизии отправляют на фронт. Не меньше будет из бригады. Полковник Коша совсем растерялся. Но ты молодец! Все просто восхищены, как ты это ловко сделал. Знаешь, Лантош тоже идет на фронт, если не получит еще больше. Неслыханно! Как они смели подвергнуть такой опасности эрцгерцога? Канн нихт ферштанден.

У ворот ждет капрал.

— Хусар, вы сейчас зайдете на гауптвахту и примете Эгри, Чордаша и Ремете, которые три дня тому назад оторвались от вас и заблудились, когда я послал вас в Брестовице за инструментами. Понятно?

— Так точно, господин лейтенант, только это было четыре дня тому назад.

— Правильно, Хусар, четыре дня.

— А что мне с ними делать, господин лейтенант?

— Отправите их в Брестовице за инструментами, напишете им служебную записку, я подпишу.

Хусар — сама понятливость. Он сейчас же бросается исполнять поручение, только пыль летит из-под ног.

В накуренной комнате меня ожидают дивизионный и бригадный генералы, полковник Коша, Хруна, Лантош и какой-то майор генерального штаба. Перед ними лежит карта Монте-дей-Сэй-Бузи. Бригадный нервно вертит в руках цепочку часов, на конце которой болтается стрелка буссоля. Лантош, потный, красный, — видно, получил основательную нахлобучку, — враждебно смотрит на меня.

— Мы решили, что вы с капитаном Лантошем должны сейчас же отправиться на Монте-дей-Сэй-Бузи и еще раз точно проверить все данные.

— Подкоп закончился еще позавчера ночью, господа. Теперь мы можем судить о нем только по внешним признакам.

— А по каким? — спрашивает бригадный.

— Итальянские окопы под нами пусты, неприятель отодвинулся на двести пятьдесят — триста шагов в новые окопы.

— Это еще ничего не доказывает, — говорит майор генштаба, рассматривая карту.

— Извините, — перебил Хруна, — нельзя не принять во внимание такое обстоятельство.

— Ну, а еще какие признаки?

— Остальное можно установить только разведкой.

— Или контрдетонацией? — обращается к Хруна дивизионный генерал.

— Да, контрминированием, которое...

— А батальон? — спросил я.

— Батальон получит приказ, — оборвал меня полковник Коша. В каждом его слове чувствуется заглушенная злоба.

— Ну, действуйте, — подавая мне руку, сказал дивизионный генерал. — Надеюсь, что еще увижу тебя. Зайди, как только кончится эта операция. Сервус!

Бригадный тоже подал мне холодную, вялую руку; рука же полковника Коша горяча и суха.

— Мог бы смело обратиться ко мне с этой тревогой. Почему понадобилось итти сразу в дивизию? — с кислой улыбкой говорит Коша.

— Господин полковник, мое донесение больше недели пролежало у капитана Беренда.

— Ну, оставим, оставим, — заторопился полковник. — А теперь смело вперед, и если твой диагноз правилен...

Через час сытые лошади бригадного генерала веселой рысью везут наш экипаж по направлению к Добердо. На козлах рядом с кучером сидит Хусар. В его хлебом мешке лежит в жестяной кассете трехкилограммовый детонационный патрон. Рядом со мной с хмурым лицом восседает мой непосредственный начальник господин капитан Лантош. В наших взаимоотношениях произошли большие перемены. Я просто перепрыгнул через голову Лантоша, обратившись непосредственно в дивизию вместо того, чтобы еще раз попробовать убедить его в опасности. Об этом сейчас говорит господин капитан разбитым, не командирским голосом.

— Ты мог зайти ко мне по крайней мере сегодня утром вместо того, чтобы бежать к полковнику, который, конечно, рад случаю скомпрометировать меня.

Я могу совершенно откровенно высказать свое мнение господину капитану, хотя у меня и нет настроения спорить с ним.

— Я уверен, господин капитан, что если бы сегодня утром разбудил тебя и попробовал говорить о создавшемся положении, ты если бы и не вышвырнул меня, то по крайней мере дал после смены пять суток домашнего ареста. И, конечно, ты бы позаботился о том, чтобы никто ничего не знал о подкопе. Я не знаю, господин капитан, кому могла притти в голову эта сумасшедшая мысль скрывать приближающуюся опас-

ность и запретить нам не только противодействие, но даже наблюдения. Это мог придумать только тот, кто никогда еще не нюхал пороха у линии огня.

— Вины своего майора, — ответил Лантош.

В моих отношениях с капитаном произошла еще одна существенная перемена. Отпуская нас, полковник Хруна объявил:

— Господин капитан будет находиться в распоряжении господина лейтенанта Матраи и должен действовать по его указаниям.

Я думал, что Лантош, по крайней мере, удивится, что он будет протестовать. Нет, ни слова. И вот он сидит рядом со мной, капитан, которого подчинили лейтенанту. Но я не хочу командовать Лантошем. Он всегда был мне антипатичен, я считаю его не офицером, а спекулянтom и карьеристом, но все же у него на воротнике три звезды.

Я полон самых противоречивых чувств. Чувству удовлетворения мешает беспокойство и сознание неопределенности. Меня не радует честь, оказанная мне командованием армии и дивизии. У меня такое ощущение, как будто я вступил со штабами в преступное соглашение против батальона, стоящего на минированной Кларе, батальона, о котором штабные господа не хотят даже и думать, хотя именно он, а не эрцгерцог, находится в опасности.

— Ну, а батальон? — спросил меня Эгри, когда я передал ему служебную записку, восстанавливающую его в правах солдата. Пока мы беседовали с полковником Хруна, Хусар уже вернулся с «арестантами». Жандармский капитан допросил всех троих. Эгри показал ему свою спину, Чордаш — вывихнутую на допросе руку, Ремете — синяки под глазами. Капитан составил по этим «данным» протокол и заставил солдат подписать его. Хусар подписался как свидетель.

Они ждали меня в том крыле штаба дивизии, где находится караульное помещение, телефонисты и вестовые. Кое-как привели себя в порядок: зашнуровали ботинки, надели поясные ремни и патронташи. У Эгри даже имеется про-

тивогаз и штурмовой нож. Словом, опять солдаты. Все трое не сводят с меня глаз.

— Немедленно отправляйтесь в Брестовице за инструментами. Послезавтра утром будьте наверху. Пойдете прямо в мою часть, в распоряжение взводного Гаала. Саперы стоят наверху у батальонного резерва. Вы знаете, где находится резерв, Эгри?

— Так точно, знаю, господин лейтенант.

— Ну вот. Когда вернетесь, явится ко мне и все трое получите заслуженное наказание за задержку. Можете идти.

— Слушаемся, господин лейтенант, — бормочет, козыряя, Ремете.

А ефрейтор Эгри вместо того, чтобы, выслушав приказание, ответить «так точно», вдруг спрашивает:

— А батальон, господин лейтенант?

— Что батальон? — спросил я строго.

— Как будет теперь с батальоном, не изволите знать?

— Знаю. Как-раз по этому поводу идет совещание, — говорю я уже мягче. — Ну, идите.

Да, о судьбе батальона первый подумал дезертир Пауль Эгри, а не эрцгерцог и не командир дивизии.

Я сегодня много сделал. До сих пор все шло прекрасно. Вместо того, чтобы оставаться на своем посту, я поступил, как нарушитель дисциплины, почти бунтовщик, а удостоился триумфального приема и высоких почестей. Я присутствовал на секретном заседании главного командования фронта и сидел по правую руку главнокомандующего. Передо мной преклоняются, мне подчиняются. Стоило мне сказать слово, и протокол о трех дезертирах превращается в пустую бумажку, и все старания жандарма Микольского увенчиваются пятидневным арестом. А теперь еду назад в батальон и тащу с собой отданного в мое распоряжение капитана, которому я в две минуты докажу, что он просто низкопробная дрянь. А если окажется, что виноват господин майор Мадараш, то и господину майору крепко влетит, потому что речь идет не о пу-

стях. Во-первых, подвергли опасности самого эрцгерцога, во-вторых... Но о «во-вторых» никто ничего не говорил, никто не подумал, кроме ефрейтора Эгри. Главное командование принимает во внимание только «во-первых», а «во-вторых» все еще сидит там, наверху, и кто знает, как пойдет дальше дело.

Возможно, что капитан Лантош и майор сговорятся и, чтобы доказать свою правоту, начнут спорить. Хотя со мной господин майор спорить не станет. Я скажу ему, что действую по приказанию полковника Хруна, что такова точка зрения полковника, которую я вполне разделяю. Это будет удачный тактический ход. Но капитан будет доказывать, что господин лейтенант, да, господин лейтенант, а не господин полковник, поднял панику. Итальянцы бурвят? Предположим, что действительно бурвят, но подкоп не настолько продвинулся вперед, чтобы подымать из-за него такой шум. Тогда «во-первых» потеряет всю свою актуальность, тогда будет легко доказать свою правоту. И за это время пройдет один, два, три дня... А итальянцы не будут ждать. Ясно, что они уже вчера ночью закончили подкоп. Окопы под обрывом вчера уже были пусты. Кираль видел мешки из-под цемента. Давно прекратилась выемка породы. А подземная карта с голой женщиной на обороте? Эта карта уничтожает все сомнения. Волнистая линия пробегает глубоко под возвышенностью.

Нет, сто раз нет. Господин майор должен стать на колени перед фактами и сегодня же принять окончательное решение. А господин капитан находится в моем распоряжении, здесь много говорить не придется, дисциплина — это не шутка. Вызову в штаб батальона героев Клары Арнольда и Бачо, о которых так много и красиво говорилось в приказе по дивизии, которых так хвалили. Правда, и меня хвалили. Командир дивизии представил меня в штабе как двойного героя Монте-дей-Сэй-Бузи.

Нет, господин полковник, напрасно оправдываются Лантош и Мадарашаи,

они виноваты, и сейчас надо исправить их ошибку, двинув батальон... назад или вперед. Пожалуй, хоть и вперед. Хотя нет... Кто знает, что там впереди. Может быть, итальянцы только и ждут того, чтобы батальон пошел вперед и погиб в заранее приготовленных окопах. Только назад!

— Вы хотите, — сказал капитан Беренд, — чтобы мы по пустому подозрению оставили высоту, из-за которой полк и бригада пролили столько крови.

Какой полк? Штаб полка? Батальон проливал кровь, господин капитан, солдаты и офицеры батальона.

— Вам конечно, легко сомневаться, — сказал я капитану Беренду, когда он, получив приказ от штаба дивизии, примчался в Констаньевиче. — Легко, господин капитан, сомневаться тому, чья каверна находится в трех километрах от линии огня.

Это, конечно, было дерзостью с моей стороны, но, видимо, я был прав, потому что егерский обер-лейтенант смотрел на меня влюбленными глазами, а майор генерального штаба презрительно улыбнулся прямо в лицо возмущенному капитану Беренду.

— М-да, дружок, лейтенант совершенно прав.

Мне казалось, что лошади топчутся на месте и мы не продвигаемся ни на шаг. Хотелось лететь, чтобы поскорее быть на месте, чтобы скорее можно было ткнуть капитана носом в ужасный факт подкопа Клары, как тычут носом нагадившую кошку. Ритмично стучат подковы на белой ленте шоссе. Экипаж катится, а мысли там, впереди, где мои друзья, безымянные герои и жертвы войны, простые сыны народа, — фронтовые солдаты и их офицеры.

Я должен действовать осторожно, обдуманно и хладнокровно. Для меня совершенно безразличен эрцгерцог, мне важен батальон, но нужно сделать вид, что я тоже стою прежде всего за «во-первых», и в это же время пытаться вытащить с Клары «во-вторых». И если мы отступим, пусть только попробуют подняться итальянцы, — их встретит наш контрдетонатор.

С такими мыслями я мчался к Добердо. Лантош молчал и только перед Неуэ-Вилла спросил:

— Скажи, Мадараша запретил тебе контрдетонацию?

— Не только контрдетонацию, но даже наблюдения запретил.

— Гм...

-- И это происходило не без твоего согласия, господин капитан.

— Майор Мадараша очень осторожный и предусмотрительный человек, он не решает вопросов наспех.

— Кенез сообщил мне, что ты, господин капитан, тоже придерживаешься того взгляда, что положение дел не так серьезно.

— Твой майор и Кенез неправильно информировали меня. Кроме того, туда с часу на час ждали эрцгерцога. Если хочешь знать, я был назначен в свиту эрцгерцога и, поверь, если бы мог предполагать опасность, не собирался бы ехать на Клару вместе с его высочеством.

Проехали мимо озера Добердо. Над водой стоит серый пар, из тростников вылетают стаи птиц. Кучер обернулся и сказал, что сейчас приедем. Через несколько минут экипаж останавливается. Отсюда можно идти только пешком. Уже виднеется заросший кустарником холм, который отделяет нас от горы смерти. Кучер подвез нас к самому ходу сообщения, как к подъезду театра, и как будто сказал: «Приехали, пожалуйста, выходите. Спектакль начнется через пять минут».

Мы вылезли. Лантош с самого начала вел себя очень беспокойно. Ясно, что господин капитан струсил. Он даже понятия не имеет, где мы находимся. Ага, господин капитан, война — это не только торговля старым железом. Мы всего лишь у третьей резервной линии, дальше еще следуют штаб полка, линия тяжелой артиллерии, полковой и батальонный резервы, — и только там начинаются настоящие ходы сообщения.

— Что это за воронки? Итальянская артиллерия?

— Ну, конечно. Воронки совсем свежие, им всего два-три дня.

Капитан тяжело вздохнул и спросил:

— Зачем у тебя эта палка?

— Здесь очень трудно ходить без палки.

— Гм, а я забыл свою.

Я не ответил, но мне хотелось спросить: «Не вернешься ли за палкой? Или, может быть, с'ездишь в Лайбах и купишь стэк?»

У разрушенной до основания паровой мельницы завернули в ход сообщения, ведущий к штабу полка. На Добердо сейчас дневная тишина. Половина четвертого дня. Жара невыносимая. Горячий, сухой воздух дрожит над серыми камнями. Трудно поверить, что всего в двадцати километрах отсюда катит волны чудесное синее море. Впереди вырисовывается темный силуэт Монтедей-Сэй-Бузи. Капитан остановился и смотрит на эту проклятую возвышенность.

— Вот это и есть Монте-Клара, — говорю я ему.

В штабе полка нас принимает с подчеркнутой вежливостью капитан Беренд. Обиды и следа нет. Лантош сейчас же бросился в тень. Лицо у него красное, глаза лихорадочно блестят.

— У меня невыносимая мигрень, — стонет он.

Пока молодой штабной офицер трет виски капитана ментоловой палочкой, я вызываю по телефону батальон, каверну командира первой роты. Долго не могу добиться соединения. К Лантошу подсел ад'ютант и что-то сказал ему. Капитан сразу забывает о мигрени, вскакивает и следует куда-то за ад'ютантом.

Наконец, первая рота ответила.

— Кто говорит? Это вы, Фридман?

— Я, господин лейтенант.

— Ну, что у вас нового? Где Гаал?

— Господин унтер-офицер недавно был здесь.

— Что он говорит?

— Кошка держит мышь в зубах, господин лейтенант.

— Без аллегорий, Фридман. Что сказал Гаал?

— Он сказал то же, что и я, о мыши. Господин лейтенант не встре-

тился с Чуторой? Он вышел вам навстречу.

— Мы сейчас в штабе полка.

— А Чутора отправился в штаб батальона.

— Что ему нужно?

— Господин обер-лейтенант послал его навстречу вам с каким-то пакетом.

— Где господин обер-лейтенант?

— Сейчас в окопах. У нас здесь с самого утра веселье. Три цыгана играют. Пришло много народу из егерского батальона. Празднуют назначение господина лейтенанта Бачо и полчаса тому назад спустили на итальянцев седьмую латрину.

— Ну, а итальянцы? Как они себя ведут?

— Итальянцы молчат, господин лейтенант. С утра не выпустили ни одного патрона.

— Гм... Значит, тихо. Гаал знает об этом?

— Гаал все знает, господин лейтенант.

— Фридман, слушайте: когда придет господин обер-лейтенант, доложите ему, что я нахожусь между штабами полка и батальона и спешу к вам наверх. Сегодня все решится. И скажите господину обер-лейтенанту, что я иду из штаба бригады в сопровождении инспектора.

— Алло! Алло! Матраи, это ты?

— Алло! Кто говорит? Почему прервали? Дайте телефониста Фридмана.

— Алло, Матраи! Не будь таким сердитым. Говорит фенрих Шпрингер. Сервус! Приходи скорей, здесь такой кутеж, какого ты еще в жизни не видел. Я никогда не думал, что обер-лейтенант Шик такой весельчак. Какие шутки он отмачивает! Полчаса тому назад мы все чуть не лопнули от хохота: Шик учил фельдфебеля Новака писать рапорт о самоуевечии. Новак... Ох, если бы ты знал, что случилось с Новаком! Его выкупали. Матраи, сыпь сюда скорей, сейчас начнется такой цирк, что все будем валяться от хохота: обер-лейтенант Шик обещал сделать доклад о седьмой латрине.

Я три раза пытался перебить, но никак не мог остановить разглагольство-

ваний пьяного фенриха. В телефонной трубке слышались разные голоса, отдаленный смех, крики, хлопанье дверей. Фенрих, наконец, бросил трубку.

Я представил себе каверну Арнольда, полную пьяных офицеров. Обер-лейтенант Шик большой шутник. Что это? Наверное, Арнольд выпил больше, чем следует, а может быть, просто хочет развлечь публику. О, если он возьмется за что-нибудь...

— Алло! Алло! Господин лейтенант? Господин фенрих вырвал у меня из рук трубку.

— Что у вас там творится, Фридман?

— Кутеж, господин лейтенант. Господа офицеры веселятся. Солдатам выдали двойную порцию вина, и в их кавернах тоже большой шум.

— Кто это выдумал?

— Господин лейтенант Бачо и командир роты господин обер-лейтенант.

— Попросите к телефону господина обер-лейтенанта.

— Я уже докладывал ему, что господин лейтенант у телефона, но он сказал, что... Не стоит повторять, так как господин обер-лейтенант в очень веселом настроении.

— А вы, Фридман?

— Я? Нет, господин лейтенант, у меня настроение не веселое.

— Тогда слушайте, Фридман. Я сейчас иду к вам наверх. Из штаба батальона позвоню еще раз и; если за это время придет к вам Гаал, скажите ему, чтобы он вышел мне навстречу.

— Слушаюсь, все понял. Господин лейтенант!

— Ну?

— Господин лейтенант, здесь люди совсем с ума сошли. Чутора и Гаал говорят...

Но, что говорят Гаал и Чутора, я так и не узнал: на линии что-то случилось, и нас раз'единили. Я разыскал капитана и сообщил ему, что можно идти. Лантош сидел у Беренда. Мигрень капитана прошла, и он бодро вскочил.

— Идем.

Мы вышли в ход сообщения. Лантош преобразился, вялость его бесследно исчезла, он шагал быстро и твердо.

Беренд дал ему заимообразно красивую вишневую палку. Я шел впереди, за мной капитан, а позади Хусар.

Когда мы отошли от штаба полка шагов на сто, Лантош спросил меня, говорю ли я по-немецки.

— Конечно.

— А твой капрал?

— Вряд ли.

Капитан поровнялся со мной. Здесь ход сообщения довольно широк, и два человека могут идти рядом. Капитан взял меня под руку и сжал локоть.

— Слушай, — заговорил он по-немецки, — я вижу, ты толковый и энергичный малый. Награждение и производство тебе обеспечены. Но ты неправильно поступил, сговорившись против нас с этим старым интриганом Хруна. Сколько человек будет лишено чести и карьеры, если мы протелефонируем в дивизию, что под Кларой действительно произведен подкоп. Пойми, сегодня этого нельзя сделать, только не сегодня. Завтра положение будет совсем другое. Завтра, послезавтра мы все — штаб полка и бригады — с удовольствием подпишем донесение о том, что итальянцы действительно минировали возвышенность и положение не безопасно.

Лантош плавными, обдуманноными словами плетет паутину гнусной интриги. Он и здесь интригует, и здесь ведет нечестную картежную игру. Этот человек не хочет понять, что речь идет о жизни сотен и тысяч людей, что тут не место интригам.

Я молчу, не перебиваю его. Во мне поднимается тошнота, и я чувствую, какая глубокая пропасть отделяет меня от этого человека.

Война провела громадный подкоп под весь мир. Люди стремятся к возвышенности, которая взлетит под их ногами, как только они ступят на нее. Непреодолимая сила влечет людей к этой высоте. Они утратили чутье действительности, они движутся, как слепые, и думают, что их уродливые интриги — сила, управляющая миром.

Потихоньку высвободил свой локоть из дрожащей руки капитана. Вот как! Я сговорился со старым Хруна против

штаба полка, бригады и батальона, против несчастного Мадараша, который, конечно, пострадает больше всех!

— Что будет с командованием полка и бригады? Ведь эрцгерцог сегодня их уже не принял, — говорит Лантош.

— А с тобой что будет, господин капитан? — спросил я по-венгерски.

— Да, и со мной. Как я покажусь на глаза эрцгерцогу?

Мы приближались к кавернам штаба батальона. Из хода сообщения уже ясно были видны шапка и террасы Монте-дей-Сэй-Бузи. До горы оставалось всего два километра.

— А что будет с ними? — спросил я капитана, указывая на возвышенность. — Об этом ты не думаешь?

Лантош замолчал. Я пропустил его вперед и посмотрел на его сгорбленную жирную спину.

— Мерзавец! — процедил я сквозь зубы.

Начался небольшой под'ем. Я его хорошо знаю, это тридцать седьмая возвышенность, самая крайняя терраса Монте-дей-Сэй-Бузи.

Что делается сейчас наверху? Для чего понадобился Арнольду этот кутеж? Ясно, он хочет развлечь людей, возбудить уверенность в солдатах.

Далеко под Косичем загромыхали орудия. Капитан остановился, прислушался. Ничего. Идем дальше. Впереди редкая, слабая перестрелка. Пушечный грохот еле слышен. Но вдруг со стороны итальянцев с шумом пронесся тяжелый снаряд. Мы пригнулись. Снаряд упал недалеко от окопов батальонного резерва. Тишина. Мы сделали шаг, и еще два снаряда упали недалеко от первого. Что такое? По Кларе бьют шрапнелью? Значит, наши все-таки разозлили итальянцев.

— Идем скорее, господин капитан, до штаба батальона всего метров пятьсот. Мы успеем дойти, пока итальянцы откроют заградительный огонь.

— Но ведь там стреляют.

— Стреляют! Смешно, господин капитан. Ведь это война.

Капитан обо что-то споткнулся, я нагнулся к нему и вдруг почувствовал, что земля уходит из-под ног и какая-то

сила отбросила меня к стене хода сообщения.

— Хусар, что это такое? Хусар! — кричу я, но не слышу собственного голоса. Порыв ветра сбил меня с ног, я упал на капитана. Потом раздался оглушительный грохот, и небо потемнело. Это не взрыв, нет, это гораздо больше. Землетрясение. Земля под ногами шатается, небо качнулось, и в моей душе все рухнуло. Это почти физическое ощущение. Я хватаюсь за сердце, но не чувствую его. Руки трясутся, как будто их дергают изнутри. Я все время говорю, кричу, вздыхаю, но не слышу своего голоса.

Конец, всему конец! Свершилась катастрофа, открылась великая могила, могила тысячи людей. Ох, ужасная Монте-Клара! О, Арнольд, дорогой Арнольд, любимый друг! Мерзавец капитан Лантош! Все мерзавцы! Проклятая камарилья!

Поднялся с земли. Руки ободраны, из носа течет кровь, голова кружится. Небо опять качается. Но вот оно посветлело, снова яркий солнечный день. В ушах звенит, в теле странная, неземная легкость. Капитан, согнувшись, сидит в глубине шанца. Я выпрямился, двигаюсь, держась за стены хода сообщения. Ничего не вижу. Карабкаюсь на стену, добираюсь до мешков с песком, ложусь на них и смотрю вперед. Все затянуто дымом. Долго смотрю неподвижно. Дым клубится, клубится...

— Ну, господин капитан, можно телефонировать, — крикнул я, рыдая, и, наконец, слышу свой голос: — Телефонировать!

Лантош поднял голову и смотрит на меня сумасшедшими глазами. Потом вскочил.

— Спустись, спустись оттуда! — кричит он.

— Можешь телефонировать, — угрожающе повторяю я и открываю кобуру револьвера. Лантош отступает, в глазах его смертельный ужас.

— Ты, ты, ты... — кричит капитан и закрывает лицо руками. Потом поворачивается и бежит назад. Я спрыгнул, но споткнулся о свою палку и ударился о стену. Нажал курок. Раз, два. Лан-

тош машет рукой, но я выпустил и третью пулю. Капитан пытается встать, уже встал. Его руки в крови, мои тоже.

«Откуда кровь?» — думаю я и на секунду забываю даже свое имя. Лантош бледен, глаза его сверкают, как у безумного, губы что-то бормочут, но я не слышу, что. Лево́й рукой отмахивается от меня. Я с озлоблением схватил его за гимнастерку на груди. Капитан валится на меня и стонет:

— Что ты сделал? Что ты сделал?

— Ты удовлетворен?

Я хочу кричать, но нет голоса, из груди вырывается только свистящий шопот. Подымаю руку с револьвером и два раза стреляю в лицо отшатнувшегося капитана. Кто-то сзади хватается за меня и вырывает из рук револьвер.

— А-а, это вы, Хусар? Это вы? Слыхали? Видели? Конец, Хусар, понимаете, всему конец.

Обессиленный, я, плача, упал на Хусара.

— Господин лейтенант, что вы делаете, господин лейтенант! — повторяет, подымая меня, Хусар.

— Господин лейтенант, — кричит он мне прямо в ухо, — вы застрелили господина капитана.

Хусар оставляет меня и бежит к капитану. Ноги Лантоша дергаются, он еще жив.

— Застрелил, да, застрелил. Бежать хотел, мерзавец, дезертировать. Всех застрелю, всем пушу пулю в лоб. Дайте их сюда!

Грудь сжимает, как в тисках. Прислонился к стене, из носа и изо рта хлынула кровь. Чувствую, что теряю последние силы. По телу пробежал холод, я упал, сильно ударившись головой о камень. Глотаю кровь, во рту солоноватый, железистый вкус. Открываю глаза. Хусар возится около капитана, наверное, перевязывает. Я дрался с капитаном на дуэли и убил его, Хусар — мой секундант и врач. Наконец-то я наказал этого мерзавца Лантоша.

Хусар встал, подбежал ко мне, поднял с земли, сунул револьвер в кобуру, потряс за плечо.

— Господин лейтенант, — говорит он, задыхаясь, — стойте здесь, я сейчас вернусь.

Прислонил меня к стене. Голова моя трещит от боли, но силы начинают возвращаться. Кровотечение из носа прекратилось. Что там делает Хусар со спичками? Что-то зажигает, потом мчится ко мне, хватая за пояс, и мы бежим тяжелыми, спотыкающимися шагами. Завернули за угол. Сзади слышен звук сильного взрыва.

— Что такое?

— Подождите, господин лейтенант, я сейчас.

Хусар скрылся.

«Бросил меня» — думаю я равнодушно. Но через две минуты капрал возвращается. В руках у него моя палка.

— Все в порядке, господин лейтенант. От капитана не осталось и пыли. Будьте покойны, трех килограммов динамита достаточно на одного человека.

— Хусар!

— Идите вперед, господин лейтенант. Вы слышите, что там творится.

Спереди слышен беспорядочный грохот орудий. О, какой жалкой и бессильной кажется теперь пушечная канонада, заставшая когда-то нас сжиматься от страха!

— Откуда стреляют?

— Палят и наши, и итальянцы. Очевидно, идет битва. Доберемся хоть до штаба батальона.

— А батальон, Хусар?

— Батальон, господин лейтенант? Батальон ведь был там, наверху.

— Был... Идем! Вперед, Хусар, вперед! Я хочу увидеть лейтенанта Кенеца.

Теперь я шагаю твердо и решительно, озлобленность придает мне сил.

«Хочу видеть лейтенанта Кенеца... в бога его душу... И его призову к ответу, и его уложу на месте. Мерзавец!»

Навстречу нам бежит группа людей. Хусар остановился, всмотрелся и закричал:

— Гаал, Гаал! Сюда!

— Гаал?!

Передо мной стоит Гаал... Кираль... Торма... Остальных не вижу. Кто-то

протискивается вперед. Дядя Андриш! Хомок ощупывает меня. На спине его мой офицерский ранец, подмышкой... подмышкой зеленый бювар Арнольда.

— Откуда вы это взяли, Хомок? — спрашиваю я с застывшим сердцем.

— Господин Чутора принес час тому назад, — сказал дядя Хомок, передавая мне бювар. Смотрю на потертый сафьяновый переплет, прикасаюсь к нему.

— Ну, Гаал? — поднимаю глаза на взводного.

— Свершилось, господин лейтенант, — грустно отвечает бледный Гаал.

— Где Чутора? — крикнул я.

— Господин Чутора передал это и вернулся туда, — дядя Хомок махнул в сторону Монте-дей-Сэй-Бузи.

Ко мне подошел Торма и взял за руку.

— Ты весь в крови, господин лейтенант.

— Да, — говорю я, — да, в крови.

Сзади кто-то крикнул:

— Итальянцы, итальянцы!

Все встrepенулись. Первая мысль у людей — бежать.

— Стоп! — закричал я и поднял руку. — Инструменты долой! Примкнуть штыки! Быстро!

Инструменты с грохотом сыплются на землю. Слышен лязг стали. Артиллерия впереди меняет огонь, наши стреляют шрапнелью.

— Хусар!

— Так точно, господин лейтенант.

— Есть у вас еще одна кассета?

— Нет, господин лейтенант, — смущенно ответил Хусар.

— Ну, и так обойдемся. А теперь повернуть в ходы сообщения и вперед! Торма пойдет налево, я — направо, Гаал останется в ходах сообщения.

Все двинулись. Я вырвался из хода сообщения. Там, впереди, среди камней двигались люди.

Я вынул бинокль.

— За мной, за мной! — и завернул вправо, откуда приближались темные фигуры.

7. Рубикон

Многие думают, что Элла моя невеста. Она здесь всего третий день и уже успела всех обворожить. Мы еще ни о чем не говорили. Очевидно, Элла ждет, чтобы я начал первый. Какая неженственность, какая внутренняя дисциплина!

Эллу известили по моей просьбе. Ей послали короткое официальное извещение о том, что обер-лейтенант доктор Арнольд Шик в одном из последних боев на тридцать девятом участке нашего фронта пал смертью храбрых, а лейтенант Тибор Матраи с сильной контузией и ранением в плечо лежит в госпитале Сан-Петер и просит навестить его.

Уполномоченный Красного Креста, знаменитый венский адвокат, спросил меня:

— Фрейлейн — ваша невеста?

— Да, — коротко ответил я, не желая вдаваться в объяснения с этим ловко окопавшимся в тылу типом.

Доктор Изидор Керн — очень милый и любезный человек. Он взял на себя хлопоты известить Эллу немедленно, минуя военную цензуру. Ведь извещение пойдет за границу, что, конечно, весьма осложняет дело. Но ввиду того, что речь идет о господине лейтенанте... возможно, что это удастся.

Со мной обращаются, как с пасхальным яичком: ходят вокруг на цыпочках. В одном из самых отдаленных уголков роскошного замка, переделанного в военный госпиталь, мне отвели специальные апартаменты. Уход за мной особенный. Персонал только и ждет, не выскажу ли я какое-нибудь желание, чтобы немедленно исполнить его. Но у меня нет желаний. Я прошу только об одном: известить Эллу и моих родных.

Из дому ответ пришел немедленно. Старческий почерк отца пробудил печальные воспоминания. Я не мучаюсь, только чувствую себя разбитым, подавленным и оглушенным. Странное состояние. Такое ощущение, как будто я упал в овраг. Снаружи никаких особенных повреждений, только ранение в плечо, а внутри у меня все разбито. Я

лежу на каменистом дне оврага, где бежит чистой струей чужая жизнь, но у меня нет сил омочить ладонь в освежающей воде этого ручья. Да, внутри все разбито, как будто я — сброшенный в овраг ящик с хрупкой посудой. Предметы в нем разлетелись в черепки, стерлись в порошок, а снаружи ящик почти цел. И эти осколки разбитых чувств наполняют меня ужасом, боюсь до них дотронуться, чтобы не закричать.

Я воспринимаю все очень реально, слышу суету людей, стоны раненых, чувствую опытные прикосновения руки врача, боль в плече, но говорить не могу. Это не физическая немота и не последствие удара гранаты, которая швырнула меня о камень и вонзила в плечо осколок, нет, тут другие причины, не совсем еще ясные для меня. Может быть, Элла поможет разобраться в них.

Врачи говорят, что это контузия. Меня лечат с большим вниманием и собираются послать куда-то на отдых. Доктор Керн и главный врач госпиталя уже третий раз посетили меня по этому поводу. Врач-полковник осмотрел мою руку, похвалил кровь, похвалил мускулы, которые так быстро заживают, и ключицу, которая так хорошо срослась, но левую руку велел еще носить в повязке и очень неодобрительно отнесся к тому, что я много лежу в постели.

— Наш госпиталь, собственно говоря, не приспособлен для лечения нервов. Рана заживает прекрасно, но что касается нервов... — говорит господин Керн. — Нельзя столько валяться, я категорически запрещаю. Больше движения, на воздух, в парк!.. — И, чтобы не обидеть меня, врач улыбается.

А я сонно и вяло, как посторонний, прислушиваюсь к этим разговорам.

— Видите ли, в чем дело: так как ваша рана затягивается, надо подумать о нервах. Куда бы вы хотели поехать на отдых, в какую часть нашей державы — в Австрию, Венгрию, Германию? Куда хотите?

— Его королевское высочество распорядился переговорить с вами по этому поводу.

Я молчал. Слова доходили, как будто издали, и мне не хотелось говорить.

Но явное огорчение собеседников заставило меня, наконец, разжать губы.

— Куда вы хотите, — сказал я безразлично.

Между врачом и представителем Красного Креста начались оживленные дебаты, но не по поводу того, куда меня послать, а как ответить на запрос адъютанта эрцгерцога.

Наконец, полковник нашел выход.

— Ты откуда? Из Фогараша? Ах да, ведь Фогараш — это сейчас румынский фронт.

— Может быть, поедете в Шварцвальд или Семеринг? — предложил Керн.

— Мне все равно.

— А может быть, в Венгрию, в Татры? — предлагал врач.

— Да, пожалуй, можно в Татры, — согласился я.

— Ну, и превосходно, значит, Татры. Очаровательные горы, прекрасный воздух, озера, лечение электричеством. И через месяц господин лейтенант станет обер-лейтенантом, унд аллес вирд ин бестен орднунг зейн.

— Ну да, — вдруг воскликнул доктор Керн, — но мы не можем эвакуировать господина лейтенанта, пока не прибудет его невеста. Я забыл вам сказать, что мы сегодня получили от фрейлейн Эллы Шик телеграмму. Она уже выехала.

И он развернул передо мной голубой бланк телеграммы. Я схватил его обеими руками.

— Элла!

— Ого! — закричал полковник, подмигнув доктору Керну. — Bravo, bravo! «В четверг прибываю через Инсбрук. Сердечный привет. Элла».

Я чувствую, как мое лицо заливают краска, вижу, что мои собеседники внимательно изучают действие телеграммы и переглядываются. Я кивнул Керну:

— Спасибо.

Доктор Керн счастлив, довольно улыбается, отвешивает глубокий поклон. Полковник крутит седые усы, и его умные холодные глаза подбадривающе улыбаются, как бы говоря: «Ну, вот видишь, все в порядке».

Я чувствую, что надо еще что-нибудь сказать, но слова приходят очень медленно, а вокруг сердца разливается давно забытая теплота.

— Конечно, я прошу меня оставить до тех пор, пока не приедет фрейлейн Шик.

— Ладно, ладно, — успокаивает Керн.

— Ты доволен уходом? — спрашивает врач.

— Очень.

— Не хочешь ли чего-нибудь спиртного? Ликеру или коньяку? Это не мешает, даже было бы полезно.

Я держу в руках телеграмму, еще раз перечитываю. За печатными буквами пытаюсь угадать почерк Эллы. Керн и врач удаляются, и я с отчаянием чувствую, что меня охватывает прежний вялый холод. Роняю бланк на стол.

Но все же этот день принес свои результаты. Я самостоятельно пошел гулять в парк и начал ждать, становясь все более нетерпеливым.

И вот три дня тому назад она приехала. С первой же минуты, как только она вступила в мою комнату, после того, как мы расцеловались и она осушила на своих чудных глазах первые и последние слезы, я понял, что Элла хочет быть только моей сестрой и смотрит на меня, как на брата. Она сразу определила так наши взаимоотношения.

— Дорогой Тибор, вы для меня самый близкий и родной человек на свете. — И она поцеловала меня в щеку, погладила лоб и посмотрела в глаза. Но с удивительным тактом охладилла она страстность моего порыва, и на ее мраморной шее остыл мой горячий поцелуй, о котором я столько раз мечтал. Я сразу остро почувствовал, что Элла приехала ко мне не как женщина, а как сестра, и где-то в самой глубине разгоряченного разбуженного сердца кольнула первая печаль, но это было недолго и не очень сильно.

Элла была попрежнему красива даже в своей сломленности и бесслезном трауре. Она посмотрела на меня испытующими, умными глазами и только подавила вздох.

— Не будем сейчас говорить. Я не спешу. Я останусь с вами, пока вы меня

не отошлете, и, когда вам захочется, вы все расскажете. Хорошо?

— Конечно.

— Если позволят ваши нервы.

«Да ведь и для себя мне нужно все рассказать. Мне самому еще многое неясно» — подумал я.

— Ну, вот видите, уже расстроила вас, — испуганно сказала Элла.

— Нет, нет, я просто задумался.

— Давайте, я буду рассказывать вам о Швейцарии. Хорошо?

— Очень прошу.

Элла остановилась в семье железнодорожного чиновника в Сан-Петербурге в пяти минутах ходьбы от госпиталя. Ее приезд сразу встряхнул меня, и я отчетливо почувствовал, что жизнь продолжается.

Элла не носила банального траура, ее костюмы были изысканны и свежи, как всегда. Ее красота стала более женственной, особенно глаза — умные, печальные, плачущие без слез.

Я знаю, что сестра Элизе, дама, прикомандированная ко мне Красным Крестом, давно уже доложила главному врачу, что после приезда Эллы во мне произошла большая перемена. Я разговариваю, проявляю интерес к жизни, спросил Элизе, можно ли заказать у садовника букет цветов, и был очень рад, когда увидел букет на своем столе. Цветы отнес на квартиру барышни санитар Венцель. Первый день барышня пробыла у господина лейтенанта с одиннадцати часов утра до трех часов дня. Сначала они беседовали в салоне, потом отправились в парк. Господин лейтенант вел себя очень удовлетворительно, не было видно и следа апатии. Он в первый раз попросил папиросу и выкурил за день три штуки.

Перед вторым визитом Эллы я долго думал о том, что я ей скажу и как расскажу о катастрофе. И от напряжения чувствовал, как покидают меня силы и я снова впадаю в болезненную апатию, не оставляющую меня в течение всей болезни. Но нет, на этот раз я соберу все свои силы, стряхну сонную инертность и поговорю с Эллой, расскажу ей всю безжалостную правду.

Я ждал ее с сильно бьющимся сердцем, прислушивался к каждому шороху, но в этот день Элла не дала мне сказать ни слова. С какой тонкостью сделала она это, как сумела воскресить воспоминания! И прошлое заиграло в ее нежных словах свежими, чистыми красками, как переводные картинки. Чудесно и молодо звучало оно вокруг нас, и Арнольд жил в этих воспоминаниях. Мы говорили об Арнольде, как о живом, без единого вздоха печали, и этот удивительный высокий тон нашего разговора был искусством Эллы. Арнольд жил между нами. То он выходил из своего кабинета, то говорил с кафедры, то спокойно сидел с нами, закинув ногу на ногу и выпуская кольцами дым.

«Ну, как вам нравится моя статья? Не правда ли после нее глубокоуважаемый ученый совет побледнеет от злости?».

Мне всегда нравились его острые, волнующие статьи.

Арнольд жил, но, как прелестный умерший ребенок с восковым лицом, покоилась между нами моя любовь.

Элла, смеясь, вспоминала мои страдания, дурацкое смущение, бледность и фиолетовый румянец. И мы об этом говорили, как о глупом, милом, необходимым этапе нашей братской дружбы. Мы говорили просто, непринужденно. Это были такие веселые, легкие похороны, что я сам удивлялся. И это тоже было искусством Эллы. Я понял, что не надо оплакивать и призывать к жизни маленького мертвеца. С этим покончено, родилось другое — чистая дружба.

— Помните, Тибор, как мы, возвращаясь из Италии через Комо, поднялись из Давоша на Флюхтхорн? Помните, как мы заблудились?

— Как же. Таможенный чиновник принял нас за контрабандистов эментальской фирмы, и Арнольд показал ему полкило оставшейся у нас эментали¹⁾. Как называется это место? Кажется, Мартинсбрюкке?

— Нет, Мартинсбрюкке на швейцарской границе, а это было на тирольской. Наудерс, Ремьюс, Хорнталь... А по-

¹⁾ Сыр.

мните гостиницу под глетчером Мутлер?

— Конечно, помню. Потом мы попали в Хохфинстермюнд.

— Да, это было после Сен-Дени. Прелестное местечко. Там вы отличились, помните? — постеснялись в моем присутствии снять пиджак. Как вы смутились, когда мы очутились в единственной свободной комнате отеля.

Элла перескакивает с одного предмета на другой, а я на несколько секунд остаюсь в маленьком отеле Сен-Дени, где Элла с неподражаемой простотой разделась при нас и прежде, чем заснуть, долго читала при свете свечи, обнажив свою прекрасную руку. Я тогда считал это демонизмом. Арнольд смеялся до слез, наблюдая мои пажеские муки.

— Я помню, Элла, как вы сказали мне: «Тибор, как вам не стыдно стыдиться?»

— Ну, конечно, ведь мы и тогда были уже друзьями, только вы все время хотели заменить дружбу любовью.

Я не заметил, как оборвалась нить разговора, и очнулся, когда Элла потрясла меня за плечо. Мы ушли в парк. В этот час он был почти безлюден, и мы забрались в самый тенистый угол. Элла говорила о Швейцарии, о последних местах, где она побывала, о последних встречах.

— Знаете, Тибор, в Швейцарии все-таки тоже чувствуется война, но, конечно, не так, как у нас или в Германии. Сегодняшняя Швейцария — ноев ковчег пацифистов, и в то время, как вокруг бушует буря, в Швейцарии отдается тошнотворная качка. И все же там другой воздух. Я вам писала, что еду на научную работу. Это не совсем так. Правда, я там немного работала, в Цюрихе даже прочла лекцию, имела успех. В Берне принимала участие в одной экскурсии и тут познакомилась с Алексеем.

Элла очень много говорит об Алексее. Он ее большой друг, но я догадываюсь, что это больше, чем дружба.

Ясно, что Элла сбежала в Швейцарию, сбежала от памяти Окулычевского после трагического фиаско военной ро-

мантики. Истории с Окулычевским не могло быть, если бы не война. Элла не жалуется, но в каждом ее слове я чувствую ужас и стыд за Окулычевского. Окулычевский — военная травма Эллы. Самостоятельная, гордая, Элла бросилась в объятия холодного, сладкоречивого польского офицера, полуктера-полуавантюриста, в котором хотела видеть героя войны.

— Вы знаете, Казимир Окулычевский оказался просто-напросто шпионом, а в мирное время он был «бонвиваном» в маленькой венской оперетте.

Помолчав, Элла добавила:

— Так мне и надо. Нельзя быть мотыльком. Человек должен ценить себя и обдумывать свои поступки. Мне сейчас двадцать три года, а я прожила целую жизнь за последние полтора года.

— Как обнаружился шпионаж?

— Я узнала об этом случайно. Казимир соблюдал мало порядка в своей переписке. В то время у него была какая-то сомнительная связь с одной актрисой, и, признаюсь, я применила ревнивую цензуру к его корреспонденции, и вот таким образом наткнулась.

Все время у меня на языке вертелся вопрос: «А кто такой Алексей?», но я не посмел спросить. Судя по имени, он — русский.

Прощаясь, я передал Элле зеленый бювар Арнольда, который доставил в госпиталь один из моих саперов вместе с вещами, снятыми с убитого Хомака. Я ни разу не раскрывал этого бювара, не было сил, и по праву первенство должно было принадлежать Элле.

Элла взяла бювар, и ее тонкие пальцы дрогнули.

— Как это к вам попало?

— Завтра, Элла, все расскажу. Завтра обязательно приходите. Придете?

— Не знаю. Наверное, приду. Ведь у вас столько есть рассказать, Тибор. Но, может быть, не будем спешить?

Я долго смотрел ей вслед. Ее шаги были не так тверды и упруги, как обычно, стройная фигура казалась сломенной.

«Как умеет страдать!» — подумал я с печальной завистью.

На следующий день Элла не пришла. Вначале я был спокоен, так как понимал, почему она не идет, и, собственно говоря, не ждал ее. Но потом ее отсутствие начало меня волновать. В этот день я первый раз попросил газету, и сестра Элизе буквально бегом бросилась исполнять мою просьбу.

В Вене идет громкий процесс военных поставщиков. На западном фронте все еще Верден. С фронтов короткие сообщения. Много фельетонов. В отделе литературы военные рассказы, в театрах военные программы. Румынский фронт. Это для меня новость. Правда, я уже слышал о нем, но странно видеть напечатанными слова «румынский фронт».

Тяжело прошел этот день. Я все время ждал Эллу, готовился к встрече, как к исповеди, и многого ожидал от нее.

В голове мелькали какие-то обрывки мыслей, отдельные восклицания. Я думал о том, что скажу, как расскажу и сумею ли рассказать. Только поздно ночью успокоился и тихо отстранил от себя все сомнения. Когда она будет здесь, рядом со мной, тогда придут слова, оформятся мысли. Ведь случилось уже все, что могло случиться, только рассказать трудно.

Утром Венцель принес записку от Эллы:

«Сегодня буду говорить с вашим врачом, а потом приду к вам. Доктор Керн сообщил мне, что вы собираетесь в Татры. Не спешите, может быть, мы придумаем что-нибудь лучшее».

Ну, конечно, теперь доктор Керн не сомневается в том, что Элла — моя невеста. Сестра Элизе давно убеждена в этом, и, как только Элла приходит, она предупредительно оставляет нас одних. Ведь сестра Элизе и так считает большой привилегией, что ее определили к такому важному больному, как я.

Нервно шагаю взад и вперед по маленькому салону и докуриваю уже вторую папиросу, глубоко втягивая в легкие табачный дым. Наконец, приходит Элла. Слышу, как она идет по коридору, как она останавливается у двери, вижу, как опускается дверная ручка.

Лицо Эллы сияет. Она крепко, по-спортсменски, пожимает мне руку и шутливо охает по поводу табачного дыма, который может испортить ее кожу. Потом закуривает сама, опускается в кресло и весело смотрит на меня снизу вверх.

— Знаете, Тибор, врач говорит, что вы совершенно здоровы, кость срослась и можно сбросить эту повязку. А теперь надо приводить в порядок нервы. Но скажите, друг мой, вы действительно хотите ехать в Татры?

Она испытующе смотрит на меня и, понизив голос, медленно говорит:

— А не лучше было бы в направлении к Блудзэну?

— Тироль?

— Вы об этом еще не думали?

Взгляд Эллы подбадривает, она ждет моего ответа. Я пытаюсь уловить какую-то ассоциацию, которая вдруг промелькнула передо мной, но я не успел ее вовремя поймать. Тироль...

— Мне все равно — Тироль или Татры, как хотите, — ответил я рассеянно.

— Что вы делали вчера? — спросила Элла с потухшими глазами.

— Ждал вас. А вы?

— Я изучала эти записки, но, вы знаете, они больше относятся к вам, чем ко мне. Я вам позже их верну, можете прочесть.

— А сейчас еще нельзя?

— Хорошо сделали, что не просматривали их.

Наступило молчание. Я вышел в переднюю. Сестра Элизе уже исчезла, мы только вдвоем. Это хорошо.

Сел в кресло напротив Эллы и машинально потянулся за папиросой.

— Можно?

Элла рассеянно кивнула. Я вскочил, бросил на стол сорванную повязку и прошелся по комнате.

Как начать, с чего начать? Мне надо прикоснуться к груде осколков своих мыслей и чувств и извлечь оттуда первый черепок — воспоминание об Арнольде. И я заговорил. Сперва вырвались несвязные, незаконченные фразы, как будто это были действительно черепки и осколки, но потом они исчез-

ли, уступив место новым чувствам и мыслям, зародившимся под этими обломками.

Я рассказал Элле все, начиная с Опачисоло и кончая взрывом. Я рассказал ей об Арнольде, Чуторе, Хомоке, Бачо, Шпице, Гаале, о солдатах, офицерах, штабах, и о том потрясающе ясном мгновении, когда я прицелился в висок смертельно испуганного капитана. Я хотел говорить сначала только об Арнольде, но поймал себя на том, что говорю исключительно о войне, о приговоренной к смерти армии, о Добердо, о мире, под который подложена мина.

— Взрыв, разыгравшийся на Монте-Кларе, — это маленькая пиротехническая репетиция того, что предстоит. Он должен притти, этот всеуничтожающий взрыв, только я не знаю, когда. Правда, погибли лучшие, погибли Арнольд, Чутора, Хомок, Хусар, но остались Гаал, Пауль Эгри, Кираль. Да, если бы вы знали Пауля Эгри, то поняли бы, почему я пристрелил капитана. Вы спрашиваете — за что и как я смел это сделать? Да ведь я не думал ни о чем, я застрелил его, потому что должен был застрелить, и Хусар без слов понял меня. А потом я увидел, что навстречу мне летит Торма, это бедное невинное дитя, вооруженное до зубов и охваченное истерией героизма. Мы выскочили из ходов сообщения, я повернул свой отряд и ринулся вперед к страшным дымящимся руинам. Во мне еще теплилась надежда, что, может быть, кто-нибудь остался жив, что Чуторе удалось в последнюю минуту вытащить Арнольда, роту и остальных и они прячутся тут, в складках местности. Но в то же время утвердилось решение: если я встречу сейчас с Кенезом или Мадараша, то пристрелю их так же, как капитана. Пусть ответят виновники. Настал час расплаты!

Мы рвались вперед и уже слышали знакомые завывания шрапнели. Но какие это были жалкие звуки по сравнению с тем чудовищным грохотом, который раздавался полчаса тому назад и поставил точку с восклицательным знаком в конце трагической фразы! «Конец, всему конец» — сверлило в

сознании, и все же с вечной человеческой надеждой я стремился вперед, чтобы спасти и наказать. Не только нож боли вонзил в мое сердце дьявольский гул взрыва, он бросил мне в лицо всю мою беспомощность, стыд и унижение, он развеял все иллюзии. И тут же сам собой пришел поразительно простой вывод: надо восстать против этой преступной системы, надо повернуться против ее представителей, надо наказать. Я чувствовал за своей спиной друзей и был уверен, что, если мы встретимся с виновниками катастрофы, эти друзья исполнят все мои приказания.

Монте-дей-Сэй-Бузи дымилась. Мы бегом приближались к ней. Каверны штаба батальона были пусты, на дне воронки около цветника лежало несколько мертвых тел. Все было густо усыпано пылью, гравием и осколками взрыва. В одном из убитых я узнал писаря лейтенанта Кенеза. Где же остальные? Двинулись дальше, и вдруг за моей спиной кто-то закричал: «Итальянцы, итальянцы!» Из дыма и хаоса выделились какие-то фигуры. Они приближались к нам, перепрыгивая с камня на камень. Я развернул отряд в цепь. Солдаты беспрекословно повиновались моим приказаниям. Во всем сказывалась четкость военной машины. Мы осыпали приближающихся беглым огнем, они моментально исчезли. Что творится там, впереди, — вот был единственный волнующий нас вопрос. Сумеем ли мы пробраться на Клару, увидим ли своих товарищей, друзей и братьев, которых не сумели спасти? А если нет, хоть взглянем на их изуродованные мертвые лица. Вперед!

В эту секунду справа от нас показалась густая толпа. Это были наши егеря, мы узнали их по перьям, торчащим у кепи. Егеря лавиной катились вперед, к югу, но странно, все без оружия, а за ними двигалась маленькая цепь из пятнадцати-двадцати человек с винтовками наперевес.

— Итальянцы! Что случилось?

— Егеря взяты в плен, господин лейтенант.

В плен! Да ведь тут полбатальона! Вот-вот они пройдут мимо нас.

— Ложись! Прицелись! Пулемет вперед!

— Пристрелите лейтенанта! Пристрелите лейтенанта! Сдадимся в плен.

Хусар вскочил и бешено закричал:

— Молчи, осел!

Слышу голос Гаала:

— Не смей трогать лейтенанта!

Лавина егерей прогрохотала мимо нас, за ней идет редкая цепь конвой. Но вот перед толпой пленных егерей из дыма показывается в густой цепи рота итальянцев и дает залп. Егеря машинально бросаются на землю, а идущая им навстречу неприятельская рота кричит: «Аванти!». Итальянцы обстреливают лежащую на земле кучу пленных. Бешено защелкали два пулемета, заговорил и наш третий. Итальянские штыки сверкают в косых лучах солнца.

«Пристрелите лейтенанта!» Это, значит, меня.

Неприятельская цепь уже подходит к лежащим среди камней безоружным егерям. Конвойные итальянцы тоже залегли. Вот-вот произойдет трагедия. Пулемет замолчал. В эту секунду егеря вскочили с поднятыми руками, итальянская цепь остановилась, бросает оружие и тоже поднимает руки.

— Огонь! — кричу я. — Огонь! Вперед!

Несколько выстрелов. Мы насккиваем на фланг итальянцев, егеря хватаются за брошенное врагами оружие, и все смешивается в кашу.

Перед глазами вспыхивает желтый огонь взрыва, кто-то дергает меня назад, чувствую страшный удар в плечо, и, когда мое отяжелевшее тело скатывается в яму, вижу, как из разmozженного черепа Хусара вываливается кровавая каша, перемешанная с мозгом.

Ага, значит, меня пристрелили. Хусар пытался защищать и сам погиб. Но нет, меня поднимают, подо мной качаются носилки.

— Где Хомок?

— Хомок убит, господин лейтенант.

— И Хусар тоже, — простонал я.

— Да, господин лейтенант, мы попали в заградительный огонь итальянцев. Неприятельская рота сдалась.

Я не лишился сознания, только временами впадал в легкое забытие.

Конеч, всему конец. Теперь меня привлекут к ответственности. Я в их руках, со мной могут сделать все, что захотят.

На перевязочном пункте уже не чувствовал боли, впал в тупое безразличие. Долго возлился со мной, пока удалось остановить кровотечение из носа — последствие контузии. Потом был несколько дней без сознания. Только помню, как перевозили на санитарном автомобиле, блеснуло море и я закричал, как будто мне в сердце всадили нож. Потом операционная, палаты, длинные ряды коек, раненые, выздоравливающие. Здесь я пришел в себя и ясно все вспомнил. Вспомнил, что застрелил капитана Лантоша, застрелил, как собаку, и, если нужно, готов за это ответить. Лантош погубил восемьсот человек и среди них самых дорогих, самых лучших. Все время я прислушивался и ждал, когда за мной придут. И за мной, действительно, пришли. Перевели в отдельную палату, назначили ко мне сестру. «Ну, ясно, это тюрьма». Значит, все узнали, Хусару не удалось скрыть следы.

Но все пошло иначе, чем я думал. Мне шепнули, что меня посетит очень высокое лицо. Потом открылась настежь дверь, тихо зазвенели шпоры, стали входить люди, много людей. Главный врач стоял у моего изголовья, люди со шпорами образовали шеренги, и среди них ко мне приближались двое.

— Рана господина лейтенанта заживает, ваше королевское высочество, но контузия еще в полном разгаре. Его необходимо будет поместить в лечебницу для нервных больных.

Чувствую запах духов, слышу знакомый голос, чья-то мягкая ладонь гладит мой лоб.

— Для лечения господина лейтенанта нужно использовать все возможности медицины. Лейтенант Матраи является одним из выдающихся героев

нашего фронта. Он — тройной герой Монте-дей-Сэй-Бузи.

— Все возможное будет сделано, ваше королевское высочество.

— Он спас его королевское высочество, — произнес женский голос, и мягкая ладонь снова скользнула по моему лбу.

Я слышу голоса, чувствую прикосновение рук, запахи разных духов, но не открываю глаз. Врач нервничает, нагибается ко мне, щупает пульс. Мое сердце бьется, как будто готово разорваться.

А потом происходит невероятно глупая и грубая церемония. На спинку стула надевают мой лейтенантский китель и прикрепляют к нему два знака отличия. Один из них получает спаситель эрцгерцога, а другой — двойной герой Монте-Клары. Эрцгерцог произносит краткую речь. Из нее я узнаю, что после взрыва Монте-Клара все же осталась в наших руках, что освобожденный нами егерский батальон, отбросив итальянцев и захватив многих в плен, занял высоту, пока в тылу не развернулись спешившие на помощь резервные части. Из героического десятиго батальона осталось в живых только несколько человек. Игра продолжается.

А я лежу в постели со сломанной ключицей и разбитым на тысячи частей сердцем. Рядом с моей койкой на спинке стула висит китель с двумя новыми знаками отличия. Я — убийца восьмисот человек, неудачный спаситель Монте-Клары. Меня хватил только на то, чтобы предупредить посещение эрцгерцога. «Герой, герой!» — насмешливо звучит в мозгу, а в сердце громко отдается: «Убийца!». Я не открыл глаз, но из-под ресниц выступили предательские слезы. Главный врач посоветовал королевской чете оставить палату, так как нервы госпожи лейтенанта еще слишком слабы и на него вредно действует такая торжественная обстановка.

И все это происходило так грубо, так нелепо, вся эта процедура была так похожа на операцию, произведенную под плохим наркозом.

— Бедный, как он растроган, — говорит женский голос. — Посмотрите, он плачет.

А мне хотелось вскочить, кричать и бить, и ломать все вокруг, но не было сил шевельнуться.

Я получил по заслугам, Элла. Я стал героем в тот момент, когда почувствовал, что я больше не воин, нет, тысячу раз нет. И если в моем сердце осталось что-нибудь теплое, так это была ненависть к войне, к потерявшей смысл армии, интригующим штабам, глупым, самонадеянным генералам, упоенному своим величием эрцгерцогу, ко всему тому, что превратило меня в жалкого героя.

Мной овладело полное бессилие. Я не мог связать ни одной мысли. Сон также покинул меня, с открытыми бессмысленными глазами следил я за тем, как рождается свет и потом поглощается тьмой, как чередуются дни и ночи. Я был уверен, что всему конец, но вокруг меня ходили люди, ухаживали за мной, врачи лезли из кожи, ведь героя надо поправить, — так приказал эрцгерцог.

Я не хотел и не мог об этом думать, и если бы вы, Элла, не пришли, может быть, и не смог бы сформулировать эти мысли.

Я тогда думал: вот поправлюсь и, когда ноги будут меня носить, глаза будут видеть, убегу, убегу к Чордашу, к Ремете и Эгри. Буду бежать, пока духу хватит. Наивная, сумасшедшая мысль! Это не выход.

Я замолчал. В комнате было тихо. Элла сидела в кресле с низко опущенной головой, и с ее лица давно сошли свежие краски. Ее профиль сейчас был очень похож на профиль Арнольда. Вдруг до моего слуха донесся какой-то звук.

— Слышите, Элла, слышите, как звенит?

Я подбежал к окну. Элла удивленно посмотрела на меня, и я ловким движением прижал к стеклу большую, жирную муху и схватил ее за гудящие крылья.

— Смотрите, она прилетела оттуда-оттуда, понимаете?

Я поднес ее к Элле. Это был громадный серый экземпляр трупной мухи.

— Вот настоящий солдат этой войны. Ее породила война так же, как и генералов.

— Ну, что же теперь будет? — спросила Элла и встала.

— А теперь я поеду отдыхать в Татры. Если хотите, это тоже бегство, на два-три месяца.

— Правильно, Тибор.

Она отвернулась, и плечи ее задрожали. Долго сдерживаемые слезы полились по щекам. Она плакала тихо, беззвучно. У меня не было слез. Я стоял неподвижно, все еще держа в пальцах муху. На столе лежал зеленый бювар Арнольда. Я открыл его. Поверх рукописей лежали фотографии, снимки Шпица на провечинском пикнике: Арнольд и Чутора, потом я с Арнольдом. Он демонстративно смотрит в сторону, стекла его пенсне блестят на солнце. Я захлопнул бювар и на цыпочках вышел в соседнюю комнату.

На следующий день Элла заявила доктору Керну, что я хочу ехать в Тироль. Керн очень доволен. Он зашел ко мне, и мы втроем подробно обсудили план будущего путешествия. Элла предложила район Боцена.

— Никакой санатории, господин Керн. Село, горы, туризм, и через два месяца господин лейтенант будет прежним.

— В особенности, если вы нам можете в этом.

— Если разрешите, я останусь с Тибором до полного его выздоровления, — сказала Элла.

Спустя два дня мы уже сидели в поезде. Через Трентино и Лавиш едем в Боцен. Война продолжается. Везде воинские эшелоны, транспорты, живой и мертвый инвентарь войны. Тирольское наступление кронпринца Карла давно остановилось. Первые успехи у Роворедо неожиданно перечеркнуло мощное наступление русских на Воыни. Генерал Брусиллов разбил нашу армию, забрал полмиллиона пленных. Тирольские части пришлось перебросить на воынский фронт. Верден ско-

вывает немцев. Потом тронулись румыны. Еще один фронт, еще лишние миллионы людей. Война идет безостановочно.

На станции Лавиш рядом с нами стоял воинский эшелон. Увидев в окне Эллу, солдаты начали петь:

Пока война не наступила,
Я желтых туфель не носила.
Пять пар теперь их у меня.
Играй, цыган, играй, эй-ха!

Теперь пособие получаю
И одного лишь я желаю:
Чтоб не вернулся муж с войны.
Играй, цыган, играй, эй-ха!

Элла опустила занавеску и отошла от окна. Среди солдат мало молодых лиц, все почти старики. Сероголовые, плохо выбритые, они забавлялись грубыми солдатскими шутками. Когда эшелон тронулся, из вагонов понеслись непристойные песни и ругань. Правда, пели и ругались не все, большинство смотрело на нас с фаталистическим равнодушием. Я наблюдал за ними в щель занавески. Когда поезд тронулся, Элла вздохнула.

— Бедные!

Война продолжается. Я еду с Эллой в Тироль на отдых. Мы все время беседуем. О войне говорим очень редко, чаще всего вспоминаем Арнольда, но теперь он уже мертв.

В Лавише нас прицепляют к санитарному поезду. Приказ канцелярии эрцгерцога действует магически, и если прибавить еще, что этот приказ представляется комендантам станций красавицей Эллой, то легко понять, что мы двигаемся без задержек. Мы едем на север, удаляемся от войны, от фронта. Элла очень мила, внимательна и всех очаровывает. Главный врач поезда пропадает у нас целыми днями. Он знает от нас, что Элла моя родственница, только родственница.

Элла обращается со мной, как с тяжело больным. Возможно, что я действительно сильно болен. Временами, несмотря на все усилия воли, я впадаю в прежнюю апатию, и Элла вытаскивает меня из нее, как из темной ямы, заставляя разговаривать с ней и инте-

ресоваться окружающим. Это ей всегда удается.

Наконец, Боцен. У Эллы имеются адреса всех нужных учреждений. Ее маленькая записная книжка с золотым обрезом — настоящий бедкер. Три дня проводим в Боцене. Нас помещают в маленькой вилле, которая находится в распоряжении коменданта города. Эта вилла предназначена для проезжающих высоких особ. В нашем распоряжении находится целый штат прислуги, начиная с горничной и кончая кушером.

Элла целыми днями бегаёт, ведет переговоры и вечерами возвращается усталая, но довольная. Но я чувствую себя в Боцене плохо. Меня утомила дорога. И воздух тут другой — острый горный воздух. У меня такое ощущение, как у поднимающегося со дна моря водолаза.

Наконец, все бумаги готовы, подписи всех начальников налицо, пограничные удостоверения в порядке, и нас уже ждет автомобиль. Мы едем наверх, наверх, в горы, к здоровью, к возрождению и к полному пониманию всего случившегося. Но чем дальше мы удаляемся от фронта, тем непонятнее становится война. Где-то происходят сражения, люди идут друг на друга, рвутся снаряды и чудовищные взрывы разносят все кругом.

— Элла, правда, сюда едва ли прилетит трупная муха? — спрашиваю я, когда мы приближаемся к Наудерсу.

— Конечно, Тибор. Но бросьте эти мрачные мысли. Надо жить. Посмотрите, какая красота.

Дорога, действительно, очаровательна: романтические обрывы, величественные снежные вершины, вечно зеленые склоны гор и внизу, в глубокой долине, — пенящийся голубой Эчч.

— Тибор, Эчч! Помните, как мы проходили через него и нас чуть не снесла вода, хотя было не выше щиколотки?

Элла отпускает шофера, автомобиль удаляется. Мы стоим на террасе гостиницы. Мы снова в этих местах, освященных прошлым, но тогда нас было трое. Вернувшись из города, Элла на-

ходит меня в ужасном состоянии: я бледен и слаб, пульс упал.

Успокаиваю ее и объясняю, что меня взволновали воспоминания.

— Нельзя уходить в прошлое, надо думать о будущем, — сказала Элла настойчиво.

В Наудерсе мы пробыли всего двое суток. В последний день Элла надолго исчезла и вернулась полная энергии.

— Дальше, дальше!

Наш багаж погрузили на повозку, запряженную мулами, а мы едем верхом. У одного из горных поворотов Элла вдруг закричала:

— Смотрите, пограничный столб. Помните?

— Как не помнить! Сен-Дени, правда?

Мы оставили шоссе и свернули на боковую дорожку. И вот теперь живем в лесничестве, в семье Штильц. Недалеко от нас маленький лесопильный завод и молочная ферма. Семья наших хозяев состоит из фрау Дины Штильц, мальчика Руди и громадного сен-бернара Хексла. Вот наше окружение. А наша жизнь — солнечные ванны, молочная диета и недалекие экскурсии в горы. Это место — царство покоя и тишины. И все это создала гениальность Эллы, моей дорогой сестры.

Фрау Дина Штильц — жена лесничего казенных прикордонных лесов. Герр Петер Штильц, конечно, на фронте. «Но, слава богу, он артиллерист. Ведь артиллеристы меньше подвергаются опасности, чем пехотинцы, правда? Они не должны ходить в страшные штыковые атаки, правда?».

Фрау Дина сдала нам верхний этаж своего коттеджа, четыре небольшие комнаты. Лесничество находится между Наудерсом и Хохфинстермонцем. Вокруг в чудесных красках увядает сентябрь, и лишь вечная зелень хвойных гордо и несколько мрачно темнеет в вершинах. Внизу непрерывно шумит Эчч. Тишина, но какая тишина! Не верится, что где-то недалеко идет война. Но герр Петер Штильц — артиллерист. Он больше не обезжает вверенные ему лесные участки, не прове-

ряет своих сторожей. Все это теперь проделывает мальчик Руди. Рудольф Штильц — странная смесь итальянской смуглости фрау Дины и рыжеватости Петера Штильца. Это прекрасный парень. Он знакомит нас со всеми возвышенностями и с ревностью настоящего шовиниста уверяет, что их местность гораздо красивее настоящей Швейцарии. Ему пятнадцать лет, но он отнюдь не собирается воевать. Нет, как только папа вернется, Руди поедет в Триент и поступит в высшее техническое училище. Собака Хексл велика, как пони, и очаровательна, как ребенок. Такова семья Штильц.

Пансион, отдых, воспоминания, выздоровление... Ежедневно в сопровождении Хексла мы совершаем экскурсии в горы. Сначала только до Эчча, потом до молочной фермы, дальше до самых сосен, а на восьмой день уже вооружаемся туристскими палками и забираемся далеко в горы. И когда, наконец, достигаем вершины одной из них, Элла поздравляет меня и подставляет щеку.

— Целуйте, вы заслужили. Ведь мы здесь всего восемь дней, а какие замечательные результаты.

Я целую Эллу. От ее волос струится запах лесов, кругом пьянящий чистый воздух. Я вдыхаю его полной грудью.

— Как тут красиво!

— Смотрите, смотрите, — закричала Элла, указывая направо, — видите ту вершину, Тибор? Это Мутлер. Помните Мутлер? Там от меня, наконец, отстал тот, не помню, французский или бельгийский, художник, который преследовал меня по пятам от самого Берна.

— Французский художник, Мутлер... Да ведь это уже Швейцария.

— Да, да, Швейцария. Тра-ла-ла, Швейцария!

Долго стояли мы неподвижно, глядя на снежную шапку Мутлера. Я глубоко вздохнул и тут же заметил устремленный на меня пылкий взгляд Эллы.

— Опять расстроила вас? — мягко спросила она.

— Нет, нет, Элла, я думал о другом.

Мы спустились с горы. Я шел быстро, перескакивая с одного камня на другой. Элла громко поздравляла меня.

— Если ваша поправка пойдет такими темпами, мы скоро предпримем экскурсию на целый день. Хорошо?

— Превосходно!

— Вы будете таскать ранец, а я термос, бинокль и карту.

— Нет, карта будет у меня, — запротестовал я.

— Нет, нет, нет, — смеялась Элла. — Вы еще меня куда-нибудь заведете, и мы заблудимся. Что я тогда с вами буду делать?

Так, смеясь и шутя, в веселом настроении, пришли мы домой.

В этот день я ясно почувствовал, что начинаю приходить в себя. Замечательная кухня фрау Дины, ее молочный догматизм, горный воздух и тишина уже сделали свое дело.

На следующий день Элла уехала в Хохфинстермюнц за покупками. Денег у нас было вдоволь: мое четырехмесячное офицерское жалованье лежало почти нетронутым, и в бюваре Арнольда нашлось три тысячи крон. Кроме того, при нашем отъезде доктор Керн вручил Элле чековую книжку на крупную сумму, о чем я даже не знал.

— Хотите, pošлю немного денег вашим родителям? — спросила Элла, садясь в повозку. Я с восторгом согласился. Потом выработали список покупок.

— Я хочу вам купить хороший туристский костюм и настоящие горные ботинки. Ваши добердовские ботсы слишком тяжелы. Что вам еще нужно? Папиросы, книги?

— Только газет не надо, — закричал я, когда Руди хлестнул мула. — Книг, пожалуйста, привезите, но газет, ради бога, не надо.

Оставшись один, я в первый раз за это время взял в руки бювар Арнольда. С трепетом открыл его и долго смотрел на лежащие сверху фотографии. На одной из них я стоял рядом со Шпицем. Мною овладело странное чувство. Из всех изображенных на этих снимках остался в живых я один. Но

какой смысл имеет случайно уцелевшая жизнь?

Перелистал страницы. Папка была битком набита нервно исписанными бумагами, отдельными блокнотными листками, посвященными той или иной теме. Некоторые были написаны карандашом, некоторые пером, на большинстве листов была указана дата и место, где они написаны. То на фронте, то на бивуаках — в Опачиосело, в Констаньевице, Брестовице — набрасывал Арнольд на бумагу отдельные беглые мысли.

В этих строках чувствовался человек, умеющий мыслить, но зажатый тисками необходимости, которые парализовали его и сделали беспомощным. Вокруг разыгрывалась страшная трагедия, люди уничтожались тысячами, события потеряли смысл, и казалось, что перспективы нет, что все вокруг закрыто железными занавесями. Кряхтя, скрипя, дымя и истекая кровью, безжалостно действовал страшный автомат войны, машина, заведенная десятилетиями. Что можно сделать? Удрать, как предлагает фон-Ризенштерн, или выступить против этой машины, как настаивает Чутора?

С разгоревшимися щеками читал я эти строки. Потом опять хаос, метание от одной крайности к другой, жестокий цинизм и самобичевание. Голова у меня идет кругом, в груди чувствую колющую боль. Вот что такое фронт. На этих листах следы не карандаша и зеленых чернил, а страшные следы крови смертельно раненого, ползущего к своей могиле. Заметки Арнольда — это обрывки мыслей замученного и запутавшегося вконец человека, умного, культурного человека. Какая борьба, какой самоанализ и крушение! Чутора или граф Тисса?

Элла застала меня у лампы, погруженного в чтение.

— Мешаю? — спросила она и повернулась, чтобы уйти, но я удержал ее.

— Элла, вы читали все это? — спросил я упавшим голосом.

— Читала. А почему вы спрашиваете?

— И все поняли?

— Да, — ответила задумчиво и печально Элла. Потом вдруг, как бы передумав, отступила к двери. — Я сейчас вернусь. — И поспешно вышла.

Я слышал, как она распоряжалась в соседней комнате, отпустила Руди, потом, видимо, приводила себя в порядок. Наконец, вошла ко мне, села и открыто посмотрела мне в лицо. Я долго ждал, пока она заговорила.

— Надо вам сказать, Тибор, что в Швейцарии я получила от Арнольда несколько статей. Он писал эти статьи на фронте, и они говорили о войне. Вы знаете, что Арнольд обладал острым и оригинальным пером. Он смело ставил вопросы и умел противостоять общепринятым формам. Священные каноны общества нередко выходили изпод его пера смешными и уродливыми. Арнольд написал мне, что пришлет статьи, если я найду для них печатный орган левой ориентации. Я обратилась к Алексею, который живет в Швейцарии в качестве политического эмигранта, и спросила, не хочет ли он поместить в своей газете хлесткие статьи, разоблачающие войну. Алексей с большой радостью согласился, и мы с нетерпением стали ожидать посылки от Арнольда. Я думала, что, если статьи появятся в печати, это сможет возродить Арнольда, задавленного войной, и с естественным волнением ждала почты. Статьи шли через связи друзей Чуторы. И каково же было наше горькое разочарование, когда мы получили первую статью. И она, и все последующие, которые я получила, были свидетельствами полного бессилия и внутреннего хаоса моего брата. Я этого, конечно, не могла сразу понять, но Алексей объяснил мне всю порочность этих так хорошо слаженных с внешней стороны вещей. Доктор Арнольд Шик не сумел освободиться от терминологии буржуазного мышления. Он критиковал войну с буржуазной точки зрения, в то время как эта война была и есть историческое «творчество» самой буржуазии. Арнольд не нашел нужного тона, он не сумел порвать там, где это было нужно, и перейти на другую сторону, откуда смог бы получить

нужный ракурс для суждений о событиях.

— Словом, перейти к Чуторе? — спросил я.

— Если хотите, да, перейти к Чуторе. Он этого не сумел и потому остался на фронте и остался в тот день на Кларе.

Некоторое время Элла молчала, потом, глубоко вздохнув, прибавила:

— Ах, как жаль, как жаль! Я лишилась самого дорогого и близкого человека, а будущее время потеряло одного из стойких борцов, потому что Арнольд был уже очень близок к выбору пути. Если будет возможность, я покажу вам когда-нибудь его письма, которые тоже пересылал мне Чутора, обходя военную цензуру. В этих письмах много говорится и о вас. Он возлагал на вас большие надежды, хотя в последних письмах и чувствуется большое раздражение по вашему адресу. Но теперь это понятно, почему.

К вечеру в горах поднялся туман, и наши окна печально слезились. Элла велела затопить в столовой камин. Душистые, сухие, как порох, сосновые поленья, трещая, покрылись пламенем. Сели ужинать. Элла устала и ела с большим аппетитом. Погода все ухудшалась, начался осенний ливень. По стеклам звонко били крупные капли дождя. Мы молчали. После ужина Элла пошла в мою комнату, взяла папку Арнольда и принесла ее в столовую.

— Хотите взять отсюда что-нибудь на память? — спросила она.

Я отрицательно покачал головой. Элла подошла к камину и мягким, плавным движением бросила бьювар в огонь. Пока бумаги горели, мы не проронили ни слова. Потом Элла, не сводя глаз с огня, заговорила:

— Тибор, вам, наверное, покажется странным то, что я скажу, но я считаю себя обязанной объяснить вам одну вещь. Я знаю, что много значу для вас. Прежде всего я — ваш друг, ну, знаю, знаю, что и любовь. Как мучительны эти биологические моменты! Но их надо исключить из наших отношений, надо изжить, не правда ли?

Я хотела сказать об Окульчевском. В глубине души вы, наверное, презираете меня за то, что я так близко подпустила к себе этого авантюриста. Вы всегда считали меня умной женщиной и, должно быть, не можете понять, как я могла сделать такую грубую ошибку. Но имейте в виду, что Окульчевский — не бездарный человек, он — грессмейстер обмана. И я окончательно разделалась с этим опасным человеком только после того, как судьба столкнула меня с Алексеем. Ах, какой жгучий стыд я испытываю за прошлое теперь, когда я постигла образ настоящего борца за свободу.

Элла вдруг умолкла и повернулась ко мне.

— Вы поняли?

— До последнего слова, — ответил я.

— Да, я забыла вам сказать, что послала денег вашим старикам. Думаю, что они очень обрадуются. Написала несколько строк и Алексею.

Она хотела еще что-то сказать, но замолчала. Потом, спустя некоторое время, спросила:

— Вам бы хотелось познакомиться с Алексеем? Я уверена, что вы бы стали большими друзьями.

Она стояла ко мне спиной, в свете лампы отчетливо обрисовывалась ее фигура.

— Вы знаете, как по-русски уменьшительное имя Алексея?

Я молчал.

— А-л-е-ш-а. А-ле-ша, Алеша, Алеша. Правда, мило?

— Очень, — ответил я машинально. Потом подошел к ней.

— Как вы думаете, Элла, к чьей партии примкнул бы капрал Хусар?

— Наверняка, к партии Чуторы.

Мы замолчали.

— Да, я совсем забыла показать вам свои покупки, а вы даже не интересуетесь! — вдруг воскликнула Элла с искусственным оживлением и, открыв чемодан, стала выкладывать вещи: туристский костюм, горные ботинки, непромокаемый плащ, термос. Дождь бил в окна, за стенами рвал

и выл ветер. Я вышел на балкон. Вокруг все ухало, гудело и дрожало, как и в моей смятенной душе.

Поздно вечером к нам зашла фрау Дина. Ее глаза были заплаканы. От герра Штильца пришло письмо: он лежит в госпитале, ему ампутировали левую руку.

— Это очень опасно, ампутация? — спрашивает меня фрау Дина.

Я успокаиваю ее, что для жизни совершенно не опасно, и что лучше потерять левую руку, чем, скажем, левую ногу. Фрау Дина несчастна. Фрау Дина счастлива! Все-таки левая рука, а не нога. Что бы делал лесничий без ноги тут, среди гор? А то, что отрезана до локтя левая рука, это даже не играет роли, то-есть, конечно, играет роль, но все-таки... Рудольф стоит в углу и плачет. Он хотел бы, чтобы папа вернулся домой с обеими руками и обеими ногами. Хексл лежит у камина, вытянув вперед левую лапу. Ему тоже нужна эта лапа, и что было бы с Хекслем, если бы пришлось ее ампутировать?

Фрау Дина показывает нам фотографию, изображающую ее с мужем в день свадьбы. Она смотрит на карточку и плачет.

— И вы, господин лейтенант, вернетесь туда? — вдруг спрашивает фрау Дина, и в глазах ее дрожит страх.

— Туда? — говорю я, чувствуя, что бледнею.

— Нет, нет, — закричала Элла. — Туда нет возврата, Тибор. Нет, нет!

В первый раз я вижу Эллу в таком состоянии. Она побледнела, дрожит, ей совсем дурно. Фрау Дина быстро наливает стакан воды и, осушив свои слезы, подает его Элле.

Дни чередуются за днями. Сентябрьские краски становятся все красивее, все богаче и ярче. Я чувствую, как с каждым днем мои силы прибывают и я возвращаюсь к жизни. Но иногда меня охватывает какой-то тупой страх. Что должно означать возвращение к жизни? Что такое жизнь? Война. Значит, надо вернуться на войну, опять туда, на фронт. В ушах моих еще звенит страшный крик Эллы:

— Нет, нет, туда нет возврата!

Но сегодня об этом еще никто не говорит. Меня послали сюда на поправку, послал эрцгерцог, считающий меня своим спасителем, послала армия, послала сама война, чтобы все те жизненные соки, которые наберет мое тело, вновь выжать из меня до последней капли. Нет, нет туда нельзя вернуться, туда нет возврата!

Приказ Эллы — отдыхать, не мучиться, не копать в самом себе. Сиеста. Но можно ли равнодушно смотреть на потрясающие краски осени в этом одном из самых красивых уголков мира, где природа, то очаровательная, то мрачная, то беззаботно смеющаяся, то величественная, так подчеркивает человеческую глупость? Здесь невозможно не думать.

Но заботливость Эллы неисчерпаема. Тихо. Отдыхаю. Сиеста. Пусть будет сиеста.

Мы стоим над водопадом. Пышные белые облака так похожи на сливочный торт, что невольно текут слюнки, когда смотришь на эту пенистую белизну. И вдруг я спрашиваю:

— Как вы думаете, Элла, откуда берет война свою всеуничтожающую потенцию?

Каждый день встаю рано утром и слежу за тем, как солнце из источника света превращается в источник тепла. Иногда с ужасом прихожу к заключению, что жизнь — это плен, где везде стерегут часовые с винтовками наперевес. На-днях, блуждая среди гор, мы наткнулись на пограничного жандарма. Он отдал мне честь и озабоченно сказал:

— Убедительно прошу господина лейтенанта не гулять в этой линии, так как здесь легко заблудиться и можно попасть на ту сторону.

Нас сопровождал неизменный Хексл, и, только когда он показался среди кустов, пограничник успокоился.

— Простите, господин лейтенант, я не знал, что с вами Хексл. Этот пес прекрасно знает границу, и с ним нельзя заблудиться. Он и отсюда никого не пустит, и сюда не пропустит. Правда, Хексл?

Собака в ответ громко залаяла, и ее лай тройным эхом отдался в горах.

Странно расстроенные, возвращались мы домой. Элла была молчалива, отвечала нервно. Может быть, она уже и тогда чувствовала себя плохо. Ведь Элла больна, да, больна. Как странно, что она больна, когда я здоров. Я привык к тому, чтобы было как-раз наоборот, и это казалось мне в порядке вещей. Какой эгоизм!

В первый день болезни Элла даже не подпустила меня к себе. За ней ухаживает фрау Дина. Чувствую себя очень одиноким, целый день блуждаю вокруг дома. Только к вечеру предпринимаю небольшую прогулку до молочной фермы, откуда, забравшись наверх, можно видеть Муглер. Элла очень любит смотреть туда. Ведь Швейцария — это Алексей. Во время своей одинокой прогулки я много думал.

На другой день Элла почувствовала себя лучше, но осталась в постели. Я сижу около нее, нервничаю, потом встаю и хожу взад и вперед по комнате. Элла, наконец, замечает мою нервозность.

— Вас расстраивает моя болезнь? Не сердитесь, я скоро встану на ноги. Но ведь я вам уже не нужна.

— Элла!

— Не поймите меня неправильно. Вы уже здоровы, и я вам больше не нужна как сестра милосердия. И вот теперь у меня наступила реакция.

В голосе Эллы ни малейшего упрека, хотя я — бессердечный эгоист. Я так привык к тому, что Элла должна обо мне беспокоиться. И вот теперь она... Ведь ее тоже ранила война, она нанесла Элле двойную рану: ущемила ее самолюбие и ограбила сердце.

В эти два дня, когда болезнь Эллы заперла нас в комнате, для меня многое сделалось ясным. Элла призналась мне, что у нее есть какой-то план относительно меня, относительно того, чтобы я не попал обратно на фронт.

— Фон-Ризенштерн? — спросил я.

— Нет, нет, совсем другое. Я жду письма. Когда оно придет, мы поговорим с вами, Тибор. А теперь сиеста.

Мне иногда кажется, что Элла просто играет со мной. На третий день болезни она вышла со мной на балкон, но была еще слаба и бледна, хотя она исключительно сильная женщина.

Мы сидим у окна. Через стекла светит слабое сентябрьское солнце. Элла еще не получила никакого письма, а я все-таки пристаю к ней.

— Вы знаете, о чем я думала, Тибор?

— Да?..

— Мне сейчас показалось, что я, собственно говоря, неправильно поступаю. Может быть, я вам уже надоела, может быть, стала для вас совершенно лишней...

— Интересно. Продолжайте.

— Ведь я даже не спросила вас, каковы ваши планы на будущее. Может быть, вы полагаете совершенно иначе, а я своей наивной женской головой выдумываю разные романтические способы спасения вас от войны. Но, может быть, они вам совершенно не нужны. Ведь вы теперь можете сделать быструю и блестящую карьеру. Вы — спаситель эрцгерцога, герой, молодой лейтенант, имеющий пять награждений. Ведь война еще не для всех потеряла романтическую окраску. Другое дело, что я ненавижу войну, у меня на это есть все основания, ведь меня война унизила и ограбила. А если вы умно поведете себя, то всегда сможете избежать линии огня, устроиться в штабе, быстро продвигаться вперед, и вам будет очень хорошо. А я тут выдумываю всякую чепуху.

— Видите ли... мне трудно сказать, — разыгрывал я комедию. — Ведь я не знаю ваших планов. Когда вы их изложите, у меня будет возможность принять их или отвергнуть.

Вдруг дверь распахнулась, и бомбой влетел Рудольф.

— Почта! Фрейлейн, герр лейтенант! Письмо, телеграмма!

Письмо было от отца. Когда я увидел округлые буквы Матраи старшего, меня охватило жгучее желание еще раз увидеть моих стариков, обнять их и

дать им понять, что сын не забыл их. Элла стояла мертвенно-бледная.

— Что случилось?

— Читайте. — Она протянула мне телеграмму. — Боже мой, боже мой, что же будет? Ведь я еще не получила ответа.

В телеграмме доктор Керн извещал нас, что находится в Боцене и завтра навестит нас.

— Он придет за мной, — сказал я с отчаянием.

— Нет, это невозможно, — закричала Элла и покраснела. — Мы никуда отсюда не поедem. Вы еще не отдохнули, Тибор. Куда вы торопитесь?

— Я? Что вы, Элла? Я никуда не тороплюсь.

Телеграмма сделала свое дело: Элле стало хуже. Но она продолжала распоряжаться:

— Когда он придет, вы встретите его в халате, опираясь на палку.

— Да ведь я поломал палку, когда начал себя лучше чувствовать.

— Ничего, мы достанем другую. Надо симулировать, надо симулировать. Ну-ка позовите фрау Дину, я ее ин-структирую. Хотя нет, не надо. Знаете что? Спрячьте подалше этот чемодан с вещами, чтобы его не было видно. Так, так, хорошо.

Я провел очень тревожную ночь. Утром во двор въехал экипаж с гостями. Доктор Керн был весьма удручен болезнью Эллы, но и от моего состояния не пришел в восторг. Действительно, я выглядел ужасно после бессонной, беспокойной ночи. С Керном приехал главный врач боценского гарнизона, очень симпатичный, глубоко штатский человек с обер-лейтенантскими нашивками. Он установил у Эллы истощение нервной системы и запретил всякое напряжение и волнения. У меня же констатировал улучшение по сравнению с тем состоянием, в каком видел меня в последний раз. Я признался, что совершенно не помню, чтобы он меня когда-нибудь осматривал. Доктор засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Да, мой друг, ничего хорошего я от вас тогда не ожидал. Надо при-

знаться, что если бы не ваш молодой организм...

Керн буравил меня глазами, щупал мои мускулы и тоже похлопывал по плечу.

— Эрцгерцог уже несколько раз запрашивал о вас. Ах, мой молодой друг, вас ожидает очень недурное будущее. Сейчас нужны именно такие храбрые и настойчивые люди. В шестом ишонзовском бою погибла масса народа, даже командиров батальонов и полков похоронили больше десятка. Некоторые из них лично шли в атаку.

— А вы что же, доктор Керн? — спросил я с деланным простодушием.

Но Керна было трудно смутить.

— Я? Да что вы, кому нужны такие неспособные типы? Кроме того, дорогой лейтенант, я и на своем месте сумею быть полезным, — ответил он с кислой улыбкой.

Я становился все мрачнее и мрачнее и, наконец, добился того, что Керн перестал говорить о войне. Он стал спрашивать, в чем мы нуждаемся. Элла была с ним очень мила и просила не торопить меня с отъездом.

— Как видите, мы поменялись ролями: теперь он за мной ухаживает.

Боценский врач немедленно предложил прислать сестру милосердия, но после категорического протеста Эллы перестал на этом настаивать. После обеда гости уехали. Керн взял с меня слово, что, как только я почувствую себя лучше, сейчас же извещу его. Ведь после этого отдыха мне еще полагается отпуск и все такое.

— Таких людей, как вы, дорогой лейтенант, не бросают опять сразу в огонь.

Когда они выезжали, я стоял в дверях и долго смотрел им вслед. Элле я нашел на балконе, откуда она тоже следила за уезжающими.

— Видите, Тибор, о вас не забыли.

— Да, война еще претендует на меня, — сказал я задумчиво.

— Ну, а вы как?

— Я на нее не претендую.

Элла засмеялась, но не могла скрыть своего волнения. Ее беспокоил всякий

шорох, и она ни за что не соглашалась лечь в постель.

— Бедный боценский врач, — сказал я ей вечером.

— Почему вы его жалеете?

— Он, бедняга, предписал вам никаких волнений, никакого напряжения, а вы, как натянутая струна.

Элла опустила голову и исподлобья посмотрела на меня.

— Письма жду, Тибор.

— Вы так влюблены?

— Ах, какой дуралей! Вы ничего не понимаете, Тибор. Как можно быть таким наивным?

Я знал, что она ждет письма от Алексея, но разве мог предполагать, что будет в этом письме? И оно пришло на следующий день после отъезда Керна. Элла как будто переродилась и сразу выздоровела. Она встала, приняла ванну, оделась, потом долго раскладывала свои вещи и, наконец, позвала меня.

— Он здесь, в Мартинсбрюкке, — сказала она с блестящими глазами.

— Кто?

— Читайте. — Элла протянула мне письмо. Оно было написано по-французски и шло из Берна четыре дня. Письмо было короткое и довольно холодное, всего несколько строк.

«Дорогая Элла! Последнее время я был очень занят. Мы снова собрались с нашими друзьями в Циммервальде под Берном, где мы бывали с вами».

— Не с друзьями, а с товарищами. Надо читать — товарищи, а не друзья.

— Разве не все равно?

— Нет, товарищ — это больше, чем друг. Ну, читайте дальше.

«Мы обсудили тут несколько вопросов, касающихся сегодняшней ситуации».

Я остановился, посмотрел на Эллу и подумал: «Что они могли там обсуждать? Наивные люди! Они не знают, какая страшная сила — война».

— Продолжайте, продолжайте, — сказала Элла, закрыв глаза.

— Словом, в первую очередь дело, а потом личные вопросы, — заметил я иронически.

«Теперь я освободился и могу исполнить вашу просьбу. Через три дня после отправления этого письма я еду в Мартинсбрюкке и буду ждать вас и вашего брата в указанном направлении. Привет. Алексей».

— Ну, теперь понимаете? — спросила Элла взволнованно.

— Понимаю, — тихо ответил я.

— Ну, и что скажете? Вот это и есть мой план, — быстро прибавила она.

— Значит, бегство?

— Бегство. Вы находите это невозможным?

— Нет, нет, но знаете, так неожиданно, сразу...

Элла встала, подошла к окну и тихо, еле слышным голосом, заговорила:

— Тибор, поймите меня. Эта мысль зародилась у меня, когда я получила известие о смерти Арнольда и вашем ранении. Арнольд погиб потому, что не смог побороть внутреннего хаоса и противоречий. Он не мог разгадать жуткую тайну войны и погиб. Вы не случайно остались в живых. Вы вовремя начали сопротивляться и за это награждены жизнью. Вы — самый близкий и самый родной мне человек. Бросьте, Алексей — совсем другое, вы это поймете позже. Когда я получила письмо от Красного Креста, моей первой мыслью было: Тибора надо спасти, надо вырвать его оттуда, это моя обязанность. Алексею я ничего не сказала, но была уверена, что он одобрит мою мысль. Видите, он пишет: «Я буду ждать вас и вашего брата в указанном направлении». Я всегда говорила о вас, как о своем родственнике, и он, очевидно, думает, что вы мой двоюродный брат. Но это неважно, ведь вы для меня больше, чем двоюродный брат. Ну, понимаете меня?

Я понимал Эллу и, улыбаясь, смотрел в ее глаза, в эти дорогие, умные, чудесные глаза. Они уже не спрашивали, а смеялись и ободряли.

— И если бы Арнольд был жив, мы бы втроем?.. — спросил я, отвернувшись.

— Ну, конечно, конечно, — закричала Элла.

Больше мы об этом не говорили. Целый день готовились, выбирали одежду, упаковали остающиеся ненужные вещи в чемодан, навели порядок в своих комнатах, вложили в конверт нужную сумму за пансион за месяц вперед и несколько строк фрау Дине. Положили конверт в один из незапертых чемоданов и сели изучать карту. Посмотрев на нее, я улыбнулся. Ведь Мартинсбрюкке прекрасно видно отсюда, если подняться на ближайшую гору.

— Где он будет нас ждать?

— В трех километрах от границы, на швейцарской стороне находится такое же лесничество, как и наше. Я уже обо всем этом написала Алексею. С Мартинсбрюкке он спустится туда. Вы помните, я попросила недавно у фрау Дины ее пограничное удостоверение, с которым они имеют право свободно пересекать на ту сторону в гости к своим родственникам. Это удостоверение сослужит нам большую службу.

— Ого, Элла, полная романтика: бегство, фальшивые документы, свидание на опушке леса... Ну, а что скажет фрау Дина?

— Она получит свои документы обратно от своих родственников Бреготтов. Это все, дорогой мой, хорошо обдумано. Завтра утром мы двинемся.

— Двинемся.

Мы крепко пожали друг другу руки.

Ночью я долго не мог уснуть, все ворочался, иногда тревожно прислушивался и установил, что Элла тоже не спит, а ходит взад и вперед по столовой. И вдруг мне стало стыдно: чего я беспокоюсь? Что случится, если я действительно убегу? Кому я изменяю? Эрцгерцогу? Пусть он будет благодарен за то, что я спас его драгоценную жизнь. Армии? Будь она проклята! Своим друзьям? А есть ли у меня там друзья? Родителям? Эх, славные мои старики, вас мне жаль, но вы первые одобрите мой поступок. Родине, Венгрии? Какой? Ведь есть две Венгрии. Родная, удивительно красивая земля, белохатные села, тихие речки, чистые города, горы, холмы, пуста¹⁾, воспе-

тая Петефи, жизнерадостные честные рабочие, славные крестьяне — это одна Венгрия. А другая — люди, предавшие и обманувшие народ, заведшие его в кровавую авантюру, люди, за низменные интересы которых страдают миллионы, люди, являющиеся самыми большими врагами народа. Это родина?

Я больше не вздыхал, сердце билось ровно, в сознании царили покой и ясность.

— Вон отсюда, вон! — счастливо шептал я, засыпая. Все вопросы разрешены, все ясно, понятно и честно. И со мной Элла, Элла, которая все это придумала и оформила. Уйдя отсюда, я сохраню себя и буду служить памяти своего учителя и друга. Действительно, Арнольд должен был тоже так поступить. И Арнольд, и Чутора, и все остальные. Но нет Чуторы, нет остальных: Хусара, Шпица, Бачо... А интересно, как бы поступил на моем месте Бачо? Нет, Бачо не стал бы спасаться бегством, и именно поэтому я должен так поступить. Мы приближаемся к рубикону.

Утром все идет своим порядком. Мы собираемся на прогулку в горы. Фрау Дина просит Эллу не ходить далеко, ведь фрейлейн еще очень слаба.

— Господин лейтенант в штатском! Как вам идет этот охотничий костюм!

Мы предупреждаем фрау Дину, чтобы она не волновалась, если к вечеру мы не вернемся. Мы берем с собой достаточное количество провизии, чтобы заночевать в горах. Расспрашиваем ее, как пройти к Хорнтальскому водопаду, находящемуся в двадцати километрах от лесничества. Фрау Дина дает подробные указания. Я записываю фамилии лесничих, которые нам встретятся по дороге. Все это, конечно, военная хитрость. Бедная фрау Дина делает обыск в нашем ранце, находит, что необходимо прибавить сыру и масла, всовывает еще бутылку сливок и просит обязательно вернуться к вечеру.

— Хали-го! Хали-го! О-го-го!

Мы идем по направлению к лесопильному заводу. Дорога ведет на восток, вглубь Тироля, но после первого же поворота мы круто берем на запад.

¹⁾ Степь

и вдруг, к нашему ужасу, нас догоняет с веселым лаем Хексл. Что такое? На балконе стоят фрау Дина и Руди и машут нам. Я смотрю на них в бинокль и докладываю Элле:

— Машут и приветливо улыбаются. Они хотят сказать, что Хексл нам очень пригодится в горах. Чорт побери!

А Хексл ходит вокруг нас, машет хвостом и радостно лает. Элла вынула носовой платок и махнула фрау Штильц:

— Алло! Очень хорошо! Спасибо.

— Но что нам делать с собакой? — спрашиваю я.

— Бросьте, ничего. Пойдем. Алло, Хексл, форвертс!¹⁾

Идем. В назначенном месте сворачиваем на лесную тропинку и поднимаемся на крутую гору. Иногда останавливаемся, наслаждаясь чистотой осеннего дня.

— Что же будет с собакой? — повторяю я после трехчасового пути. Мы отдыхаем у крутого спуска. Лесничество и завод остались далеко за нашими спинами. Внизу журчит шустрый горный ручеек. Мы на большой высоте. Вокруг только сосны и мох.

Я сверяю карту и измеряю путь.

— Когда он будет нас ждать?

— С трех часов.

— Что делать с собакой?

Элла гладит голову Хексла, треплет его громадные уши. Хексл доверчиво положил голову на ее колени.

— Оставьте Хексла на моем попечении, — сказала Элла с иронией. — Вы, мужчины, и собаки одинаково подчиняетесь женщинам.

Мы смеемся. Хексл тоже смеется, широко разинув пасть, из которой свешивается набок влажный, розовый язык, и смотрит на нас умными, человеческими глазами. Но что будет, если он запряжится на границе и подымет лай? Ведь Хексл — австрийский патриот, он не захочет отпустить за границу венгерского гонимого лейтенанта. Хексл хочет, чтобы я дрался и защищал Тироль от итальянцев. Ведь

герр Штильц — немец, но фрау Дина — итальянка. Кто же мальчик Руди?

— О, вы опять задумались, мой друг? — строго сказала Элла.

— Нет, нет, я думал только о Хексле.

После пяти часов быстрой ходьбы мы минуем пограничный столб. Полосатый, черно-желтый, он стоит наверху у выступа скалы, а мы пробираемся по чаще влево от него. Идем по давно проложенной и игнорирующей все границы тропинке. Хексл остановился, смотрит на нас, нервно машет хвостом и начинает скулить.

— Ну, Элла?

Мы теперь внизу. Кругом смешанный лес. На стволе одного дерева добросовестно работают два дятла. Их постукивание похоже на мерное тиканье часов.

— Хексл, вильст ду цу Вилли?¹⁾ — нежно спрашивает Элла.

Хексл становится на задние лапы. Какой громадный пес! Хексл помахивает хвостом и вопросительно смотрит на Эллу.

— Цу Вилли! Форвертс, Хексл! — энергично командует Элла.

Собака явно поняла и рванулась вперед. Теперь нет сомнения, что мы на правильном пути. Тихо, вокруг ни души, хотя...

— Видите, там у столба стоит жандарм? Но он смотрит в другую сторону. Вот двинулся и исчез среди деревьев.

— Форвертс, Хексл, быстро! Мы скоро будем у твоего друга Вилли Бреготта.

Мелькнул швейцарский пограничный столб, и мы свернули направо. Элла вынимает документы Штильц на право перехода границы. Смешно, ведь семью Штильц здесь все знают. Но Хексл показывает, на что он способен. Большими скачками он мчится вперед, потом останавливается и выжидательно смотрит на нас. Замечательная собака! Карта и компас становятся излишними. Хексл — превосходный гид.

¹⁾ Вперед!

¹⁾ Хексл, ты хочешь к Вилли?

Пересекаем шоссе и читаем надписи на столбах. В Швейцарии у каждого поворота столбы-указатели. «К Блоку 88», «Цу Николаус Мауэр», «Ауф Мутлер 3 299», «Ауф Сервизель 1 019», «К таможенной Мартинсбрюкке».

— Элла, теперь надо быть осторожнее, можно напороться.

Хексл, как будто поняв наши опасения, круто завернул и ведет нас к лесу. Вдруг Элла закричала, выронила свою туристскую палку и, как десятилетняя девочка, побежала вперед, и рядом с ней с веселым лаем помчался Хексл. У поворота, на опушке леса, стоял человек в темном костюме.

— Алеша-а-а! — радостно кричала Элла.

Я поднял ее палку, поправил на плечах ранец, сбил с бутс дорожную пыль, снял шапку и вытер разгоряченный лоб.

Итак, я — свободный человек. Я не обязан больше идти в ночную смену под Вермежлиано. Бррр... Вермежлиано, Полазо... С тошнотным отвращением вспомнил я эти названия. Сердце жглось, и только сейчас в первый раз я глубоко пожалел тех, кто остался там. В моей памяти встал образ Гаала, его умные карие глаза, широкий лоб. Гаал! Ведь он остался там. «Пристрелите лейтенанта! Сдадимся в плен!» — «Не смей трогать лейтенанта!» Гаал...

— Ти-бор! Где вы застряли? Идите сюда, скорее!

Я тронулся и, не знаю, почему, почувствовал какое-то стеснение и неуверенность. Рядом с Эллою рука об руку стоял высокий, стройный мужчина в скромном костюме. Его бледное правильное лицо обрамляла подстриженная борода. Мы пожали друг другу руки, и мне улыбнулись холодные и далекие, как небо, светлые глаза. Где я видел этого человека? — было первое мое впечатление. Но я видел его, только не могу сразу вспомнить — где?

Лицо Эллы разгорелось, глаза блестели.

— Ну, как вы находите Алексея? — спрашивали ее глаза.

Я улыбнулся Элле. После недолгого совещания мы пошли к лесничеству, но,

к удивлению Эллы, Алексей повел нас не в виллу лесничего, а, завернув налево, направился к маленькому скромному домику.

— Если вы ничего не имеете против, мы остановимся сначала здесь, у одного дорожного мастера, — сказал он. — Он — очень славный человек, а ваши Бреготты показались мне чересчур правдоверными буржуа. Они могут поднять шум по поводу перехода границы, и тогда вас, камрад Матрай, официально должны интернировать. Поэтому давайте сначала поговорим тут о делах.

Дорожный мастер принял нас очень любезно и уступил нам вторую комнату. Мы держались, как усталые, заблудившиеся туристы. Алексей больше молчал, и я несколько раз ловил на себе его испытующий взгляд. Зато Элла говорила без-умолку, она буквально болтала, как ребенок. После завтрака мы остались одни. Алексей попросил Эллу сесть (его обращение показалось мне сухо-официальным) и повернулся ко мне:

— Каковы ваши планы?

Я смутился. Мои планы? Да ведь я уже претворил их в жизнь, я дезертировал. Вместо меня ответила Элла. Она рассказала все, что я пережил, и как пришел к решению порвать с армией.

— Тибор может стать настоящим борцом, Алексей, и вашим товарищем, — сказала она в конце.

Алексей спокойно и, мне казалось, вяло выслушал горячую речь Эллы, потом, обратившись ко мне, начал задавать вопросы. Его вопросы были последовательными и обдуманно, правда, некоторые из них порой казались мне не относящимися к делу, но я охотно отвечал на них.

Каково снабжение армии? Настроение солдат, офицеров? Что говорят пленные итальянцы? Так же сплоченно воюют венгерцы, как и раньше, и какова причина этого?

Я не успевал ответить на один вопрос, как рождался следующий, и, чем больше я на них отвечал, тем яснее становилась мне связь между ними.

— Нервы солдат натянуты до предела, да, до предела.

Вдруг Алексей схватил меня за руку и с каким-то особым трепетом спросил:

— Как вы думаете, долго еще продлится война?

— Если это будет зависеть от штабов и министров, то до последнего патрона, до последнего инвалида, — ответил я с горечью.

— С вас, значит, довольно?

— Я не хочу больше видеть солдат. Я устал, я совершенно ограблен духовно и отрицаю и ненавижу войну, — взволнованно сказал я.

При последних моих словах Алексей вдруг оживился, в глазах его заиграла улыбка.

— Отрицаете или ненавидите? Это большая разница.

Он повернулся к Элле:

— Я думаю, Элла, что решение товарища Тибора о бегстве — это дело ваших рук. К сожалению, я не имел возможности написать вам, что с такими вопросами нельзя спешить. Верно, Тибор?

Алексей говорил медленно, веско, и каждое его слово вонзалось в мое сознание, как хорошо прицеленная пуля.

— Отрицаете или ненавидите? Это большая разница. Вы не хотите больше видеть солдат? Хорошо. Но позволите вас спросить: если вы действительно ненавидите войну, то чувствуете ли в себе силы бороться против нее?

— Как? Чем? — спросил я с удивлением.

— Вы только не знаете, чем и как, или вообще не способны на это? — строго спросил Алексей.

— Нет, я спрашиваю, каким методом вообще можно бороться?

— А, это уже другое дело. На это я могу вам ответить и охотно отвечу.

Алексей подошел к шкафу и достал из него маленький ручной чемодан. Щелкнул замок, и Алексей вынул из чемодана несколько брошюр и листов, отпечатанных на пишущей машинке.

— Мы с Эллой сейчас пойдем немного погуляем и поговорим, а вы пока прочтите эти листки, их всего пять, и перелистайте эти две брошюры. Я бы

очень хотел, чтобы вам все стало ясно. Если чего-нибудь не поймете, спросите меня, я охотно все объясню.

Элла и Алексей ушли, а я прочел все от буквы до буквы. Так вот о чем они совещались там, в Циммервальде! С какой силой наступали на мое сознание эти простые, сухие строки. Конечно, я все понял. Как мог не понять этого человек, побывавший на полях сражений?

Алексей был очень доволен мной и проэкзаменовал по всем вопросам.

— Вы там сможете это размножить, — сказал он.

— Понимаю, — ответил я, как солдат, получивший боевое задание.

Мы улеглись спать в полночь, чтобы набраться сил. Я сразу уснул так, как давно не спал. На сердце было легко и спокойно. Этот молчаливый, бледный человек со светящимися глазами все раскрыл мне.

— Каковы ваши планы? — спросил он, когда мы встретились.

Мои планы? В действительности у меня не было никаких планов. Я бежал, бежал оттуда, где бушует огонь, где пламя пожирает все, созданное человеческими руками и человеческим умом, где исчезают города, села, поля и леса, где падают мертвыми миллионы людей.

«Вы знаете, что война уже проглотила три с половиной миллиона людей, и сейчас, в 1916 году, под ружьем находится двадцать один миллион человек. Вы уже несколько раз задали мне вопрос — почему? На это нельзя так просто ответить. Дело не только в рынках и конкуренции. Сегодняшнее человечество протасило на себе слишком много болезней, пока не достигло той стадии, которую мы, коммунисты, называем империализмом. Но трезвое взвешивание и анализ исторических фактов доказывают, что массы уже созрели для того, чтобы мы, передовые люди, могли смело указать им на оружие, которое они держат в руках, и сказать: «Поверните это оружие, братья, против тех, кто заставляет вас драться». Но этот момент не придет сам собой. Для приближения его нуж-

ны храбрые люди с крепкими сердцами, настоящие герои, которые могут принести себя в жертву во имя идеи. Вы говорите, что ненавидите войну...» — «Ненавижу, ненавижу».

Меня разбудил Алексей. Какой был сладкий, крепкий сон! Я взглянул на Алексея и улыбнулся.

— Знаете, где я вас видел в первый раз? Во сне.

Алексей рассеянно улыбался, он не понимал моих мыслей, но я не стал об'яснять, было некогда.

— Пора итти, — сказал Алексей.

Ранец уже был приготовлен, в углу стояла горная палка. Элла в комнате не было.

— Ну, мы поняли друг друга, камрад? — спросил Алексей.

— Поняли.

— Хорошенько запомните адреса, а брошюры и бумаги показывайте только тем, кому вы вполне доверяете и кто действительно сможет распространять их.

Перед домом дорожного мастера стояла Элла и держала на ремне Хексла. Увидев меня, собака обрадовалась и залаяла.

— Вы про него совсем забыли, — сказала Элла, когда мы тронулись.

Хексл почуял обратную дорогу и крепко натягивал ремень, который я взял из рук Эллы. У шоссе мы остановились. Элла обняла меня, поцеловала и шепнула на ухо:

— Будьте храбрым, будьте храбрым.

Алексей пожал мне руку. Я пересек шоссе, отпустил Хексла и взглянул назад. Они стояли у скалы рука об руку.

Хексл радостно лаял и настойчиво звал меня за собой. Я шмыгнул в кусты. Хексл прекрасно знал дорогу. Он вел меня тропинками, и обратный путь показался мне гораздо короче.

Не помню, когда я покинул швейцарскую границу. Тирольский черно-желтый столб остался влево. Я взглянул в сторону Швейцарии. Глетчер на Мутлере горел розовым огнем. Долго не мог я оторвать взгляда от этой прекрасной картины, потом глубоко вздохнул.

— Форвертс, Хексл! Вперед, лейтенант Матрай! Ты об'явил войну войне и теперь идешь, чтобы организовать легионы друзей и товарищей, которые повернут дула своих винтовок против тех, кто заставляет их драться.

НАСТУПЛЕНИЕ

Затих Амур. Вдали замолкло пенье.
Погасли звезды... Стало быть, пора!
Исходит ночь, дрожа от нетерпенья,
Как жаркий экскаватор на парах.
Привет, заря! Попутная, маши нам!
Пусть наша дружба властвует вокруг!..

Грохочет ТЭЦ¹⁾. Гудок зовет к машинам,

Ждут рычаги нажима свежих рук.
И, покидая светлые квартиры,
От утреннего сна не разомлев,
Испытанные трижды бригадиры
Идут по отвоеванной земле.
Они идут как бы по карте боя,
По следу отступившего врага...
Им с дальних сопкок кланяется в пояс
Навеки прирученная тайга.
Кольцо дорог за ними не пылится,
Ковром лежит пришибленная пыль.
И только, как сплошная небывица,
Сопутствует им яростная боль...

За старым Пермским²⁾
стыл туман колдобин
В непроходимой чаще. И зверей
Доверчивых заманивали топи
Созвездьями болотных пузырей.
Дымился ил. Хрустел засохший вейник.
Где осыпались пни седой трухой, —
Взвивалась мошкара, как муравейник,
Подброшенный досужею рукой.
Казалось, травянистой паутиной
Опутан был осевший небосвод,
И щебет птиц засасывала тина
В гнилую гущу застоялых вод.
И самый свет, попав в трущобы эти,
Блуждал едва заметною тропой,
Шарахаясь с нее, когда медведи
Сходились на вечерний водопой.
И, ставши в круг, как бы у колыбели,
За пеленой глухой таежной мги
Покой столетий охраняли ели,
Вцепившись корневищами во мхи.

Бой выглядел немислимым.
Казалось,
Что в глушь бесследно канули века,

Что берегов угрюмых не касалась
Ничья неосторожная рука.
Но люди наступали...

Без оглядки
Они пришли, изведав жизнь едва,
Их кровом были зыбкие палатки
И ложем — прошлогодняя листва.
Готовые на подвиг и на славу,
Суровы и крепки не по летам, —
Они вгрызались в заросли, как лава,
И песню проводили по следам.
Их в лица бил буран бичами ветра
И под себя в сугробы подминал...

Но час настал.

И рвал глухие недра
Упорством разъяренный аммонал.
Гремела даль. Косилось небо хмуро,
От взрывов опадая на бока,
И над зеленой гривкою Амура
Испуганно взлетали облака...
Сменялся ночью день.

Тайга гудела глуше.
Она еще таилась до поры, —
И сразу опрокинулась всей тушей
На смельчаков, поднявших топоры.
Она по ним хлестала гнуса тучей,
Швыряла в топь и, леденя потом,
Цынгой душила, бредом жгла шатучим³⁾
И маяла «куриной слепотой».
А люди наступали!..

Вздувши жилы,
Срываясь, падая и подымаясь вновь,
Они прошли!..

Так юность суд вершила
Над глушью, обреченною давно.

Апрель прошел. И с первых чисел мал.
Берет разгон амурская весна.
Завесу туч плечом приподымая,
Над сопками проносится она.
И от ее широкого дыханья
Внезапно пробужденная река
Могучим, неудержным колыханьем
Свирепо распирает берега.
Дерюгу льда сорвав, помолодело
Встает Амур. И, волю получив,
Холодное сверкающее тело
Выносит под отвесные лучи.

Не отягченный больше зимней кладью,
Он мечет двухметровые валы,

¹⁾ Теплоэлектроцентраль.

²⁾ Глухое таежное село, на месте которого строится город Комсомольск.

Чтоб отгреть
 и лечь спокойной гладью
 И отражать древесные стволы...
 Они стоят над ним толпой густою,
 Грусливо озираясь на прибор,
 И желтые скелеты сухостоя
 Суставами гремят наперебой.
 От половодья снег не уберечь им,
 Не скрыть его от ливней навесных, —
 Теплом ветров,
 сквозным и поперечным,
 Врывается дыхание весны...

Присловьями мгновенно обрастая,
 Распахивая гулкие слова,
 Идет за ним, крылатая, простая,
 По городу веселому молва.
 Дымят «копай-городские» землянки
 Пахучим испарением жилья.
 У пристаней с рассвета
 звонят «склянки»,
 Снуют думпкары, известью пыля,
 Гремит железо, в лад скрежещут пилы,
 Цеха сверкают в утренних дымах.
 Повсюду горделивые стропилы
 Врастают в небо. Новые дома
 Красуются под первыми лучами,
 Над ними высь ясна и глубока,
 И эллинги покатыми плечами
 Как будто подпирают облака.

Амур несет от берега к Брусчатке
 Свой яркий плеск, веселый и шальной,
 И надо всей строительной площадкой
 Гортанный гул проносится волной.
 Где ж зимний сон?..
 Он вовсе будто не был.
 На Комсомольск ввочью, наяву
 Как бы эмалированное небо
 Обильно изливает синеву.

Иной рассвет встает в ином узоре,
 Возникнув за далеким лозняком.
 Здесь в первый раз заплесневшие зори
 Проветрило просторным сквозняком.

Хабаровск.

Здесь тишина разорвалась по вехам
 Неслыханной доселе высоты —
 И навсегда ушла с попутным эхом
 За сихотэ-алиньские хребты.
 И солнца, утвердясь под небесами,
 Как бы сочит обильный свет с бортов
 Над свежими литыми корпусами
 И самым молодым из городов.

Споём теперь!.. Овеянные славой,
 Суровы и крепки не по летам,
 Питомцы Комсомола —
 шли мы лавой
 И песню проводили по следам.
 И не было нехватки в запевалах!
 Запомнили притихшие леса:
 Ни в зной ни в стужу

у ребят бывалых
 Отменные не хрипли голоса.
 Одесский слесарь, токарь из Ростова
 Слагали песню. И умели в ней
 Сказать про все: от самого простого
 Смешка — до грома наших дней..

Мы с ней не потерялись и во мгле бы,
 У смертной не отпрянули б черты!..
 Случалось, этой песней вместо хлеба
 Мы доотказа набивали рты.
 И снова шли стопой неколебимой,
 Сроднивши песню на шагу крутом —
 С отвагой, с честью, с грустью по
 любимой,
 С большим самоотверженным трудом.
 Смолкал один—подхватывал напарник.
 Опять тайга взрывалась на кострах...
 — И дело здесь не в песне.

Дело в парнях,
 Не ведающих, что такое страх!..
 Но песню ту, в землянках, крытых
 толем,
 Просмоленную начисто в дыму,
 Как лучший тост за дружеским
 застольем
 В честь мужества и славы подыму!..

Мастера

Роман

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

(Окончание ¹)

К этому часу защитники баррикад перебрались на завод; остался один лишь старик Борбашев, бывший лесопильный мастер завода Ланге. Раненный в ногу, с раздробленной голенью, он притаился в бывший халявинский кильдым, лег на нары и потерял сознание.

Ретивый штабс-капитан, начальник карательного отряда, приказал артиллерии передвинуться к заводу и ждал рассвета и разрешения Фридриха Ланге действовать. Утомленный бессонной ночью и достаточно пьяный, он поместился в доме попа Кронида,пил вместе с ним водку и щеголял своей невыносимой храбростью перед дебелими поповскими дочерьми.

Под утро приехал Фридрих, он выкатил голые глаза свои на поповен, и обыкновенно недогадливые девицы сразу стали догадливыми, они исчезли, как будто бы их и не было; в обширном поповском доме установилась тишина. Фридриху прислуживал сам поп Кронид, не смея сесть, не смея кашлянуть.

— Что это? — кивнул Фридрих на стол, заставленный закусками и вином. — Садись, господин офицер.

— А, что такое? Э-э, Фридрих Иванович? — пролепетал поп.

— Чем кормишь? Ну? Мало у тебя? Садись, господин офицер!

И офицер почтительно звякнул шпорами, еще почтительней поклонился и сел.

И подана была закуска, редкостная для обер-офицера, и вина, марки которых можно было встретить только в колониально-гастрономических магазинах на Кузнецком.

Фридрих Ланге довольно заурчал, повел глазами, и поп откупорил бутылки, слащаво улыбаясь и краснея.

— Прикасайтесь, — приказал Фридрих, — и я закушу с вами! — Он пододвинул к себе рыжую белужью икру.

Офицер и поп выпили.

— Так ты вот чего, — начал Фридрих, — ты мне эту историю поскорей кончай, об усердии твоём скажу Федору Васильевичу, губернатору нашему. Мне, господин офицер, работать нужно. Мне каждый день больших денег стоит. Я ведь народ кормлю, две тысячи народа кормлю... Понял?

Звякнули под столом шпоры. Так-так-так...

— Точно так... — сказал офицер.

— Ну, ежели «точно так», тогда, значит, все ладно будет...

К попу:

— Ты чего же смотришь? Угощай гостя...

К офицеру:

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 6—8 за 1935 г., № 1 за 1936 г. и №№ 1—3 с. г.

— Только ты того, господин офицер, ты у меня на заводе, как-нибудь, без пушек действуй...

— Слушаю-с.

— Народу пушкой много не пошибаешь, а убытки заводу большие можешь причинить. Об народе не говорю, народ сам придет, а станки у меня дорогие, последней конструкции...

Фридрих отряхнул с бороды крупные рыжие икринки и вздохнул, как вздыхает сытый и деловой человек, которому по скучной необходимости приходится вести разговор с далекими людьми, ненужными вообще, но необходимыми в некоторых случаях, когда требуется наказыывать или обманывать рабов.

На улице начало светать, очень медленно и, казалось, неохотно. По стеклам окон ползли слезливые полосы, должно быть, ветер дул с юга, и пришло тепло, снег шел мягкий и редкий, насыщенный влагой.

Подвыпивший офицер еще раз сказал: «слушаю-с» — и, чтобы немного осмелеть перед миллионером, который называл грозного губернатора по-свойски, Федором Васильевичем, налил себе коньяку, щелкнул шпорами и, выпив, дыхнул в ладошку. При этом он поглядел незаметно на Фридриха и подумал было сказать ему, что вот он, оберофицер, семейный человек (четверо детей, больная жена и старуха мать), пойдет через час к заводу и, конечно же, прикажет солдатам убивать людей для спасения имущества заводчика Фридриха Ланге, прикажет убивать людей (попробуй, не прикажи!), которых совсем не безопасно убивать, потому что люди будут защищаться и могут убить его, семейного офицера, и что неплохо было бы, если бы миллионер Фридрих Ланге подумал об этом и вознаградил...

Офицер высказать мысли своих вслух так и не осмелился. Фридрих сам сказал, что считал нужным. Старый скряга захотел быть добрым, но и доброта его получилась насмешливой и злой.

— Постарайся, господин офицер, я старательных отличаю.

Отвернувшись, полез во внутренний карман сюртука и вдруг уронил на пол

пачку трехрублевков, заклеенных банковской бандеролью, с крупно отпечатанной цифрой:

Руб. 300.

Офицер сидел напряженный, весь вытянувшись, и, кажется, не смел пошевелиться.

— Подыми! — сказал Фридрих.

Офицер привскочил, замер на секунду и, наклонившись, поднял пачку кредиток и, подняв, не знал, что делать, и держал пачку перед собой в полусогнутой руке.

— Что же ты смотришь, господин офицер? Клади в карман, я усердных люблю...

Фридрих поднялся, поп Кронид почтительно склонился перед ним.

— Что прикажете, Фридрих Иванович?

— Ты его благослови, — указал Фридрих на офицера, — чтобы он не стеснялся, ты ему обещаешь, что потом все грехи замолишь. Хх-ы-ы! Давай одеваться, поп, мне ехать пора!

Фридрих обернулся к офицеру:

— Загляни потом в контору, я про тебя Полудену скажу, он с тобой расквитается, ты его не бойся, он тоже усердных любит...

Х

Офицер был простым, исполнительным человеком, ему хотелось выслужиться. Рассуждать о том, кого он бьет и за что бьет, офицер не мог, это было не его дело. Жил офицер скучно, по казарменному уставу. Он полагал, что в жизни должно быть все расписано, не только человеческое поведение, но и мысли следовало бы взять под наблюдение, если бы это было возможно, и тогда, именно тогда-то, и наступила бы предусмотренная жизнь. Тупой ум его не мог изобрести интереснее того, что уже было обозначено в уставе гарнизонной службы. С первых дней своего появления в доме Карпа Полуденова офицер и участковый пристав Руденко сразу же сошлись в мыслях и трогательно объединились во взглядах на разграфленную жизнь, в которой даже любовные

прихоти были обозначены в определенных числах.

В обширных комнатах поповского дома стало чуть-чуть светлее. Теплое, с изморозью, утро стояло у окон. Офицер ощущал тугую пачку кредиток, выпил, крикнул и позвал попа.

Кронид явился с дочерью, и снова начал похвастаться офицер своей беззаветной храбростью, рыцарством и еще чем-то, специально военным. Поповны не понимали, как это можно быть равнодушным к смерти и подставлять грудь свою под пули. В первый раз за всю свою жизнь видели они такого бесшабашного человека и потому громко ахали, цепенели от страха и все время всплескивали руками, и могучие груди поповен взволнованно колыхались.

— Ты у меня их не пугай, они девицы воспитания нежного! — предупредил поп Кронид и гулко шлепал дочерей ладонью по широким их спинам и наливал всем вина.

Наконец, за выпивкой и душевными разговорами совсем рассвело, дебелие поповны, красные и откровенно бесстыдные теперь, жалась к офицеру, подмигивали ему и садились на колени, совсем не обращая внимания на сердитое сопенье отца. Офицер до того разгулялся, что позабыл обо всем на свете. Но со двора прибежал вестовой и доложил, что рабочие стреляли по разезду драгун и двоих свалили насмерть. Офицер выслушал сообщение и, чтобы не отрезветь хотя бы еще на часок, выпил подряд три больших рюмки водки, поцеловал трех поповен и вышел, горделиво выпятив грудь, высоко подняв голову.

Стрельба началась через полчаса. Заводской двор, от каменного корпуса механической до конторы, был завален бревнами, и между бревен торчали полдюймовые листы котельного железа.

Солдаты стреляли от двух углов площадки из пулеметов; они выпустили шесть очередей, но подойти к заводу не решались; рабочие били из-за прикрытия наверняка.

Отрезвевший офицер отправил вестового к Фридриху; он просил разрешения ударить по воротам завода из

трехдюймовых орудий, которые, дескать, вреда заводу не причинят, а баррикаду разобьют.

С разрешением приехал Яков Ланге; он оглядел место боя, мысленно обругал офицера дураком и посоветовал обойти завод со стороны Савинского переулочка, поставить пулемет на колокольню старообрядческого монастыря и приготовить полусотню казаков за Преображенской богадельней, а по воротам бить из орудий прямой наводкой, чтобы уж наверняка и без промаха.

Серенький денек скучно стоял над площадью, ружейные выстрелы были глухи, пулеметная трескотня казалась тупой и нестрашной, солдаты стреляли лениво, без воодушевления и злобы. Богатые обыватели и в их числе содержательница веселого дома Колпачиха (настоящая Колпачиха давно умерла, дом перешел к другой женщине, но прозвище осталось за ней) толпились в безопасной, далекой от выстрелов улице, сочувствовали солдатам и угощали их папиросами, водкой, пирогами, кто чем только мог, и усердно желали гибели забастовщикам.

Все было очень обыденно, будто в тоскливый, полусонный праздник, когда люди много едят и долго спят. Кто-то щелкал семечки, дочери богатых обывателей принарядились даже и старались понравиться солдатам, но в это время подвезли орудия и приготовились стрелять.

— Сволочи, душегубы! — сказал какой-то никому не известный старик. — Паскуды...

К старику подскочили двое солдат, замахнулись было прикладами винтовок, как вдруг грянул пушечный выстрел — один, а за ним и другой; девки взвизгнули и шарахнулись к своим воротам, а старик незаметно ушел.

Баррикады в воротах завода были разметаны шестью меткими выстрелами, но, когда солдаты пошли в наступление, рабочие встретили их сильным ружейным огнем.

— Я не буду на них глядеть, — сказал офицер, кивнув головой в сторону завода, — на какой они мне чорт нужны: они перебьют всех солдат. Я,

господин Ланге, живу по уставу, а устав приказывает беречь человеческий материал и расходовать с пользой. Я прикажу артиллеристам продолжать бомбардировку.

— Вот этого я вам не посоветую, это может кончиться очень плохо для вас, — пригрозил Яков, — я знаю Фридриха Ланге...

Время перешло за полдень, и снова все успокоилось, упитанные дочери обывателей вышли за ворота к солдатам. Солдаты, соблазняя девиц, очень хвалились своей смелостью, они говорили, что могут усмирить рабочих сразу и безо всяких разговоров. В это время появился Севастьян Варган, в настроении очень веселом, почти праздничном, должно быть, его веселило то соображение, что в эти дни он всех нужнее. Варган раскланялся с Яковом Ланге и с офицером и сейчас же заговорил о том, что действовать нужно на обман; говорил он со всей откровенностью, не замечая брезгливых гримас Якова Ланге.

— Разрешите, я к ним схожу, Яков Генрихович, — предложил Варган. — Стрелять их из смертоносных инструментов каждый может, вы попробуйте на политику нажимать; умная политика — первейшее доказательство человеческого разума.

— Идите, — согласился Яков Ланге, отметив про себя, что говорит с ним человек неглупый, — ваши заслуги будут вознаграждены своевременно и по достоинству.

— Служу моему государю и дорогому отечеству безвозмездно, — сказал Варган.

Он снял шапку, поклонился и пошел к заводу переулками.

«Чорт с ним, пусть его сходит» — подумал Яков.

Офицер сердито шагал по тротуару вдоль восточной стороны старообрядческой богадельни; он был сторонником решительных мер, но спорить с племянником миллионера Фридриха Ланге не посмел.

— Сейчас все разрешится, — утешил Яков офицера и стал следить за

действиями Варгана, удивляясь про себя его смелости.

Офицер перестал ходить, он был очень польщен, что на него обращают внимание и разговаривают с ним, как с равным; он остановился около Якова Ланге и тоже принялся наблюдать.

Варган подходил к заводу от главной улицы. На виду завода он помахал платочком, и рабочие тотчас же ответили; тогда Яков Ланге очень обрадовался и решил, что рабочие понесли, должно быть, большой урон и готовы сдаться.

Варган, продолжая махать платочком, подошел к расщепленным бревнам баррикады, кто-то подал ему руку, и Варган скрылся.

— Может быть, он и прав, — сказал Яков Ланге, — как вы думаете?

Офицер позвенел шпорами, собираясь ответить значительно и умно.

Между тем Варгана втащили на заводской двор, и Варган принялся улыбаться всем и торопливо объясняться прикидливым говорком своим:

— Ну, что же, пчелки трудовые, медоносные, неужели так должна строиться наша жизнь? Ах, если бы знали вы горечь моей души, как я тоскую о прошлых днях наших радостных встреч.

— Радостных встреч? Ах ты, сука!

— Э-псс-т, — удивился Варган, — а что такое? Неужели в эти часы, когда ангел мира в виде голубине...

Варган захлебнулся, он отступил под натиском гневных глаз и перекошенных ненавистью лиц; он прислонился спиной к бревенчатой стене заводского управления, жалко бормоча что-то о любви своей к трудовым пчелкам. К нему подошел машинист Грязнов.

— Ты чего скулишь-то? — сказал насмешливо Грязнов. — Обмануть пришел нас? Да ты стой, не трясись! Ну вот, разговаривать с тобой противно, ты веселей гляди, будто за наградой к начальству пришел! Слышал я, начальство большие деньги за шпионаж платит. Подбери губы, чего ты рот раскрыл вдруг в такой радостный день для тебя! Гляди, сколько наших пулеметом порезало, двадцать девять человек, и всех наповал.

Машинист Грязнов как будто торопился ободрить человека, он указывал Варгану на трупы, сложенные вдоль стены механического цеха; трупы были так аккуратно сложены, что можно было подумать, не подбирали ли их по росту.

— Высокое чувство любви привело меня к вам, дорогие мои друзья, — весь так и взметнулся старый шпик Варган, — э-псс-т, может быть, всю мою жизнь я любил вас, пчелки мои трудовые...

— Помолчи, — сказал машинист и взял Варгана за рукав пальто. — Подойди ближе! — предложил он и подвел Варгана к трупам. Остановившись, стал называть по фамилии каждого из убитых на баррикаде, как будто производил переключку.

— Чикунэв Василий — слесарь сборочной; жена, трое малолетних детей, престарелая мать. Лопатин Арсений — модельщик; семья в деревне, пять душ, кроме больной жены. Вахрушев Лука — кузнец, на заводе Ланге проработал двадцать шесть лет; семья, если считать двух сестер, — двенадцать человек. Слышишь, господин Варган? Кто теперь будет кормить их? Не знаешь? Ну вот, я тоже не знаю...

Так прошел машинист Грязнов по мертвому фронту, ведя за рукав Варгана, и остановился у крайнего, двадцать девятого трупа.

— Ведь вот, чорт тебя раздери! — выругался машинист. — Ты прожил шестьдесят лет, и тебе все равно, тебе уж довольно, а вот ему, — машинист указал на крайний труп, — ему было всего пятнадцать и ничего-то он не видел и не увидит теперь. Это Володя Кулагин, в конторе на побегушках был, в люди хотел выйти. Что же ты молчишь, господин Варган? Говорить нечего? Тогда помолись за него, он двадцать девятый, да и за себя помолись тоже, с ним ляжешь, тридцатым ляжешь, господин Варган!

Варган попробовал вырваться, а когда это не удалось, он вдруг ослабел и стал покорным; он и молитву зашептал. Молитва была сбивчивой, очень невнятной. Машинист подумал немного и толкнул старого шпика в спину. Варган

упал на колени и нагнул голову; тогда машинист выхватил из кармана браунинг, выстрелил и угодил Варгану в правый висок.

— Тридцатый, — сказал машинист.

— Не наш, — подошел Ефим Чемерицын и, приняв труп на руки, легко поднял его и, взобравшись на разбитую баррикаду, перебросил Варгана по ту сторону ворот.

— А то еще подумают, будто он с нами умер, — сказал Ефимка.

Офицер, наблюдавший в бинокль за баррикадой, увидел Ефимку с трупом Варгана, и, когда Ефимка швырнул труп этот за ворота, офицер произнес, приложив руку к козырьку: «Разрешилось». Так он позволил себе посмеяться над предположением Якова Ланге, что дело с рабочими может кончиться миром.

Яков Ланге поглядел на офицера, но ничего не сказал; он только подумал: «Еще смеется, болван, есть же на свете такие болваны, которые воображают».

Офицер не был болваном, в особенности в рамках устава гарнизонной службы, потому он, после того, что произошло с Варганом, стал действовать по-своему; он приказал вновь выкатить орудия и, пока было еще светло, расстрелял баррикаду в щепы, и под конец с колокольни кладбищенской церкви Петра и Павла застрекотал пулемет. И это было концом неравной борьбы рабочих с войсками. В сумерки солдаты пошли редкими цепями в обход завода, казаки и драгуны заняли соседние улицы, готовясь принять отступающих рабочих в шашки или пресечь тяжелыми нагайками со свинцовыми наконечниками.

— К чорту, — сказал машинист Грязнов, заметив медленные цепи солдат, — живым я не сдамся.

— Сдаваться живым не надо, Матвей Григорьевич, — согласился Дмитрий Лепихин. — Сколько осталось наших в ресторане? — спросил он и захотел переменить место, чтоб удобнее было стрелять по наступающим цепям. — Кто-то говорил, что там убили брата?

— Никто этого не говорил, — хмуро соврал Грязнов, — я не слышал...

— А может быть, он жив еще? Как ты думаешь, Матвей Григорьевич?

— Так и думаю, — ответил Грязнов.

Дмитрий выстрелил, он выпустил всю обойму, пулю за пулей, он стрелял очень метко и хладнокровно. Цепь наступающих солдат легла; в эту минуту и застрекотал пулемет с колокольни монастыря, и Дмитрий Лепихин, привалившись к стене механического цеха, выронил из рук винтовку. Стоявший неподалеку Чемерицын Ефим заметил, как полетела красная кирпичная пыль под ударами пуль и, зазвенев, брызнули осколками стекла окон.

— Теперь лучше всего уйти, — сказал машинист Грязнов, а кто-то закричал пронзительным голосом подростка, должно быть, раненный или просто напуганный пулеметным огнем ученик. Ефимка бросился к Дмитрию, он увидел кровь на лице своего учителя и друга, он поднял его на руки и понес за котельную, к забору, в котором был сделан пролом на огородах.

Через час Ефимку нагнал Рорбах. Спотыкаясь и переводя дух, он спросил:

— Ты думаешь, все кончено, Ефим?

Но Ефимка не отозвался, он шел и шел, оглохший от стрельбы, смертельно уставший и, пожалуй, безразличный ко всему. Рорбах остановился, подумал и повернул к городу; он заплакал от собственного бессилия и ненависти к врагам. Он шагал в слепых сумерках; он упал около придорожного кустарника, и ему теперь было решительно все равно, жить или умереть; он слышал редкие и глухие выстрелы и думал, что умереть лучше всего по собственной воле. Рорбах принялся торопливо ощупывать карманы пальто. Вскоре он отыскал небольшую пачку прокламаций, только и всего. Рорбах повеселев, махнул рукой. Поднявшись, он направился по дороге в город; дорогой он разбрасывал прокламации и грозил в сторону города, в котором в этот вечер были разбиты последние баррикады.

XI

Все шесть дней, последние в жизни своей, Епимах находился в доме Карпа Полуденова.

— Ну, как вы себя чувствуете сегодня? — непременно спрашивал доктор. — Не отвечайте, — доктор нащупывал пульс, — я и так вижу, что вам лучше, все лучше и лучше...

Епимаху хотелось смеяться, он морщился и говорил скрипучим, злым голосом:

— Мне очень хорошо, так что вам и делать-то нечего со мной...

— Ну, ну, вы тоже скажете, не говорите много.

— А в жизни, говорят, бывает хорошо только два раза, — продолжал Епимах, — в первый раз хорошо, когда на свет божий явишься, потому что ничего не понимаешь; второй раз, когда умираешь и все понял... кха-кха-кха... и благодаришь господу за то, что не дано человеку родиться вторично...

— Экий вы какой...

— Какой?

— Сердитый очень...

«А вот ты просто дурак» — хотел сказать Епимах. И сказал:

— Вы добрый очень, за что и воздастся вам...

— Помолчите лучше, дорогой мой, — попросил польщенный доктор, — боюсь, как бы не было кровотечения.

Они молчали с полчаса. Доктор прислушивался к дыханию Епимаха, а Епимах спал. Через полчаса раненый проснулся, он спал очень мало, как все больные старики.

— Нельзя ли мне чего-нибудь выпить? — попросил Епимах. — Я бы хорошо сейчас выпил.

— Ох, вот этого я не могу разрешить.

— Так ведь все едино не жить мне.

— Этого вы не можете знать, господин Киндеев.

— Нет, я как-раз это чувствую... Значит, мне выпить наукой не дозволено?

— Совершенно верно: врачебной наукой.

За стеной кто-то отдаленно и дико завыл. Врач не удержался и сказал:

— Тоскует, каждый день тоскует и все сильнее и сильнее... Тут уже я ничего не могу поделать. Она всегда кричит так: а-ау-ау.

— Скорби мои, скорби душевные, — вздохнул Епимах. — Что же, убит он или пропал без вести?

— Вот этого я не знаю, — напугался доктор, — совсем не знаю.

— Скажите, доктор, по душевной правде: вы черносотенец?

— Что вы, что вы, как вы это могли подумать?

— Тогда вы либерал?

— Если вы так хотите знать, — да, я либерал.

— Лобызаша меня в уста мои... Значит, еще хуже, что и удостоверяю с подлинным верно. Что же делает он, Карп Серафимович Полуденов, так же воет?

— Мрачен и не разговаривает, — сообщил доктор. — Надо полагать, тоскует...

— Дайте мне бумаги, господин доктор, побольше чистой бумаги, — попросил Епимах, — и карандаш, хочу завешание оставить...

— Что вы, что вы! — принялся весело восклицать доктор, но бумаги все-таки дал, целую тетрадь. — Что вы...

Доктор повозился около больного и ушел в соседнюю комнату закусить и отдохнуть. Епимах для того и притворялся, будто он спокоен и здоров, лишь бы ушел доктор, и доктор действительно ушел.

Епимах очень долго смеялся и долго думал. Наконец, он принялся писать.

«Друг мой!

Восславь судьбу свою, ибо все, что ни делается, — к лучшему. Сообщение, которое передам тебе с великой любовью и скорбью, может вполне утешить тебя в печали твоей... Но плачь, плачь, Вавилон, город великий! Вообще поплакать, даже и сильному человеку, не бесполезно. У меня тоже ворошится соблазнительная мыслишка поплакать, только глубокая ненависть моя к насмешливой природе удерживает меня от

сего естественнейшего желания. Сейчас я в настроении юмористическом и с улыбкой гляжу, как жизнь моя сорвалась с привязи и летит в бездонную пасть зловещей и целительной смерти. «Туда тебе и дорога» — скажешь ты по бессердечию своему. Но воздержись, друг мой, и вспомни, что и ты не избежешь участи этой. Однако, не об этом речь, и в час кончины моей хочу я спросить: не слишком ли много тратим усилий мы в кратковременной жизни нашей, где часто приходится людям нашего положения защищаться от истинной правды нашей выдуманной правдой и ложным сочинением о боге, о справедливости, благородстве и многом не существующем в действительности? Не раскаиваюсь, не сожалею и не плачу, не думай этого; я о другом собираюсь сказать, я хочу сказать так: ты, Карп Серафимович Полуденов, положил посвящать жизнь сыну твоему и в том находил отраду; ты копил и приобретал, как вдруг пришло испытание, когда сын твой очутился в стане врагов наших, позабыл отца и не утешил старости его, что, впрочем, и ты сделал когда-то с легким сердцем. Горю твоему нет предела, — не из жалости к погибшему сыну (я же знаю тебя, Карпушенька), а из жалости к надеждам, ныне утраченным. И вот, в столь горькие дни я решил утешить тебя, открыв тайну, в которую был посвящен по душевному расположению ко мне со стороны одинокого человека: сын твой есть плод любви Степаниды Сидоровны к Василию Тимофеевичу Руденко. Сладкий аромат духов «Мечта» вскружил голову легкомысленной женщины, и вот тебе результат. Погибший Гурий всегда был далек от тебя по уму своему, характеру и поведению вследствие указанной причины...

Прими, друг, последнее мое лобызание и не осуди временного обитателя грешной земли Епимаха Киндеева».

Морозный день подходил к концу, Епимах положил письмо на столик в изголовье, сплюнул темный сгусток крови в таз перед постелью, откинулся на подушки и уснул сразу, ослабевший и

счастливым. «Пусть его почешется» — подумал он в последнюю минуту, вспомнив послание свое к Полуденову. Через час торжественно загудели колокола на всех колокольнях церквей и монастырей: Москва белокаменная, первопрестольная, православная встречала христово рождество...

Епимах умирал еще трое суток; он чувствовал, как пахло от доктора пирогами и вином. Епимаху было очень завидно, и, когда подвыпивший доктор дремал, Епимах выпросил у Полуденова стакан коньяку, обещав сообщить зато чрезвычайно важное и ценное, а так как Полуденову умирающий Епимах давно надоел, Карпуха подумал (как и догадывался Епимах): «Туда тебе и дорога» и принес стакан коньяку.

Епимах принял стакан, отпил половину, сразу сладко опьянел и сказал удивившему Карпухе «спасибо».

Все качалось в глазах, постель падала все ниже, тепло в груди росло и росло. Епимах рванулся вверх и, вытянув руки, встретил доктора. Широкое тепло выплеснулось наружу густой и зловонной кровью.

Доктор весело заторопился к Полуденову; он хотел поскорее сообщить, что тот неприятный и давно уже ненужный человек умер.

— Да уж не врешь ли ты? — не поверил Полуденов. — Он ведь двужильный...

— Взгляните! — предложил доктор.

У покойника был неопрятный вид: широко открытый рот, выпавшая искусственная челюсть и студенистая кровь клочьями, будто красная плесень, на белых наволочках подушки.

Полуденов, брезгливо сморщившись, перекрестился.

— Прими, господи, душу раба твоего Епимаха, погибшего от смертоносной пули врага во славу твою, — торжественно произнес Полуденов. — Обратить надо усопшего, доктор, — подал три четвертных, — ты уж похлопочи. — Огляделся, заметил на столике у изголовья сложенную четвертушку бумаги, взял осторожно, двумя пальцами, развернул и прочитал письмо...

— Друг и благодетель, — сказал Полуденов и положил епимахово письмо под образа, как бы призывая самого бога в свидетели, что не поднимет он, Карп Полуденов, руку на многогрешную жену свою и простит ей все прегрешения, как простил во время оно сын божий, пресветлый Христос, Марию из Магдалы.

С этого часа Полуденов как-то просветлел и все время старался быть хорошим человеком; он хотел устроить пышные похороны Епимаху Киндееву.

— Жертва вечерняя, Дрикс Иваныч, — сказал он прибывшему к телу Епимаха Фридриху Ланге.

— Похороны беру на себя, — объявил Фридрих, — достойный был человек.

— «И величие, и славу свою, и значение свое живущие на земле выдумали сами» — вот как он говорил, Дрикс Иваныч. А на предстоящие похороны израсходовано мною двести семьдесят пять рублей, — соврал Полуденов и не моргнул глазом, присчитав лишних двести рублей.

— Неужели правду говоришь ты? — удивился Фридрих.

— Истинную правду, Дрикс Иваныч. — Ай-ай! — удивился Фридрих.

Полуденов плакал. Сморкаясь в широченный платок и плача, просил Фридриха, чтобы позволил он похороны принять ему, Карпу Полуденову, на свой счет.

Фридрих Ланге не позволил, будучи обманут игрой бывшего своего слуги...

Были приглашены певчие, все те же, соборные, отцы которых провожали на кладбище двух братьев Ланге: Павла и Генриха; дети певчих оказались лучше своих отцов, они больше старались; правда, у них не было души в пении, но зато актеры они были отличные и до того увлекались актерством своим, что вся высокая публика, собравшаяся на епимаховы похороны, чувствовала себя, как на опере Большого московского театра.

Богатый гроб с телом Епимаха выставили на всеобщее поклонение и обозрение в механическом цеху, как-раз под образом нерукотворного спаса. Чистота

была необычайная, усыпали песком и мелким ельником от ворот завода до ворот кладбища, то-есть, если посчитать, так версты две полных будет; но денег Фридрих Ланге, видимо, не жалел на этот раз, чем и привел в изумление Карпа Полуденова.

«Ежели бы на живого расходовался, ну, еще туда-сюда, — думал Полуденов, — живой Епимах за каждый рубль, может, двести бы заплатил одним усердием своим (Полуденов припомнил, кстати, что только Епимах и умел за получать богатые заказы от городской управы и прочих учреждений и даже в министерстве путей сообщения дружбу имел), а теперь что же? Теперь покойник сам рассмеялся бы над расточительностью Дрика Иваныча».

— Душа у Дрика Иваныча от любви пылает, — говорил Полуденов знакомым. — Подумать только, какие расходы человек терпит, за тыщу расходы перевалили, я думаю...

Хоронили Епимаха накануне нового года. Начальник гарнизона города Москвы прислал духовой оркестр и роту вооруженных винтовками солдат. Процессия под звуки похоронного марша двинулась от завода к Семеновскому кладбищу. За гробом шли рабочие (выбрали самых преданных), на богатом катафалке для всеобщего показа висел огромный венок, купленный за счет Фридриха Ланге, и на ленте были избражены шитые серебром слова:

«Отцу и благодетелю от благодарных рабочих завода бр. Ланге».

Но и среди «благодарных рабочих» шел совсем не благодарный разговор:

— А зачем военные?

— Он был с ними заодно...

— Вот собака!

— Что собака, он еще хуже, у него голова лисья, ей-богу...

— Говорят, он с колокольни любовался, когда наших у ресторана крыли, сам бог в него пулю направил.

— Не бог, а машинист наш Грязнов, Матвей Григорыч, как бывший военный стрелок.

Прошли Суворовскую улицу, звуки оркестровых посеребренных труб с потрясающим ревом ворвались в переулок Медовый.

— Сколько народу согнали, черти...

— Если бы по доброй воле, так никто бы и носа на улицу не высунул.

— По доброй воле, по доброй воле! Ты, что, дурак? Ха! Милый мой, да какой же чорт пойдет за такой дохлятиной по доброй воле! Ты, что ли, пойдешь? Нет? То-то и оно, что нужда наша идет, кнут гонит, штык подпирает.

— Вот это и хорошо.

— Эх, ребятушки, если бы вы помолчали...

— Что хорошо-то?

— То хорошо, что народ по-настоящему обозлится...

Святой боже, святой крепкий,
Святой бессмертный, помилуй нас...

Хвост, черный хвост похоронной процессии еще тянулся по Суворовской улице, а голова уже двигалась по Семеновской и как бы принималась к заставе.

Мертвому телу Епимаха, сухому и тонкому, было слишком просторно в широком и длинном гробу. В последнее, предсмертное мгновение длинная шея Епимаха неестественно вытянулась, и казалось теперь, что голова с утлым лицом лежит отдельно.

Итти оставалось недалеко, и процессия зашуршала по булыжной мостовой, едва прикрытой недавним снегом.

«Ах, пожалуй, все это надобно только нам, — думала голова процессии, — нам, еще живым, жадным и беспокойным... Да, а не много ли мы оказываем чести этому ничтожному, в сущности, конторщику?»

Но впереди головы, на два-три шага следом за катафалком, шагают Фридрих Ланге и Полуденов Карп, и мысли в голове процессии меняются, слова получают другое направление.

— Замечательной души был человек и настоящий бессребренник, ведь ничего после него не осталось, то-есть, пони-

маете ли, ни грошика! Все отдавал, все шло неумиющим и сирым.

— Святое, чистое сердце...

— А какой светлый, какой всеобщей ум, между тем и образования невысокого, простой управляющий конторой. Нет, не оскудела еще русская земля.

— Талант...

— Еще бы, многосторонний и бесподобный-с, всеми делами заправлял.

Ве-эчная память, ве-эчная память...

— Поминальный стол на сто персон, вот ведь как! В новом доме самого Фридриха на Поварской Городской голова и все прочие чины будут, и будто бы его превосходительство генерал-губернатор обещали пожаловать...

— Не мудрено-с...

— А для отправления литии протоиерей Розов приглашен.

— Великолепие!

— То-есть бесподобное и многотысячное!..

— Да ведь миллионы-с!..

Голова процессии свернула от заставы вправо, к Семеновскому кладбищу.

Из ворот, калиток, из дверей бакалейных лавок и магазинов выглядывали любопытные. Нескончаемые ряды провожающих катафалк с гробом, в котором находилось иссохшее, жалкое тело Епимаха, торжественно-печальная музыка, рота вооруженных винтовками солдат, длинная вереница извозчичьих санок и карет — все это вызывало удивление и некое почти праздничное настроение у зрителей, да и у провожающих покойника тоже.

День был свежий, без солнца; только на востоке виднелись неширокие облачные разрывы, и в разрывах стояла небесная синева, недвижная и глубокая.

Голова процессии уперлась в кладбище и легла среди могил и памятников. Прошло некоторое время, послышался троекратный залп из винтовок, и длинная вереница из людей, санок и карет стала обламываться и распадаться и, наконец, окончательно разбрелась. Зрители у ворот, калиток, у дверей магазинов исчезли. День потускнел, облака

пошли плотные и густые, и под облаками, над кладбищем, долго кружились черные стаи ворон, потревоженные выстрелами.

Вечером на Поварской улице, в доме Фридриха Ланге, состоялся поминальный обед. Слухи о присутствии губернатора, городского головы и протоиерея Розова оправдались. После краткой литии и вечной памяти, провозглашенной Розовым в четверть голоса из боязни, как бы не выдавить в обширной столовой стекла, все уселись за стол в благоговейном и несколько грустном молчании.

— Господа, — произнес поднявшийся из-за стола Яков Генрихович Ланге, — сегодня день нашей печали. Сегодня мы похоронили преданного друга, зоркого стража на крепостной стене нашей отечественной промышленности, Епимаха Лазаревича Киндеева, этого рыцаря без страха и упрека, который всю свою жизнь посвятил служению царю и русской промышленности, и еще в недавние дни тревог, смуты и бунтарского восстания, поднятого людьми, потерявшими веру в бога, он доказал это. Именно в те дни самоотверженный Епимах Лазаревич, готовый на подвиг, единственный среди нас, не потерявший присутствия духа и светлого разума, подвергая себя смертельной опасности, пошел к разъяренной толпе, как апостол чистой правды, со словами миролюбия и успокоения; но, увы, злая пуля врагов остановила его в этом благом намерении. Но и смертельно раненный, с печатью смерти на челе, Епимах Лазаревич не утерял бодрости духа. Он умер в твердой уверенности, что законность, правда и государственный порядок, установленный волею всевышнего и государя нашего, самодержца всея Руси, восторжествуют. Почтим же память безвременно и мученически погибшего Епимаха Лазаревича минутным нашим молчанием и скорбным размышлением...

Потом все ели и обильно пили, по древнекупеческому обычаю. В обширных залах и комнатах было много женщин, они были очень печальны и оттого казались еще привлекательней, ах, какая это была замечательная печаль!

Она делала глаза женщин глубокими, осмысленными и притягательными; если же улыбалась которая-нибудь из женщин, то все подвыпившие на поминках, особым, верхним чутьем, угадывали, по чему и чему улыбается женщина. Всех лучше чувствовали себя на поминках попы, дьяконы и певчие; они давно привыкли к человеческой скорби, она была желательна для них и выгодна, они жили этой скорбью, как гробовщики покойниками. Вот если бы не обязанность соблюдать приличие, то неплохо бы спеть что-нибудь веселей молитвенных песнопений и даже перекинуться, в укромном уголку, в картишки.

А время подвигалось к двенадцати, и тут немногочисленные трезвые стали замечать, что все другие пьяны и едва держатся на ногах, и какой-то пожилой и крупный чиновник московского градоуправления, икая, упрашивал протодиакона Розова убогатворить публику и провозгласить; но протодьякон, избалованный всеобщим вниманием, великолепно рычал, пил коньяк под зернистую икру и отмахивался.

Раз'езжались и расходились после полуночи; привязчивый чиновник градоначальства прилип к локтю протодиакона Розова и не отставал; так они вышли на ступени подезда, пьяные и необыкновенно дружные; они стояли и слегка пошатывались.

— Провозгласи, — приставал чиновник, — ну, что тебе стоит, дай восчувствовать и умилиться...

Протодьякон расправил грудь, стал шире и выше:

— И-изво-ооошник! — рявкнул протодьякон.

Безмерно счастливые, сытые и всем на свете довольные, протодьякон и чиновник сели в поданную им карету и покатали по направлению к Кудринской площади, а навстречу им и перегоняя их, нахлестывая лошадей, мчались с двух площадей, с Кудринской и Арбатской, поднятые возгласом протодиакона извозчики.

ХІІ

На улице была весна, вся в солнце, какой отродясь не видывали (такой она

была пятьдесят лет тому назад). Пятьдесят лет тому назад Карпуха Полуменов не замечал весенних красот, потому что богат был молодостью своей и будущим, хотя и неизвестным. Пятьдесят лет прошли, и теперь, когда в Азовско-Донском, коммерческом и государственном банках лежат шесть с половиной миллионов, глаза так же безразличны к весенней суете, к солнцу, к разговорчивым ручейкам, к дымящейся в голубом тумане реке, к пасхальному перезвону колоколов и, пожалуй, ко всему, кроме шести с половиной миллионов рублей...

Идея, какая идея, какой смысл и замысел в этом? Полупомешанная жена, погибший сын (ах, если бы родной сын!) и волче одиночество.

В просторной комнате своего дома, в комнате, где побольше солнца, Карп Серафимович Полуменов беседует со своим слугой, старшим официантом бывшего ресторана «Севиля» Патрикеем.

— Все, все нужно к рукам прибавить, — убежденно говорит Полуменов, — а то ведь и со стороны, очень просто, налететь могут из иных-прочих государств.

— Святая правда-с, — растроганно поддакивает Патрикей, — то-есть слов выражения нет. Ах, ежели бы молодого, расторопного помощника...

— Не сына жалею, а утерянны надежды, — говорит Полуменов, — сын что? Бог дал — бог взял...

— А... а хорошо бы в Ташкентик. Карп Серафимович, хе-хе-хе! И в Ташкентике ресторан с девицами и прочее... Доходная статья-с...

— Обнюхать бы Кавказ, — вслух мечтает Полуменов. — Ежели деньги надобны, так за деньгами дело не станет.

— И у меня имеется скромная сумма-с, — признается Патрикей и вздыхает. — Еще лучше, Карп Серафимович, ежели капиталы двинуть в Харбин-с, на новые, необсуженные места. Около Харбина разные народы живут, которые добром распорядиться не умеют, несообразные народы-с; вот туда человечка и послать бы, верного человечка, чтобы хозяйский интерес соблюдал за хорошее жалование, то-есть я бы и тысячи в месяц не пожалел...

Полуденов не слушает, и это очень странно, потому что человек он деловой и никакие посторонние мысли не в состоянии сбить его. И вдруг (в том-то и загадка) он пропускает все, о чем говорит ему Патрикей. Полуденов Карп думает, что в прошлом (когда не было и намека на шесть с половиной миллионов) жилось лучше, и ему кажется, что тогда только можешь почувствовать жизнь, узнать ее и пропустить сквозь сердце, когда будешь видеть ее с одного какого-нибудь места. Значит, счастье было там, в деревне Рудневой, на другой стороне жизни? Полуденов потрагил пятьдесят лет на то, чтобы обосноваться как следует на новой облюбованной стороне, а теперь вот очутился, увидел фальшивую мечту свою, которая за шесть с половиной миллионов рублей купила у него, Карпа Полуденова, пятьдесят лет жизни, купила и бросила с миллионами одного. Господи! Значит, чем больше имеешь, тем сильнее о прошлом жалеешь? Значит, единоличного счастья на земле не существует?

Наконец, привычка к приобретению, к наживе, к накоплению берет свое, и Полуденов становится внимательней к тому, о чем говорит ему Патрикей.

— Поторапливаться надо, — замечает Полуденов.

— Об том я и говорю, Карп Серафимович, — живо откликается Патрикей, — не мы одни насчет просторных мест думаем, вот оно какое дело, и, кроме того, как вы изволили заметить, со стороны налететь могут; немцы, скажем. Нынче все в нашу сторону поглядывают, к нашим родным местам свою копеечку приложить хотят.

— Поезжай, Патрикей, — предлагает Полуденов, — кроме тебя, некому: в таком деле свой глазок-смотрок нужен.

— Дорого будет стоить, Карп Серафимович, — я в Москве самолично сотни две в день зарабатываю.

— Два месяца не расчет, Патрикей, расходы пополам будут, потом покроем, печалиться нечего. Не самому же мне ехать.

— Это что говорить...

— И то прими во внимание — ресторан заново отстраиваю. Каменный будет, с зимним садом, с бассейном, с хорами, с музыкой. Главный зал на двенадцать саженей, да еще сцена...

— Много ли очистилось после пожара, Карп Серафимович?

— Двести пятьдесят тысконок смахнул.

— Господи! — Патрикей перекрестился. — Дай вам, господи...

— Не завидуй, Патрикей...

— Душевно радуюсь, Карп Серафимович...

Полуденова окончательно оставили воспоминания, и жил он настоящим, расчетливым днем, то-есть боялся, как бы не упустить часа без пользы, и каждый свой разговор расценивал на деньги и отлично знал, какая от этого разговора будет впоследствии выгода. Полуденов спешил, он спешил всегда и во всем, точно играл в перегонки.

— Поезжай, Патрикей, поезжай, не раздумывай!

Полуденов разглядывал седую, коротко и необыкновенно аккуратно подстриженную бородку старого официанта и радовался тому, что он, Карп Полуденов, молод и еще достаточно силен и резв. Разглядывая седую патрикееву бородку, Полуденов позабыл о своих шестидесяти двух годах и что Патрикей старше его всего на три года.

— А что ж, я, пожалуй, действительно поеду, Карп Серафимович, — согласился, наконец, Патрикей, — денежка разгон любит, особливо ежели по целине. Хе! В Харбине-то, слышал я, полная, Карп Серафимович, невинность господствует, люди там за хорошее увеселение большие деньги платят. — Патрикей посмеялся еще немного, пощекотал под горлом щетину и сказал: — Благословляйте, Карп Серафимович...

Патрикей ушел вполне довольный разговором и началом выгодного дела. И Полуденов вспомнил вдруг, что ему нужно еще что-то сделать и как можно скорее; он встал перед окном и, жмурясь на солнце, наблюдал улицу, но так и не мог припомнить, что ему нужно сделать, и оттого ощущал сильное беспокойство, сердился и мрачнел. Улица

была пустынной, стрекотали одни воробы. Обеспокоенный пустотой и тишиной, Полуденов услышал вдруг отдаленный крик или стон, и у него сразу просветлело в голове, отлегло от сердца; он живо обернулся, побежал пустыми, обширными, никому не нужными комнатами в другой конец дома, который выходил тремя окнами в сад; это была та самая спальня, в которой прожила и теперь доживала свой век Степанида Сидоровна. Женщина растеклась, стала очень широкой и казалась поэтому малорослой. К сорока пяти годам она потеряла все, что может потерять человек: молодость, надежды, здоровье и бедную красоту свою.

По пути в комнату жены Полуденов захватил в буфете бутылку с коньяком и плеть, что висела когда-то в спальне на показном крюке. Полуденов спешил унять сердечное свое беспокойство; он вошел в комнату жены, встал у порога, огромный и тяжелый. Степанида сидела в углу дивана, подобрала под себя ноги, и раскладывала карты. Она гадала о воображаемом возлюбленном, о человеке, с которым было бы легко в жизни; она ничего не знала о своем возрасте, о морщинах и потускневших глазах своих, сейчас она была молодой, простенькой девочкой и радовалась солнечному разливу и ждала, что воображаемый милый, ласковый и человечный, придет к ней непременно, и Степанида Сидоровна (девочка Стеша) вздумала поскорее узнать судьбу свою; она собрала карты в колоду и, ничего не замечая, ничего не видя, принялась выбрасывать карты одну за другой:

— Любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к чорту пошлет, — приговаривала женщина и ждала любимого, желанного трефового короля. Трефовый король выпал при слове «любит».

— О, мой милый, — говорит Степанида, — он всегда приходит ко мне, когда я его вызываю.

Она далеко отводила руку и любовалась на трефового короля издали, потом медленно приближала карту к глазам и принималась смеяться и целовать пухлую сальную карту, падала на диван,

и смеялась, как девочка, захлебываясь и хлопая в ладони; при этом она лепетала что-то детское, откладывала карту в угол и манила к себе, соблазняя воображаемого возлюбленного цветной бумажкой, куском сахара, всем, что попадалось под руки. Вдруг она закрывала ладонями глаза, глядела через растопыренные пальцы и видела карту воплощенной в живого человека, и неожиданно принималась всхлипывать, обильные слезы орошали ее лицо.

— Милый, сыночек мой Гурочка, — причитала Степанида, — приди ко мне, птенчик мой миленький, сиротинка я одинокая, волки кругом воют на меня, в двери царапаются. А-а-а-у-у-у, — завывала Степанида истошным голосом, до того диким, что стоявший у двери Полуденов невольно попятился, но сейчас же и обозлился, свистнул плетью и пошел на Степаниду.

— Замолчи, дура, перестань, окаянная твоя душа, не упоминай сына, убью...

— А-а-у-у-у! — продолжала вопить Степанида. — Злые волки растерзать хотят Гурочку, сына моего единственного, за что же, господи, за что посылаешь мне наказание такое, или я больше всех провинилась, господи? И нет мне больше светлой жизни на этом свете.

— Погоди, погоди! — кричал Полуденов. — Не упоминай сына, замолчи. — Совал плеть в карман и показывал Степаниде бутылку с коньяком, звенел стаканом.

Степанида мгновенно оживлялась, она отирала слезы, глупо улыбалась и протягивала к мужу руки.

— Погоди, погоди, — отступил Полуденов, — слушай меня, запоминай: Гурий уехал, его в солдаты взяли, на Кавказ взяли, царю-отечеству служить, он вернется скоро, он жив, жив, слышишь ты? Вот он тебе и гостинца прислал, коньяку прислал, пей скорей, больше пей, он хочет, чтобы ты веселей была.

— Дай, дай, ну, давай же, ах, какой ты жадный, попрежнему жадный!

— Кричать не будешь?

— Да не буду же, не буду.

— Ну, пей, смотри, больше пей! — Полуденов наливал полный стакан коньяку. — Вот тебе, когда выпьешь, еще дам, только не кричи, не кричи ты, сделай милость, не рви моего сердца...

Степанида брала стакан обеими руками и с большой осторожностью, чтобы не пролить ни капли, выпивала все. Она откидывалась к стенке дивана и, закрыв глаза, ждала опьянения.

— Уф! — произносила Степанида. — Ты добрый, Карпуша, ты ведь добрый! Ты не врешь мне? Гурочка придет скоро, правда ведь?

— Приедет, придет.

— А говорят, ты его убил и в снег бросил...

— Молчи, глупая, кто мог тебе говорить?

— Сам он говорил, пришел ко мне нынче утром и все рассказал, весь в крови пришел, а лицо белое-белое, как мертвое, только одни глаза горят.

— Это ты во сне видела, тебя бес смущает, ты не говори об этом, ты не вспоминай, ты лучше коньяк пей и богу молись, тогда хорошо будет.

Полуденов еще наливал коньяку, и опять Степанида выпивала все и закрывала глаза, обессиленная, пьяная до бесчувствия. Потом она валилась на бок и засыпала, она дышала очень часто, грудь поднималась прерывисто, в углах губ появлялась густая белая слюна. Полуденов наклонялся и долго слушал, как бьется сердце пьяной Степаниды; слушая, он удовлетворенно бормотал:

— Ну вот, ишь ты ведь как! — Крестился в угол: — Пошли, господи, избавленья, услышь, господи, молитву мою, не оставь своей милостью...

Полуденов пятился к двери и, продолжая креститься, выходил; он задерживался в большой комнате, здесь было все мягко — мягкая мебель, и мягкий на полу ковер, и мягкий в окнах свет. Полуденов увидел свое отражение в трюмо, он полюбовался своей наружностью, при этом он думал о чем-то лукавом и, должно быть, приятном; он улыбался, оправлял бороду и поглаживал полные, румяные щеки свои. В зеркале видел Полуденов огромную комнату, удивлялся пустоте и вдруг замечал,

что он один, совсем один на все шесть комнат и что Степаниду нельзя было принимать за полного человека; правда, жила еще жена убитого сторожа Игната с шестнадцатилетней дочерью Веркой, но в комнатах они показывались только по утрам и, прибрав их, уходили на кухню.

Полуденов принялся бегать по комнатам; он с удовольствием уехал бы на завод, но завод не работал в пасхальные дни, и оттого стало еще хуже, и Полуденов пожалел, что не причул себя к вину, все-таки было бы легче. Он пробежал дальше и остановился: «В этой комнате жил Гурий, тут вот сидел он за столом и пересчитывал ресторанный вырчку. Ах ты, господи, как же было хорошо все и чего же недоставало человеку? Да нет, так ему и надо, подохнет где-нибудь, как собака. И какое мне дело? Чужая кровь, чужой сын. За что, господи, наказуешь? А ежели не чужой, ежели Епимах соврал? Из зависти соврал, в отместку за то, что я пережил его. Ах, ведь он и за это мог возненавидеть!»

Остановился Полуденов в угловой комнате, в которой утром беседовал с Патрикеем. Солнце зашло с другой стороны, и улица к этому часу стала оживленней. На улице заунывно пиликала гармонь, пиликала однообразно, без чувства и выражения. На душе Полуденова стало еще глуше, он повалился в кресло и вдруг неожиданно для самого себя тяжело и тоскливо завыл; потом он принялся молиться под заунывное пиликанье гармоники; он падал на колени, вскакивал и опять падал, огромное тело его колыхалось и дрожало, должно быть, Полуденов плакал, или и здесь, перед богом своим, он по привычке играл и притворялся. Про себя он радовался тому, что жена его, Степанида, не жалеет на свете, что теперь она непременно сопьется и умрет и сын исчез во-время и все, что ни делается, к лучшему.

Полуденов устал и помрачнел, хотя веселый, солнечный разгул способен был прогнать любое мрачное настроение. Праздники для Полуденова были всегда тягостны, потому что деловому

человеку некуда было деваться, а отдыхать слишком убыточно, и что если бы не праздничные дни, то кто знает, вместо шести с половиной миллионов он имел бы десять?

Поздним вечером, укладываясь спать, Полуденов старался думать о самом приятном, что только было в его жизни; он засыпал, улыбаясь своим выгодным мыслям (подумал, что девиц для далекого Харбина нужно присмотреть заранее, чтобы неспеша отобрать самый доходный, самый лучший товар), и вдруг, когда особенно разыгрались мысли, Полуденов нашел себя молодым и сильным; тогда он встал, набросил на плечи халат и отправился к Варваре на кухню; по дороге он соображал, что бы такое подарить ей, совсем недорогое и ненужное? В той комнате, самой большой, где лежал мягкий ковер и сверкали высокие зеркала, Полуденов столкнулся с женой. В окнах стояла луна, и было хорошо видно, как, растопырив руки, будто слепая, пробиралась Степанида вдоль стены, спотыкаясь о кресла.

— Куда ты? — попятился Полуденов, отступая перед вытаращенными глазами жены. — Господи помилуй!

— Гурочка зовет, слышишь, кричит как? Пусты меня... Ты кто здесь такой?

Степанида вцепилась в полы халата и потащила Полуденова к окну.

— Говори, кто ты такой, зачем ты пришел? Зарезать меня пришел? Ну, что же ты, режь скорее, режь!

Полуденов не знал, что ему делать; его одолевал страх, желание избавиться от жены; он отбивался, как мог, а Степанида кричала, брызжа слюной и царапаясь.

— Сына отдай, Гурочку моего верни, кто его зарезал? Ты его зарезал, ты!

Наконец, к Полуденову пришло озлобление; он досадовал, что не захватил плети; тогда он решил напугать жену, он схватил ее за руки и закричал в полубезумные глаза женщины:

— Убил, убил, будь ты проклята, сына твоего Гурия убил, вот кого, из ружья убил и собакам на с'едение отдал! Ну, что? Дождалась, чортова дура, так тебе и надо, так тебе и надо, измучила ты меня, проклятая, истерзала!

Озлобление в сердце Полуденова все поднималось и поднималось и, наконец, перехватило дыхание. Полуденову захотелось драться, разбить что-нибудь или изорвать; он схватил Степаниду за плечи, чтобы швырнуть ее, и вдруг почувствовал, как напряженное тело жены сгибается и медленно оседает. Полуденов отступил, и тело мягко повалилось на ковер. Луна полностью вливалась в широкие окна комнаты, Полуденов увидел глаза Степаниды, они вылезли за грань припухших век и остановились. Тишина была торжественной и гулкой. «Господи, господи, — молчаливо молился Полуденов, — господи!» И не находил слов для особой молитвы, которая восстановила бы трезвый разум, бодрость духа и принесла спокойствие. Он понимал происшедшее и думал сейчас с некоторым самодовольством, что бог на его стороне, раз так скоро исполнил его молчаливое желание. Полуденов упал на колени и на коленях подполз к жене, чтобы окончательно убедиться в своей догадке. Ощупав тело жены, он понял, что ошибки не было, и снова принялся молиться и благодарить бога за то, что жена не будет теперь служить укором для гибкой его совести, не будет напоминать о сыне. В это время на улице защебетала гармоника, защебетала весело, с бесшабашным разгулом. Карпуха воспрянул духом и как бы помолодел в эти несколько минут, проведенных у трупы жены, и до того жочел себя невинным, что даже теперь (лунная ночь, мертвая жена и полная ненаказуемость при миллионах) не оставляла его мысль пойти к Варваре, чтобы согрешить и наверстать упущенное. Полуденов поднялся с колен; он оставил жену так, как она упала, и направился к Варваре; он шел и крестил мелкими крестными знаменьями улыбающееся лицо свое. Так миновал две комнаты и очутился перед незапертой кухонной дверью; приоткрыв дверь, просунул голову и, замерев сердцем, увидел деревянную кровать и пышную голову Варвары, обнаженные по плечи руки. Полуденов шагнул через порог, крикнул нарочито сердитым и взволнованным голосом:

— Варвара! Эй, Варвара! Проснись ты, будь ты неладна, Степанида Сидорвна умирает, беги скорей за доктором...

XIII

Года через полтора, летом, Леонтий Чемерицын получил письмо. Поздней ночью, в грозу, в бойкий первоначальный дождь, постучали со двора в окно той самой комнаты, в которой еще молодым, холостым и жизнерадостным проживал когда-то токарь Леонтий Чемерицын, лихой гитарист. Должно быть, люди долго выбирали погоду, прежде чем притти. Алевтина бросилась было к лампе, чиркнула спичкой, но со двора опять застучали настойчиво и тревожно. Леонтий открыл окно, дождь тепло хлестнул его по лицу, и кто-то сказал из тьмы почтительным, тихим голосом:

— Здравствуйте, Леонтий Никанорыч, пожалуйста, не зажигайте огня, это мы!

Двое подошли к окну, назвали себя и полезли в комнату через окно. Чемерицын завесил окно одеялом, зажег лампу и увидел промокших до нитки, но довольно веселых Рассохина и Тихона Стригуна.

— Господи! Живы? — сказала вошедшая Алевтина и заплакала.

Тогда Тихон обнял ее за плечи, как обнимают матерей, и, чтобы поскорее утешить плачущую женщину, сбивчиво забормотал:

— Он жив, жив, так что вы погодите плакать, я всё расскажу, Алевтина Алфеевна, мы недавно узнали про него, у нас есть письмо, сейчас я покажу письмо...

Алевтина думала (скорее всего она грезила); она успела припомнить все о сыне своем Ефимке. Конечно, он был для нее еще Ефимкой, пятилетним или восьмилетним, никак не больше, в свои двадцать три года. Видеть его ребенком было, должно быть, удобней или милее материнскому сердцу, и хотя она знала, что это не так, что сын ее рослый и сильный человек, еще сильнее и выше отца, но в памяти она удержала пятилетнего сына, который не мог обходить-

ся без ее помощи, будто и сейчас она необходима сыну так же, как и в годы его детства.

«Жив, жив, — молчаливо радовалась Алевтина и заплакала еще сильнее. — Господи, господи, какой ты добрый ко мне, господи!»

Она хотела перекреститься, она оглянулась на Леонтия, подняла было руку и сейчас же опустила, застыдившись своей радости, которую не знала, как выразить.

В письме сын обращался к ней, и слова его, изображенные на бумаге, нельзя было назвать словами взрослого, — с Алевтиной говорил восьмилетний Ефимка.

«Мама!

Сейчас мне хорошо, и я помню тебя и все боюсь, что тебе плохо без меня, а я очень далеко теперь. Кругом обступили лесистые горы, и внизу стоит село Сыростан, куда сослан я с Рорбахом, и вот скоро будет два года, как я живу здесь и мне снится Москва. Днем я работаю в кузнице, думаю о тебе, припоминаю все, даже ту картину с корабликом, которую так любил дядя Митя. Теперь его нет, он умер, его убили. Ты не плачь, мама, я долго нес его тело, и меня остановили солдаты в Черкизове, отняли его и бросили в сарай, а меня отправили в Москву, и по дороге солдаты нашли Рорбаха, он сидел в снегу и плакал, так сильно он ослабел, так сильно, что его пожалели тогда и не тронули...»

Ефимка рассказывал и о любви своей к Ерасовой, о том, что она приехала к нему и живет с ним и что Рорбах очень радуется их счастью, хотя сам и задичал сильно, ходит, как здешние кержаки, в длинной рубахе, в простых сапогах, которые смазывает дегтем, раздобыл ружье и все время пропадает в лесу. Книги бросил: «Я, — говорит, — с природой дружу, читать времени нет...»

В письме много было об озерах, скрытых в горах, о горах в солнечном зное и о знойных морозах зимой, и едва заметной была ефимкина тоска.

Каждый, слушая почти живые слова письма, думал и видел по-своему.

Алевтина видела склоненную голову Леонтия, наполовину седую. Алевтине было очень жаль покидать мужа, но ничего уже нельзя было сделать, поезд, грохоча, мчался по степям и лесам, перескакивал реки, миновал озера, пробегал мимо шумных городов и глухих деревень, вагон трясло и покачивало, Алевтина ехала к сыну, сын все-таки роднее мужа; она жалела и любила обоих, но в последний момент оказалось, что сына любит чуточку больше и жалеет больше. Поезд мчался, он спешил, как будто знал о нетерпении матери, и скоро (размышление Алевтины было пятиминутным) остановился среди лесистых гор, где было много солнца и пахло знойным запахом сосен.

Алевтина всегда думала и была уверена, что в том месте, где находится ее сын, должно быть обязательно солнечно и весело. Женщина огляделась. По широкой просеке бежал навстречу ей сын ее Ефимка...

«Лучше бы уж меня сослали, — думал Леонтий, — мне-то, по-стариковски, все равно, да, мне все равно, зато как хорошо жилось бы Алевтине! Теперь, в старости, ей лучше всего быть около сына. Мать теряет все, если теряет сына».

Леонтий согласился с мыслями своими, и вот он уже один, сначала в тюремной камере, потом в арестантском вагоне и, наконец, в глухой башкирской деревеньке, среди Уральских гор (старый токарь видел знакомые места), и ему уже казалось, что он не возвращался из ссылки с тысяча восемьсот девяносто первого года и никакого вооруженного восстания не было в Москве и все, все — и свобода его, и сын Ефимка, и жена Алевтина — пронеслось в воображении, но воображение было таким явственным, что Леонтий затосковал. Зимами, в бесконечные ночи, занимаясь при свете тусклой керосиновой лампы починкой немудрящей башкирской утвари (лудил самовары, чинил ведра, паял чайники), он прислушивался к гуденью снежно-бурана в горах, к

треску и стону в лесу, к волчьему завыванию и усиленно искал забвения, чтобы не видеть медлительных дней, проходящих нищей поступью в этих глухих местах.

Дни молодели весной и, помолодев, безумно мчались, перепрыгивая через озера, луга и горы, но иногда дни задерживались на лесных полянах, падали в густую траву и подолгу глядели солнечными глазами в голубое небо, и тогда Леонтию казалось, что с ним ничего особенного не произошло, что попросту он видел когда-то сон, в котором любил девушку, дочь птицелова, Алевтину, и будто бы родил с ней сына Ефимку. Счастье этого сна было так велико, что на время Леонтий Чемерицын забывал действительность и с трудом возвращался к этой действительности и находил ее такой тоскливой, что никакие дни, даже самые яркие, не радовали его...

Алевтина поднялась, она выбросила руки навстречу Ефимке (видению своему) и вдруг очутилась перед склоненной головой Леонтия.

— Ты чего? — спросил Леонтий. — Об чем ты?

— Нет, я не плачу, — улыбнулась сквозь слезы Алевтина, — я только подумала, может, мне поехать к нему, к Ефимке? Или он приедет к нам?

— Как? — удивился Леонтий. — Что это ты?

— На десять лет сослан, — неосторожно сказал Стригун и неловко поправился: — А может, и меньше, никто ничего не знает.

За стеной шумел дождь и глухо рокотал гром, как будто гроза проходила где-то глубоко под землей.

— На десять лет! — беспомощно пролепетала Алевтина. — Значит, навсегда, значит, я его больше не увижу?..

— Вот государственная дума, — жалко улыбнулся Леонтий, — может, государственная дума...

— Контрреволюционная государственная дума, — сурово проговорил Тихон Стригун, — какая, чорт, милость от государственной думы!

— Помолчи, Тихон, — вмешался Рассохин, — ничего-то он не знает, товарищ Чемерицын, и зачем так говорить...

Рассохин рванул Тихона за полу пиджака, наклонившись, зашептал:

— Чего ты старикам такую штуку, обалдел, что ли? Говори, освободят Ефимку скоро, жалости в тебе нет!

— Я так и говорю: освободят Ефимку, — досадливо отмахнулся Стригун, — и никакая, к чорту, дума. — Обернулся к Алевтине: — И поехать к Ефимке можно, Алевтина Алфеевна, ей-богу, можно, вы уж не плачьте!

Женщина стала улыбаться, она, должно быть, поверила горячим словам. Тихон увидел, как она просияла, поднялась и заторопилась на кухню, чтобы приготовить угощение таким хорошим ребятам, которые принесли ей весть о Ефимке. «Он жив, жив, — мысленно повторяла Алевтина, — о господи, благодарю тебя, господи!» Она не знала бога и не знала, как выразить радость свою. Выйдя на кухню, она налила самовар, разожгла лучину, и, когда загудело в трубе, Алевтина перекрестилась на висевший в углу рукомыльник.

Шум дождя отошел, и прекратился гром; по вершинам отдаленных облаков заскользила зеленоватая луна, и звезды, очень пушистые и крупные, упали в дождевые лужи.

— Отпустите ее, Леонтий Никанорыч, — упрашивал Тихон Стригун Чемерицына, — вам же свободнее будет, а квартиру мы другую найдем, деньги, вот они. — Стригун выложил на стол пачку десятирублевков. — Квартиру найдем хорошую, работа начинается, Леонтий Никанорыч, а людей нет: Полуденов Гурий в ссылке у чертей на куличках, триста верст за Оренбургом, в каком-то Темирском укреплении, к нему Евгения Строчилина уехала; Побыткин потерялся, говорят, в Иркутск сбежал. Мы к вам, Леонтий Никанорыч, нам почтенные люди надобны для солидности.

— Вы не думайте, все аккуратно будет, — предупреждал Рассохин Петр, — мастерскую откроем, ванны, котлы, самовары, ружья, что хочешь...

— Бойкие вы ребята, — сказал Чемерицын.

Он раздумчиво почесал давно небритый подбородок; он чувствовал себя старым и, пожалуй, слабым, негодным для серьезной работы, и вдруг ему напомнили о молодости, к нему пришли, он чуть было не заплакал от волнения, от сознания своей полезности.

— Дело подходящее, — согласился Чемерицын, — а кто же здесь останется?

— Секрет красоты, тайна молодости, Леонтий Никанорыч, — посмеялся Рассохин. — Останутся в этой местности Василий Наживин и Вера Игнатьевна Кувыкина.

— Кувыкина?

— Так точно, Вера Кувыкина, дочь сторожа Игната. Когда-нибудь мы вам покажем ее, девица строгая, но отчаянная, в доме Карпа Полуденова живет с матерью.

— Почему же отчаянная?

— Всю нашу литературу у себя держит...

— Действительно, отчаянная, — согласился Чемерицын.

— В этом районе у нас дело богатое, — похвалился Рассохин, — на заводе человек десяток имеем. В конторе Бравина — Софья, по цехам — табельщик Балабин, остальных не знаем.

— А может, и знаем, — сказал Стригун, — только без фамилии, нынче строже дело поставлено...

— Так, значит, отправлять старуху, ребятки?

— Отправляйте, Леонтий Никанорыч, мастерскую мы откроем на Мещанской улице, место бойкое, слышите, Леонтий Никанорыч? Мы подмастерьями к вам. Как вы думаете, хорошо будет?

— Должно быть, хорошо...

— Вот и слава богу, — порадовался Стригун.

— Теперь неплохо бы наше предприятие вспрыснуть, — предложил Рассохин, — под сухую как-то дело не идет.

— Пойдет, Петруха, — утешил парня Чемерицын, — мы чаем вспрыснем. Хм! Не думал я, что могу еще пригодиться, обрадовали вы меня, ребятки...

— Мы так определили, дядя Леонтий, — совсем уж попросту сказал Расохин, — если в случае чего, тебе, постариковски, все одно, где сидеть.

— Верно, — согласился Чемерицын, — все одно...

XIV

Машиниста Матвея Грязнова арестовали в июле месяце в поселке Быково по Казанской железной дороге. Была ночь, дачная, в лунном сиянии, со сверчковым стрекотом, треньканьем гитар и гармонными переборами.

Два жандарма и трое из железнодорожной охраны окружили крестьянскую избу. Подходили они робко и неохотно и про себя думали, что все обойдется попросту и без шума. Подошли, наконец, к сеням, постучали в закрытые ставнями окна и прислушались. В избе было тихо и темно, а на улице светло и все отчетливо видно.

— Как бы не выстрелил, дьявол его возьми, — трусливо сказал стоявший на крыльечке жандарм, — бабахнет из-за угла, и концы в воду...

— Очень просто, — поддержал жандарма старший из железнодорожной охраны и вдруг заорал, подрагивая всем телом, крепко сжав рукоятку казенного револьвера:

— Открывай, свола-ачь, телеграмма! Чего людей томишь?

В непоколебимой тишине люди стояли и слушали еще несколько минут и все надеялись, что, может быть, к их счастью, преступника не окажется и в каком-нибудь другом месте его будут ловить другие стражники, — и очень хорошо. Они же по случаю такого благополучного исхода пойдут на станцию, выпьют по стаканчику водки и, разойдясь, будут хвастаться потом и притворно сожалеть, что им не удалось отличиться.

На крик железнодорожного охранника никто не отозвался; тогда все стали храбрее и решительнее; теперь они были уже уверены, что в избе никого нет и что их просто ввели в заблуждение. Кто-то закурил, кто-то обратил внимание на погоду, божью милость, когда и

ночью совсем светло, как днем. Поселок был разбросан просторно, каждая дача, каждая деревенская хата выбирала место по своему усмотрению, должно быть, потому и было так просторно. За дачами и хатами лежали широкие огороды, а дальше шли полосы ржи или пшеницы, высокой и желтой в это время. Месяц сверкал и переливался в широкой пустоте. Перед жандармами и железнодорожной охраной стояла сиротливая крестьянская изба; она слегка отшатнулась назад и вбок, как будто была испугана таким количеством вооруженных людей. Умиротворяющая картина ночи и смиренный вид хаты настроил и стражу на миролюбивый лад, как вдруг в хате загремели и железная скоба ставни со звоном отлетела в сторону.

— Ага, мерзавец, — громко и злобно обрадовался стоявший около ставни жандарм, — вылазь, сукин сын, руки вверх!

Железнодорожные охранники щелкнули затворами винтовок, нацелились.

Створки окна открыла чья-то поспешная рука, показалось перекошенное от страха старушечье лицо.

— Господи, сыне божий, помилуй нас! — старуха разглядела жандарма, неверной рукой закрестилась на него. — Кого вам?

— Открывай, бабка, где твой постоялец, куда ты его спрятала?

— Матвей Григорьевич-то? Господи! Так бы и спросили, — почувствовала старуха. — Где ему быть, не в избе же в такую духоту, во дворе ищите, в сарае, на сеновале спит. Да вы куда его?

Жандармы и железнодорожные охранники бросились во двор.

Машинист Грязнов проснулся, он услышал крики, матерную брань и грохот двери, сбитой прикладами, он искал около себя револьвер и, не найдя, стал спускаться к лестнице, молча, деловито и очень спокойно, как будто бы спускался к завтраку. Он хотел было спросить: «Что надобно вам?», но торопливый и перепуганный охранник ударил его прикладом по голове, и Грязнов, теряя сознание, упал.

Били Грязнова долго и расчетливо, не касаясь лица, прыгали на грудь, на

живот, топтали тяжелыми сапогами, стараясь разогреть себя и озлобить против поверженного человека, не известного им, преступления которого они не знали; а в дверях сеновала стояла хозяйка избы, тряслась и плакала...

Через три дня искалеченный Грязнов лежал в Преображенской больнице, куда положили его по требованию Фридриха Ланге. Живой была лишь голова, светлая, умная, бесстрашная голова; тело же постепенно отмирало, было оно дряблым, с отбитыми легкими, с полонанными ребрами; лишь сердце еще продолжало лениво жить, медленно шевелиться и слабо стучать и все порывалось вместе с кровью вырваться через горло наружу; в такие минуты Грязнов задыхался и умирал.

Часто навещавший больного Фридрих Ланге сокрушенно покачивал головой, говорил докторам:

— Вы мне его на ноги поставьте, что хотите, делайте, что хотите, берите, только бы он двигаться начал; денег я на такого человека не пожалею, высокой цены машинист, каких, может, и не было никогда; он у любой машины душу найдет.

Грязнов слышал все, он открывал глаза, насмешливо кривил губы, хрипел с усилием:

— У твоей машины душу не прошупаю, зачем я нужен тебе, не пойму! Отойди, не купишь ведь ни лаской, ни сказкой; убери свиные глаза твои, плону...

Фридрих Ланге оглаживал бороду и не обижался, напротив, гнев машиниста забавлял его и доставлял некое удовольствие, которое, вероятно, испытывает птицелов, поймавший дикую, но редкостную птицу.

— Экий ты какой, зачем же ты так, — миролюбиво говорил Фридрих, — я с душевным к тебе расположением, пойми и мою душу... Хм! Чего же ты глаза отводишь, ну, ежели тебе неприятно, я и уйти могу, насильно мил не будешь, видно.

Фридрих уходил, улыбаясь мыслям своим; уходя, он совал в карман халата старшего врача четвертной билет и еще

раз наказывал следить за больным и поднять его на ноги.

Так продолжалось целых три месяца, и не было той недели, чтобы Фридрих не заглядывал в больницу и не спрашивал о машинисте Грязнове.

— Да-а! — удивлялись рабочие. — Сердцем отмяк Фридрих Иванович, вот и поди-гляди, сколько заботы кладет, будто родного сына выхаживает, то и дело ездит в больницу к машинисту нашему и все насчет его здоровья заботится. Чудасия, истинный господь! Зла человек не помнит...

В середине сентября машиниста Грязнова перевели из больницы в тюрьму, доктора объявили его здоровым и вполне способным для дачи показаний следователю военноокружного суда.

Понимая, что пощады не будет, машинист Грязнов держался вольно и отвечал на вопросы охотно.

— Господин Грязнов, Матвей Григорьевич, сорока двух лет, из мещан города Самары?

— Так точно, господин следователь.

— Командующий революционными отрядами вооруженных рабочих в декабрьское восстание в Москве тысяча девятьсот пятого года?

— Если бы вооруженных, тогда бы все было наоборот...

— То-есть как?

— Очень просто, господин следователь, тогда бы допрашивали и судили вас...

— Ах, вот как, — сказал следователь. Побарабанил пальцами по крышке стола, стал сумрачнее и сразу переменил тон.

— Ваше имя, отчество, фамилия, жительство, какого вероисповедания?

— Ни к чему это, господин следователь, — насмешливо и совсем уж скучно отозвался Грязнов. — Фамилия вам известна, чего еще нужно? Судите уж так. В чем виноват, сами знаете. Ваньку валять нечего.

— Следовательно, вы признаете себя виновным в совершенном вами преступлении?

— Ничего не признаю, что признавать-то? Вы били нас из орудий и пулеметов, а у нас что? У нас простые

самопалы. Условия, господин следователь, неравные. вот это я признаю...

— Но все же вы организовали в вашем районе, в частности на заводе братьев Ланге, убийство военных чинов, представителей полиции и так далее?

— Одного шпика, действительно, пришили...

— Варгана Севастьяна Корнеевича?

— Варгана, — признался Матвей Григорьевич, — верно, господин следователь, я измарал руки и досаду.

— То-есть раскаиваетесь?

— Досаду, что в бою убил одного, а не тысячу одного, не сумел, дурак, отомстить за гибель моих товарищей, за издевательства над ними и за всю нашу каторжную, унижительную жизнь. Чего вы от меня хотите? Чтобы я сознался в преступлении, в том, что учил моих товарищей драться с врагами, драться с убийцами и насильниками? Ну, что же, учил, и если бы, господин следователь, побольше оружия, винтовок, пулеметов и десятка два орудий... Хе-хе!.. одна бы вонь осталась, господин следователь, от вашего величия, благополучия и благородства. Так точно, господин следователь, говорю вам об этом как строевой унтер-офицер....

Через неделю следователь был на докладе у Фридриха Ланге; следователь приехал на завод и прошел прямо в кабинет хозяина. В кабинете находились сам Фридрих, его племянник Яков и Карп Полуденов.

— Что же этот сукин сын, что этот разбойник говорит теперь? Не признается?

— Напротив, Фридрих Иванович, ничего не скрывает, говорит обо всем с полной откровенностью, — докладывал следователь, — и можно сказать, с некоторой бравадой говорит, то-есть, судя по всему, человек большой воли и смелости...

— А вы бы его припугнули-с, — поддал голос Полуденов, — внушили страх, чтобы человек размяк, растворился духом...

— Не понимаю, простите, как это «растворился духом»? Что вы хотите выразить, так сказать?

— Выражение мое, ваше степенство, простое, я насчет душевной струны говорю, нужно душевную струну зацепить у человека; кого любит он, кого боится, — и как, значит, узнаешь это самое, тогда того человека в трепет привести в один момент можно, особливо, ежели находится он в тюремной камере, в одиночном и сиротливом размышлении.

— Молодец, Карпушенька, — не удержался Фридрих.

— Не хвалите-с, Дрикс Иваныч, в глаза дураков хвалят, а я не склонен к этому. Я правильно внушаю господину следователю, ежели страхом нельзя, — лаской возьми, свободу узнику обещаю, и когда он, узник-то, преисполнится благодарностью, запах счастья почует, тут его и подсекай, как животрепещущего окунька, вот что хочу я выразить, по нашей жизненной практике, Дрикс Иваныч.

«Чорт тебя возьми! — молчаливо дивился Яков, — сумел дядюшка воспитать человечка!»

— Верно, верно, Карпушенька, — так и затрясся от удовольствия и восторга Фридрих, — именно так и следует поступать со всеми супостатами или как там их? А ты, — обернулся Фридрих к следователю, — ты мне осуществи это, и так, чтобы взмолился человек.

— Для кого это вы, дядюшка? — удивился Яков фридриховой ярости. — Ничего и не понимаю что-то.

— Для рабочих, Яша, — поспешно и с большой охотой отозвался Фридрих, — чтобы они надежды свои оставили; понял ты теперь, куда я клоню, на что деньги расходую? Я их с пользой расходую...

— И опять же все весьма просто-с, Яков Генрихович, — вступился Полуденов (теперь, когда вновь пришло успокоение и Фридрих обронил где-то заносчивость свою, Полуденов незаметно, однако ловко очень, стал властвовать и, наконец-то, перестал робеть перед Фридрихом, а наоборот, делал неоднократные попытки поучать, во все вмешиваться и даже указывать. и, что странно, Фридрих начал поддаваться и

огрызнулся редко. Именно в эту пору и пришла к Якову мысль, что никогда не поймет он психологии этих двух азиатов и, конечно же, не проникнет в их звериную натуру по благородству своему. Благородным он считал себя по воспитанию, по крайней мере, потому стонился и обходил все злодейства, которые совершались без перчаток), — до того просто-с, — продолжал Полуденов, что, можно сказать, не подлежит объяснению, так что я уж лучше прямо к его степенству обращаюсь, к господину следователю обращаюсь.

— К вашим услугам, — с готовностью заулыбался следователь, — к вашим услугам.

— Знаю-с, господин хороший, именно-с к нашим услугам, а к чьим же еще? Послужить не грех будет, мы с Дриком Ивановичем людей отродясь не обижали. Правильно говорю я, Дрик Иваныч?

— Еще бы нет, — согласился Фридрих, — правильней быть не может, мы за правильность всегда стояли и деньги на нее расходовали...

— Вы его нам в состоянии приведите, господин хороший, чтобы мы трепет его душевный почувствовали, — внушал Полуденов следователю, — а на суде вроде всенародное покаяние злодея должно произойти, со слезами и рыданиями, мы народ созовем.

— Вот-вот, — радовался Фридрих, — наша правда возликовать должна, пусть Грязнов покорность свою покажет, в грудь стучит и слезу прольет, а если этого не будет, так и ну его к чорту, нам глядеть на него интересу нет.

Следователь старался еще целых две недели. Допрашивать, расспрашивать обвиняемого было бесполезно, он давно сказал все, что знал о себе, и на другие вопросы отвечал насмешливой руганью или прямым издевательством над следователем.

— Вы уж прямо говорите, господин следователь, какую честь мне окажете: с камнем на шею в Москва-реке утопите или на березе повесите, в Нескучном саду? На увеселение господам, для душевной ихней прохлады?

— Отчаянный вы человек, господин Грязнов, — искренне удивлялся следователь, забывая о внушении Фридриха и Полуденова, которые ждали от обвиняемого покорности и душевного трепета, — может, мы о вашем спасении печемся.

— Мне волчки повадки известны, — отмахивался Грязнов, — и, кроме того, милости не хочу, не может быть у нас милости друг к другу, господин следователь, да и не требуется милость эта лицемерная, мы не помиримся с вами, нет, не помиримся...

— А если да вдруг? Или у вас жены нет, семьи нет?

— У меня семья большая, господин следователь, очень большая, всероссийский пролетариат, так что мне и милости-то просить неудобно, семья за меня сконфузится, скажет, сплоховал, товарищ Матвей, согнулся...

Так ничего и не добился следователь и, покоренный волей подсудимого, принялся вместо допроса болтать что-то о возможности получить свободу и деньги за проявленную покорность, за всенародное покаяние на суде.

— Считаю своим долгом предупредить, по человечеству, так сказать, что опасность вам грозит не малая, слышите-с? То-есть что же тут смешного, милостивый государь? Вы действительно можете очутиться на первой березе, шутки плохи, знаете, так уж лучше уступить богатым самодурам. Видите, до какого признания вы довели меня? Как стараюсь я спасти заблудшего?

— Заработать хотите, господин следователь? — угадывал Грязнов. — Так, что ли? Да вы не сердитесь, вы попросите меня, может, я и соглашусь, попросите как следует...

После таких разговоров следователь стал торопиться, и в первых числах октября состоялся суд, и «Московские ведомости» тиснули статейку об ужасном злодее машинисте Матвее Грязнове, который в памятный девятьсот пятый год был чуть ли не главным подстрекателем и душой восстания и вот, наконец-то, изловлен и предстал перед судом, и надо полагать, что суд, справедливый и скорый, вынесет должное ре-

шение и воздаст злодею по заслугам его. Вообще все были, по уверению газеты, довольны. Час расплаты приближался. Даже Фридрих Ланге и Полуденов Карп были удовлетворены газетной шумихой и считали себя героями дня и явились в суд послушать речь прокурора и насладиться.

Прокурор был в настроении торжественном, как будто действительно предстояло ему вступить в единоборство с величайшим злодеем времени. Весь зал суда, переполненный людьми высокого общественного и служебного положения, следил за прокурором, как следят обычно прихожане за молодым и симпатичным архиереем, который не совершал богослужения, а играл в богослужение и радовался тому, что игра эта очень занимательна и талантлива.

Свою речь начал он с какого-то воспоминания детства, в котором рассказывалось о том, как наивный и прекрасодушный ребенок верил в добрые сердца и был жесточайшим образом обманут.

— Но, боже мой, что же тут такого? Это так обычно!.. — восклицал прокурор. — Невинные, чистые души покои веков обманывались и все же, обманываясь, продолжали верить и надеяться. Не так ли мы, господа глубокоуважаемые судьи, хотели верить в добрую душу подсудимого? Ну, конечно, ведь это же естественно в человеческом, культурном обществе! И вот мы верили. Мало этого, мы заботились о том, чтобы человек жил в самых лучших условиях. В чем же, могут спросить нас, выражалась забота? Во всем, отвечу я: мы строили школы, проводили шоссейные и железнодорожные пути, мы развивали нашу отечественную промышленность, защищали границы родины и охраняли мирный труд всех, кто хотел честно добывать хлеб свой, мы, по велению нашего обожаемого монарха, писали и обнародовали законы, чтобы никто не был обижен. И, наконец, в нашей стране, волею государя, была объявлена свобода. Казалось, все было предусмотрено, все условия мирного труда были созданы нашему подсудимому. В полной уверенности, что при таких условиях будет процветать наша

родина и расти благосостояние населения, мы в простоте души совсем не подзревали о злодейских замыслах вот этого, на вид такого скромного, преступника, который, как оказалось потом, замышлял силою оружия разрушить существующий строй и залить (вы подумайте только) кровью невинных лиц родной земли! Это ли не злодейство? Это ли не сатанинский замысел и изверство, господа судьи?

Прокурор, как бы потрясенный страшным видением, закрыл ладонью глаза и запрокинул голову, потом, шумно вздохнув, продолжал разбитым, переходящим на шопот голосом:

— Все ужасы татарского нашествия — детская забава по сравнению с тем, что происходило в дни восстания в тысяча девятьсот пятом году! — восклицал прокурор. — Обезумевшие толпы вооруженных бунтовщиков хотели повернуть историю, отбросить страну в эпоху варварства и беспросветной дикости. — Боже, великий и милосердный! Неужели действительно вернулись мы во времена варварства и дикости? И неужели, спрашиваю я, вы оставите, господа судьи, этот плевел на земле, способный еще распространять среди нас семя злобы и человеконенавистничества? Нет, господа судьи, я не поверю этому. Я думаю, что жива еще высокая любовь в сердцах наших, вот почему я взываю к вам и надеюсь, что вы с чувством великого облегчения вырвете с корнем этот, распространяющий зло, плевел...

— Обратите внимание, он смеется.

— Кто смеется?

— Подсудимый смеется... Это уже страшно, господа...

— Плевел, распространяющий зло, исчадие ада, чудище! Откуда только слова берутся? Отметит же господь человека подобным дарованием, златоуст, чистый златоуст!..

— Что говорить, речь панихидная...

— То-есть как?

— Хм! Весьма понятно-с, куда наш уважаемый прокурор метил.

— Но подсудимый-то, подсудимый-то, одно великолепие, хотя бы глазом сморгнул! И ведь не стар, жить бы да жить.

— Такие люди ничем не дорожат, порода разбойничья.

— А вот нашим дамочкам нравится, и весьма-с, Ольге Павловне, например.

— Это какой?

— Молодой супруге правителя канцелярии, бывшей девице Коростылевой.

— Ах, Лелечке! Ну, знаете, это, знаете, женщина со вкусом.

— Бедный правитель канцелярии! Для нас он большой чин, а у Лелечки в должности регистратора состоит, любовников регистрирует.

— Тсс!..

— Да, чего там, ведь это же каждому известно... Терпеливый человек правитель канцелярии.

— Любит, значит?

— В том и дело, что любит, и что бы ни говорили про супругу его благоверную, какие бы документы ни предъявляли, не верит...

— Счастливый человек!..

— Хы-хы-хы! Лучезарное счастье!

— Послушайте, а ведь они его под самые квитки подведут.

— Это вы о ком? Ах, ну да, конечно же, вы как же думали? По-моему, уже подвели.

— Защитник будет?

— Говорят, будет, из неизвестных, какой-то Брас или Барс, точно не знаю.

— Может быть, поставим?

— На что поставим?

— На лучезарное счастье, чудак, на лучезарное счастье подсудимого. Хочешь, по две сотни? Совсем по-американски будет, они на все ставят — на жизнь и на смерть.

— По две сотни я согласен. Ты за что?

— Я за квитки подсудимого...

— То-есть: прощаюсь, ангел мой, с тобою?

— Вот именно-с...

Двое друзей поднялись, чтобы пойти в зал суда; из дверей они увидели высокого человека, который подходил к отведенному месту для защиты.

— Вот это и есть Барс?

— Брас...

— А-а-а...

Все усаживались на свои места, и было при этом шумно, точно в театре во

время антракта, и так же чинно, прилично и вежливо в обращении друг с другом.

Высокого, бритого, в длинном сюртуке Браса увидели все и оценили сразу. Худощавое лицо, чуть смуглое, прямой энергичный нос, голубые всеобъемлющие глаза глядели в зал с некоторым удивлением, как будто человек собирался спросить присутствующих: куда и зачем пришли они?

Прозвенел колокольчик, очень радостно, точно детский лепет, очень тонко и нежно, точно первая утренняя песня птицы, и было это безумным нарушением чинного выражения казенных стен и казенных судейских лиц.

— Слово защите, — сказал председатель.

— Ну что же, — начал Брас, и голос его пронесся в зале как дуновение ветра или вздох, и показался этот голос таким слабым и безнадежным, будто человек находился в широкой пустоте и знал, конечно, что тут можно кричать, вопить, бесноваться, и никто никогда не услышит. Эта «неуслышимость» была явственной, которую все в ту же секунду и ощутили, оттого стало страшно вдруг, безнадежно и тоскливо. — Я, пожалуй, готов отказаться, господа судьи, и не говорить речи моей в защиту подсудимого, — продолжал Брас, — зачем она, если все предreshено, если все находят и убеждены, будто подсудимый, машинист завода братьев Ланге, есть исчадие ада, злодей, изверг рода человеческого? И обратите внимание, что обвиняемого не хотят принимать за обыкновенного человека, который вынужден был, силою обстоятельств, взяться за оружие, так как не было еще случая мирного соглашения рабочего с хозяином, и всегда, при всех условиях, рабочий, добиваясь своих прав на пропитание, на жалкую, подневольную жизнь, вынужден бастовать, уходить с предприятий, бежать из города, наконец, в поисках заработка в другом месте. Вы скажете, что это не так, и обвинитель утверждал, что не так, и будто все условия предоставлены для честного труда. В чем же, однако, дело, господа судьи? Почему вся исто-

рия развития нашего государства, развития нашей промышленности идет до сих пор по пути бунтов, восстаний и вооруженных столкновений? В чем тут причина? Простите меня, господа судьи, за вопрос этот, потому простите, что вы сами прекрасно осведомлены о причинах, и, по сути дела, мне и спрашивать-то вас не следовало, ибо вы, вне зависимости от ваших убеждений, знаете основное положение «Коммунистического манифеста», которое гласит, что «история общественного развития есть история борьбы классов».

Рука председателя потянулась к звонку, но на полпути остановилась, судьи, да и сам председатель, снисходительно заулыбались, желая, видимо, улыбками своими сказать, что вот, мол, какие мы свободолюбивые и терпимые, что разрешаем говорить все, и не даром же издан, дескать, манифест о свободах.

Между тем публика пропустила мимо ушей основное положение из «Коммунистического манифеста», ибо большинство (скорее, все поголовно) были далеки от каких бы то ни было идей, а тем более коммунистических. Вот это самое умственное состояние публики и принял во внимание председатель, когда рука его направлялась к звонку, то же учуял и Брас, но все же решил итти напролом.

— Само собой разумеется,—продолжал он,—что в положении подсудимого, в особенности такого, каким является мой подзащитный, разумнее всего просить пощады и совершенно не упоминать о справедливости...

— Господин защитник, — подал голос свой председатель, — не вынуждайте меня делать вам замечания...

— ... о справедливости, сказал я,—не унимался Брас, — потому что справедливость в таком деле не при чем, так как у каждого класса, надо полагать, имеется свое понятие о справедливости, и, ей-богу же, господин председатель, я ничего еретического и обидного не говорю. Судите сами, что при наличии нескольких точек зрения на справедливость обвиняемый, дерзнувший взять в руки оружие для защиты своих погранных человеческих прав, будет рассмат-

риваться, как злодей и величайший преступник, это ваша, господин прокурор, философия, и так как в схватке тысяча девятьсот пятого года восставшие оказались технически слабыми и малоподготовленными, понесли тяжелые жертвы, кровью своей заплатили за дерзость и были побиты, то, само собой разумеется, никакое справедливое решение к обвиняемому неприменимо, справедливость очутилась на стороне победителей, и победители спешат оповестить весь мир, что самая справедливая справедливость—с ними, и в подтверждение этого увеличили число церквей и тюрем, а справедливость поместили за плотную изгородь штыков...

Поднялся шум в президиуме, и прокатился возмущенный рокот по залу, звонок председателя кричал и бесновался. Кто-то попытался свистнуть, но свист мгновенно замер, и вдруг раздалась хлопкая, хотя и слабая, однако, довольно дерзкая в этом строгом зале. Все были уверены, конечно, что защитника лишат слова и таким образом судьба подсудимого будет решена. Брас спокойно ожидал, когда водворится тишина; он стоял с высоко поднятой головой, уставившись в одну точку. Он не раскаивался в своей дерзости и совсем не надеялся на то, что ему удастся спасти машиниста Грязнова. По правде, он хотел только воспользоваться правом защитника, чтобы отсюда, из залы, прокричать на всю страну о лицемерии царского суда, о беззащитности и злобе врагов рабочего класса.

Больше всего недовольны были судом, а главным образом поведением обвиняемого, Фридрих Ланге и Карп Полуденов. Они хотели насладиться унижением машиниста Грязнова, они жаждали его слез, униженных просьб о помиловании, они думали, что перед ними предстанет жалкий, трясушийся от страха раб, и, если бы это случилось именно так, они, может быть, смилостивились бы.

А машинист не размышлял совсем ни о милости, ни о пощаде к себе, напротив, он был уверен, что дело его конченное, да если бы и не было кончен-

ным, все равно, после тяжкого избиения его в поселке Быково, Грязнов чувствовал приближение конца и вовсе не думал о дальнейшей судьбе своей и в душе был очень доволен дерзкой речью защитника и вполне одобрял эту речь.

Шум угомонился, председатель сделал первое предупреждение защитнику, и защитник заговорил снова. Он свернул с прямой защиты, он стал рассказывать о прошлом подсудимого и вместе с тем передал, кратко, биографию российского пролетариата, рассказал о многострадальном пути его, о том, как либеральные, но довольно невежественные историки обвиняли пролетариат в пристрастии к выпивке, к разгулу и буйству. Историки эти, проливая слезы, убеждали всех в неспособности пролетариата воспринять культуру и старались убедить, что в русском рабочем самым ценным считается его душевная простота и умственная невинность, и все это как будто и является похвальным достоинством рабочего люда...

— ...И вот, когда этот рабочий взялся за оружие, чтобы изменить в корне свинскую свою жизнь, все болельщики о рабочем народе, все господа из лагеря сочувствующих либералов крайне были удивлены и перепуганы, потом они озлобились, завопили об анархии, о гуннах и в кликушеских речах своих принялись пророчествовать о приближении антихриста и чорт знает о чем еще. Чем же эти господа были, наконец, удовлетворены? Они были удовлетворены, когда простые человеческие желания рабочих, их естественные, законные требования, были выжжены артиллерийским и пулеметным огнем и пришпилены штыком. Но это не все, господа судьи, пролетариат был еще заклемен позорным именем злодея, изверга, разбойника с большой дороги. На что же, спрашиваю я, может рассчитывать подсудимый? На милость и снисхождение? Но ведь он, подсудимый, да и я также не хотим милости и не просим снисхождения. Наоборот, мы склонны обратиться к справедливости, к нашей справедливости, господа судьи, беспристрастной перед лицом истории...

Брас кончил и собрался, кажется, уходить, так был он уверен в решении суда, что не захотел даже и слушать...

XV

И действительно, Брас не ошибся, машиниста Матвея Грязнова приговорили к повешению.

Первые дни октября были солнечные, с небом светлосиним, приветливым.

— Везет мошеннику, — говорил Фридрих Полуденову, намекая на предстоящую казнь машиниста, — деньки установились на славу.

— Что говорить, деньки праздничные, Дрикс Иваныч, — соглашался Полуденов. — Ну, только, я думаю, злодею нашему оттого хуже будет, жальче с видами на жизнь расставаться, я так понимаю, Дрикс Иваныч.

Разговаривали они приятно и с большим аппетитом. Готовились к казни ненавистного им человека торжественно и строили предположения, что, наконец, тут-то, то-есть под петлей, непокорный смирится, падет на колени и будет рыдать. Надо рассказать, что Фридрих Ланге договорился с исполнителями казни о том, чтобы все было сделано неторопливо, со внушением, с устрашающей медлительностью, даже о гнилой веревке разговор был, вот ведь до чего! Все эти приготовления потребовали немало расходов, но и тут, в будничном этом вопросе, Фридрих сговорился с единственным соучастником, ныне другом своим, Карпухой Полуденовым, и Карпуха не отказался принять половину расходов и согласился своим на расходы поверг Фридриха в изумление.

— Стары мы с тобой, Карпушенька, и недоверчивы, — сказал Фридрих, — однако прими поцелуй мой, как доказательство душевной любви. — От одной мысли видеть унижение занималось у Фридриха сердце от внутреннего пламени, — так была сладка месть. Конечно, Фридриху и Карпухе хотелось наслаждаться вполне, но для такого их удовольствия нужно было бы повесить машиниста Грязнова на заводском дворе, на глазах рабочих. (Ах, это было бы

прекрасным уроком всем, всем, всем...) Чтобы угостить кровь, отправился Фридрих в заводские корпуса. В механическом цехе встретил Якова. Заметив раздумчивые глаза племянника, полюбопытствовал:

- Что ты смутный такой?
- Отстаем, дядюшка...
- Не понимаю тебя, Яшенька.
- От Европы отстаем...

— Да ну-ка, ты! — отмахнулся Фридрих. — Чего еще тебе надобно?

— Поехать бы, поглядеть, как там? — отвернулся, сделал озабоченное лицо. — Мне бы и не говорить вам, техника нынче — первое дело...

- Это верно...
- Отпустите, дядюшка...
- Вон ты куда! Ну, что ж, ничего не могу сказать. Когда ехать-то собираешься?

— Ехать я всегда готов, хотя бы и завтра, дело мое холостое: лег — свернулся, встал — встряхнулся, вот и сборы все.

— Гм! А ведь я тебя угощением побаловать собирался, угощение у меня, племянник, приготовлено.

- Что же это может быть?
- Будто не знаешь?

— Даже и не догадываюсь, дядюшка.

— Грязнова вешать будут, машиниста нашего. Запоет, сукин сын... Мы с Карпухой допущены будем, ну, и тебе не посмеют отказать. Оставайся, обожди денька три.

Уговаривая племянника, Фридрих приглядывался к нему, к его глазам, таким же раздумчивым, как у покойного брата Генриха; приглядываясь, думал:

«Блаженный, чорт, из интеллигентов, зря задерживаю».

Говорил, хмурясь:

— Конечно, дело твое, все это пустяки, кровь волновать не следует без пользы, поезжай себе с богом, деньги понадобятся, скажи...

Станки токарные, строгальные, сверлильные, фрезерные, болторезные обступили Фридриха Ланге со всех сторон, они выстроились улицами, переулками, тупиками и на разные ла-

ды, подвываньем, скрежетом, игрою шестерен, славили имя хозяина, его могущество и силу. Станки, казалось, брели мимо, как железное стадо покорных животных, подгоняемые пастухами, мастерами цехов.

Проходя мимо нерукотворного спаса, снял широкополую шляпу, перекрестился, думая о племяннике: «Чорт с ним, пусть его за границу едет, образование подневлять, а уж мы и так, своим умом, как-нибудь обойдемся».

Услышал, кто-то шумно вздохнул за спиной, узнал мастера Капитона, Семякина.

— Ну что, как дела идут, Капитон Иваныч?

— Слава тебе, пречистая, преблагословенная, — привычно забормотал Семякин. — Спасибо вам, Фридрих Иваныч, дела трусков — и мы с куском, бога гневить нечего.

— Так, — сказал Фридрих и захотел похвалиться. — Слышал, как машинист Грязнов отличился? Хы! Петлю заработал дурак... Старался я, выкупить хотел. Слышишь, Капитон? С губернатором говорил, под свое ручательство хотел взять, не уважили.

Заметил легкую ухмылку мастера, обиделся:

— Да ты не смейся, правду тебе доказываю.

Мастер зашептал молитву.

— Дело начальства, Фридрих Иваныч, начальству виднее.

Фридрих рассердился окончательно, однако промолчал, не хотелось обижать преданного человека, отмахнулся пренебрежительно и направился дальше. Минувя слесарную мастерскую, вспомнил старого мастера Доната Перелькина. Нельзя было не вспомнить: сорок пять лет вместе работали... Подумал, опечаленный воспоминаниями: «Боже мой, боже мой, неужели сорок пять лет? Вот и нет Доната Перелькина, уволен за неуважение к Полуденову, подумает только, за неуважение к Полуденову! На равной ноге захотел быть. Плюнул бы, на какой ему чорт было равняться, нос задирает... Да и Карпуху нельзя было не уважать...» Не заметил, как выговорил вслух:

— Персона, дьявол его задер! —

Шел по цехам, по привычке отдавал распоряжения, по привычке замечал все. Изредка поднимал над головой ученика или подмастерья тяжелую руку свою и каждый раз воздерживался,—девятсот пятый годок сократил Фридриха. А все-таки хотелось иной раз лизнуть ладонью по затылку. Ах, времена, времена! Времена ничего хорошего не обещали, то-есть чорт его знает, что еще может быть!.. В цехах образцовый порядок, во дворе порядок, а в душе что-то непонятное. Фридрих послушал заводской гудок, возвещавший окончание работ, гудок все тот же, давнишний, с раздумчивым таким подвываньем. Сорок пять лет тому назад гудок кричал веселее, бодрости было больше, обещаний больше, но, может быть, это издали кажется так? Фридрих перебирает в памяти прошлые годы и вдруг обнаруживает: годы эти ничего не оставили после себя такого, что можно было бы снова ощутить и пережить с прежним волнением и страстью. Улицы города давно уже пробежали мимо завода и терялись теперь где-то далеко, версты за три, за четыре, и отодвинулся лес, и рощица с кривобокими березами, тенистое пристанище подгулявших мастеровых, ничего не оставила после себя, даже ошипанного кустарника. Перед Фридрихом стояли казарменные, красного кирпича, стены завода, мертвые, если бы не дыхание машин, свист пара и гуденье вентиляторов. Как же, однако, началось все это? Фридрих не мог припомнить с точностью. Прежние заботы, боли и тревоги не царапались у сердца, и многие заботы, на которые крови попорчено чорт знает сколько, теперь казались прямо смешными и за них стыдно даже было, до того они мелки и ничтожны за изгородью в сорок пять лет. Поговорить бы с кем! Было ли на самом деле это прошлое или человек живет настоящим только? Поговорить бы с кем... Фридрих пугается: поговорить можно только с Карпухой, вот как обернулось дело, остался один Карпуха. И Фридрих идет к нему, в его кабинет, который занимал когда-то Епимах Киндеев.

Солнце скрылось, потянуло пропыленным холодком, какой бывает только осенью; день сразу поскущел. По двору, к проходной, шли рабочие, другие, не те, что были до девятсот пятого года, те хотя и ругались на чем свет стоит, да зато были разговорчивее; эти нет, эти молчат и друг на друга не смотрят. Рабочих тысячи две, они торопливо выбегали из дверей корпусов, сталкивались во дворе и тут образовали зыбистое, шуршащее течение черных и молчаливых человеческих лиц, а на лицах каменные, совсем без движения, глаза.

Фридрих стоял на крыльце конторы, переминался грузно с ноги на ногу, но сдвинуться не мог, его обезволили неподвижные, точно каменные, глаза рабочих; две тысячи пар глаз — это было слишком много против одного. Конечно, если бы это случилось в молодости, тогда Фридрих ринулся бы в самую гущу толпы, оскалил бы зубы и оголил глаза. Фридрих, медленно переступая, пятится к двери, отворяет ее широкой спиной своей и как будто проваливается в обширные сени и поскорее захлопывает дверь.

— Чаю мне, Карпуша, — приказывает Фридрих с ходу, — что-то у меня в груди теснит.

Шла ночь, почти янтарная, так была она свежа и прозрачна. Фридрих в первый раз за всю свою жизнь был расстроган видением, он как будто размяк весь и почувствовал вдруг, что ослаб и хочет забыться, хотя бы на один час только. Сидя в глубоком и очень покойном кресле, он неожиданно почувствовал неодолимое желание пожаловаться на обиды, которых не знал, но пытался сочинить сейчас же, как только остался с глазу на глаз с Полуденовым, единственным человеком, душу которого он понимал и находил почти родной, и очень радовался, что он, Фридрих Ланге, не одинок на этом свете. Желание поскореть и пожаловаться становилось нестерпимым.

— Вот, — неопределенно произнес Фридрих, — какие люди нынче пошли...

Он еще не успел развить своей мысли и, не имея навыка вести душевные

разговоры, так бы и застрял на первоначальном слове своем, но Полуденов уже подхватил сказанное; он заговорил о машинисте Грязнове и как-раз угодил в точку.

— Люди, Дрикс Иваныч, действительно несуразные образуются в нашей жизни, вполне понимаю, как совместный с вами наблюдатель. Я ведь говорил с ним: чего тебе нехватает, Матвей Григорич? Жалование ты получаешь окладное, дай бог всякому, а, между прочим, глядишь в хозяйскую сторону бирюком.

— Разбойничья душа у человека, — сказал Фридрих, — закаменела душа, вот и причина всему. Где надежных людей сыщешь? Нету надежных людей!.. Что ты говоришь?

— Совершенно правильно, говорю я, — вздохнул Полуденов, — надежды мало на людей, теплоты душевной нет в людях, горло, того и гляди, перетрызут. Недалеко ходить, жена, покойница Степанида, как ведь я любил-то ее, вспомнить страшно о страданиях моих, а вот, по прошествии лет, вдруг тебе в самое сердце заноза.

Карп снизил голос, придвинулся ближе, глаза в пол и платочком отирает их. Даже Фридрих заинтересовался, голову наклонил, стал слушать:

— Рассказывай, рассказывай...

— Рассказня моя длинная, Дрикс Иваныч, в малые слова не уложишь. (Полуденов хотел жалости к себе и старался говорить чувствительней, платочком глаза прикрыв и вздыхал часто). Сын, Гурий, Дрикс Иваныч, оказался фальшивого производства, хотя я не рыдаю и получил облегчение через это: не моей крови сын, вот какое дело! Покойный Епимах Лазарич глаза открыл и письмом факт измены жены моей удостоверил. Какая уж тут верность людская!

Фридрих выслушал, он откинулся на спинку кресла и вдруг почувствовал, что ему стало легче дышать; он отвернулся. Скрывая улыбку, спросил:

— Который нынче день-то? Так, так, вот она какая история неподобающая... Ну, что же, ничего, Карпушенька, не поделаешь... Так, так... Пятница, гово-

ришь? Поеду, к надзирателю тюрьмы поеду... Два дня жизни Грязнову осталось, за неверность бог тоже карает.

Фридрих поднялся, и поднялся Полуденов. Так стояли они, огромные и тяжелые, и было заметно по лицам их, они довольны тем, что нашли утешение, значит, жить еще можно на той земле, где сам бог карает людей за неверность.

А Матвей Грязнов в эту прозрачную ночь лежал на койке в тюремной камере и не то спал, не то видел все наяву. Высоко над дверью горела тусклая керосиновая лампешка, в углы камеры сползали жирные, казавшиеся сырими, тени. Глаза машиниста были открыты, но малоподвижны, как будто бы человек пристально разглядывал что-то и, разглядывая, угадал, наконец, затанцевавших в теневых углах врагов и приготовился к защите. Губы Грязнова припухли и, необычайно румяные, шевелились.

— А-а-а, пришли все-таки, — хрипел машинист, и голос его страшно шуршал и часто обрывался, — пришли? Ну, чего же вы? Ладно, чорт с вами, ждите, мне все равно, спать я не буду, нет, чорта с два, я вчера спал, третьего дня спал, я все время спал...

Глаза машиниста засияли торжеством, он поднялся на локтях и положил голову выше, чтобы видней было тех, за кем наблюдал он.

— Вот теперь совсем хорошо, — тихо произнес Грязнов. — Х-ха! Ну-ка, подходите!

Вдруг тени в углах около двери стали сползать к порогу, расплываться и пропадать. Лицо Грязнова преобразилось, оно стало удивительно спокойным, легкая улыбка чуть тронула губы, глаза полузакрылись. Откуда-то, должно быть, с улицы, доносятся звуки шарманки, они похожи на что-то такое, что можно слышать только в детстве; от этого хочется плакать, и не потому, будто случилось непоправимое горе, нет, не потому. Просто не вмещается в сердце радость, слишком большая и оттого очень тяжелая для человека. Нет, это не так, скорее всего, хочется плакать по другой причине, потому что открылся мир, о

котором мечтал, мир открылся во всем сиянии, и человек стал дышать золотым дуновением солнечного ветерка. В действительности грудь машиниста Грязнова поднималась очень тяжело, с клекотом и свистом. Вот отчего в камере стало светлее, будто окно камеры к приходу зари повернулось на восток. Сейчас уже нельзя представить лиц врагов, которые прятались в затененных углах камеры, и вообще все тяжелое, отвратительное и страшное отошло. Грязнов сознает только одно, что он выздоравливает и с каждой минутой становится все сильней и сильней. Оттого, что ему бесконечно хорошо, оттого, что он может сейчас подняться в воздух и покачиваться там, как любимый сын на руках нежной матери, машинист Грязнов приподнимается, спускает ноги на пол; он действительно хочет пойти к этой женщине, он слышит ее шаги и сам торопится навстречу, но вот она появляется в дверях; ослепленный ее улыбкой, он становится на колени и вдруг, ослабевший и бесконечно счастливый, падает на бок...

Тюремный надзиратель и Фридрих Ланге, пришли в камеру через час, в камере было холодно и сумрачно, лампа над дверью чадила и гасла. Нетерпеливый Фридрих перешагнул порог первым; споткнувшись, он матерно выругался и отступил, тогда надзиратель, очень услужливый и любезный с сердитым миллионером, зажег спичку и увидел под ногами неподвижное тело машиниста Грязнова. Принесли фонарь, Фридрих Ланге склонился; он заметил спокойное, умиротворенное лицо своего врага и широко открытые мертвые глаза.

— Злой дьявол, — сказал Фридрих Ланге, обиженный преждевременной смертью Матвея Грязнова.

XVI

Годы идут и идут, но это ничего не значит; в неподвижном времени многие истины остаются неизменными, так по крайней мере утверждает Сергей Андреевич Солунцев. Прошло шесть лет, и с Солунцевым никто уже не спорил,

с ним все соглашались и ему все внимали (говорят, между прочим, что подлинное внимание подобно суперфосфату: оно, это внимание, способно будто бы оживить даже и застывшую человеческую душу, пробудить в ней благу потребность отличиться, подняться выше обыденщины, уважать себя и других; что же касается душ впечатлительных, то они немедленно становятся поэтическими и начинают прославлять все, в первую очередь, конечно, ближайшее начальство, то-есть души, подобно оскудевшей земле, становятся тучными и чрезвычайно плодоносными, и все это благодаря вниманию). По совести, Сергей Андреевич никаких истин не открывал, он провозглашал только то, что сначала рождалось в кабинетах начальства и по истечении некоторого времени становилось достоянием всего населения; но самая возможность общаться заранее мысли начальства обращала мудрость этих мыслей именно на Солунцева, потому-то среди своих знакомых и прослыл он человеком смелым, почти дерзким, а многие прямо-таки считали его пророком, простодушно удивляясь осуществлению его пророчеств. Лишь редкие, действительно умные, но молчаливые, знали, что все, о чем вещает Солунцев, будет потом опубликовано в газетах или объяснится очередным циркуляром по губернии.

— Ну, что такое наша вторая государственная дума? — вопрошал Солунцев почитателей своих и гостей, собравшихся послушать пророка. — Сборище вольнодумцев, которые хотяят, видимо, повторить кровавый девятьсот пятый год. Ведь это же ужасно, ведь это чорт знает что! Я лично придерживаюсь того мнения, что сборище этих вольнодумцев надо разогнать и больше ничего.

— Позвольте, Сергей Андреевич, — как то-есть разогнать? — возражали Солунцеву. — Это чересчур смелое, почти дерзкое желание — разогнать представителей народа...

— Ничего дерзкого в мыслях моих нет, — скромно улыбался Солунцев, — я так полагаю, и только; я никому не навязываю своих мыслей, но простое

соображение, разумное соображение, подсказывает мне, что думаю надо разогнать, и чем скорее, тем лучше.

Происходил этот разговор в начале мая тысяча девятьсот седьмого года, а в июне вторую государственную думу действительно разогнали; это обстоятельство еще более укрепило за Солунцевым славу провидца, мыслителя и пророка в умах его знакомых.

Годы идут и идут. И это очень много значит, потому что истины, оказывается, меняются с каждым днем, и то, что принималось за истину в понедельник, во вторник становилось ненужным и глупым.

Дача Солунцевых на Клязьме все та же и гости те же. Но разговоры другие и убеждения тоже.

— Разве недостаточно евангелия, чтобы жить? — спрашивает жена Солунцева Варвара Александровна. — Вы помните, как там хорошо сказано?..

— Там сказано: «Не делай того другим, чего не хочешь себе». Ты очень кстати заговорила об этом, Варюша, — тотчас же подхватывает Солунцев, — и если бы мы сумели применить евангельские, божественные истины в нашем быту, тогда все устроилось бы совершенно иначе. Ну, да! Я говорю серьезно: жизнь, подобная весеннему небу, такому легкому, что оно кажется нарисованным, такая жизнь зиждется только на основах евангельских истин...

— Вы замечательно говорите, Сергей Андреевич, но ведь это же невозможно, — почтительно возражали Солунцеву, — в наш суровый, материалистический век — и вдруг евангельские истины, помилуйте, Сергей Андреевич!

— Очень печально, что вы так рассуждаете, — говорил Солунцев, — значит, все прекрасное, все, о чем мечтаешь годы, что грезится и преследует, — пустая детская мечта? Так я вас понимаю?

— Нет, нет, зачем же, — вступилась вдруг Левашева Анна, — я стояла несколько ближе к тем людям, которые были виновниками восстания. Тогда, в девятьсот пятом году, я знала Кракова, Самохина, Браса и еще кого-то. Слава богу, прошло пять лет, пора и позабыть, не правда ли? И вот теперь, когда и го-

ворить-то не следовало бы, я скажу, что ваша идея, Сергей Андреевич, о применении евангелия, евангельских истин, может быть осуществлена лучше всего у нас, в России, где еще можно найти бога в простой душе нашего крестьянина, но что именно следует делать для распространения вашей идеи, Сергей Андреевич, нам неизвестно. Между тем хочется страстно участвовать в создании особой, социалистической религии, если можно так определить вашу идею, Сергей Андреевич...

— Да, да, именно так, — шептал растроганный Солунцев. — Создание социалистической религии! Что может быть выше, господа? Что может быть светлее и возвышенней этого?

Сердцем Солунцева овладела высокая, всепрощающая любовь; он до того проникся мыслью о христианском социализме, что почувствовал вдруг какое-то необъяснимое физическое недомогание, как будто добрую половину крови своей отдал для спасения ближних и теперь изнемогал от умиления перед собственным поступком, и, если бы не удерживал его практический разум, он, пожалуй, воскликнул бы: «Приидите ко мне, все алчущие и жаждущие, и аз успокою вы». Весенняя пасмурь, стоявшая перед окнами его особняка, казалась ему озаренной радужным сиянием; правда, радужное сияние видел только один Солунцев, но это ничуть не понижало восторженного состояния его души. Он готов был всерьез поверить в свое открытие, то есть, что все жизненные противоречия (главным образом классовые, конечно) можно просто и легко разрешить одним осуществлением христианских истин.

— А Брас-то застрелился, — буркнул не во-время бывший слесарь Травин, — тогда же после судебного процесса, помните, судили машиниста Грязнова?

— Ах, Илья, зачем ты, Илья! — метнулась к Травину Левашева. — Об этом давно следовало бы позабыть, это так далеко теперь...

— Нет, нет, — поднял руку Солунцев, чувствуя себя в положении не то божьего посланника, не то Иоанна Кронштадтского, пришедшего к людям с призывом

образумиться, — Илья Степаныч как-раз подал мне новую мысль, которая, можно сказать, носится в воздухе, мысль о том, что теперь, в особенности после манифеста, при наличии государственной думы, стыдно прятаться нам, свободолюбивым людям, и стыдно тем, кто уходит в подполье. Подполье изжило себя, с подпольем надо кончать, теперь незачем и не от кого прятаться. Россия, многострадальная Россия, вступила, наконец, на широкий путь мирного содружества с правительством. Сейчас, как никогда, мы действительно пойдем семимильными шагами к прогрессу и высокой культуре, к радостному, счастливому труду.

Солунцев в эти вдохновенные минуты переживал свою далекую молодость; он пытался убедить всех, кто окружал его, что все так и есть, как говорит он. Оглядывая внимательные лица гостей, замечая их поощрительные улыбки, он заряжался пафосом, гремел, обличал, негодовал, плакал сердцем, пламенел душой, взывал и пророчествовал:

— Брас застрелился? Ну что ж, так оно и должно быть. Люди такого типа, каким был Станислав Брас, всегда и во всем отличались своеволием; им чужд дух государственности и порядка. Человек с узкопартийными взглядами, с душой солдата, идеалом которого является казарменная жизнь, не может понять, что человеческое общество никогда и ни при каких условиях не будет жить по партийному уставу.

— Вы не волнуйтесь, Сергей Андреевич, — сказал Травин, — я совсем не жалею Браса и вообще я не сочувствую ему.

— Илья правду говорит, — удостоверила Левашева, — у нас же ничего общего с таким человеком не могло быть.

— А Самохин? — спросила Варвара Александровна. — Вы, Илья Степанович, были его другом и очень близким, как мне кажется?

Травин краснеет, он глядит на Левашеву и молчаливо просит поддержки. «Скажи им, — хочет вымолвить Травин, — скажи им, Анна, что они ошибаются, ты лучше меня сумеешь сказать, ты заступись за меня, ты знаешь,

как я люблю тебя, и я знаю, как ты любишь меня, и тебе должно быть больно за меня».

Не дождавшись заступничества Анны, Травин заговорил сам, стал оправдываться сбивчиво и неловко:

— Вот это уж и неправда, Варвара Александровна, и я просто не понимаю, как вы могли подумать. С какой же это я стороны довожусь другом Дорорея Самохина? То-есть, что я бывал когда-то вместе с ним на вашей даче? Ну так что же? Ведь это так и очень случайно.

— И мы давно отошли уже, — вступилась, наконец, Левашева, — мы отошли еще в девятьсот четвертом году, и вообще у Ильи совсем другие задачи.

— Совершенно верно, у меня совсем другие задачи, — присоединился к Левашевой Травин, — и, кстати, вы это прекрасно знаете, Варвара Александровна, — в этом году я кончаю мои занятия в консерватории, и я уже получил приглашение в театр к Зимину.

— Вы напрасно так близко принимаете к сердцу мое замечание, Илья Степанович, — сказала Варвара Александровна, — я лишь только спросила вас насчет Самохина и вовсе не навязываю вам его.

— Тем более, что его уже нет в живых, — ввернул Солунцев. — И нехорошо, господа, что мы отошли, забыли основную тему нашей беседы. И кроме того, когда я вспоминаю прошлое, я вспоминаю мою глупость, я был глуп, господа, я занимался чорт знает чем. Я не умел жить, а жить надо уметь, чтобы чувствовать каждый новый день, пропускать его через себя, сознавать, что ты живешь, и, честное слово, господа, это самое главное, а все остальное химера, химера и еще раз химера!..

— Милый, как ты сегодня хорошо говоришь, — сказала взволнованная Варвара Александровна. — Во имя чего жертвовали мы жизнью своей, благополучием, личным счастьем? Чтобы над нами издевались потом, над благородством нашей души, над большим сердцем нашим, которое истекало кровью за народ? Я не хотела говорить об этом, я боялась волновать тебя, но сегодня, когда ты заговорил сам и ответил на мои

затаенные мысли, я не вправе молчать. Мне давно хотелось сказать: я не хочу повторять прошлое. Правда, в прошлом я находила утешение в любви моей к народу, я жертвовала для народа всем, всем... (Чем жертвовала Варвара Солунцева, она так и не сказала, но ей верили, что она действительно жертвовала всем для народа, и, прежде всего, она верила в это сама, и в эту минуту говорила искренно и взволнованно, и ее огорчило, что народ не оценил по достоинству ее жертвы, и Варвара Александровна негодовала теперь по этому поводу, негодовала на народ, который оказался неблагодарным. Еще девушкой, во времена отдаленные, она решилась пойти в народ с проповедью любви, добра и свободы, основанной на уважении к личности, кому бы эта личность ни принадлежала, и вдруг народ, к глубокому удивлению Варвары Александровны, захотел быть самостоятельным в действиях и вопреки ее ожиданию взялся за оружие в памятный тысяча девятьсот пятый год, чем и оттолкнул от себя добрую Варвару Александровну, и с той поры женщина вознегодовала, ушла в себя, затаила в сердце обиду.) Потом увидела я, что жертвы мои напрасны, народ-полудикарь остался равнодушным, и вообще то прекрасное, героическое, что ожидала я увидеть в душе народа, оказалось выдумкой, моей выдумкой, и я благодарю бога, наконец-то, я почувствовала, прозрела и рада тому, что могу жизнь мою посвятить ощущению самой жизни.

Весенний день подходил к концу, и наступающий час предвечерья напоминал чем-то давно прошедший вечер, тот самый, когда так же вот философствовал Солунцев о литературе и был еще далек от утверждения евангельских истин; но сейчас можно было еще легко вызвать в воображении всех уже исчезнувших теперь: Браса, который когда-то бегал в волнении по террасе и обязательно с кем-нибудь спорил, как будто бы возражая противнику, хотел прежде всего убедиться сам в истине, которой не знал по-настоящему, или же, узнав, сомневался. Теперь Браса нет, о нем следовало бы Солунцеву пожалеть, как

об интересном собеседнике, но с жалостью, вследствие личного самодовольства, ничего не получается, и Солунцев впадает в некую, весьма приятную грусть, которая нежит сердце. Он думает: «Господи боже, сколько потеряно сил на увлечения, искания, споры! И как хорошо, что я еще живу и сумею, конечно, исправить все, и увлечься только тем, что радует сердце и украшает жизнь».

Солунцев очень скоро и без сожаления забывает Браса, что же касается машиниста Самохина, о котором говорил потом как о страшном и совершенно бессердечном злодее, Солунцев припомнил его только в связи с Евгенией Строчилиной; но красота этой женщины совершенно затмевала образ скромного машиниста, и утомленный Сергей Андреевич занялся размышлением насчет будущего и утешился той мыслью, что после кровавых событий тысяча девятьсот пятого года Россия вступит на путь благоденствия, успокоения и полного содружества народа с правительством. И могло показаться тогда, что Солунцев прав.

XVII

На Первой Мещанской улице, во дворе большого каменного дома, где было много подъездов, много лестниц, коридоров и закоулков, стояла предутренняя тишина. Тонкая полоска оранжевой зари в сухом и мглистом небе обежала спящий город, потом она слиняла в серости пропыленных улиц и тогда только начался рассвет, подслеповатый, затхлый и медлительный. Часом позднее две женщины спускались по ступеням одной из многочисленных лестниц каменного дома. Первая женщина, помоложе и побойчее, с пухлыми губами, с редкими крапинками веснушек на лице, освещенном яркими голубыми глазами, весело сердилась, — она хотела быть серьезной, ей казалось, что все относится к ней снисходительно, будто к ребенку, и ее очень это обижало, и она старалась изо всех сил держать себя важно, с достоинством, но из этого намерения ничего не выходило. Молодая женщина хотела поскорее рассказать обо

всем, чтобы поняли, наконец, ее большие мысли.

— Может, ему не до меня совсем. Вы как думаете, Августа Павловна? Я говорю насчет Тихона. Вы знаете, как мы с ним живем, я ухожу к девяти часам в контору завода братьев Ланге, Тихон уходит в мастерскую еще раньше, я сплю. Я возвращаюсь — он спит; может, он меня совсем и не любит даже, вы мне скажите: любит или не любит?

Жена почтового чиновника, Августа Павловна, слушая, покачивала головой; она думала, что сегодня, хотя это повторяется каждый день, ей придется бегать по рынку от прилавка к прилавку, спорить с торговцами и торговками. Бегать она будет часа два-три, и все это ради того, чтобы купить продукты подешевле и, конечно же, посвежее. Мысли были еще и такие: «Все это неинтересно, а со временем и совсем будет скучно».

Все же, лишь бы собластны приличия и скрыть свои мысли, пожилая чиновница отвечала:

— Видите ли, Соня, вы меня извините, вы прожили на свете всего двадцать лет, а замужем каких-нибудь полгода, и все еще преодолимо, и, конечно же, он любит вас и вы его тоже любите, то-есть вы оба хотите любить.

— Я очень люблю Тихона, — признается Соня, — очень! И даже когда он приходит с работы грязный и потный, это ничего, я его все равно целую, и нос, и губы, и щеки. Ой, господи, что я только говорю, дура!

Женщины очутились на улице. Тут все искрилось в пыли, и улица лежала открытая, как косой овраг с отвесными стенами.

— У меня очень скучный муж, — сказала чиновница, — он говорит, что богу следовало бы создать одну только пару, зачем всех мучить? Одна пара могла бы перечувствовать и пережить за целый мир... Скучный у меня муж, и я его совсем не люблю, я привыкла к нему, только и всего...

Она отошла к прилавку с овощами и, отойдя, тотчас же позабыла разговор свой с Соней. В сознании улеглась мысль, что сказала самое умное, самое значительное. Может быть, и не свое,

но ведь это и неважно. Она читала или слышала от кого-то, что те, очень немногие, которые сказали свое и первоначальное, давно умерли, а все другие, жившие после и ныне живущие, повторяют первых, и так будет всегда, и, следовательно, стесняться нечего...

Запах сельдерея и укропа был удушлив, над кусками жирного мяса гудели стаи зелено-сизых мух, и пахло еще пылью, которую обильно полили водой. Через брезентовые крыши палаток проникла солнечная течь, она брызгала на потные лица торговцев и покупателей, падала под ноги и шелушила подсыхающую пыль.

«Почему эта наивная девочка обязательно что-нибудь рассказывает мне?» — думала Августа Павловна, вспомнив соседку Соню.

Чиновница нюхала пучочек укропа, нюхала и ничего не могла придумать и решить. Она заспорила с торговцем насчет редиски, потеряла мысль, увлеклась спором и позабыла все и думала только о сельдерее, укропе и прочей необходимой приправе.

«Боже мой, боже мой, у меня, кажется, нехватит денег».

Вот все, что осталось в голове женщины от встречи и разговора, после жаркой рыночной толкотни.

Между тем Соня нырнула под ворота, над которыми висела широкая вывеска слесарной мастерской:

*«Специальная починка ванн,
легких котлов и баков
для хранения воды».*

Соня пробежала кривым двором, между каменных амбаров, с узкими решетчатыми окнами; она остановилась за поворотом, откуда доносился частый стукоток молотков, гул железа и шипенье горна; остановившись, Соня подумала:

«А что буду я говорить завтра Августине Павловне? Что буду сочинять этой чиновнице о любви? Завтра она обязательно поймает меня у самых дверей. Хотя и дура, а все-таки...»

Весна пробралась и сюда, в этот сырой и холодный двор; солнце освещало какое-то деревцо у забора; деревцо со-

биралось расцвести (это был боярышник, очень растопыренный и кривобокий), белые, едва намечавшиеся венчики цветения взволновали Соню, она готова была стоять тут сколько угодно, по крайней мере, до тех пор, покуда будет падать во двор теплое солнце и цвести убогий боярышник. Соня слушает, как позванивают молотки, и думает со счастливыми слезами на ресницах.

«Я люблю его, я на самом деле люблю его, я правду рассказывала Августе Павловне, чистую правду, оказывается, и хорошая женщина, умная женщина, понимала меня и внимательно слушала».

Соня вспоминает вдруг, зачем пришла сюда; она поспешно отирает слезы, улыбается и бежит к дверям мастерской. В широко открытых дверях встречает ее Тихон Стригун, лицо у Тихона в копоти, руки шершавые и по локот в ржавчине, брезентовый фартук, закрывая грудь, падает ниже колен.

— Здравствуйте, — говорит Тихон, снимает кепку и кланяется так угодливо, как будто от роду работал приказчиком. — Ваша ванна готова, прикажете на квартиру доставить, или как?

Лицо у Тихона дергается, Тихон косит глазами в левую сторону от двери, подмигивает и, отступив, пропускает Соню в мастерскую.

— Я еще погляжу, как вы починили, — придиричиво говорит Соня и озирается по сторонам, — может, совсем и не починили...

Она проходит вглубь мастерской, замечает у горна Леонтия Чемерицына, обросшего клочковатой бородой; она видит грязного до неузнаваемости Петра Рассохина и рядом с ним незнакомого ей господина в длиннополом пиджаке, широкогрудого и необыкновенно высокого. Господин говорит:

— Заказов у вас прорва, стучите вы тут до позднего вечера, денежку с коньком зарабатываете, а платите гроши. — Человек шумно вздохнул, почесал жирную шею, задрал голову. — Спалите вы меня, ребята, право, ей-богу, спалите...

Высоко под крышей, со стропил, свисала широкими лохмотьями почернев-

шая от копоти паутина, липкая, должно быть, и очень холодная. Под ногами обрезки железа, по сторонам вороха жести, котлы, баки, ванны, и в каменной стене два узких, слепых окна, забранных железными решетками.

Тихон Стригун выволакивает ванну с блестящей внутренностью, недавно вылуженную. Тихон стучит о борт ванны молотком и расхваливает работу. Между прочим он говорит:

— Вы адресок дайте, а уж я вам ванночку предоставлю. — И почти на ухо: — Приходи к вечеру, все будет готово, с извозчиком и приходи.

Соня расплачивается, она соглашается, что работа исполнена хорошо, и очень громко сообщает Тихону адрес. Тихон занимается с заказчицей один, двое других мастеров старательно работают и не обращают внимания.

Соня собирается уходить, она чувствует между плечами странную неловкость, она оборачивается и замечает тяжелые глаза человека в длиннополом пиджаке. Соня пугается и почти выбегает во двор; она встречает на пути своем растопыренный боярышник, длинные, очень острые иглы дерева цепляются за сонино платье и царапают руку. Соня готова заплакать горькими слезами, она хочет, чтобы ее утешили, но во дворе никого нет, а возвратиться в мастерскую она не смеет, ее страшат тяжелые глаза господина в длиннополом пиджаке. Соня выходит на улицу, медленно бредет к Каланчевской площади, садится потом в трамвай и всю дорогу почему-то думает о тяжелых глазах, думает и не может отвязаться от этих дум, тоскливых, как предчувствие неизвестной опасности. Но за весь день ничего не случилось дурного. Соня сидела за своим столом в конторе завода и проверяла платежные ведомости прошлого месяца, она два раза встречалась с табельщиком, Кронидом Балабиным, в первый раз улыбнулась ему и даже подмигнула, во второй передала записку без подписи: «Ванна починена, сегодня в девять вечера привезут из мастерской. Жди непременно».

Соня сделала это с приятной улыбкой, и в конторе кое-кто знал уже, что

Софья Бравина влюблена в табельщика и, конечно же, метит выйти за него, стать его женой, и осведомленные относились к этому благосклонно и готовы были способствовать счастью молодых людей.

Проходит двенадцать часов, и во двор, где все еще гремит и стучит мастерская, въезжает ломовой извозчик; он ленив, добродушен и пьян.

— Чаво? — говорит он. — Ванную? Могую и ванную...

На телеге сидят Соня. Страшно тяжелую ванну едва поднимают двое, — Рассохин Петр и Тихон Стригун.

Медлительный день выходит со двора на улицу, падают неуклюжие тени и устанавливается тишина. Чемерицын Леонтий остается один, он разбирает вороха железа в углу мастерской и нажимает потайную кнопку звонка, и тотчас же поднимаются две короткие половицы и выходят четверо людей, очень утомленных и грязных, с бледными лицами. Они ничего не говорят с Чемерицыным, один за другим выходят из мастерской и скрываются за воротами.

— Ба-ам, бам! — звонят на колокольне церкви «Святой троицы».

«И любовь, как церковный перезвон, — думает Чемерицын, вспоминая Алевтину, которая уехала к сыну Ефимке на Урал, в село Сыростан, затерянное среди гор. — Да, и любовь, как церковный перезвон... И кому же я нужен теперь?» — спрашивает Чемерицын. Он садится на пороге мастерской, смотрит в небо, которое меняет сейчас цвета и становится, наконец, таким глубоко синим, как будто притотвилось принять все миры, проносящиеся во вселенной. Тишина двора, неба и одинокого боярышника становится до того чуткой, что Леонтий Чемерицын начинает слышать, как шевелится вокруг него вселенная, ощущение это до того странно, как будто бы сам Чемерицын затерялся в мире, и мир этот вымер миллионы лет тому назад, только осталось одно закатное солнце, густокрасное и очень тяжелое. И вдруг, когда от солнечных пятен не осталось и следа, появляется в начале двора господин в длинном пиджаке и за ним

шестеро вооруженных, с револьверами на-изготовку, полицейских.

Чемерицын вскочил. Лучше всего было бы бежать, скрыться в путанице дворов, но размышлять было некогда. Чемерицын, не успев закрыть широких ворот мастерской, затаился у задней стены, укрывшись за ваннами и железными баками. Об оружии он не думал совсем. Он нашел револьвер и бомбу в последний момент, когда полицейские показались в просвете ворот.

«Надо умереть, — решил Чемерицын и выстрелил, — надо умереть!»

После первого, неудачного выстрела Чемерицын стал целиться; он целился с хладнокровием сильного человека, он старался сосредоточиться и ни о чем не думать, но мысли бежали и бежали:

«Хорошо было бы умереть не здесь, в прокопченной мастерской, хорошо было бы умереть там, где простору больше, где воздуху больше».

Чемерицын почувствовал тупой удар в правое плечо, и рука его, вооруженная револьвером, повисла вдоль тела.

— А, сволочи! — выругался Чемерицын и, вылезая из-за прикрытия, взмахнул бомбой, но бросить бомбу не успел, пули полицейских ранили сразу в грудь и в голову. Гремя железом, Чемерицын выскочил на середину мастерской и свалился к наковальне, рука со всего размаху хлестнула по железу, бомба с оглушающим треском взорвалась, огонь, метнувшись вверх, вырвал в крыше лист кровельного железа. Тело Чемерицына еще раз поднялось и, обезглавленное взрывом, упало к порогу...

XVIII

А к т

Город Москва 1910 года апреля 25 дня настоящий акт составлен в нижеследующем:

В 1905 году, в Москве, среди преступных сообществ, возникших с целью ниспровержения существующего в России государственного строя, в значительных размерах проявляла свою деятельность местная организация Российской социал-демократической рабочей

партии. Преступная деятельность этой организации находилась под руководством «Московского Комитета РС-ДРП», в распоряжении которого для печатания и хранения партийной литературы имелись тайная типография и склад.

В ночь с 24 на 25 апреля 1910 года полицейскими агентами двенадцатого участка города Москвы, по доносу мещанина города Вязьмы, Михаила Опенкина, состоящего в должности управляющего домами купца Петунина, что по Первой Мещанской улице, был произведен обыск в слесарно-котельной мастерской, находящейся во дворе дома вышеуказанного купца Петунина, причем в подвале мастерской была обнаружена вполне исправная и годная для печатания типографская машина новой американской системы, пять типографских касс со шрифтом, два ящика с различными типографскими принадлежностями, четыре стальных верстатки, двадцать пять металлических досок для набора шрифта, десять валиков для растирания красок, мраморная доска, два куса рельс для установки на них рамы от типографского станка, такая же деревянная рама размером около квадратного аршина со стеклянной доской и двадцать одна гранка набранного шрифта. При раскопке земли в подвале были обнаружены шесть отлитых стереотипов, 76 патронов к винтовке Винчестера, 7 пустых обойм к револьверам «Браунинг» и «Маузер».

Помещение мастерской и подвала со всем обнаруженным в них было опечатано и сдано под охрану полицейскому начальнику местного участка.

При обыске вышеуказанной мастерской чинам полиции было оказано весьма упорное, вооруженное сопротивление, вследствие которого тяжело ранен младший полицейский агент Аким Крewanов и убит при разрыве бомбы квартальный Елизаров Петр, а также погиб сам преступник, оказавшийся в неизвестности, с оторванной взрывом головой и без соответствующих документов.

Акт составлен в городе Москве апреля 25 дня 1910 года.

Товарищ прокурора судебной палаты
И. Хапиловский.

В патриотических газетах, и не в патриотических также, очень кратко, без особого сожаления и негодования было сообщено, да и то через две недели, о гибели неизвестного, который дерзнул оказать сопротивление властям. Это было уже не первое сообщение о крови и смерти, люди давно привыкли к таким сообщениям и не удивлялись и, прочитав, позабывали сразу о том, что произошло и почему именно произошло. Город попрежнему просыпался под колокольный звон и жил в слепой пыли и шумел, волновался, кричал, любил и плакал, как это было десятки и сотни лет, не только в Москве, но и всюду, где жизнь была неустроенной, обидной и злой.

— Вот и все, — сказал Тихон Стригун, — и я не думал, чорт, будто кончится так...

— Нет, есть еще кое-что, — отозвался Рассохин. — Как же ты думал? Есть письмо, — чуть не забыл сказать; Ефимка пишет, ничего особенного не пишет, только очень уж чудно как-то: Алевтина умерла в ночь на двадцать пятое апреля, слышишь, Тихон? В ночь на двадцать пятое апреля!.. Мы долго будем помнить об этом...

— Конечно, будем помнить, чорт... Только им-то ведь все равно, Петруха.

— Кому? Леонтию Никанорычу, что ли? Ну да, теперь-то уж все равно, и Алевтине тоже все равно... А я все думаю: любили они друг друга очень, да еще как любили-то!..

— И совсем не предполагали, — сказал Тихон, — будто один умрет на заднем дворе в сарае.

— Будет убит бомбой...

— Я так и хотел сказать, — продолжал Тихон, — один будет убит в Москве, а другая умрет на Урале, и они никогда уже не встретятся.

— Это нам нужно, Тихон, — догадался Рассохин, — ей-богу, нам: и грустить, и любить, и жить нужно нам.

— Будем жить, — сказал Тихон.

Они разошлись. Городской день угорело метался в улицах города, он слышал все, принимал все и давно уже привык ко всему. Людские заботы и даже самые мысли, казалось, искрились ржавой пылью в медлительных лучах предвечернего солнца. День, в часах и минутах, в бесконечном времени, был простым свидетелем человеческой жизни и оттого, должно быть, казался серым и скучным необыкновенно; только под Воробьевыми горами, окунувшись в реку, он лежал светлый и празднично чистый, лежал прямо на песке, под крутым берегом, и на этот берег взбирался зеленый лес.

Старик Борбашев брел, прихрамывая, по самой крутизне; был Борбашев чуточку навеселе и высматривал местечко поукромней и побезлюдней, где можно отдохнуть, понежить больную ногу, перебитую винтовочной пулей в девятьсот пятом году. Борбашев привык к реке, которая извивалась внизу, к зеленому в проплетинах берегу, к тому виду, что открывался отсюда на город, привык за шестидесятипятилетнюю свою жизнь ходить сюда, отдыхать здесь, валяться на песке и думать о чем-нибудь хорошем, чтобы легче жилось ему, одинокому человеку, на свете. Борбашев имел тут любимые места, где можно было посидеть с удочкой, где подремать, укрывшись в тени. Он стал спускаться вниз; тут когда-то топорщился кустарник, а теперь росли высокие деревья, очень возмужалые, с морщинистой корой, и задумчивые от предчувствия надвигающейся старости. Борбашев угадывал деревья и про себя улыбался им, как старым знакомым, мимо которых не смел проходить равнодушно, чтобы не обидеть их.

Старик шел и бормотал все ласковое и хорошее, что только приходило в голову.

Небольшой стаканчик водки разбил кровь и подвесил мысли, и Борбашев подумывал насчет ночевки на берегу реки, лишь бы не возвращаться в пыльный город, в котором постоянно пахло привязчивой затхлостью непроветренного человеческого жилья.

Борбашева окликнули почти у самой реки, окликнул сиплый и заметно пьяный голос:

— Эй-эй! Лукич! Подходи, подходи, Сань-Ваня! А-ах, голубь сизокрылый! Скажи на милость, где свидеться пришлось...

Борбашев узнал Доната Перелькина, узнал и сразу утерял светлое свое настроение.

— Смотрю, гляжу,—отче преподобный!—никак Борбашев шествует! Ну, Сань-Ваня, день моего удовольствия наступил, — откровенно ликовал Перелькин. — Ты чего это на ножку припадаешь, куманек? Или мимо земли оступился?

— Судьба подшибла, — увильнул Борбашев, — а в кумовья я, между прочим, не записывался к тебе, не по чину жалуешь овчину, Донат Евстигнеч, я двумя улицами ниже тебя жил...

— Хе-хе! Сердитый ты человек, Сергей Лукич, мало ли что было, Сань-Ваня, нынче и я на задворки перешел, так что тебе корысти нет гнать меня, да и некуда, браток; однако сердце мое ты разбередил. Да садись ты, окажи мне такую милость! Выпьем, ножки протянем, господу помянем. Ты разгляди меня как следует, увидишь, до чего я дожил! Эх, Сань-Ваня, или ты в самом деле врагом меня считаешь?

— Другом не знал, — сказал Борбашев, усаживаясь поодаль, — хотя, конешное дело, разным богам молились, Донат Евстигнеч.

Глянул искоса на Перелькина и по врожденному добродушию своему пожалел человека.

«Ай, ай, что же это такое? — думал Борбашев, — что случилось с ним? Ай, ай!».

На плечах Перелькина болтался рваный пиджак, а под пиджаком была видна рубаха, грязная до того, что невозможно было определить, какого она цвета. Лицо Перелькина, дряблое, с отеками под глазами, напоминало лицо утопленника. Бывший слесарный мастер дергался и дрожал с похмелья.

— Ты это чего же? — удивился Борбашев. — Как же ты в твои-то годы и на такой ступени сомнительности? За что же ты тогда людей казнил?..

— Прозвенело всё, — отозвался Перелькин. — А годы мои не при чем, и в семьдесят лет свихнуться можно, ежели тебя, Сань-Ваня, судьба настигнет.

— Все-таки настигла, Донат Евстигненч?

— Настигла, Сергей Лукич... Ты не больно радуйся!

— Я и не радуюсь, — отказался Борбашев, — а удовольствие в душе все-таки имею, это уж прямо скажу.

— Валяй, имей, — разрешил Перелькин и налил стаканчик водки. — Выпей со мной, я не в обиде, я тоже имел удовольствие, имел, когда в собственном доме жил, да-с, в собственном доме, с огородом, с палисадником на передний фасад, вот ведь как! И до того меня, Сань-Ваня, это самое удовольствие в жизни удостоверило, что я на бога, и то в полоборота глядел. Вот тебе и все: на бога в полоборота глядел, и сердце у меня стучало, ох, как гордо, до того гордо, что я с Карпухой потягаться вздумал. Дурака за уши драл когда-то, и вдруг, Сань-Ваня, он же мне на сердце наступил...

Старый мастер потянул из горлышка, отер седые усы, и тусклые глаза его стали светлее и, наконец, заслезнились.

«Душой просиял, золотая рота! — насмешливо думал Борбашев, откровенно радуясь перелькину падению, — поди гляди, как его подняло, будто горячий гвоздь проглотил».

Подумав, спросил:

— Ты чего же теперь, Донат, дышишь чем?

Перелькин потрянул головой, собираясь ответить половчее, и вдруг затрясся в беззвучном кашле, захрипел и покатился в ложбинку, корчась, смешно дрыгая ногами. Очувствовался он быстро, и так же неожиданно вскочил, как и упал.

Сморкаясь и отирая слезы, заговорил крикливо и хрипло:

— Ты что, Сань-Ваня, испугался никак? Ничего, голубь, ничего, я сразу-

то не сдохну. А дышу просторным воздухом, под небом, избяной воздух сердцу отравя.

— Ну, это ты врешь, Донат...

— Вру, — согласился Перелькин, — это ты угадал. Хы! Все ветром подняло: старуха померла, с завода в три шеи выгнали. Фридрих-то Иваныч со слезами глядел на меня, когда прощался, ну только сделать ничего не мог, Карпуха в большую силу вошел. Слышал? Да не вороти ты морду, Лукич, для ради господя прошу тебя, Сань-Ваня! Ах, заступница усердная, мать бога нашего! Давай выпьем, Лукич, за мирное содружество. Не хочешь? Так, так... Значит, ни дружбы, ни службы, ни матери родной?..

— Я тебе так произнесу, Донат, — сказал Борбашев, — чтобы складно: для отпетого хама не нужна и мама...

— Ладно, чорт с вами, — отмахнулся Перелькин, — выпьем тогда за полное уничтожение человека, — да-с, за полное уничтожение, потому как человек этот, я то-есть, всю жизнь не мог опамтываться: царю, отечеству служил, с хозяевами дружил, и вдруг, Сань-Ваня, выгнали!.. Ух, пожил я, Лукич: при доме сад и огород, в саду ягода-малина, на грядках огурцы. Приятель в праздник появится, — Мямлин Никодимка ходил, — сейчас бутылку лимонки облапишь и с приятелем на огород. Х-ха! Сядешь среди грядок, прицелишься на огурчик муромский и не срываешь его, нет! А по живому, Сань-Ваня, полоснешь ножом и надвое развалишь, на обе половинки солью брызнешь и ждешь. Только огурец слезу даст, тут и стаканчики наливаешь, выпьешь без передыху и сейчас же живым огурчиком закусишь, у половинки половиночку отрежешь, так что огурец-то, покудова ты выпиваешь, все это время расти продолжает. Вот как я существовал, Сань-Ваня, будто у жизни подмышкой.

— Ну, что ж, горче умирать будешь, — посмеялся Борбашев.

Он поднялся, оглядел небо, — наплывали с запада тучи, ползли широкие тени, от реки запахло сыростью и рыбой. Перелькин, запрокинув голову, тянул из горлышка бутылки водку. Борбашев,

прихрамывая, стал подниматься на пригорок к дороге.

— Не выпьешь? — крикнул Перелыкин.

— Нет, с тобой не выпью, — сказал Борбашев.

В вершинах деревьев зашевелился ветер, глухо ударил далекий и еще не

страшный гром. Борбашев оглянулся: бывший слесарный мастер завода братьев Ланге, Донат Перелыкин, свернувшись калачиком, по-собачьи, чернел на прибрежном песке. Над рекой проходила косым полотнищем туча, и на при-смирившую воду реки падали первые крупные капли дождя...

Москва, 1937 г., май.

Ночь в Харачое

В. ТАРСИС

1

Высока ночь над аулом Харачое. Луна светит из-за темного утеса. В горах разметалась дорога и дрожит в неверном голубом свете от сырости и прохлады. Тесно прижалась она к горам, большие синие тени проносятся по ней. Она дрожит и жмется, и непонятно, как не сорвалась еще до сих пор в темную пропасть, где плывут огоньки домов и фонари пешеходов. Луна выглянула над утесом, и теперь видно, как дорога обвила кольцом мохнатую шапку перевала. И, чем выше горы, становится все светлее, и ночь уходит дальше, оставляя за собой жемчужную россыпь звезд над уснувшим аулом.

Но где он, шумный аул Харачое? Его стерегут в горах огромные цветы — желтые розы и дроки, синие астры и лиловые ирисы; но это было днем, а теперь они надели черные плащи, как ночная стража. Пастухи уснули в ущельях, баранта сбился в кучу от ночной прохлады и волков. Гулкая тишина и высокая ночь стоят над аулом Харачое, но никто не спит в больших и маленьких домах.

Днем от голубого озера доносилась стрельба. Все знали, что это стреляли их отцы, братья и мужья. В этот год — тысяча девятьсот двадцатый — стрельба заменила харачоевцам очень многое — работу, отдых, ласку, и каждый выстрел в горах казался строкой из письма любимого. Старый Тапа в быстром и ровном стрекотании пулемета узнавал

большую и ловкую руку своего сына Нурдина, старшего в роде пулеметчика партизанского отряда Арсламбека Шарыпова. А средняя дочь, маленькая Фатима, больше любила тяжелые вздохи мортиры. После каждого выстрела она вслед за пушкой облегченно вздыхала, узнав громкое дыхание канонира Керима, — разве забудешь дыхание возлюбленного через три месяца после свадьбы?

И так весь день шла эта переписка — выстрелы, вздохи, улыбки, залпы, и каждый узнавал знакомый почерк. Жизнь была шумная. Оставшиеся в ауле знали, что харачоевцы работают в горах, а потом, усталые, вернутся домой, где их ожидает ужин и ласка.

Но домой никто не шел, и все затихло в горах. Аул казался совсем маленьким — всего несколько прыгающих огней, а там, в горах, такая огромная высокая ночь, все звуки ушли в эту высь, сгорели костры партизан, и холодные искры звезд осыпаются на застывшие руки матерей и жен. Работа в ауле не спорится. У всех одинаковые невысказанные мысли, и все сидят тихо.

Так проходят часы, наступает полночь. Старый Тапа глядит в маленькие оконца. На голубой дороге мелькают огни. Они качаются и движутся так быстро, как будто мчится автомобиль. Но это медленно идут люди с фонарями сквозь низкую харачоевскую темень в высокую светлую ночь, нависшую над аулом.

Не хлопают больше двери в доме. За столом сидят три сына старого Тапы — Шамсуд, Саид и Насир.

Красивые и статные сыновья у Тапы, об этом знают все харачоевцы. Лучших наездников не сыскать в Чечне. И я не раз видел, как девушки в музее долго не могли оторвать глаз от пожелтевших фотографий сыновей Тапы.

Но это было гораздо позже, знойным летом 1936 года, когда я услышал песни о старом Тапе и его сыновьях и увидел пожелтевшие фотографии.

А в ту ночь они сидели за столом тихо и чинно, не зная, что делать. В это время, за полночь, они обычно спали крепким сном и дружно храпели, а теперь такая тишина сползла с гор. Вдруг они услышали слова своего отца:

— Нурдин не пришел. Он, наверное, проголодался.

Тапа сказал эти слова, ни к кому не обращаясь, матери и Фатиме тоже хотелось что-то сказать о Нурдине и Кериме, но они не смели говорить, — женщины.

Сыновья переглянулись и сказали по очереди, в порядке старшинства.

Шамсуд сказал первый:

— Отец, я умею стрелять из пулемета, — и виновато опустил голову.

— А кто тебя учил, собака? — крикнул Тапа.

Но Шамсуд не решился ответить разгневанному отцу.

Тогда Саид сказал:

— Отец, я тоже умею стрелять из пулемета.

Старый Тапа рассвирепел и хриплым голосом крикнул Насиру:

— Может быть, и ты, щенок, умеешь стрелять из пулемета?

— А разве я хуже их? — сказал Насир, краснея. Ему было шестнадцать лет, за постоянный яркий румянец товарищи его дразнили девушкой.

— Он здорово стреляет из пулемета, отец, — крикнули сразу Шамсуд и Саид. Они осмелели, им показалось, что отец перестал сердиться, и они решили добавить: — Отец, Арсламбек

стоит у скалы, за вторым родником. Если итти быстро, это всего один час.

Тапа молчал. Мать и Фатима стояли рядом и смотрели то на отца, то на братьев.

Помолчали.

Потом старик усмехнулся и сказал сердито:

— Что ж, по-вашему, у Арсламбека пулеметный завод для вас приготовлен?

— Отец, у нас есть три винтовки, мы можем стрелять из винтовок, — сказал Шамсуд.

— Из винтовок? А я из чего буду стрелять?

Сыновья молчали.

— Ладно, берите винтовки.

Женщины сели на ковер и молча следили за сборами мужчин.

Они взяли винтовки, надели их через плечо, надели пояса с патронташами. Старик посмотрел на них и отвернулся. Шамсуд взял фонарь и зажег свечку.

Тапа сказал жене:

— Принеси топор.

Старая вышла из комнаты, принесла большой топор и молча отдала его мужу.

Сыновья один за другим, наклоняясь, вышли в дверь. За ним пошел Тапа. На пороге он обернулся и проворчал:

— Ну, ладно.

2

Шли гуськом. Ночь становилась выше и светлее. Свернув с дороги, они исчезли во тьме и вскоре вновь появились на дороге, уже значительно выше. Темнота плела для них невидимые лестницы, и они неслышно скользили по ним, поднимаясь в светлую высоту ночи.

Отряд залег на склоне горы. Его прикрыли черные цветы и травы, высокие, как деревья. Впереди, на голубой дороге, сверкали песчинки, острые и блестящие. Они подглядывали, как глаза притившегося врага, за семнадцатью партизанами, скрытыми в ночной траве.

Началось еще после обеда. На один пулемет харачоевцев отвечали четыре неприятельских, на одну мортиру — батарея из трех орудий.

За день было убито и тяжело ранено шестьдесят восемь партизан. Ночь закончила сражение. Неприятель не знал, сколько красных харачоевцев спрятано в черных цветах и травах, и ждал утра. Партизанская ночь пахла росой и смертью, но у семнадцати не дрогнули сердца от этого холодного аромата, они тоже стояли на-страже, они не откроют дорогу на Харачое, откуда так сладко и остро пахнет дымом и теплом. Надо продержаться до вечера. На помощь шли нефтяники рабочим шагом, они не опоздают на ночную смену.

Белых было около трехсот человек. Потеряли они убитыми немного, отсиживаясь все время за скалой. На атаку они сейчас не решались.

Ночь подходила к концу. Она уменьшалась и таяла. Небо становилось ближе, и в серой мути из долины подымался аул. День начинался, низкий и серый, дорога, обессиленная, уснула, на ней даже не двигались тени.

Тапа и три брата подошли к отряду неслышно, разыскали в темноте хобот пулемета и тихо опустили в отсыревшую траву рядом с Нурдином. Старший брат не спал, он лежал неподвижно и смотрел на побледневшие звезды.

Тапа потрогал его плечо и потом сидел молча, озираясь кругом.

— Керим убит, — сказал шопотом Нурдин, — из пушки теперь будет стрелять Камиль.

— Это хорошо, — после небольшой паузы сказал Шамсуд, — это хорошо: мы не умеем стрелять из пушки.

— Да, — тихо и задумчиво проговорил Тапа, — эти молокососы не учились стрелять из пушки.

— Теперь нас будет двадцать один, все-таки легче, — сказал Нурдин.

— Легче, но немного, — ответил Тапа.

— Однако, мы до вечера отсюда не уйдем, — поправил его Нурдин.

— Не учи меня, — сердито буркнул Тапа, — лучше тебя знаю.

Помолчали.

— Арсламбек уехал в штаб отря-

дом командую я, — сказал немного погодя Нурдин.

— Небольшой командир над двадцатью, — опять проворчал Тапа.

— Тогда за пулемет стану я, — сказал Шамсуд.

К Нурдину подползли со всех сторон люди. Казалось, что по траве побежали потоки. Трава примятая не выравнивалась, и люди по ней больше не ползли. Нурдин смотрел на серое, низкое небо и потускневшие цветы, на коричневые, помятые лица людей и говорил всем одно и то же. Он будто затвердил наизусть нескончаемый рассказ и медленно повторял его слово за словом.

— До вечера... обязательно до вечера продержаться. Каждая пуля должна убить не меньше, чем одного врага. Рабочие придут.

Люди слушали сосредоточенно и ползли обратно.

Так началась длинный день. Партизаны сидели в окопах, над ними колыхались травы и цветы. Неприятель молчал. Партизаны тоже лежали молча.

Вскоре из-за скалы показались два солдата. Они оглянулись, затем медленно поползли к дороге. Там они приподнялись, пугливо озираясь, и стряхивали с ладоней налипший песок. Негромко шумели травы. Солдаты потрогали цветы у края дороги, пошарили в траве.

Потом один сказал:

— Нету. Домой ушли вояки.

Второй ответил:

— Известно, дом близко, не удержишься.

Солдаты уже совсем осмелели. Они напились воды из журчавшего родника, потом скрутили цыгарки и закурили.

— Дома... хорошо, смешно даже, до чего хорошо.

— Скажешь!.. — ответил другой. — Дом нам и не увидеть.

Их слова казались громким криком харачоевцам, замершим в окопах. Нурдин приказал молчать.

Потом солдаты ушли.

Через несколько минут белые начали стаскивать пушки со скалы на дорогу.

Нурдин приказал своим молчать.

— Белые думают, что мы ушли, — шепчет он Шамсуду, обдавая его ухо горячим дыханием. И внезапно слышит справа горячий шопот отца:

— Думают, собаки, думают.

«Пушки привезли из Хоя, легкие, — думает Нурдин. — Легкие, но от этого не легче».

Одна пушка уже стоит на дороге. Потом солдаты осторожно стаскивают другую. Осыпается щебень, люди краснеют от натуги. Идут осторожно — скользко. Партизаны дышат горячо. Вскходит солнце, желтое, дымное, низко стелется туман, и партизанам становится жарко.

Вот уже все три пушки стоят на дороге. Солдаты готовятся запрячь лошадей. Они думают двинуться на Харачое.

На дорогу спускается по тропинке офицер.

За ним бежит, задыхаясь, жирный унтер. Офицер оглядывается и говорит унтеру:

— Хоменко, десять человек пусть обыщут траву, не осталось ли чего-нибудь. А вы запрягайте, чего тут зеваете.

Хоменко карабкается по скалистой тропинке. Тогда Нурдин передает по цепи краткое слово:

— Огонь!

Шамсуд хочет стать к пулемету, но он не дает ему.

— Сначала я сам, а ты из винтовки. Лишних нет.

Стреляют не все сразу. Пулемет работает одну минуту.

Первым свалился Хоменко. Он разбросал ружья и уткнулся в землю, зацепившись за выступ.

Офицер падает на бок, как от сильного удара наотмашь. Солдаты наклонились к орудиям, как будто занялись их чисткой. Лошади с громким ржаньем несутся вниз.

Никто не слышал приказа Нурдина. Было совсем тихо. Так тихо, что все услышали лай собак из Харачое. Должно быть, там люди выбежали из домов, и собаки залаяли, увидев встревоженные лица хозяев.

Но возможно, что некоторые все же услышали приказание Нурдина. В это время Камиль расстреливал появившийся на уступе пулемет противника. Шесть партизан выскочили на дорогу, — шестеро, лежавшие выше всех. Они выскочили на дорогу, трое подбежали к одной пушке, и трое к другой. Пушки покатались вниз. Первым был убит партизан, поворачивавший пушку, двое стоявших сзади упали под колеса.

Третью пушку взять не удалось.

Косил пулемет. Камиль заставил его замолчать. Повидимому, он был подбит. Пушки бы пустить в ход, но как? Они свалились набок, а установить их невозможно.

На уступе заговорил новый пулемет. Под эту невеселую музыку на тропинке зашевелилась длинная змея, — цепь белых медленно ползла вниз. Нурдин прошивал тропинку на скале мелкой строчкой. Стреляли партизаны. Камиль прервал скучную песню второго пулемета.

Тапа посматривал на сыновей своих строго и сердито. Они работали не покладая рук. Тогда он спокойно отводил глаза и стрелял деловито и медленно. Глаза плохо видеть стали, а портить пули зря не годится. Так сказал Нурдин; он совсем не плохой парень, этот Нурдин, вполне может быть старшим сыном Тапы.

Белые снова спрятались за скалу.

Наступила тишина.

Кругом было пусто и тихо, полдnevный зной струился над горами. Далеко в ущельи паслись стада, незаметный голубой дымок вился над Харачое. Так продолжалось час, другой, третий. Старый Тапа устал от непривычной работы и зноя, его клонило ко сну. Он даже задремал, потом испуганно вскочил. Шамсуд на него замахап рукой, и он снова лег.

Бесконечно тянулся томительный день. А к вечеру Нурдин решил сделать вылазку за третьей пушкой. Три человека поползли к дороге. Не успели они подняться на ноги, как застрекотал откуда-то сверху пулемет. Под градом пуль они опрокинули пушку. Опять один

лег поперек дороги, а двое, тоже раненные, скрылись в траве. Пушка осталась на месте. В наступившей долгой тишине остро запахло росой и смертью.

3

И снова высокая ночь стояла над аулом Харачое.

Из домов видно было, как в горах вспыхивали молнии выстрелов, и всю ночь грохотал гром, но уже никого не могли узнать матери и жены, звуки перемешались, и нельзя было говорить, надеяться, плакать, — поэтому все молчали.

С нетерпением оглядывались партизаны на далекие извилины дороги, дрожавшие в неверном лунном свете: там никого не было видно.

Белые открыли огонь из пяти пулеметов. Их привезли вечером из Хоя, и невидимые пулеметчики пристреливались к позициям партизан.

Теперь огонь не прекращался.

Семья старого Тапы работала плечо к плечу. Вдруг Нурдин упал. Он сидел на корточках у пулемета, — его черный силуэт все время хорошо видел Тапа, и хотя не посмотрел в его сторону, но сразу все понял.

— Шамсуд, к пулемету, — прохрипел Тапа, выстрелил и подполз к мертвому Нурдину.

Он поволок ленивое, мягкое и податливое тело сына в сторону, накрыл его лицо папахой и снова стрелял.

Они опять лежали плечо к плечу, и один поблизости.

— Нурдин долго будет лежать? — спросил Шамсуд, не оборачиваясь и закладывая новую пулеметную ленту.

— Долго, — сказал Тапа, и Шамсуд понял, что Нурдина нет.

— Отец, — сказал Шамсуд, не оборачиваясь, — я теперь командир и приказываю тебе итти домой. Я, Саид и Насир умрем честно и не опозорим нашего рода. Ты можешь итти спокойно и сказать, что ты сам своими глазами видел, как умерли твои сыновья. А хоронить можно и потом. Сейчас некогда!

— Молчи, шенок, и делай свое дело! — крикнул Тапа.

Шамсуд, удивленный, обернулся и неожиданно поклонился отцу в ноги. Он кланялся медленно, и, только когда голова его ударилась о локоть Тапы, старик сердито окрикнул:

— Саид!

А Саид уже держал в руках пулеметную ленту.

Тапа положил Шамсуда рядом с Нурдином. И они опять продолжали работу плечо к плечу, трое у пулемета, а два отдыхали.

Ночь уходила все выше и выше, и не слышно было топота всадников на голубой дороге. Черные цветы стояли на-страже. Тапа сердито смотрел вдаль.

— Иди сюда, Насир, — сказал Саид, и Насир подполз ближе к пулемету.

— Есть еще одна лента. Оставляю ее, когда они подойдут нас брать. Как спасти отца?

— Скажем, что надо убегать, нет патронов. Пусть пойдет предупредить.

Насир ползет ближе к Тапе:

— Отец, иди в аул, скажи, что все кончено. Патронов нет.

— Врешь. Есть кинжалы и руки. В аул итти нельзя. Рабочие скоро придут.

— Отец, надо итти.

— Уходи, — беззвучно кричит Тапа.

Насир опять ползет к Саиду.

Стало еще тише.

Через минуту по скалистым тропинкам начали спускаться солдаты. Их было много, не меньше двухсот.

Саид косил левую тропинку. А правую обстреливали партизаны. Их было совсем мало. Выстрелы звучали все реже.

А ночь шла попрежнему. Падали солдаты, словно бугры вырастали на дороге, а другие уже ползком спускались по траве, с винтовками наперевес, и стреляли. Пулеметы не умолкали.

Насир обнял Саида и крикнул ему:

— Отец не уходит.

— Знаю, разве его уговоришь? — крикнул Саид.

В это время по дороге, где-то далеко, послышался лай собак.

— Едут, — обжег ухо Саида горячим дыханием Насир.

— Ну как, сынки? — крикнул Тапа через минуту.

— Едут, слышите, собаки лают.

Стрельба усилилась. «Они не слышат меня» — подумал Тапа.

Саид и Насир лежали, обнявшись, словно шептались о чем-то, продолжая какой-то интимный разговор братьев, которым не спится в лунную ночь.

— Эй, чего же вы молчите? — крикнул Тапа. Саид и Насир не шевельнулись.

1937 г.

Тапа посмотрел на мертвых сыновей и замолчавший пулемет.

И впервые за всю жизнь слезы показались в его глазах: он не умел стрелять из пулемета.

Солдаты подбежали к нему.

Гневный, высокий и седой, он схватил топор и стал изо всей силы рубить пулемет.

Когда он замертво свалился на пулемет, уже близко ржали кони.

Но он не слышал топота грозненских всадников и не увидел, как растаяла высокая ночь над Харачое.

С и л а

Рассказ

П. ВОРОБЬЕВ

«Женщина в колхозе — большая сила».

И. В. Сталин.

Как она родилась, так и живет в деревне Сокол, в домике около пруда. В колхозе тетку Мавру уважают и зовут «наша сила», а она исправно выходит на работу, доглядывает за колхозным хозяйством, бывает на заседаниях правления, один раз в месяц сидит заседателем в народном суде, очень часто можно видеть ее разговаривающей с приезжими людьми из центра.

Во всяком месте побыть с пользой для дела не легко. Кроме того, весна — время горячее: правленцы с утра до вечера спорят, составляют посевные планы, распределяют народ по бригадам. Много ненужного спора, ругани — народ отдохнул, почувствовал тепло, и вот куражится. Особенно тем, кто обленился за зиму, трудно войти в работу сразу.

Тетка Мавра за себя спокойна. Шестьдесят лет прожила на белом свете; пятьдесят лет работы. Она работает быстро, хорошо: там, где сдает былая сила, помогают спокойная старушечья мудрость и опыт.

От тетки Мавры, как от куста, выросло пятеро; три дочери хорошие, — ни одна в девках не осталась, — да два сына. Один в городе по рабочей линии пошел, а другой погиб в гражданской войне. Главная радость у тетки Мавры внучата, много их, — буйная поросль, — в прошлое лето фотограф снимал, так

подумал, что не семья, а пионерская организация. Тетка Мавра, думая о них, мечтает, хочется ей посмотреть, как они будут жить, работать; как бы передать им свою мудрую смекалку. Радостное, счастливое время наступило, надо обдумать, кому какие навыки привить, посоветовать, наставить — будут бабушку добром вспоминать.

Скучно без них весной; даже трудной работой не отогнать этой скуки по ребятам. Под окнами пять берез; таков уж был порядок в роду: дочь ли, сын ли родился — березу посади. И стоят эти березы, укрепившись могучими корнями в земле, широко раскинув сучья. Посчитай: почти на каждой березе штуки по три навешено скворешен! Это их, внучат, работа! Черные скворушки поют целый день, весну славят. Снег на полях растаял, дорог нету, вода, грязь. Сев пора начинать.

В поле кое-как лошади воз дотянут, а вот как доставить семена клеверные из города? Тетка Мавра задумывается: все жарче и жарче солнце, реки теперь поднялись, живая вода шумит пологам. А клеверные семена — за двадцать семь километров, в городе.

Тетка Мавра организует конный отряд за семенами в город. Мужчин в колхозе немного, женщины их жалеют.

Где найдешь седла? Стелют на спины лошадей старую одежду, женщины са-

дятся верхом и на рысях едут в город с сумочками для семян. Впереди не одна река, перевозов нет, — лошади вытягивают вперед морды и плывут. Женщины, как поплавки: с подвернутыми юбками, чтобы не намокли. Тетка Мавра хмурится — скоро на седьмой десяток, но и она завертывает юбку, как молодая. За переплывом, с противоположного берега, наблюдает артель плотников, пришедшая на берег; смех их стихает, старики почтительно кланяются тетке Мавре. Все женщины строгие, только Лушка-разведенка озорничает, все еще держит в жгут завернутые юбки, чтобы пообсохло на теплом ветру ее здоровое тело.

Из города они возвращались ночью. В лунной ряби волн река шумела страшно, как море.

В избе у тетки Мавры просторное житье. Почти целый день солнце, как ласковый гость. Солнце уйдет — на его место луна всходит, такой уж у весны порядок. Пруд под окном, будто налит квасом. Важно держа головы, чуть шевеля красными лапами, от одного берега к другому плывут белые гуси.

Тетка Мавра целыми днями в поле. Самое хорошее время сеять клевер по озимым. Сев клевера молодым не доверяют. Не уродится «ковром», — говорят мужики.

Дни проходят в севе. А ночи во второй половине апреля темны, — только журчит и плескается вода в реке, будто кто плавает в ней. Звезды редкие, совсем маленькие. По дороге домой из поля нехитро и оступиться в лужу, но итти приятно: на конце деревни, у пушистых верб, поют девушки: в их хор вплетаются молодые баски.

Близится день пашни: весна полная. Небо нахмурилось тучей; пролился дождь теплый, густой. Тетке Мавре хотелось послушать гром: ждала, но его не было. Земля после дождя сразу окрепла, в воздухе тепло, парно. Колхозники готовятся к выезду в поле. Во дворах идут сборы, оглядывают снасть, пробуют, крепки ли у хомутов супони. Сторож Никита с напильником и ключом в руках вытаскивает плуг на середину улицы, чтоб все видели; гладит

рукою впадь отвала, пробует острие лемеха пальцем, тужится из осторожно-сти, как бы не сорвать резьбу у гайки. В работе ему мешают ребятишки, он их ругает «пострелятами». Тетке Мавре он принес шаблон, чтобы она не измеряла, как в прошлом году, глубину борозды пальцем.

Целый день топится колхозная баня: в одной половине, лениво развалясь на полатах, моются женщины. Красавицы-молодайки с распущенными до колен волосами обливают себя душистой водой, запаренной можжевеловым. Некоторые, чтобы не лупилась кожа на ветру, натирают лицо сметаной, — такая у молодых весной забота о красоте.

За стеной, в другой половине бани, гогочут мужчины — с крупных, жестких тел идет пар. Моются долго — наступает горячее время, некогда будет помыться, разве к первому мая или в летнюю жару нырнуть с разбегу в пруд до прохладного дна.

В темных чуланах старухи наставили крынок с молоком. Около печки на гвоздике в белом мешечке отцеживает-ся молодой творог. В печке, в золе горнушки, пекутся яйца — завтрак для пахарей в поле.

Среди весенней ночи огонек в окнах избушки на деревне вызывает тревожное чувство: кто-нибудь заболел в доме, или в родах мучается скотина. Из-за пустяка огонь не зажгут. Тетка Мавра не спит, — это в ее избе светятся окна. Председатель колхоза передал ей инструкцию по качеству пашни. Тетка Мавра малограмотна: ей трудно разобратся в нехитром сочинении районного агронома, одни слова она читает по слогам, о смысле других догадывается.

В небе неустанно струятся звезды: хотя и высоко они, но свет их кажется близким. Звезды все молодые, цветут ярко, ни одна из них не падает, как это бывает в сухой звездный дождь осенью.

Когда небо на востоке голубеет и меньше в нем звезд, ворота колхозных дворов, калитки у конюшен открыты. На улице оживление: проснулись мужичины; надев хомут на лошадь и нагнув на кисть руки супонь, упираются ногой в клешню хомута и стягивают его.

Пот бежит по лицам бригадиров; каждому хочется, чтобы его звено было лучше другого. Тетка Мавра стоит в синем, осыпанном зеленым горошком платье посредине улицы, оглядывая всю колонну пахарей на белой, сухоруслый дороге.

Кто-то из нетерпеливых пахарей впереди закричал:

— Чего, стали, поехали!

К восьми часам люди устали. Много подняли земли. Солнце ближе подошло к колхозному полю. Лошади отмахиваются от жадной мошкары. Грачи привыкли — и к людям, и к лошадям; они не взлетают, а лишь прыжками на тоненьких ножках посторонятся — и опять в борозду собирать мешок и червей.

«Ладная бабенка Лушка, работающая, а вот нет ей счастья к семейному гнезду» — думает тетка Мавра, когда Лушка мускулистыми руками, расставив ноги, подымает перед собой мешок, высыпая из него в сеялку овес — «золотой дождь». Солнце льет на голову тепло; над пашней струится воздух, земля маслянистая черная, блестит. Погода не ждет, все знают, что хороши бывают урожаи от раннего сева. Затягивать посевы до праздника первого мая нельзя. Совестно будет показаться на площади у дома райисполкома, наряженного в гирлянды цветов и красных знамен. За несколько дней до первого мая идет подготовка: девчата в избе-читальне голосят песни, вышивают знамена. Вот портрет любимого Иосифа Виссарионовича Сталина, — с каждым годом на знаменах его вышивают все моложе. Неизменен Ворошилов, но и тут все неустрашимей, все круче загибают шею его вороному коню. Заведующий избой-читальней учитель Петр Петрович ругается за эти девичьи вольности, но отменить их не в силах. А вот портрет и тетки Мавры — по красному полотну вышит суровыми льняными нитками. Тетка Мавра на свой портрет не смотрит, неудобно.

Утром в день первого мая во всех колхозах партийцы, ударники и знатные люди несут знамена; затейница Лушка нарядилась красноармейцем, де-

вушки пляшут вокруг нее, играет гармошка; комсомолец Левка, наряженный «медведем», в вывороченном тулупе, ловко играет на звучном медном тазе. Шумно, весело. До районного центра километров шесть. Знаменосцы вспотели, встречный ветерок, хотя и тихо, но все же чувствительно нажимает на развевающиеся полотнища.

С праздника тетку Мавру вместе с другими знатными стариками колхоза подвозят домой на автомобиле райкома партии. Остальные демонстранты возвращаются полем, напрямки, свернув знамена, чтобы легче идти.

Время близко к вечеру. Смутная весенняя радость разлита в природе. Все помолодело. В оврагах расцвели фиалки, цветут на горе угрюмые ели — приятно смотреть на розовую пуговку цветка в иглах темнеющей хвои. Вечером в садах шум: майские жуки летают, гудят, столкнувшись друг с другом, будто свинцовые, падают в траву. Перед сном тетка Мавра выходит посидеть на крылечко, на нижней ступеньке, около которой белый камушек; он виден и в сумерках, оброс бородкой травы. Пруд отстоялся от вешней мути, блестит, как зеркало. На середине пруда что-то всплеснулось, одна за другой побежали волны к берегу.

«Приедут ли внучата из города?» — думает тетка Мавра. Как будут отзываться колхозники о речи, которую она сказала на первомайской трибуне? Мало сказала, вот еще бы одно слово о детских яслях. Лето, горячая колхозная пора, без яслей матери — будто связанные. Ячейка комсомола обещала приехать няню, как бы не обманула. Вот о Лушке слухи пошли нехорошие... Лицо у тетки Мавры убрано морщинками, бровь, как серебряная, блестит при луне; старится лицо, а голова с каждым днем будто зреет, — сколько она переживает, и ничуть не устанет.

Сон на тетку Мавру наваливается глубокий, но короткий. Утро. Пастух хлопает кнутом на улице, негромко, будто в ладоши. Солнце золотистым изогнутым колоском показалось из-за земли. Из колхозных дворов выходит скот в поле. Целый день он бродит у речки,

с жадностью щиплет прохладную в ро-се травку теплыми губами; овцы пасутся впереди стада, а позади лошади осторожно переступают ногами, спутанными веревками; широкогрудый бык ухаживает за молодой баловливой коровенкой: она водит его, что называется, «за нос». В озлоблении бык падает на могучие колени, ревет, бодая короткими рогами земляную кочку. Вспревоженные муравьи из кочки бесчисленно облепляют морду, выискивая на ней место помягче.

В эти дни тетке Мавре новая работа: предколхоза поручил ей повести кампанию — умножить конское поголовье. В колхозе идут слухи, что на Дальнем Востоке тревожно. Приезжает ветеринар, он вместе с теткой Маврой осматривает маток в стаде. Пожилые кобылы спокойны, как добрые работницы, только молодые кобыленки неугомонны: на ногах, как на пружинах, скачут с места на место. Полдень. Стоят молчаливые коровы: жуют жвачку, глаза у них большие, спокойные, зубы у некоторых стерты наполовину. Разморенные полуденной жарой, тетка Мавра и ветеринар идут усталые. В конюшне просторно и прохладно. Уткнув морду в кормушку, топчя уши, стоит конь вороной масти. Белая бубновка между большими глазами делает его нарядным, красивым. Ноги с огромными узлами в коленях расставлены широко и крепко. И оттого, что мухи садятся под животом, на нежное место, конь вздрагивает, ударяет копытами о пол конюшни, припысывает в стойле.

Разведенка-Лушка за конюха. Рядом с ней шустрый паренек с обольстительными черными глазами. На груди у него знак «Ворошиловский стрелок», — он его носит не так, чтоб по праву, а для красоты.

Тетка Мавра говорит Лушке:

— Ты у меня смотри, чтоб стойло Вороного было чистое, и в луже Вороного не пой: сведи его на речку. Пойми, глупая, лошади-то ключевую воду пьют для здоровья.

Карие, потускневшие от старости глаза тетки Мавры вдруг начинали блестя, она гладила морду Вороного, вслу-

шиваясь в стук его сердца, думала: «Ну и большое оно у него, крепкое...» Мимо стойла провели матку, Вороной пошевелил сочными ноздрями, жадно глотнул воздух, и мелкая дрожь заиграла по гладкому его телу.

Оборудованного случайного пункта при колхозе нет. Лушка выпускает на улицу Вороного на длинной веревке. Он обслуживает три конских стада в округе. Маток приводят из Лягинского колхоза, из Дерменцева. Иные кобылки слабые, изнуренные работой: они неохотно принимают ласку Вороного.

Тетка Мавра бранит колхозницу, которая привела кобылу:

— Дура ты этакая, курица ты, а не баба. Кобылу кормить надо. Как твоя фамилия-то? Ну, хорошо, не говоришь, я тебя все равно узнаю... Я те задам! Лушка! — кричит тетка Мавра, — чего у тебя навоз сохнет, сложила бы в тени... Ничего не понимаешь!

На навоз, который надо было складывать в кучи, тетка Мавра смотрит, как скупец на груды золота: хлеба-то, хлеба-то сколько!

Лушка говорит, что надо бы овсеца убавить Вороному, а то с ним не справишься.

— А ты то пойми, — перебивала ее тетка Мавра, — в будущую весну что-бы у каждой матки было по сосунку.

Лушка идет по воду на речку, а тетка Мавра в поле — посмотреть яровые всходы. На небе, с южной стороны, показалась тучка, чуть побольше черной коровьей шкуры.

В воздухе тишина, солнце припекает к дождю: хорошая весна. Тучка делается с каждой минутой больше, вот она накрыла солнце, и вдруг прогремело над самой головой тетки Мавры. Капли весеннего дождя благодатно хлестали землю.

— Хорошо, — говорит тетка Мавра и вскидывает подол верхней юбки на голову себе, как капюшон.

Она идет под проливным дождем, не сворачивая с дороги. Застигнутые ребята в поле, с охалками желтой пахнущей медом сурепки, с венками из розовой пушистой кашки на головах, бегут бо-

сые под теплым дождем к деревне и лепечут на разные голоса:

Дождик, дождик, пуше,
хлеб, родися гуще...

Земле не впитать всю силу, вылитую из тучи, сразу. По склонам дороги бегут мутные ручьи. Туча пронеслась, точно на пожар колхозная команда.

После дождя все веселей и зеленей. Над далеким лесом огромным коромыслом изогнулась радуга. Земля — будто парное тесто, тепло под ногами.

Земля колхоза разделена на шесть полей: Подлесковье, Гариское, Блудовка, Гора, Серединное, Княжеское. Гариское поле под овсом расплеснулось, будто зеленое озеро. Раньше были межи, теперь их сгладили; безмежно волнуется озимая пшеница: пошла расти в шелковую трубку, скоро колосок! Поднялся лен, на каждом стебле три нежных листочка.

Тетка Мавра залюбовалась. Не одна она радуется всходам. Из лощины, цветущей желтыми бубенчиками, показался председатель колхоза Гаврила Иванович. Он почтительно остановился рядом с теткой Маврой, снимая прибитую дождем бабочку с ее плеча.

— Непартийная большевичка, здравствуй! — Отирая вспотевшее лицо с седенькой бородкой, он достал трубку, закурил. Гаврила Иванович — крепкий, жилистый старик; они с теткой Маврой ровесники.

— Жарко, а дюже хорошо парит, — сказал он, нажал тлеющий табак в трубке, — потею вот!..

— Зажирел ты, Гаврила Иваныч, — пошутила тетка Мавра, — вот и нос у тебя алый, лупится!

В округе, километров на пятьдесят, знали причину алости носа у председателя колхоза «Сокол».

— Грешно в молодости жил, Мавруша, — захихикал он, — отморозил нос на девичьих гулянках, а теперь вот люди смеются. Пьяница, — говорят.

— Чего зло танть, выпить по делу — это мы, старики, любим. Погодь, вот урожай сымем, праздновать будем, я и то полчасечки выпью, — сказала тетка Мавра.

Меня тему разговора, Гаврила Иванович продолжал:

— Помнишь, Мавруша, я тебе о детских яслях говорил, сестру обещали прислать из района, да вот и нету. Ойра-то — сушая ведьма.

Гаврила Иванович говорил ей о заведующей детскими яслями Ойре, с которой он был в ссоре.

Они шли вместе, потом разошлись: тетка Мавра пошла на Гору поглядеть лен, а Гаврила Иванович в другую сторону — к пшенице.

Вечером к тетке Мавре прибежала Лушка, подняла с постели. Обе они взволнованные пришли в конюшню и стали прислушиваться к свистящему дыханию Вороного. Теплота его тела ощущается на расстоянии. Конь медленно повернул морду в их сторону, и лиловатый блеск глаз встретился с их обеспокоенными глазами. Он вяло взмахнул мордой и поднял правую ногу, пытаясь согнать мошкарку с брюха. Вдруг он запрокинул голову кверху, зевнул, неохотно подогнул ноги и лег, тяжело крякнув и вытянув шею.

Тетка Мавра взяла охапку соломы и положила ему под голову. Послала Лушку к ветеринару. Трое суток тетка Мавра, будто у постели больного человека, сидит около Вороного, помогая осилить болезнь. Сердце ее полно ласки и нежности. Вороной лежит на чистой яровой соломе, волнистый хвост его блестит, как смазанный дегтем, морда Вороного коричневая, а звездочка между глаз, как снег. Странно видеть эту серебристость на крутой коже Вороного; ветер слабо шевелит его мягкую гриву. Тетка Мавра ловко берет Вороного за язык, в открытую пасть вливает лекарство. Добрый конь, умный, светлы и полны полевого ветра его глаза: иногда они слезятся, но слеза эта омывает их. Вороной выздоравливает. Тетка Мавра возвращается домой, достает из шкафчика настойку на липовых почках, выпивает целебную рюмочку и спит долгим сном.

Бригады колхозников, блестя косами, вышли за деревню. В конце улицы прогремела косилка, это председатель выехал косить клевер. Внезапно на улице

стало тихо, лишь кое-где в садах шелестят тополя да слышится плач из детских яслей. Плач настолько сильный, что стекла, деревянные стены не могут заглушить его, — кажется, детский рев поднимается из трубы с дымом. Так дети будят няню Ойру, задремавшую на террасе. Толстая, сорока лет, она не любит детей и кричит на них. Войдя в детскую комнату, тетка Мавра видит чумазые лица, слезы и размазанные слюни по щекам; на полу валяется опрокинутый горшок, через который дети прыгают. Дети бегают, кричат, плачут, хватают за платье, лезут на руки, самый маленький карапуз, и тот норовит схватить тетку Мавру за нос, курчавая девочка ползает вокруг ее ног, крича: мама! Тетка Мавра берет детей, — то одного, то другого, и начинает «татушкать» на руках.

Ойра довольна: она никогда не сердится на человека, если он выполняет за нее какую-либо работу. Ойра говорит:

— Тебе, тетка Мавра, в охотку, а мне они до смерти надоели.

Что-то тупое в лице Ойры. Глаза с мужскими бровями, холодные и злые. Длинные, заскорузлые руки, которыми она таскает детей, как дрова. Видя, что тетка Мавра здорово работает, Ойра все чаще начала уходить из яслей. Тетка Мавра довольна: «Хоть бы ты и совсем пропала...».

Гаврила Иванович ездил в кооперацию, привез машинку для стрижки волос и два барабана. Подвязав себе простыню вместо халата, тетка Мавра вошла к детям:

— Ребята, давайте играть в парикмахерскую?

Дети запрыгали от радости, лезут к ней, протягивают руки. Тетка Мавра ставит их в очередь, и начинает стричь по порядку. Самые маленькие никак не стоят спокойно.

— Ну, ребята, сперва я буду стричь вас... А потом вы меня острижете... Ладно?

— Ладно, ладно, — кричат ребята. — Давай, стриги!

Потом она затеяла с ними «баню». Дети кончат, визжат, брызгаются.

После мытья и стрижки дети спокойны. Ойра совсем отбилась. Тетка Мавра остается одна. В ясли чаще навдываются то председатель колхоза, то врач, то безногий партизан-краснознаменец приезжает на коляске. Он ложится на песок. Дети окружают его, как Гулливера, засыпают руки песком, и ему кажется, что от горячего песка по рукам до самого сердца идет тепло.

— Ай да, ребята! — кричит он, затеяв с ними войну.

Тетка Мавра сделала доклад на заседании правления о работе яслей. Ее похвалили; малыши лучше стали жить; но очень много еще детишек парится в избах в тухлых пеленках, с кислыми хлебными сосками во рту.

Есть и такие матери: молоденькая колхозница скрывает своего сынишку. Она стесняется показать себя матерью. Среди молодежи числится девушкой. А ребенок растет, паршивеет, — подкинула ребенка на чужие руки. Тетка Мавра идет к ней на дом. Долго ее уговаривает сказать, где ребенок. Если жив, сдать его в ясли. Тетка Мавра обещает ей, что никому не скажет. Ночью, крадучись, вся в слезах мать приносит ребенка и просит никому не говорить о ее материнстве.

Тетка Мавра моет ребенка, надевает чистую рубашонку. Мальчика звать Дрюня. Он беленький, с голубыми глазами, со струпьями на голове. Тетка Мавра отмыла, помазала сохшуюся кожу вазелином — Дрюня будто ожил.

Скоро июню конец, а там через неделю жатва. В воздухе пыльно. Суше становится лист у молодых осинюк: они шумят у дороги. Вся природа зреет плодами. Из лесу ребяташки принесли красноголовые грибы. Уже много травы скосили по лугам, скот налился в теле.

На жатву пшеницы сходятся все колхозники. Уж очень хороша уродилась — председатель не дает ее косить косой, как бы не вспутать; он показывает молодым, как надо работать серпом.

После полудня, когда спадает жара, в поле выходит тетка Мавра с вывозком ребяташек, посмотреть на работу жнецов: идет соревнование. Тетка Мавра беседует со стариками, пробует зерно на

зуб, спрашивает, какой будет умолот с гектара.

У копны тетка Мавра выпивает квас, она держит кувшин обеими руками. Ребятишек, которые побольше, она заставляет подносить снопы. И взрослые, и дети — все в этот день в поле.

Утром из районной больницы неожиданно приезжает старый доктор Самсон Яковлевич, с ним человек пять девчат, все в белых халатах — студенты на летней практике в деревне. К доктору Самсону Яковлевичу особое, заслуженное уважение.

Узнав, что Самсон Яковлевич хочет проверять здоровье поголовно всех жителей деревни, тетка Мавра смотрит на него неприязненно.

— Вольника, — жаловалась она Гавриле Ивановичу, — проверяли б ребятишек да тех, кто часто к нему в больницу таскается, а нас-то, здоровых, зачем?

— Диспансеризация, — пробует объяснить Гаврила Иванович, — проверка, как колхозное сердце работает.

Тетка Мавра морщится, есть у нее одна странность, — стыдится показать свое тело. Кому приятно смотреть на старуху! Самсон Яковлевич освидетельствовал всех колхозников. Тетка Мавра идет к нему в «кабинет», устроенный в кухонном чулане. Она ложится на две скамьи, составленные вместе. Тело вздрагивает от прохлады белоснежной простыни. Самсон Яковлевич шарит боль в животе, сильно нажимая руками под крылья ребер, а тетка Мавра то дышит, то нет, подгибает в синем оплечении вен ноги, твердит:

— Нет, не больно!

Уверенная, что все у ней хорошо и крепко слажено, она вдруг чувствует в глубине живота нестерпимую тупую боль.

Тетка Мавра молча кряхтит, слеза, будто росинка, скатывается из уголка левого глаза. Самсон Яковлевич, его не обманешь!

— Что, тетка Мавра, больно?

— Ручищи-то у тебя только б хлебы месить, ладони широкие, — шутит тетка Мавра, а у самой боль до сердца. Раньше она эту боль чувствовала только после большой усталости.

Самсон Яковлевич заполняет анкету, расспрашивает: сколько лет, как жила с мужем, о родителях, о детях, и смотрит на тетку Мавру таким взглядом, которым врачи пытаются облегчить больному страдание.

— Селезенка у вас большая, желудок — нет в нем нормальной работы.

— Ну и что ж! — Дожидаясь, что он еще скажет, тетка Мавра смотрит на Самсона Яковлевича исподлобья.

— Если вы не будете лечиться, то кончится плохо, — добавляет он.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать!

Тетка Мавра шутит, пытается не выдать испуга.

— А работать мне можно? — спрашивает она.

— Вам нужен покой, пища получше.

Тетке Мавре хочется узнать, когда она умрет. «Доктор, он, поди, и день смерти знает» — думает она, но спросить боится, как бы жизнь не оказалась короткой, такой, что ничего стоящего сделать не успеешь.

Да и умирать, когда еще жизнь не окрепла, показалось рано. Раздумье тетку Мавру не покидает: вот она умрет, а кто ее будет провожать до могилы? Сын в городе, редко шлет письма, а дочери — те все собираются только, и нет им дороги проведать мать. Внуцата, небось, взгрустнули по деревне, по лесу, по речке.

Рябина вон — вся в красных гроздьях. Перепела кричат на огороде «спать пора, сюда пора». Внуцек Петруша... вот бы он их испугал камушком из рогатки!

«Умрешь — дочери, те повонют, в девках голосистые были, а зятьям, им что, разве тещу жалко... Нет, если что и случится, внуцат не надо звать, зачем им смотреть на меня мертвую, пусть им думается, будто я живая по лесу брожу, землянику собираю».

На улице душно от жары. Тетка Мавра сняла с головы платок, пот на лбу и волосах. От колхозной риги поднимается дым, Гаврила Иванович сушит снопы. Вечер. Речушка побелела в тумане. По пыльной дороге итти тепло, а чуть оступишься в сторону, на малень-

кие лопуши подорожника, ноги мохнут в росе. Кора у берез розовая от зари.

— Не было печали, и вот тебе, болезнь... Отчего бы это?

В ночной тишине мысли неодолимы. Отец был здоровяк, на сороковом году барин случайным выстрелом убил его на охоте и камень ему на могилу положил с дырой, вроде жернова. А кому нужна барская прихоть? Мать умерла, тетка Мавра была уже замужем... В восемнадцатом году сын-комиссар с фронта приехал, на одну минутку, быстро, как в сказке, и поплакать-то около него не успела. Давно ли все это, и вдруг смерть подкралась, а что с нею делать, с незваной гостьей: фу ты, окаянная, утопить бы ее, как камень в реке!

Дни идут... Тетка Мавра никому ни слова о болезни, даже другу своему, Гавриле Ивановичу, не открылась. А любит она его, и жалко ей его оставить, все же они делали вместе одно дело, колхоз.

К удивлению Гаврилы Ивановича, тетка Мавра заходит к нему вечером, садится на лавку, подзадоривает: долго ли он еще будет ходить в сочувствующих? Гаврила Иванович показывает книжечку, совсем новенькая, — кандидат!

Тетка Мавра улыбается, перелистывает странички.

— Что-то ты больно веселая... — делает ей замечание жена Гаврилы Ивановича. Будто это были дни их давней молодости, с той лишь разницей, что раньше, ревнуя, жена не пускала тетку Мавру к себе в дом, боялась, как бы любовь свою не разладить. Да и теперь, нет да нет — взглянет старуха на тетку Мавру зло, а то дурь войдет в голову, возьмет да и обманет: «Мово Гаврилы Иваныча нету дома». А он, Гаврила Иванович, лежит около печки на приступке, ждет: «Что-то тетка Мавра, — наверно, что-нибудь с ребятами».

Нагулявшись по лугам и полям, ребяташки спят крепко: ни блох, ни клопов, — ничто не тревожит сон в детских кроватках.

Тетке Мавре не спится: она идет на гумно. Молотьба в разгаре. Барабаны вертятся напряженно. С опыленными

лицами, с мякиной на плечах и головах подавальщицы снопов твердо стоят у зевов молотилок. Непрерывный рев. Солома стрекочет: легкая, ее и при лунном свете видно, как она, золотясь, сыплется в большую кучу. Зерно увесистое, течет спокойно струйками; каждая струйка толщиной с палец.

Молотьба круглые сутки; одна бригада идет на отдых, другая заступает на ее место.

Вороха стоят на гумне, будто курганы. Летнее небо спокойно, звезды одна за другой описывают в подсиненном воздухе пути своего падения. Ветерок с запада легкий, тетка Мавра берет горсть зерна и бросает его перед собой выше головы. Зерно тяжело падает, а мякину ветер уносит на сторону.

— Привыкли хлобыстали, чтоб машина за вас все делала. Господами стали на работе, избаловались. Вот как надо!

Тетка Мавра берет лопату. Лопата свежая, из ее деревянной рукоятки не выветрен медовый запах липового сока. Вены на руках тетки Мавры набухли. Пот катится из-под волос на лицо. Тетка Мавра заразила колхозниц своей работой. Веялки вышли из строя, — только не ослабел бы ветер. Колхозницы своей работой гордятся; не было у них неприятностей по выполнению обязательств перед государством. Нелегко дается эта гордость, но колхозники тужатся, первенство отдать никому не хочется. Когда работаешь от души, каждая косточка, каждая жилка будто обновленные. Тетка Мавра споткнулась, упала на колени, выругалась, а потом до рассвета ворчала на Гаврилу Ивановича: «Какой из него председатель колхоза, вожжи распустил, молодежь не слушается, бросает метлы, лопаты, грабли, — слон тут и то ноги поломают!...». «Ну, это, тетка Мавра, про слона ты зря, — заступаете Лушка за председателя. — У слона ноги-то ты видела?» Колхозницы улыбаются, все видят, что под ногами на гумне ничего нет, кроме зерна, приятно обтекающего ноги.

Беда приходит сразу. Третьи сутки тетка Мавра лежит больная. Все колхозники взволнованы, разговаривают

тихо: «С нашей теткой Маврой неладно».

Ребятишки осиротели: их к ней не подпускают, только разве когда Гаврила Иванович пустит в избу ребятишек, сам пальцем на них погрозится, чтоб не шалили, держались смирно.

Тетке Мавре будто сразу легче, и ей кажется — среди ребят и погибший ее сын комиссар, и внучата. Ребята слушают, что это — бред или песня:

— «Скажи ты мне, сынок родной, как ты дошел до дому?» — «Летел я, родная маменька, на аэроплане, над теми землями, где кровушка моя пролилась за правду!» — «А скажи, золотой сынок, солнце мое неугасимое, как ты родное гнездо нашел?» — «К тебе, родимая матушка, дорожка прошла незарастаемая, по коту узнал, что лежит на завалинке, по зову петушинуму услышал на заре, что больна ты, моя матушка, по белой березе домик признал!» — «А как ты признал старую мать свою, на ней лица нету?» — «По твоим глазам, родимая матушка, по сердцу добромu, смелому, что дала мне! По славе твоей хорошей, матушка, что откликалась мне, когда я плутал в дороге!»

Гаврила Иванович, пока она причитала, не мог без волнения слушать, слезы лились. Ребятя притихли. В маленькой избе стало слышно больное дыхание тетки Мавры. Сколько за свою жизнь она спела этих душевных песен! Мысли ее блуждали где-то далеко, и ей казалось, что всему роду человеческому на свете она мать.

В полночь Гаврила Иванович у постели больной бодрствует. Под серыми закругленными бровями светится большое горе. Слишком велико было бы счастье, если б тетка Мавра встала. Лицо ее спокойно, видна синева под глазами. Гавриле Ивановичу кажется, что она умерла и успокоила на груди руки. «Осиротел колхоз. Бегала старая от болезни, жила, работала, радовалась, а бо-

лезнь за нею бродила и взяла крепко. А семьдесят лет совсем рядом. Что и говорить, отметили бы ее старость колхозным почетом, юбилей справили, а теперь что, только горькие слова на могиле. А зачем говорить? Все равно тетка Мавра не откроет глаз и не увидит, с каким горем завтра все от мала до велика пойдут за ее гробом... Молебнов нет, но зеленые хвойные ветки будут грустно склоняться над могилой. Музыка из города, а грусть своя, некупленная. И вся колхозная страна откликнется на наше горе».

— Ты о чем это думаешь, дай попить! — просит тетка Мавра, проснувшись. — Глаза-то у тебя, как у жулика... — И от этого грубоватого обращения, и от того, что тетка Мавра не теряет силы, пьет большими глотками воду, Гавриле Ивановичу радостно.

— Еще чашечку выпьешь?

— Нет!

— Хлеба теплого принести? Баба замесила из муки нового урожая. Мука хороша!

— Принеси попробовать, — шепчет тетка Мавра.

Утром сын приехал из города на автомобиле, робко переступил порог, давно тут не был. Он вошел в избу и сел рядом с матерью: это была встреча без слов, такие встречи с матерью могут быть редко. Вечером приехали дочери, зятя, внучата, шумно стало в маленькой избе тетки Мавры. Кроватей нет, принесли большое бремя яровой хрустящей соломы, внучата — разве их удержишь! — начали весело в ней барахтаться. Около тетки Мавры сидели дочери, они уже немолодые. Гаврила Иванович приносит большой каравай теплого хлеба. Наступает такой момент, когда и сыну, и зятям, и Гавриле Ивановичу нескрываяемо хочется выпить за здоровье, за жизнь тетки Мавры, за колхозный каравай, за силу, которая снова подымает тетку Мавру жить!

Село Соколово.

Лето 1936 г.

Люди и факты

1. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ — „Звезда“ и „Правда“. 2. Вл. КАНТОРОВИЧ — Рассказы проводника Карадупы. 3. И. ТРАЙНИН — „Разделение властей“

„ЗВЕЗДА“ и „ПРАВДА“

Ф. Раскольников

I

Стоял солнечный день с инеем и морозом. По накатанному снегу Большой Московской улицы проносились сани на высоких полозьях. Расправляя заиндевелые усы, на углу топтался газетчик в валенках, тулупе и фуражке с зеленым околышем. Среди газет, разложенных на прилавке его киоска, бросался в глаза первый номер «Звезды», вышедший 16 декабря 1910 года.

На Большой Московской улице я с трудом разыскал редакцию «Звезды» и вошел в небольшую, полутемную комнату, заваленную огромными тюками газет и служившую одновременно редакцией и конторой. За столом у окна, выходившего на сумрачный двор, сидел Константин Степанович Еремеев. Он встретил меня, 18-летнего студента, очень приветливо.

— Можно видеть редактора? — с робостью начинающего писателя спросил я.

— А что вам нужно? — сказал Еремеев, пристально разглядывая меня.

Я объяснил, что, сочувствуя идейному направлению «Звезды», хочу принять в ней активное участие.

— А вы раньше печатались?

Я с грустью ответил, что еще нигде не печатался. Я стыдился сказать, что

писал стихи, а двумя годами раньше набросал в черновой тетради очень плохой рассказ «Первая баня».

— Ну, что же, пишете. Мы платим по пятачку за строчку, — добавил Еремеев.

Когда я заикнулся, что из идейного сочувствия политическому направлению газеты готов работать бесплатно, Константин Степанович круто перебил меня: .

— Нет, мы принципиально не признаем бесплатного труда. Каждый труд должен оплачиваться. К сожалению, мы сейчас не можем платить больше пяти копеек за строчку.

Увы, потом «Звезде» пришлось понизить построчный гонорар до двух копеек: материальное положение газеты в ту пору было не из блестящих. Наш разговор перешел на тему о студенческих беспорядках. По случаю избияния политических каторжан в Зерентуйской и Акатуйской тюрьмах петербургское студенчество бастовало.

— Ну, какое настроение у студентов? — спросил Еремеев.

Я ответил, что студенты раз'ехали на каникулы с решимостью продолжать забастовку.

— Ну, они наедятся на праздниках рождественского гуся, — иронически заметил Еремеев, — придут в благодушное настроение, забудут о забастов-

ке и придут сдавать экзамены. Только рабочие способны вести борьбу до конца.

Так началось мое сотрудничество в «Звезде». Сперва я вел хронику студенческого движения в Петербургском политехническом институте. Потом Константин Степанович Еремеев стал посылать меня репортером на собрания профсоюза портных, на лекции Арабажина и Неведомского в Народный дом Нобеля, на доклады в рабочем культурно-просветительном обществе «Наука и жизнь». Мои заметки, наспех набросанные карандашом в блокноте и потом старательно переписанные чернилами, иногда, к моему великому огорчению, не появлялись на страницах газеты.

— Константин Степанович, почему вы опять забраковали мой материал? — обидчиво спрашивал я Еремеева.

Он неопределенно улыбался.

И всегда оказывалось, что либо собрание было неинтересным, либо Арабажин сделал бессодержательный доклад. Но я чувствовал, что это мне самому не удалось сделать заметку интересной, и в дальнейшем старался писать как можно лучше, тщательно обрабатывая каждый порученный мне отчет.

Наконец, весной 1911 года, преодолевая жестокие муки творчества, я написал первую публицистическую статью об иеромонахе Иллиодоре, который в то время в церковных проповедях обличал синод и «святого чорта», как он называл Распутина.

Еремеев синим карандашом вдвое сократил мою рукопись. Сердце автора обливалось кровью при виде этой ампутации, но спорить с «дядей Костей» было напрасно; однако, прочитав статью в гранках, я, к радостному удивлению, увидел, что сжатая статья стала убедительнее и живее.

II

В типографии, где печаталась «Звезда», не было лифта, и на пятый этаж приходилось карабкаться пешком.

По ночам, в типографии, в маленькой комнате, насыщенной табачным дымом, свинцовой пылью и запахом типографской краски, всегда можно было встретить Еремеева и Полетаева. Они оставались до рассвета, когда в окна пропадали звезды и над снежными крышами светлело серое, сумрачное небо. За стаканом чая с хлебом и ветчиной здесь еще раз читались и обсуждались набранные статьи, правились первые и вторые корректуры, намечался порядок верстки и подписывалась к печати принесенная метранпажем Приходько сверстанная полоса с буквами, глубоко вдавленными в шершавую бумагу.

Типография «Товарищества художественной печати» Березина была огромным предприятием, где печатались книги, журналы и газеты всех направлений — от «Земщины» до «Звезды».

Втягиваясь в работу «Звезды», я постепенно выучился писать статьи по вопросам международного рабочего движения и давать исторические справки.

Моей первой работой на литературную тему был некролог, посвященный памяти поэта-народника П. Я. Якубовича (Мельшина) и напечатанный в «Звезде» под псевдонимом «Немо». Когда появилась «Правда», в которой был заведен отдел библиографии, я стал давать критические отзывы о новых книгах.

Однажды историк русской литературы профессор-пушкинист Семен Афанасьевич Венгеров, библиофил и библиограф, подарил мне контрольный экземпляр еще не вышедшего из печати «Временника Пушкинского дома». Гвоздем сборника было описание хранившегося в Пушкинском доме архива революционного критика и публициста, стойкого борца с самодержавием и теоретика крестьянской революции — Николая Александровича Добролюбова. Я тотчас написал для «Правды» рецензию, в которой, между прочим, привел резкое, антимонархическое стихотворение Добролюбова «Дворец» в том виде, как оно было напечатано в контрольном экземпляре «Временника». Но директор

Пушкинского дома, архиумеренный либерал, Нестор Котляревский, боясь полицейских репрессий, выкинул революционное стихотворение Добролюбова из окончательного текста «Временника». И получилось, что «Правда» впервые опубликовала замечательное стихотворение «Дворец», конечно, с неизбежными цензурными пропусками отдельных слов, замененных красноречивыми точками.

Я полюбил «Звезду», а потом «Правду», как живого человека: целые ночи напролет проводил в типографии, помогая редактору, выпускающему и корректору нашей партийной газеты.

Редакторы «Звезды» и «Правды» — Еремеев, Ольминский и др. — с чутким вниманием относились ко мне, как начинающему партийному литератору. Не жалея ни сил ни времени, они терпеливо и доброжелательно правили мои ученические работы, передавали мне свой опыт и знания, обучали меня литературному ремеслу. А как много это значит для начинающего писателя и журналиста! И какой прекрасной школой литературного стиля и прозрачной ясности революционной мысли были газетные статьи руководителей «Звезды» и «Правды» — Ленина и Сталина! Как многие работники печатного слова, от журнализма я потом перешел к художественной литературе.

Я никогда не сотрудничал в буржуазной печати и всем обязан «Звезде» и «Правде», которые сделали меня советским писателем.

III

С тех пор, как Николай Гурьевич Полетаев, рабочий Путиловского завода, токарь по металлу, был выбран членом 3-й государственной думы от рабочей курии Петербурга, он поселился на Песках, на одной из Рождественских улиц, недалеко от Таврического дворца.

На заседаниях государственной думы он выступал редко.

— Да, я не оратор, — скромно пояснил он.

Но он оказался прекрасным органи-

затором большевистских газет: сперва «Звезды», а потом «Правды». Целыми днями, с утра до вечера, он проводил время в редакции, а иногда, не успев пообедать, шел в типографию, где оставался до рассвета. Руководя издательской частью, он организовал технику газетного дела, подобрал штат работников конторы и экспедиции, а званием члена государственной думы искусно защищал «Правду» от налетов полиции. Он же заботился и о деньгах. Когда для выпуска очередного номера не было денег, то члены государственной думы — большевики — из своего депутатского жалованья собирали вскладчину необходимую сумму. Делами редакции товарищ Полетаев интересовался меньше; однако ни один политический вопрос не решался без его участия.

Однажды, в апреле 1912 года, я с Полетаевым возвращался по Николаевской улице из редакции «Правды». Когда мы подходили к Невскому, Николай Гурьевич повернул ко мне худощавое, скуластое лицо с маленькими впалыми глазами, откашлялся и хрипловатым голосом произнес:

— Иван Петрович Покровский выдвигает вашу кандидатуру в секретари редакции «Правды». Согласны ли вы взяться за эту работу?

Польщенный таким предложением, я с радостью согласился.

— Какое жалованье хотите за эту работу? — спросил Николай Гурьевич, исподлобья заглядывая мне в глаза.

— Столько, сколько я мог бы заработать уроками, — ответил я, не решаясь оценивать свой труд.

— Уроки бывают разные, — широко, во весь рот улыбаясь, сказал Полетаев, поправляя на голове зеленую фетровую шляпу.

— Ну, рублей тридцать в месяц, — нерешительно предложил я.

— Однако, вы скромны в своих требованиях. Ну, хорошо, — согласился Полетаев.

— Когда можно приступить к работе?

— Когда хотите. Хоть завтра, — сказал Полетаев, звонко стуча на ходу медным наконечником тросточки по бе-

лым плитам тротуара. На углу Невского и Николаевской мы расстались.

Сутуло горбясь и старчески покашливая, он свернул к Николаевскому вокзалу и пошел на Пески, где его ждали жена и сын — гимназист Миня.

IV.

На другой день с раннего утра я приступил к работе секретаря «Правды».

Редакция и контора нашей партийной газеты занимали небольшую и очень скромную квартиру, предназначенную для маленькой семьи. Первая комната налево составляла редакцию. На стене висел черный ящик телефонного аппарата.

В простенке между окнами стоял письменный стол, за которым в рабочую пору сидело четверо: я и трое редакторов.

Я приходил в редакцию первым. Каждое утро сторож, живший в квартире, подавал мне объемистую пачку писем в белых и синих конвертах. Особую радость доставляли свернутые трубочкой заграничные бандероли с французской надписью в левом верхнем углу: Manuscript (рукопись). Это были статьи товарища Ленина из Парижа, с глухой улицы Мари-Роз, находящейся в рабочем квартале, около Орлеанских ворот.

Статьи Владимира Ильича всегда были написаны его рукой на одной стороне квадратных листков хрустящей полупрозрачной бумаги. Помню его характерный почерк с тонкими, острыми буквами без нажимов. Он писал быстро, сразу начисто и почти без поправок. Адрес на бандероли он тоже надписывал собственноручно. Эту привычку Владимир Ильич сохранил и позже, когда он стал председателем Совета Народных Комиссаров.

Однажды в Кремле, в своем кабинете, разговаривая со мною, он одновременно писал кому-то записку, низко склонившись над бумагой. Потом он вынул из толстой пачки, аккуратно стоявшей рядом с календарем, небольшой белый конверт и торопливо стал пи-

сать адрес, подчеркивая отдельные слова.

Я спросил Владимира Ильича, почему он не поручает написать адрес секретарю.

— Да знаете, получается как-то скорее, — ответил он. — Пока я вызываю секретаря, адрес уже готов.

Полученные из-за границы рукописи Ленина я давал кому-нибудь из редакторов, который отправлял их в набор или складывал про запас в ящик письменного стола.

Важной частью моей работы был прием посетителей. В подавляющем большинстве это были рабочие. Одни приносили корреспонденции и заметки о жизни фабрики. Другие рассказывали о начавшейся забастовке. И мне приходилось тут же записывать их рассказ. Наиболее способных рабочих-корреспондентов я связывал с Еремеевым, который организовал из них сеть постоянных рабкоров.

Внимательно и терпеливо выслушивал я каждого посетителя. Один газетчик упорно осаждал меня, добиваясь, чтобы «Правда» напечатала его разоблачение о продаже трупов городскими больницами. И мне приходилось вежливо разъяснять ему, что «Правда» не располагает местом для таких тем.

Первого мая 1912 года я весь день не отходил от телефона: как в штаб, непрерывно звонили в «Правду» и рассказывали о ходе демонстраций. Все это записывалось на бумагу и с полуобсохшими чернилами посылалось в набор: к вечеру нам стала ясна картина многолюдной и величавой манифестации во всех рабочих районах Петербурга. Полиция разгоняла демонстрантов, но первомайский праздник все же оказался на-редкость удачным и подлинно массовым.

Все эти сведения, корреспонденции рабочих и обобщающие политические статьи по поводу празднования первого мая были напечатаны в «Правде».

Нередко мне приходилось подбирать материал для «обзора печати». Просматривая газеты, я красным карандашом отмечал на полях самые интересные места, длинными ножницами выре-

зал цитату, гуммиарабиком наклеивал ее на лист бумаги и одной сжатой фразой старался ядовито высмеять врага.

Язык «Правды» значительно отличался от языка «Звезды», которую читали передовые рабочие, искушенные в чтении политических брошюр, изобиловавших иностранными словами. «Правда» издавалась для рядового рабочего, который еще не привык читать газеты или находился под растлевающим влиянием «Разбойника Чуркина», «Сонника» и «Газеты-копейки». Сотрудники «Правды» писали простыми, обыденными словами. Работая для широких масс, «Правда» нашла общий с ними язык и стала любимой газетой в рабочей семье, вытесняя не только вульгарную и разнузданную «Газету-копейку», но и более культурное «Современное слово», прикрывавшее убогие мысли нарядом красивых слов с целью затуманить рабочую голову буржуазно-кадетской ложью.

Рабочие любили «Правду» и добровольно поддерживали ее сборами, принося в карманах и носовых платках собранные по цехам, за спиной мастера, медные пятаки.

V

Непрерывный град полицейских репрессий преследовал «Правду». Предания суду ответственного редактора, конфискации номеров и денежные штрафы сыпались, как из рога изобилия.

Мне приходилось заботиться о подборе ответственных редакторов: вся их обязанность состояла в том, чтобы подписывать номера газеты. При возникновении «Звезды» ответственным редактором числился Еремеев, фактически редактировавший газету. И первое время, когда на «Звезду» налагался штраф, мы добросовестно платили деньги; но, когда с целью удушения газеты почти каждый номер «Звезды» стали облагать крупным штрафом, мы увидели, что у нас исхватит средств уплачивать эту контрибуцию. Если в течение трех суток штраф не вносился, то по закону ответственному редактору приходилось садиться под арест. Мно-

гие преданные партии рабочие, из политического сочувствия «Правде», соглашались числиться ответственными редакторами, зная, что им угрожает тюрьма. Для них было установлено жалованье в размере тридцати рублей в месяц, которое сохранялось за ними и во время ареста.

— А что мне угрожает? — спрашивал товарищ, желавший стать ответственным редактором.

— По суду вам придется сидеть от одного года до полутора лет.

И никогда не было недостатка в честных и преданных энтузиастах, которые из любви к делу рабочего класса добровольно приносили себя в жертву, шли на суд и в тюрьму.

На случай закрытия газеты в портфеле редакции всегда было несколько запасных названий, зарегистрированных по всем правилам закона в главном управлении по делам печати. Борьба с полицией поглощала массу энергии.

Мы постоянно задерживали отправку в цензуру контрольных экземпляров «Правды». Когда огромная печатная машина, тонким звоном отмечая каждую тысячу номеров, с шумом и грохотом выбрасывала из недр однообразно крутившихся валов последнюю пачку влажных, пахнущих краской и аккуратно сфальцованных номеров, — экспедиция наспех заканчивала раздачу отпечатанных экземпляров рабочим и газетчикам, типографский мальчик с кипой «Правды» подмышкой бежал к инспектору по делам печати. И пока цензора, надев очки, просматривали газету, весь тираж с необычайной поспешностью увозился на грузовиках со двора типографии. И когда городской в черной шинели, увешанный красными аксельбантами, важно приходил в типографию и протягивал ордер на конфискацию «Правды», он находил несколько мятых и порченных листов, которые с гордостью уносил, как трофеи.

Если полиция появлялась слишком рано, то Николай Гурьевич Полетаев, пользуясь депутатской неприкосновенностью, на глазах остолбеневших «фараонов» выносил в обеих руках пудовые тюки «Правды», неторопливо са-

дился в широкую пролетку легкового извозчика, застегивал полость и уезжал на Пески, смеясь и махая нам зеленой фетровой шляпой.

VI

В 1914 году впервые праздновали день рабочей печати. Он был приурочен ко второй годовщине со дня рождения «Правды».

Меньшевики решили примазаться к нашему празднику и, как обезьяны, подражая нам, объявили 22 апреля (5 мая) днем печати, хотя у них эта дата не пробуждала радостных воспоминаний.

На Раз'езжей улице в тесном, битком набитом рабочем клубе общества «Наука и жизнь» шло заседание, посвященное дню печати. Я делал доклад по истории рабочей печати и обстоятельно разъяснил историческую роль и политическое значение «Правды».

Культурно-просветительное общество «Наука и жизнь», руководимое правлением, в котором преобладали большевики, было легальной организацией. На собрании присутствовал городской, при входе проверявший повестки, и мне приходилось выражаться эзоповским языком, который годами выработался в практике «Звезды» и «Правды». Рабочие в совершенстве научились владеть этим кодом нашего условного языка. Когда, например, я говорил о «неурезанных» лозунгах, то все понимали, что речь идет о революционных лозунгах. «Всеобщая демократизация» была исевдонимом демократической республики. Я не мог открыто, в присутствии полицейского, критиковать царское правительство, но я метал громы и молнии против «администрации», а мои слушатели понимали, что я говорю о правительстве. Я не мог употребить слов «конфискация земли помещиков» и поэтому говорил о «передаче» земли крестьянам.

Весь мой доклад был построен на «трех китах», на трех большевистских лозунгах: 1) демократическая республика, 2) восьмичасовой рабочий день и 3) конфискация земли в пользу крестьян.

И все это приходилось пропагандировать осторожно — завуалированными словами условного кода большевиков.

— Слово для содоклада имеет Борис Осипович Богданов, — сухим и бесстрастным голосом сказал председатель.

Упитанный господин средних лет, с обрюзглым лицом и мясистым носом, на котором сидело пенсне без оправы, с важной медлительностью, вразвалку, вышел откуда-то из глубины зала, с нарочитой развязностью уселся на середину стола, свесил толстые ноги и, непринужденно болтая ими в воздухе, начал свой содоклад.

Захлебываясь от восхищения, он хвалил достоинства и заслуги меньшевистской «Рабочей газеты» и «Луча». Рассказывая о журналах «Дело жизни» и «Наша заря», которые выходили в годы реакции еще до появления «Мысли», «Просвещения» и «Звезды», Богданов, сверкая пенсне, победоносно оглядел зал, как генерал, выигравший сражение, и вызывающе воскликнул:

— А где были в это время вы, товарищи большевики?

— За решеткой, — громко и внятно закричал на весь зал пожилой рабочий с горящими черными глазами.

Городовой тревожно зашевелился на стуле, приподнялся, внимательно и грозно оглядел рабочего, подавшего реплику, и сделал какую-то пометку в карманной записной книжке.

После моего доклада и содоклада Богданова голосовались две резолюции. Большевики одержали верх. Это неудивительно: общество «Наука и жизнь» было прочно завоевано большевиками.

РАССКАЗЫ ПРОВОДНИКА КАРАДУПЫ

Вл. Канторович

1. Друзья

Четыре года служу на границе, из ночи в ночь брожу с Индусом по тайге. Измерил до дна всю подлость воровскую. Смотрел в бесстыдные глаза шпионов. Выбивал оружие из рук озверелых бандитов. И теперь, едва Индус поднимет след, кровь бьет в виски и ненависть к врагу толкает в погоню.

А в жизни я человек улыбчивый. И характер у меня легкий. Солнышко припекает — добро! А если и по морозцу пройтись — тоже неплохо! И как не радоваться: кругом друзья.

Но в деле я злой. Пока не распутая следа, пока не возьму нарушителя, улыбки от меня не жди.

И Индус таков же, как и его хозяин, — не даром прожили мы четыре года в дружбе и верности.

Добродушия в нем много. Любит играть с чужими щенками — своих у него пока нет, такой же бобыль, как и его хозяин. Не зарычит на маленьких захватчиков, если и отнимут у него бачок с супом. Сядет поблизости, сторожит, охраняет.

Но в деле — огонь, пламень. Люто ненавидит нарушителей.

Собака, скажите, а понимает, должно быть, что шпион не простой, опаснейший враг.

Мы с Индусом задержали сотни две нарушителей. Японцы знают нас; все приметы описали. Попадись мы им, разорвали бы, верно, на куски.

Он исполняет приказ всегда точно, самоотверженно. Дам знак — прыгнет на грудь нарушителя и сразбегу свалит его на землю. Но если прикажу: «Лежи тихо!», — он не пошевелится, даже под ногой контрабандиста.

Был Индус замбранным щенком. Я положил год своей жизни, чтобы сделать из него боевого сторожа границы. И вот награда: в работе Индус послушен мне, словно собственная рука. И предан всей душой собачьей.

Индус никого не подпускает к клетке, кроме хозяина. Истощает весь — кожа да кости, но и куска хлеба от чужого человека не примет.

Я всегда полагаюсь на собаку: не выдаст, предупредит об опасности. И сам без крайней нужды не подставляю Индуса под выстрелы.

Так и ходим мы сам-друг с Индусом вдоль границы, защищаем рабочее государство.

Где-то поблизости, может быть, прячутся в засаде японцы или рыщут по лесу бандиты. Не страшно: я не один, за плечом весь народ.

Есть закон такой для пограничника, в нем и совесть, и долг, и честь бойца: не щади своей жизни, раз нужно отстоять рубеж.

2. Табун нарушителей

Сопки, топи, тайга. Дальневосточную границу не прикроешь бойцами, чтоб стали плечом к плечу.

Благодатные это, между прочим, края. Придет время, когда границу снимут, и здесь поселятся колхозники. Их ждет богатое житье, привольная охота.

Возле границы не стреляют по дичи, и зверь не бережется, живет, словно в заповеднике. Что ни сходишь в дозор, непременно встретишь изюбря, или кабана, или козочку, или дикую кошку. Фазанов мы даже не считаем за дичь. С той поры, как японцы разорили поля пограничных китайцев, фазаньих курочек развелось чересчур много. Птица эта не государственная — спокойно порхает через границу.

Наши бойцы охотятся в заставском тылу; без медвежатины и кабанины редко садятся за стол. Также варят уху из деликатной рыбы — форели, что водится в горных речках.

Знал я раньше только луга да степи, и думалось — хорошо! Теперь, после Приморья, мне и вставать поутру грустно, если не вижу из окна знакомой сопочки.

Чудесные это места, и после хлопотливой ночи в дозоре радостно встречаешь солнце. Под утро мы с Индусом маскируемся и, сидя, прослушиваем, просматриваем тайгу. Привычное ухо распознает все таёжные шумы. Там коза пробежала, тут олень затаил свою брачную песню, ветер пригнул сухое дерево, и ствол надломился, пальнув, как из пистолета. Новичка — и я таким был! — все эти шорохи дразнят, но нас с Индусом теперь на мякине не проведешь, — спокойно наблюдаем, как занимается день в лесу.

Сперва загорается листва березок, что выстроились в ряд на хребте пограничной сопки (опасные места: там прячутся порой японские дозоры и поливают наших пограничников из пулемета). Шальной луч солнца, прорвавшись через зеленое заграждение, насквозь протыкает мглу и упирается в плешинку на лесистом склоне. Потом зажигается один участок за другим, как будто монтер орудует где-то возле распределительной доски. Ветер шевелит бурьян и гонит перед собой легкие тени. Тут бы и помечтать, на виду такой красоты, о своем, о личной жизни, да соседи подобрались недобрые: нельзя сводить глаз с границы.

Глушь, нежить. В таких диких местах проводник полагается на смекалку да на отвагу. У каждого нарушителя своя повадка, свой злодейский план. Но пограничник должен во-время разгадать его замысел, задержать или уничтожить врага. И потому всякий новый «случай» на границе не похож на другой, вчерашний.

Вот как мне довелось привести на заставу целый табун нарушителей.

Однажды ночью Индус поднял след. В темноте никак не удавалось разглядеть отпечаток ноги на мягкой земле. Зажечь спичку тоже нельзя — близко граница.

Собака сделала вольт, обыскала местность и вернулась назад. Я взял Индуса на поводок длиной в 12 метров и приказал ему: веди по следу.

По собаке догадываюсь — нарушитель прошел недавно. Индус идет горячо, схватывает запах прямо в воздухе.

Я укоротил поводок, шагаю сторожко, боюсь спугнуть дичь прежде времени. Тогда нарушитель еще может словчиться, уйти назад, за границу.

Индус подвел меня к речке. Я схватил его на руки и перенес на другой берег. После купанья у овчарок притупляется нюх, да и простудиться недолго такому псу. Я его всегда на руках таскаю через речки, и если по мокрой погоде меня вызывают на соседнюю заставу, то он скачет со мной в седле. На этот раз пришлось брести по пояс в ледяной воде. Время — поздняя осень.

На правом берегу снял с себя сапоги, вылил воду. Холодно! Зуб на зуб не попадает.

Следа мы здесь не нашли. Прошли по берегу вниз и вверх по 200 шагов — нет следа.

Пот прошиб меня, и даже знобить после купанья перестало. Неужели спугнул нарушителя? Вода осенняя, морозная, больше 200 шагов преступнику не сделать по руслу реки. Искать их здесь не к чему, надо ползти обратно.

Присели мы с Индусом и еще раз прослушали тайгу. Я перенес собаку обратно на левый берег.

— Ищи, Индус, голубчик!

Шагах в пятидесяти от первого следа Индус нащупал новый. Но на этот раз он вел по гальке, по-над прибрежными ивами, в сторону от границы. Веселее стало на душе. Значит, нарушителя не спугнули, просто он хитрит, маневрирует. Шагов через сто след опять утонул в реке.

Снова вброд. Индус, шельмец, меня лижет, целует, понял, верно, что работаем мы с ним без промаха.

Нарушитель подался напрямик в тыл. В старинное время здесь стояли китайские фанзы, мимо проходил великий контрабандистский тракт.

Шли мы медленно, хоть Индус и горячился. По первой разгаданной уловке я понял, что впереди идет опытный нарушитель. Темень, ни зги не видно. В такую ночь трудно красться по тайге без шума.

Вдруг Индус замер.

Я различил в лесу посторонние шорохи, хруст сучьев. Метрах в полтора ста

передо мной шли люди, почти не таясь. «Уверенный в себе народ, не бережет-ся» — подумал я.

Опасливо крались мы вслед нарушителям. Слышать — слышим их, но не видим: темень!

Что за народ? И сколько их там?

На мое счастье, мы вошли в редколесье: зачастили полянки. Я присел в траву. Даже в темную ночь небо светлее земли. На облаках и тучах, как на светлой стене, вырисовывались фигуры нарушителей.

Вот трое, вот еще четверо, да там еще шагает человек десять. И показалось мне: лес кишмя-кишит нарушителями.

Дух перехватило.

Неужели войсковая часть противника? Беспросветной ночью у нас в тылу?

Как же поступить? Спешить за помощью и поднятия на ноги весь район? Выследить сперва путь вражеского отряда? Принять бой, чтобы перестрелка привлекла дозоры? Как помешать злодейским замыслам?

Спокойствие! Не выдавай себя, Карацупа, сначала все выясни, прикинь в уме, а потом уж действуй.

Крадемся дальше с Индусом; он строго обучен — голоса не подает. То и дело припадаю к земле и поглядываю на нарушителей.

Скоро я уже распознал свою ошибку. Нарушителей оказалось не больше десятка. Контрабандисты: спины горбатые — каждый несет за плечами мешок с товаром.

Полегчало на сердце. Не такой уж серьезный случай...

Правда, против десятка нарушителей я один (с собакой), но есть еще время обдумать план действий.

Контрабандисты внезапно собрались все в кучу. Донесся китайский говор. Сейчас они поделятся на группы и разберутся во все стороны: их тогда не переловишь, кто-либо прорвется в тыл.

Размышлять некогда, надо действовать!

Освободил поводок и, схватив Индуса за ошейник, бросился напрямик к нарушителям. Реву во весь голос:

— Сто-ой!

Собаку выпускаю на врага, а сам прячусь в кустах, на опушке. Расчет простой: если передо мной вооруженные бандиты, они, безусловно, начнут отстреливаться.

Тихо. Люди оцепенели от ужаса, от неожиданности. Окрик пограничника всегда пугает нарушителя: ведь он считал себя в безопасности посреди дремучей тайги.

Тогда я вышел из-за кустов с наганом в руке. Шел неторопливо, как хозяин, как победитель.

— Индус, охраняй! Сколько твоя люди?

— Наша девять люди.

— Стоять всем на местах!

Тут какая-то фигура юркнула в сторону. Один из нарушителей пытался улизнуть.

— Индус!

Собака тотчас же расправилась с беглецом. Короткий крик. Я отозвал собаку, и нарушитель, хромя, подбежал к остальным.

— Индус, к ноге, охраняй!

Пересчитал задержанных при переходе границы: девять человек. В темноте даже лиц не разглядишь, как уследить за руками? Полагался во всем на зоркое зрение и чутье Индуса.

Я стоял один, лицом к лицу с нарушителями. Их намеренья, их повадки мне еще не были доступны.

Долго так продолжаться не может. Контрабандисты поймут, что одному человеку не устеречь девятерых в тайге, да еще ночью. Разбегутся.

Счет времени шел на секунды. Но в таких случаях находит вдохновение, голова ясная, восторг какой-то горит в душе, и сразу рождается план, хитрый, смелый, до него не додумался бы в другой раз за целую неделю.

Принял решение.

С той минуты я уже не умолкал. Выкрикивал какие-то слова команды, топтал ломкий валежник и, вообще, шумел за целый отряд.

Притворился, будто со мною много людей, — прячутся они в лесу.

— Отделенный Загайнов! — кричал я. — Взять этих бандюков на прицел!

Не выходить из-за прикрытия. Стрелять в случае сопротивления. Держите вашими людьми левый фланг. Харламов, охраняйте с дозорными правую сторону. При попытке к бегству — стрельба! Слушать команду! Индус, охраняй! Слушай команду! Приступаю к обыску. Подходи твоя — первым будешь. Отделенный Загайнов, следите за обыскиваемыми. Индус! Эй, ты, сбрось ляжку! Не понимаешь? Твоя контрабанду клади на землю. Понял? Повернись боком. Выворачивай карман. Что у тебя здесь? Нож? Финка? Клади твоя на землю! Бумаги давай сюда. Отделенный Загайнов! Индус, охраняй!

Не давал опомниться своим пленникам. Оглушил их окриками — лишь бы громче, хоть бы и без смысла. Они послушно сбрасывали контрабанду на землю, расставались с оружием, выворачивали карманы наизнанку. Так и не догадались, что за спиной проводника нет ни живой души.

Я обыскивал уже шестого нарушителя подряд. Вдруг один из тех, кто ожидал своей очереди, пошевелил рукой. Я так думаю: он хотел избавиться от секретных документов, — нынче, что контрабандист, что шпион — одним миром мазаны, у одного хозяина служат. Индус стоял на посту. Он прыгнул нарушителю на грудь, сбил его с ног и прокусил локоть: верно, думал, что в руке у бандита зажато оружие.

Не знаю, что нарушители думали о молчаливом Загайнове, но в собаке они сразу угадали строгого сторожа.

Итак, я обыскал и, видимо, обезоружил всех девятых.

Что дальше? Я все выкрикивал приказания, тормошил арестованных, не смел остановиться ни на минуту, чтобы не дать им опомниться. Как тут обдумать свое положение?

И все же пришлось и кричать, и вопить, и командовать, и враз продумать план. Будто отпущена одна голова на двух человек.

Все обдумал.

Вести нарушителей на дорогу — расстреляю. Увидят, что я один, и разбегутся.

Порешил гнать их густой чащей, по

хрусткому валежнику в соседнее село, где стоят полевые части. И еще: решил гнать их табуном. Ведь если выстроятся в затылок, я передних вовсе не увижу.

Охрит, но все же ору изо всех сил:

— Слушать команду: отделенный Загайнов, держать левый фланг. Харламов — правый! Индус, охраняй! Эй, братва, становись в два ряда. Не так. Твоя люди — сюда, не толкайся!

Загайнов, бери на прицел! Индус, охраняй! Вперед, не оглядывайся! Твоя назад смотри, моя стреляй. Индус — фасс! Харламов, слушай команду. Эй, ты, не нагибайся! Не нагибайся, тебе говорю. Вперед! Индус, охраняй!

Пошли. А итти нам не меньше семи километров, тайгой по увалам. И до свету еще далеко.

Вижу, в удобных местах один из нарушителей все норовит пригнуться к земле и разглядеть конвоиров. Не верит уже, что лес прячет целое отделение бойцов, и высматривает, нельзя ли кинуться наутек?

С нарушителями я всегда поступаю по уставу, вежливенько. Вообще, как их обезвредишь, так и злобы к ним нет. Бандюкам, хоть они по тебе стреляли, всегда охотно перевязываю раны.

Но на этот раз я взял своих нарушителей в суровый оборот. Дай им очухаться — и все пропало! Их девять человек, а у меня в нагане всего семь пуль. Нападут или, тем более, разбегутся, тогда из-за моего мягкосердечия государство будет в ответе.

Значит, я не мог допустить, чтоб нарушитель нагнулся и разглядел, что за мной никого нет. Я его окриком подымал и, извиняюсь, под зад коленкой ему поддавал, и собаку на него натравлял.

Главное, затормошил всю компанию, прямо-таки оглушил их криком.

Табунок мой валит по тайге, не разбирая дороги. Под ногами хрустит сухой валежник, по лесу раздается топот, будто несется испуганное охотником стадо кабанов. В таком шуме, пожалуй, и впрямь не расслышишь, идет ли кто по флангам.

Но, оказывается, не может человек два часа без передышки кричать все одни и те же, да притом фальшивые, слова. Не в силах: и голова, и голос отказываются служить.

Стал я замечать — слова понемногу теряю. Уж не знаю, какое слово следующим выкрикнуть.

Что делать, как помочь беде? Главное, нельзя допустить, чтобы нарушители пришли в себя.

Тут, скажу по совести, пришла мне на помощь наша славная партизанская песня, уж я перед народом виноват, что так слова ее использовал.

Стал я орать смелее:

— Загайнов, слушай команду! По долинам и по взгорьям! Не оборачивайся! Шла дивизия! Вперед! Индус, охраняй! Останутся, как в сказке! Харламов, на прицел! Как манящие! Огни! Индус, охраняй! Штурмовые! Ночи Спасска! Не нагибайся! Волочаевские дни! Шевелись! На Тихом океане! Свой! Индус, охраняй! Закончили поход...

Все равно, народ малограмотный, по-русски плохо понимает. Видят, что русский начальник ярится, голос подает, гонит да угрожает, а что к чему — в суеде и не разобрали.

Я думаю, если б кто увидел нас тогда в тайге, подумал бы, что сбежали из сумасшедшего дома. И самый главный безумец есть Карацупа — проводник.

Индус, и тот очумел, носится, как угорелый, загоняет контрабандистов в табун, что баранов, рычит и даже гавкает без команды, чего с ним никогда не случалось.

И так дошли мы до опушки леса. Внизу селение, там часовые стоят. Если что, подымут тревогу.

В последний раз я прокричал команду послушным своим подчиненным Загайнову и Харламову: сидеть в лесу, держать нарушителей на мушке. Операция подходила к концу.

Стали спускаться с горы.

Тут контрабандисты вовсе перестали бояться окриков. Оглядываются. Видят: позади, как был, так и остался один проводник собаки. Вполголоса пе-

реговариваются. Сердятся, верно, ругают один другого трусом.

Ну, я ихнюю ссору быстро прекратил. Выстрелил три раза в воздух. Тревога. Навстречу выслали отделение во главе с командиром.

— Что такое? Кто идет?

— Принимайте, друзья, партию нарушителей, целый табун. Да снарядите со мною двух людей с лошадью на розыск местности: там контрабанды до чорта, и, надо полагать, почта припрятана.

Когда сдавал нарушителей, один из них, пожилой уже человек, матерой, видимо, контрабандист, уважительно так выразился:

— Твоя люди очень хитрый, из земли расти, когда шибко не жди. Капитана совсем хитрый, кричи пум-тум-бум-бум, шибко много люди, всех обмани...

3. Индус спасает двух человек

Так и выходим мы на границу: проводник и следопыт, человек и собака — два крепких друга.

Не перечесть, сколько раз Индус спасал мне жизнь. И я берегу его, как родного.

На Суйфуне Индус спас жизнь нам обоим: мне и бойцу Шилову.

Суйфун течет с гор, течение в нем стремительное.

Пришлось однажды переплывать эту речку на плохоньком дощанике.

Нас было двое с бойцом Шиловым, мы возвращались с Мадяного острова из дозора. И, конечно, со мной был Индус.

Наши бойцы переправили хорошую лодку на заставский берег, а нам вдвоем оставили этот челн.

Утро было пригожее, солнечное, ночную службу справили без происшествий, и настроение случилось у нас бездумное.

— Идем, говорю, Индусище, искупаемся.

И сам лезу в дырявый челн. Мы его сперва опрокинули и выплеснули воду, но только он поплыл, как из всех щелей забили фонтанчики.

Между прочим, Индус прекрасно понимает мой разговор. Безусловно, он

принял все за чистую монету: зовет хозяин купаться.

Неизвестно, с чего это на нас нашел такой стих. Вода в челне все прибывает, но мы дурачимся и толкаем лодку к самой стремнине.

Прямо сказать, игривое, безответственное настроение, как весной, хотя на дворе как-раз стояла осень.

В голенища шиловских сапог залилась вода. Он хотел оправиться, да неловко покачулся. Лодка зачерпнула воду бортами и сразу затонула.

Мы оба всплыли. В заварушке я потерял шлем.

Шилов смеется, и я от него не отстаю.

Индус резвился поблизости. Ему что? Шкура ведь не промокает. Он, верно, думал, что хозяин по собственному желанию купается в Суйфуне. Заметил, что мой шлем плывет по течению и погнался за ним. Достал зубами и заработал всеми четырьмя к берегу, будто по команде «апорт».

Индус плавает прекрасно. С ляжкой на груди, пожалуй, вытянет бревно против течения реки. Однако, не такой сумасшедшей, как Суйфун.

В сапогах, в шинели да еще с гранатной сумкой на боку — плыть очень трудно.

Тут уже не до смеха.

Барахтаюсь в воде, а на душе занимается тревога: хватит ли сил доплыть до берега?

Стал скидывать намокшую шинель. Через силу освободил правую руку. Рукав стянул уже под водой. Нахлебался ее вдоволь.

Сапоги ровно свинцом налились и тянут ко дну. Пробовал сбросить их. С одним сапогом сладил, но совсем ослабел.

В руках уже нет силы; правую ногу будто заарканили и тянут книзу. Через силу всплыл еще раз.

Шагает ко мне моя гибель. На душе противно, муторно. Обидно погибать так, зазря, даже не от вражьей пули...

Несло меня по самой середине реки. Индус визжал и лаял на берегу: это разрешается собаке, когда с ней играют, балуются.

Об Индусе я совсем забыл; голос его вернул мне надежду.

Едва хватило сил крикнуть:

— Индус, спасай!

Не помню, что после того случилось. Сперва я еще барахтался и отчаянно загребал руками. Потом сознание, видимо, помутилось.

Очнулся, когда Индус вцепился в гимнастерку и потащил к берегу.

Индус поддерживал меня на воде. Я уже мог дышать и стал подгрести рукой.

Скоро мы с Индусом выбрались на берег.

Собака визжит, обнимает. Никак ее не уговоришь, чтоб выпустила из зубов гимнастерку. С Индусом случилась истерика. Понял, что едва не потерял хозяина.

Вдруг я содрогнулся. Где же товарищ мой, боец Шилов?

Вскочил на ноги. Повыше нас с Индусом, все еще далеко от берега, плещется человек.

Шилов—выносливый пловец. Но он вздумал плыть против течения, потерял много времени и теперь бился уж из последних сил. Вот он поднял руку кверху и погрузился в воду. Слов не разобрать, но крик донесся до берега.

— Индус, голубчик, спасай!

Умный пес! Сразу понял задание, бултыхнулся в воду с крутого берега, поплыл к Шиллову.

Я был еще слаб, не смог бы оказать поддержку товарищу. Но все-таки побежал навстречу и вошел в реку, чтобы подхватить Шилова.

Индус спас и бойца.

Мы полежали на песке и между нами наш спаситель — Индус. Он все лизал меня, обнимал, никак не мог успокоиться.

Побрели на заставу.

Кустарники пахли сильно, и солнышко пригревало, и лес шумел приветливо, показывая о нас свою заботу. И даже дикая козочка, не тревожась, долго любовно глядела нам вслед из-за поваленного дерева. Приветлива к нам, хороша была жизнь в тот день, а мы брели слабые, беспомощные, опираясь друг на друга.

Доложили о происшествии.

Начальник приказал лечь, отдохнуть.

Я сначала покормил Индуса, посадил на цепь, приласкал спасителя и только тогда пошел отдыхать.

Мы с Шиловым легли рядом на нары, обнялись, как братья, и заснули крепким сном.

Проснулся я в предвечернее время.

Вспомнил все — как тонули, как спасал нас Индус. Пронзила меня до самого нутра нежность к собаке.

Надо пойти проведать друга.

Шилова рядом нет, значит, раньше меня проснулся.

Сполоснул лицо в речке, иду к собачьей клетке.

Вот что я увидел:

У клетки на цепи сидит Индус. Вид независимый: не подходит никто, кроме хозяина.

Под ногами у Индуса, на земле, в пыли, — целый продовольственный ларек: печенье, конфеты, кусок сладкого пирога, — все, что хранит шкафчик бойца.

А поодаль, пригорюнившись, сидит боец Шилов.

— Який собака, життя мини зратував, а вирыты не хоче, тай присмаку че бере...

4. Марафонский бег

Однажды мне случилось выпустить из рук опасного бандита.

Преследовал его, всю свою жизнь клал, чтоб его схватить. Может быть, из-за того безумного пробега проживу на год, на два меньше положенного. Но бандит вывернулся, прорвался в тыл...

Будто камнем досада меня придавила.

Правда, через два дня того бандита разыскали: он не успел навредить нашему государству.

Но я сильно убивался тогда, на дороге, глядя вслед проклятому грузовику, что увозил нарушителя.

А было дело так:

С молодым красноармейцем Харламовым мы пошли в дозор еще с вечера, часов с шести.

Тут Индус и взял след. След дав-

нишний. Нарушитель прошел здесь три-четыре часа назад. Надо торопиться.

Усталость как рукой сняло.

Я объяснил Харламову, что враг нас сильно опередил. Придется догонять его бегом. Хватит ли сил у бойца?

Если сомневается в себе, то пусть лучше пойдет на заставу и доложит начальнику, что проводник Карацупа прорабатывает след.

Харламов — молодой пограничник. До того он ходил в дозоре всего два-три раза. Сильно его занимало, как работает собака, — ни разу не видел. И, конечно, лихорадка его бьет: не пропустить бы нарушителя. В этом равны и старые, и молодые пограничники.

— Ну, так беги, Харламов, за мной, смотри, не отставай.

Индус — сильная собака, тащит за собой, ровно на буксире. Дорогу выгираем не мы, нарушитель. Может быть, он шел здесь осторожно, подготавливая каждый шаг. А нам приходилось бежать по тайге. Ветви так и хлещут по лицу. Чтобы не поколоть глаз, я пригибаю голову к левой руке, в ней придерживаю поводок. В правой — наган. Непривычному человеку не пробежать так и километра. Я приобрел сноровку за эти четыре года, к тому же ростом я невелик, фигура легкая. Могу долго без отдыха бежать за Индусом.

По дороге стал сбрасывать с себя одежду. Сбросил пиджак и гимнастерку, остался в одном вязаном свитере и даже фуражку скинул. При Индусе ни одна тряпочка не пропадет. Назавтра непременно отыщет в тайге.

Жаль, хлеба с собой не захватил. Путь долгий; бессонная ночь непременно скажется.

Скоро распознал нарушителя — не простая это птичка-контрабандичка. Видимо, шел налегке, стоянок не делал, торопился. И местность прекрасно знает: не петляет по-пустому, но обходит все препятствия. Опытный проходчик.

Выступил первый пот — не страшный. После, когда на ветру все обсохнет, даже легче бежать.

Харламов меня беспокоил. Пробежали мы всего несколько километров. По

дыханию, по поступи слышу — из сил выбивается парень.

Что ж в том обидного? Бойцов не тренируют в беге, как проводников.

Оглянулся:

— Может, вернешься?

Он машет рукой: «беги дальше, обо мне нет заботы».

Вскоре Харламов отстал от меня.

Индуса трудно снять со следа. Он ведь тоже волнуется и рвется вперед. Все-таки пришлось собаке повернуть назад: я отвечаю за бойца.

Харламов лежит бледный, ни кровинки в лице. Винится, хочет и дальше бежать со мною. Но я приказал ему потихоньку, не пересильвая себя, итти на заставу. Начальнику пусть доложит, что Карацупа преследует нарушителей — одного или двух: по подозрению, диверсантов или шпионов.

Молодой боец! Он не смог на заставе правильно указать, где прошла погоня. Так и не нашли меня красноармейцы, высланные на помощь.

Расставшись с Харламовым, я опять побежал за Индусом по следу.

Как-раз возле этих мест, возле стога сена, мне попала гнилая тыква. В семечках сохранилось сколько-то влаги и сладости. Этими семечками и поддерживал себя — воду во время погони нельзя пить.

Слабая поддержка!

Пробирались по захлавленной тайге, бежали в высоком кустарнике. Перешли озерко по раннему льду.

В другой раз вышел у меня обильный пот. Он высох на ветру, и лицо, и руки, и даже свитер покрылись налетом соли — вот когда стало тяжело бежать, и сердце заработало так, словно свай заколачивают в землю!

Но остановиться нельзя. Преступник впереди. Он подался уже на десятки километров в тыл. Доберется до густо населенных мест и сгинет.

Пока еще ноги слушаются пограничника, совесть не позволит ему остановить погоню. И, даже упав, он поползет дальше.

И в третий раз выступил пот, липкий, холодный, как во время тяжелой бодлезни.

Повадка нарушителя изменилась. Возле границы он осторожно обходил все селения, а теперь уже не боялся встречи с людьми.

Наконец, навстречу мне попала колхозница, говорит:

— Недавно повстречался на дороге рабочий, в кепочке, с дорожным инструментом на плече. Он свернул на пешеходную тропку, что ведет прямо к шоссе. Да если б я знала!..

Сильно женщина огорчилась: как же это она не задержала подозрительного человека?

Ну, положим, где ей задержать бандита? У него, наверно, припасено оружие.

Индус уверенно свернул с проезжей дороги на тропку, ту самую, что указала женщина.

Настигаем нарушителя!

Сил как будто прибавилось. Побежал, что было мочи; теперь прятаться ни к чему.

Выбежал на шоссе. Впереди, километрах в полутора идет налегке человек, на плече лопата или кирка — не разглядеть. Нарушитель!

Человек, не оглядываясь, торопливо шагает по безлюдному шоссе.

Мы с Индусом бежим следом бесшумно.

Тело избито, словно его измолотили на току. Сердце готово вот-вот выскочить из груди. Но душой радуюсь, счастлив. Все ж-таки сумел преградить дорогу бандиту!.. Защитил государственную границу.

Нарушителя считал уже как бы в своих руках.

Он достиг к этому времени скрещения двух шоссе. Из-за сопки вывернулась грузовая машина и быстро покатила к перекрестку. Я еще подумал на бегу: «Жаль, что идет она не по той дороге: подхвати меня шофер — мы легко накрыли б беглеца».

И вдруг машина на глазах у меня затормозила. Нарушитель кивнул шоферу, как знакомому, и открыл дверцу кабины.

В километре от меня! Кругом безлюдье, и в руке вместо боевой винтовки никчемный наган.

Прорыв! С самого рассвета я преследовал бандита, и вот он уходит на моих глазах от погони!.. Я открыл пальбу из нагана, я кричал отчаянные слова, звал на помощь. Но встречный ветер оттолкнул эти звуки назад. Шофер не услышал меня. А нарушитель поглядел в мою сторону, вскочил в кабину и хлопнул за собой дверцу.

Машина покатила дальше, увозя с собой бандита...

Я выронил из рук револьвер и, обесилев, рухнул на землю.

Сорок километров пробежал я с Индусом, изошел силами, не щадил самой жизни, совсем было настиг диверсанта... но вот он мчится по шоссе, теперь уж его не догонишь. Поди ответь перед своей совестью...

Лежал я в пыли на дороге, и слезы текли по лицу.

Индус слизал их и ободрил меня.

В тот час, на беду, ни одна машина не прошла по шоссе. Полуживой, я доплелся до ближнего селения, где стояли полевые части.

Пришел туда ни жив, ни мертв. Узнал, что Карацупу разыскивали уже по всем районам. Передал в штаб по телефону, чему был свидетелем, и заснул, или просто так, провалился в беспамятство: очень истомила погоня, а неудача совсем меня подкосила.

Шофера этого разыскали к вечеру; он опознал бандита на базаре, так что нарушитель не ушел из рук государства.

5. Страшная ночь на острове Мадьяном

Молодой, необстрелянный еще пограничник, допускаю, дрогнет на короткое время, потеряется. Но старослужащие доказывали не раз и в дозорах, и в схватках с японцами, как бесстрашен советский боец.

Однако храбрец не тот, кто вовсе не знает страха, а тот, кто ему не поддается, держит себя строго в руках и безотказно выполняет свой долг пограничника.

Бывало и у меня, как у других, что от страха шлем сам ворочался на голове.

На что уж смел наш боец Бессонов! Среди героев — герой. В разгар боя, во время перебежки, шутил и пересмешничал, как дома в казарме. Значит, научился вить из нервов веревки. Но над ним и теперь еще подшучивают: «Бессонов, прячься — свинья бежит...» Японцев, вот, не боялся, а кабаны его здорово перепугали. Однажды на охоте Бессонов выстрелил в кабана, которого заметил в траве. Но вдруг весь холм заходил ходуном. Боец потревожил большое стадо. Звери понеслись в лес с хрюканьем, с визгом, ломая кусты. Бойцу же с перепугу показалось, что кабаны бегут прямо на него. Хоть и снайпер, но расстрелял всю обойму попусту.

Оправдывался Бессонов ловко: кабы другое какое животное — был бы посмелее, а то чересчур позорная смерть — от свиньи!

Со мной тайга тоже шутики шутила. Как-то раз погнался за нарушителем. Увидел в ночи тень, кричу: стой! Доносится в ответ длинный, протяжный вздох! Что за чертовщина! Раненый, что ли? А это корова забрела в лес, лежит, жвачку жует, отдыхает.

В открытом бою, когда дело идет к поимке нарушителя, в схватке с ним я уже давно не испытывал страха. Надо продумать план и задержать нарушителя. Бандиты и шпионы имеют свой расчет — надо их перехитрить. Тут и времени не станет труса праздновать. Да и совесть бойца не позволит.

Но один раз жуть пробрала меня до самой кости и нервы здорово разыгрались. Это случилось уже после того, как я обезвредил нарушителя.

Как-раз в ночь на праздник Октябрьской революции меня с Индусом назначили на остров Мадьяный.

Бывает, бандиты ложатся здесь в засадку, охотятся за красными бойцами, как за дичью. Японцы платят за каждый труп премию — 300 гоби.

Потому, подплывая к острову, гребешь осторожно, главное — бережешь голову.

Тьма разлилась крошечная в ту октябрьскую ночь, дождь хлестал, надвигалась гроза.

Мы выбрались на берег спокойно. Я оставил лодку на плову, привязал к дереву.

Пошли кустами, не отходя далеко от реки.

И сразу же Индус почуял след.

След привел опять к берегу и потонул в воде.

Суйфун течет буйно, шумно, как ни прислушивайся — ничего не услышишь.

Собака нервничает, почуяла вблизи врага. Я присел на берегу и замаскировался со всех сторон кустами. Вслушиваюсь, всматриваюсь, — темно, ничего не видно. Индус — рядом, беспокойный.

Блеснула молния. У меня едва не вырвался крик. Шагах в пятнадцати торчит из воды несуразно большая голова, вроде гриба. Нарушитель прикрепил к своей шапке узелок с вещами; казалось в темноте, что голова разбухла. Но это я понял позднее. А в тот раз я заметил еще над водой руку с маузером.

Я понял, что этот человек возвращался за границу из наших мест, и я его застиг перед концом пути.

Поблизости был брод, я стал его охранять, чтобы не упустить преступника. Но снова сверкнула молния, и я увидел нарушителя уже в лозняке, на острове. Бандит меня тоже разглядел и дважды выстрелил из маузера.

Я послал вперед Индуса: фасс!

Но нарушитель ударил собаку дубиной и сиганул в кусты. Он был огромного роста и страшной силы.

Я отозвал Индуса. Мы преследовали врага по пятам, прячась в тальнике. Потерять нарушителя в кустах, несмотря на темень, я не мог: со мною собака. Подымать же частую стрельбу не решался: близко граница.

Бандит также расчетливо посылал свои выстрелы в мою сторону. Боялся, видно, привлечь на остров других наших дозорных.

Темно, глухо кругом. Крупные капли дождя молотят листву. Сердце ровно стучит в груди. В этой схватке победит тот, кто останется до конца спокойным.

Вдруг, в пяти шагах от меня слышится плеск воды — здесь много луж, видно, бандит оступился. И все же из

осторожности, я не спустил курка. Приглаживаюсь к местности. И скоро распознаю хитрость врага. Он бросил ком земли в сторону от себя и ждет, не выдаст ли себя пограничник.

Так и кружили друг возле друга, хитрили, маскировались.

Я теперь разглядел нарушителя и удивился: не человек, — памятник, в полтора человеческого роста.

Наконец, и я рискнул: выстрелил по качнувшемуся кусту.

Нарушитель вскрикнул, верно, от боли, и зашлепал по лужам к молодому леску, росшему в середине острова.

Я снова послал Индуса вперед, но, как и в первый раз, бандит отбил от собаки дубиной.

Мы стали играть в молчанку с нарушителем. Бандит прятался в кустах и не выдавал себя ни единым шорохом. И я прилегал на мокрую, холодную землю, оцепенел: кто дольше выдержит в этой игре? Кто первый шелохнется и подставит себя под выстрелы?

Время течет капля по капле. Трудно лежать без движения в мокрой траве. Хорошо, что ветер колышет листву, заглушает стук сердца, — ведь нарушитель рядом, где-то в соседних кустах.

Нет во мне этого медвежьего терпения. По моему характеру — броситься бы напролом, на выстрел ответить выстрелом. К тому же я не один — с собакой! Чувствую, нарастает злоба — не пересидеть мне моего нарушителя. Но и рисковать не имею права: стою в последнем заслоне, перед границей. Один промах — и путь в Манчжурию открыт.

Выручай, смекалка!

Я обдумал военную хитрость.

Приказал Индусу лежать в траве, не шевелиться, сам пополз в обход тех кустов, в которых засел бандит.

Я продвинулся всего, быть может, на десять метров. Тяжело доставалась каждая пядь земли. Пружинил мускулы рук и ног, нащупывал новую опору на земле. Изучив местность, едва прикасаясь к траве, медленно переносил свое тело дальше.

Через долгий срок, не выдав себя ни единым звуком, очутился сбоку от тех

кустов, где, по моему расчету, прятался нарушитель.

Хорошо замаскировался, поднял левую руку вверх и стал шевелить пальцами, пощелкивать. Так командуют собаке: подай голос!

Индус услышал или разглядел мою сигнализацию; залаял.

Бандит привстал невольно и размахнулся, чтоб защититься от собаки дубиной. Теперь, за кустами, как за легким занавесом, я разглядел его фигуру. Выстрел был чересчур меткий, убил бандита наповал.

Наши выстрелы могли всполошить врагов за границей.

Я потащил нарушителя к берегу. Впереди дозором шел Индус.

Своей лодки я не нашел.

Возможно, лодка отвязалась и ее унесло течением. Возможно, что здесь побывал кто-нибудь, пока мы играли в прятки с бандитом.

Розыск местности ничего не принес.

Шел проливной дождь.

Немыслимо переплыть через Суйфун в одежде и с оружием. К тому же я обязан был доставить труп нарушителя на заставу.

Приходится до света сидеть на острове, стеречь мертвеца.

Разжечь костер я не смел, хотя промок до нитки, и дождь все не унимался.

Я сел на сваленное дерево, рядом с трупом, уложил между ног Индуса и решил терпеливо ждать дня.

И тогда-то навалился на меня страх.

Раньше я его не испытывал. Волю зажал в кулак. Одна думка была: не дать бандиту уйти за рубеж. Теперь, на отдыхе, нервы разыгрались. То видел нелепую голову-гриб над водой. То человека-статую, размахивающего дубиной.

За ворот лились капли дождя и скатывались по мокрой, заолодевшей спине к поясу. И ползли по коже мурашки.

Рядом лежит бандит немыслимого роста, глаза его открыты.

Сижу, леденею понемножку. Наган за пазухой: чтоб не отсырел.

Снимешь шлем и прослушиваешь местность.

Всякий всплеск в Суйфуне, всякий шум в тальнике тревожит, как новичка.

Вдруг померещилось, что бандит ожил. Вот, кажется, вздохнул... Приподнялся... Ползет... Сейчас ударит...

Наган из-за пазухи! Щупаю ногу, голову трупа. Нет! Мертв. Может быть, притворяется?

И, пока не освещу лицо спичкой (из ладошки), — не успокоюсь. Лежит огромный мужик. Такому бы работать в хозяйстве — цены бы ему не было, а его всн на какое дело потянуло! Глаза открыты, но жизни в теле не больше, чем в чурке.

Раз пять за ночь заползала мне в душу такая жуть.

Потом солнышко выглянуло. Куда только эти страхи сгнули?

Поутру приехали за мной бойцы. Всех рассмешил, рассказал, как проводник Карацупа провел «страшную» ночь на Мадяне.

6 Хозяин своей земли

Часто я задумываюсь: как же так? Границу крадут опытные проходчики, зверье. Вооружены они самым что ни на есть бандитским инструментом — маузерами. На их сердце накопилась злоба против рабочей власти: японцы подбирают диверсантов все больше из белогвардейских сынков.

Но ничто им, бандюкам, не помогает. Что ни встретится в открытую с пограничниками, — разгром! Случается, что двое бойцов или даже один проводник собаки, вооруженный наганом, ликвидируют целую шайку.

Как же так? Разве трус найдется в диверсанты, разве бандит пойдет на границу, не научившись бить без промаха в цель?

Напротив, бандиты — отчаянный народ: не ждут для себя ничего доброго от ареста и жизнь стараются продать задорого.

И все же любой красноармеец, что еще вчера ходил за плугом или управлял трактором, берет матерого бандюка на мушку.

Что за чудо?

Я так понимаю. Мы ходим по своей

земле. Мы здесь хозяева. За нами — вся страна, и всякий житель нам друг. И дело наше тысячу раз правое.

И кто ж подымает руку на хозяина? Наемный убийца, бандит без роду, без племени, продавший свое отечество. Он исходит злобой на советскую власть, он ненавидит наш Союз. Но нужна ж в борьбе и любовь: за что воевать? Беляк воюет за вонючие японские деньги.

Подлый вор крадется между кустами, трепещет при всяком шорохе, и солнце ему — злейший враг. А по мне: свети, солнышко, ярче!

Он ждет казни, позора; пограничнику же великий почет от всех трудящихся за то, что охраняет их мирный труд.

Так где же бандиту выстоять в открытом бою против пограничника?

Проводник, товарищ Телицын, доказал это как нельзя лучше.

До армии он работал председателем колхоза. Человек исполнительный, спокойный, приверженный к науке. Он воспитал собаку Зенит и передал ей свой спокойный характер.

Телицын уволился теперь из погранчастей в бессрочный отпуск. Он выбрал свой путь: на курсы и в техникум.

Перед самым отпуском ему довелось ликвидировать банду диверсантов.

Может быть, все последние недели службы он мечтал о том, как встретится с семьей, как начнет учиться, работать. Но Зенит поднял след — и все домашние мысли, конечно, выветрились сразу. На посту стоял проводник Телицын, младший командир погранохраны, — этим все сказано.

Телицын с Зенитом и подручными бойцами обследовали местность. След был обнаружен только к утру. Несколько человек нарушили границу.

Погода мешала розыску. Недавно прошел сильный дождь, а потом поднялась буря. На возвышенных местах, где свободно гулял ветер, запах следа выветрился. Зенит — прекрасная собака, он не прекращал поисков. Под сухой травинкой, бывает, затерялась малейшая частица человеческого запаха, — Зениту и этого довольно, он проследивал путь нарушителя.

Шли долго. Снова встретилась возвышенность, и на хребте Зенит совсем потерял след.

Тяжело в такие минуты на душе проводника. С каждым часом нарушитель все ближе к цели, все труднее его настигнуть. Прорыв!

Но собаку нельзя торопить, тревожить. И самому нельзя нервничать: впереди еще схватка с врагом.

Только через два часа Зенит развезал узелок.

Немного подсохло. Собака шла смелее.

Через сколько-то времени Зенит подал сигнал: враг близко. Телицын разглядел в ложбинке шалаш. Легкий дымок полз по траве.

Стали подкрадываться к шалашу с разных сторон. Ползли на животе, не дыша, с оружием на боевом взводе. Телицын хотел ошеломить нарушителей: свалиться на них, словно с неба, и отбить охоту сопротивляться.

Со ста шагов он обнаружил, что шалаш покинут. Послал собаку вперед, — сторожка пуста.

Бойцы собрались возле шалаша. На листе железа гтели угли. Нарушители совсем недавно ушли отсюда. Возможно, их вспугнула погоня.

Телицын послал красноармейцев перекрыть параллельные пади. Сам с собакой продолжал погоню.

Телицын рисковал своей жизнью, но зато был уверен, что нарушители не разбредутся по тайге.

Вскоре проводника обстреляли. Били из нескольких маузеров. Он присел в траву, посадил фуражку на длинную хворостинку и помахая ею правее себя. Фуражку тотчас же прострелили в двух местах. Теперь и Телицын знал, куда нужно посылать пули.

Итак, бандиты раскрыли себя. Они хорошо вооружены и сами начинают боевые действия. Возможно, здесь орудует лишь небольшой заслон.

Как должен поступить проводник? Ждать, пока к нему присоединятся бойцы, вооруженные винтовками? Дать бандитам передышку?

Телицын решил иначе.

Не давай опомниться нарушителям, пограничник! Наседай на них, обстреливай, вгоняй в панику!

Проводник задумал скорее обезоружить или уничтожить заслон и взяться за остальных.

Рискованно? Так что ж, жизнь пограничника доверена государству. Не ради молодечества, — за святое дело погибнет боец.

Бандиты снова побежали. Телицын гнался за ними. Он знал, что его ожидает засада: наган был на боевом взводе.

На этот раз его обстреляли с пятнадцати шагов. Телицын не сразу прикинул к земле. Он пробежал еще несколько шагов и выпустил две пули по видимой цели. Он побеждал врагов своим бесстрашием.

Проводник стрелял спокойно и метко. Его не пугали маузеры и не утомила долгая погоня.

Один бандит остался на месте, а другой, раненый, скрылся в лесу.

Лежавшему он сделал перевязку; ранение было тяжелое, и сохранить его жизнь было трудно.

— Сколько вас?

По словам раненого, границу перешли шесть человек.

Второй бандит обликом походил на русского. Пять врагов скрывались еще в пограничном лесу. Надо было торопиться.

Его обстреляли еще раз. Он берет пули. Без шомпола трудно перезарядить наган, а трофейному маузеру Телицын не вполне доверял.

Бандиты повернули круто назад, к границе. Теперь они бежали вдоль речки. Проводник нагонял их.

В этих местах река подмыла сопку. Собака подбежала к краю обрыва: гогочит, рвет поводок из рук.

Ясно: проводника ждет здесь новая засада. Телицын лег на землю и отозвал собаку. С сопки навстречу крался боец. Телицын сделал ему знак: следи за изгибом реки.

«Теперь будем работать на выдержку» — сказал себе Телицын. Он выбрал удобное место, подкатил камешек

под кисть руки с зажатым в ней наганом. Zenит растянулся тут же.

«Уйти из-под обрыва бандиты не могут. Они захотят разглядеть местность и будут наши» — подумал Телицын.

Надо иметь медвежье терпенье, чтобы лежать так, неподвижно, над норой, в которой спрятался враг.

Zenит насторожился. По краю обрыва поползла рука с браунингом. Меткий выстрел вывел из строя еще одного врага.

На фланге ударила винтовка. Бандиты, спасаясь от проводника, бежали вдоль речки под защитой обрыва и попали на мушку бойцу.

— Сдавайтесь!

В ответ защелкали револьверные выстрелы. Бандиты бросились наутек, совсем потеряв голову. Телицын стрелял теперь по видимой цели.

Он спустил собаку и сам спрыгнул с обрыва. Еще в одного бандита пришлось выстрелить в упор. Остальные обессилели, перестали сопротивляться.

С подоспевшими бойцами Телицын обезоружил пленных и перевязал их раны.

Так проводник ликвидировал банду опаснейших врагов. Диверсанты не просили пощады и знали, на что идут. У них обнаружили лом, лапу, контрреволюционные листовки и три вещевых мешка с боеприпасами.

Не чудо ли! — за время смелой погони Телицын выпустил по врагу шесть пуль из своего нагана; пять из них попали в цель. По проводнику вели массовый огонь из засад, и он остался цел и невредим.

Чуда здесь нет. Телицын вел себя как хозяин: достоинство бесстрашного бойца советской границы повергло незваных гостей, бандюков, в панику. Вшестером они не могли одолеть одного проводника.

Заслуженную награду — орден — увез Телицын в бессрочный отпуск.

7. По соседству, за рубежом

Баловница Суйфун! Красавица-река. Не раз на ее бурунах опрокидывались наши лодки.

Славная река, ничего дурного про нее не скажешь. Разве есть в том вина, что течет из Манчжурии, сплавляет к нам подарки японцев?

Часто к нашему берегу прибывает трупы. Руки связаны за спиной, в сердце — пуля или на шее — петля. И двух смертей не жалеют там своему врагу.

Не только врагам, и слугам нет пощады от японцев.

Страшные дела творятся по соседству, за рубежом.

Прошлой осенью Суйфун приплавил к нашему берегу тело молоденького русского паренька. Лежит на траве — светлый такой, веснушками усыпан. Шея вздулась красным жгутом. Раньше, чем сбросить в речку, его задушили.

Лицо застыло в испуге, или так мне почудилось?

В тот день бойцы задержали на границе нарушителя. Начальник велел привести его на речку, показать труп.

Нарушитель признал личность утопленника; рассказал все, что знал про паренька.

Утопленник-то оказался белогвардейским сыном и диверсантом.

По старинному присловию, «яблоко от яблони недалеко падает». Чего ж и ждать было от офицерского сына?

Довелось бы ему в Союзе расти, не вырос бы уродом. Наша трудовая страна любого мальчика перевоспитает, от какого корня он ни произошел.

Но этому пареньку выпала на долю незадачливая судьба. Когда партизаны выбили белогвардейцев из Владивостока, отец бежал в Манчжурию к японцам и прихватил с собой на беду малолетка.

Тот офицер служил до времени у японцев в контрразведке, а после вдруг сгинул, и следа никакого не оставил. Как умер человек — неизвестно: напоролся ли на штык пограничника, или принял тайную смерть от своих хозяев?

Мать к честному труду непривычна, пошла по рукам. Сынок угодил в приют на казенное иждивение.

Так и вырос волчонком.

В Манчжурии комсомол, конечно, под запретом, загнан в самое подполье. А в школах хозяйничают белогвардейские сынки. Деньги, приказы, все получают от японцев и держат их руку.

Паренек вырос заправским беляком. России он, безусловно, не помнил, а об СССР слышал одну злобную брехню. Полковник из японской разведки стал к нему приглядываться. Обласкал мальчишку. Полковник в своем деле не дурак. Подготавливал паренька: «Ты сведешь с большевиками счеты за отца, за родину». Само собой, предупреждал: «Путь опасный, смотри, не струсь». Да кто в молодые годы признает себя трусом?

После школы стали парня обучать шпионскому и диверсантскому делу. Он прошел полный курс этих наук у японцев...

Пареньку 19 лет, настроение боевое, подготовка хорошая. Полковник бросил его с опытным проходчиком через границу.

Не легко ускользнуть от наших дозоров! Попались, голубчики, возле самой границы. В перестрелке убили провожатого, а птичка-то упорхнула — молодость, здоровье, что ли, вызволили его?

Он вернулся назад, в Манчжурию. Цел, невредим, но потерял себя со страху. Всего-то и побыл он на нашей земле с полчаса, но перепугался на всю жизнь. Мальчишка! Жил по придумке полковничьей, не своим умом. Только оперился — и бах! Удар по голове. Узнал, какова защита советской границы, растерялся.

Кое-как отдышался. Ему говорят: начинай снова, нечего хлеб даром есть.

У паренька все поджилки дрожат, — какой из него диверсант! Но отказаться нельзя. Японские разведчики — беззащитный народ: если жизнь своя дорога — с ними не спорь.

Он решился на хитрость. Перешел через границу и спрятался в ближних кустах.

В ту ночь розыскная собака занята была на другом участке.

К утру, невредим, он вернулся снова к своим. На холодке, за долгую ночь

обдумал, как скажет своим начальникам: гнались за ним пограничники, чудом спасся от погони, ранил советского бойца.

В разведке у японцев работают не малые дети. Поняли: струсил парень.

И не поглядели на молодость, не зачли, что сошел прямо со школьной скамьи и голову ему задурил ихний же полковник.

Сказали так:

Выбирай! Служи, или не жить тебе на белом свете.

Ему бы перейти границу и — руки вверх! Жизнь бы себе сохранил, и, может быть, в концлагере его человеком бы сделали. Но мальчишке с малых лет туманили голову. Белогвардейское отродье! И присоветовать ему правое дело некому было.

Так и не посмел перейти границу. Верно, как предскажет себе бойца в шлеме да со звездой, так затрясется, словно в лихорадке.

Японцы разве с молодостью, с жизнью человека посчитаются? Задушили паренька и бросили в Суйфун — плыви хоть мертвым через границу.

Это с выучеником, с другом так поступили, а для врага нет такой пытки, что не была бы задумана у японцев.

Так поступают и с рабочими, что строят укрепленный район в Манчжурии.

Для монтажных работ охотно приглашают беляков: военспецы и к тому же ремеслу в Манчжурии обучились.

К белогвардейцам заботливы, кормят досьята, поют допьяна, женщин привосят. Но из траншей никуда не выпускают.

И уж известно, что в скорости случится.

Только возведут укрепление, смонтируют секретное оборудование, и работники эти — как не жила на свете! Никто больше о них не услышит. Разве что Суйфун приплавит к нашим берегам новые трупы.

Вот что делается по соседству, за рубежом.

8. Боец и пулеметчик

Ветры хозяйничают в пади Мещеряковой. Печально воют в разлогах, колышат дикие, в рост человека, травы.

В пади Мещеряковой белые плиты открыто взгромоздились одна на другую.

Одинокий памятник виден издалека, даже с границы.

Здесь на снимке можно прочесть надпись, вырезанную на меди:



Хорошо сказано, коротко, но от сердца: «Бесстрашные сыны социалистической родины».

В день 30 января большой отряд японо-манчжур перешел границу. Пограничников было всего с горсточку, но они отразили нападение.

Четверо погибших и те, что вышли невредимыми из боя, — все равны в своем подвиге.

Мы, проводники, — ночные сторожа границы. Мы выслеживаем трусливых

зверей-одиночек, шпионов и диверсантов.

Но в Мещеряковой пади против наших бойцов выступили в военном строю две роты противника. Японцам не терпелось, захотели примерить: каково-то будет воевать с Советским Союзом. И разгорелся бой...

Что ж, враг узнал, как будут биться красноармейцы, сыны своей любимой родины.

Тем боем командовал капитан Агеев. Он принял на себя удар врага и поднял в контратаку редкую цепь бойцов. Он врзался в ряды японцев и манчжур, зарубил пулеметчика, выбил оружие из рук японского офицера и ранил его.

Вот как сражались и погибли 30 января два честных бойца.

Даниил Блекетов шел вдоль границы, охранял левый фланг боя. Японцы обстреляли его из станкового пулемета: подползала, таясь в траве, цепь вражеских солдат.

Кто расскажет о думах бойца Даниила Блекетова?

Он еще мог спастись, отступить, затеряться в тайге. Разве не дорога жизнь, молодость?

Но враг ударил бы тогда во фланг пограничникам.

И Блекетов отдал любимой родине и товарищам свою жизнь, как дар бесстрашного сердца красноармейца.

Не о спасении помышлял Блекетов, но о том, чтобы задержать подольше японцев и предупредить своих об опасности.

Он залег в кусты и открыл меткий огонь.

Тяжело погибать в одиночестве. Лежи он плечо к плечу с товарищем, был бы его подвиг легче.

Раненый, затравленный боец в последние минуты своей жизни старался поразить еще скольких-то врагов и задержать японцев на пограничной сопке.

Светлой смертью героя погиб Даниил Блекетов. Японцы унесли его труп в Манчжурию. Позднее в обмен на тру-

пы своих солдат они вернули нам тело бойца, изрешетенное пулями.

До последнего вздоха Блекетов защищал рубеж. Большевикской смертью за народ умер боец Даниил Блекетов.

30 января погиб еще пулеметчик Алексей Грачев. Вместе со своим командиром он следил, замаскировавшись на сопке, за японцами, что вторглись на нашу землю. На крутом склоне трудно найти опорную точку для ручного пулемета. Капитан Агеев подставил Грачеву плечо и подхватил сошки.

Метким огнем Грачев создал панику в рядах японцев.

Но вскоре его ранили в грудь навывлет. Лежа в траве, он продолжал обстреливать противника.

Снова — ранение. Теперь пуля разбила ключицу. Крови вытекло немного, но трудно стерпеть, когда металлом крушат кость. Грачев застонал, выпустил приклад из рук. «Надо бы перевязать рану» — подумал боец. Стал нашаривать рукой индивидуальный пакет и невольно присел: ломило плечо, с хрипом вырывался воздух из простреленного легкого.

Над ухом прозвенела пуля. Раненый оглядел поле боя. Вскрикнул: из-за пограничной сопки вывернулась еще рота японо-манчжур, спешившая на помощь своим.

Грачев превозмог боль и опять прикинул к пулемету.

Едва заложил новый диск, как его ранили в третий раз, в живот, смертельно.

Он истекал кровью, он не мог уже подняться с земли и все же обстреливал цепи противника. Он успел еще подержать огнем своего пулемета атаку капитана Агеева.

И в это время вражеские стрелки снова нашупали пулеметчика и прострелили ему много раз кисти обеих рук.

Он лежал возле своего пулемета. Все диски расстреляны. Он умирал. Он ничем уже не мог помочь своим товарищам.

Сознание его, верно, помутилось. У него не сохранилось уже мыслей о

себе, о близости смерти, о неслыханных своих страданиях. Сквозь муку, сквозь предсмертное безумие он пронес лишь память о долге бойца.

Красноармеец, искрошенный пулями, умирающий, пытался унести пулемет к своим, чтоб не достался он врагу.

Грачев поднялся на ноги. В перебитых кистях рук он не мог удержать тяжелый ствол. Он зажал пулемет между локтями и под градом пуль понес его в тыл.

Он успел сделать только несколько шагов...

... Так сражались и умерли Алеша Грачев и Данила Блекетов.

9. Подлый случай

Индус без колебаний выбирал путь в траве. По приметам, нарушитель не мог уйти далеко.

И вдруг Индус чихнул! Годами собаке внушают, что надо преследовать нарушителя без единого звука. Индусу я верил, как самому себе. А он совершил тяжкое преступление против собачьей дисциплины.

Видимо, собака сознавала свою вину: сперва чихнула деликатно, фыркнула. Потом уже чихнула громче — несколько раз подряд. Я замер на месте, дернул поводок и насторожился. Индус продолжал чихать, мотая головой, как бы стряхивая с морды невидимую маску.

Собака встревожила меня. Если враг поблизости, то почует погоню. Если он вооружен, то нам угрожает засада.

Я отступил в кусты, присел сам и подзвал собаку. Индус виновато поглядывал на меня, но без удержу чихал. Набросил ему на морду платок, чтобы заглушить звук.

Кругом все было попрежнему тихо. Индус успокоился и прослушал вместе со мной тайгу. Но, как только собака принялась к следу, повторилось прежнее.

Я отозвал Индуса, а сам пошел вперед. Нагнулся и пошарил рукой в приямой нарушителем траве. Какая-то пыльца осела на ладони. Поднял руку к лицу и осторожно потянул воздух.

Тотчас защекотало в носу, и я сам едва не чихнул.

Так и есть! Уловка матерых контрабандистов: нарушитель посыпал свой след едким манчжурским табаком.

Ну в чем же виновен Индус? Нос у него необыкновенной чувствительности. Он подымает след спустя 10—12 часов, что не всякой овчарке под силу, — как же ему не чихнуть?

Табак раздражил меня. За одну заляжку, не знаю, чего не отдал бы! Но служба наша — строгая. Разве закуришь, когда неподалеку нарушители!

Я присел рядом с Индусом, продумал обстановку. Вести собаку прямо по следу нарушителей нельзя. Индус выдаст себя чиханием, нюх у него притупится.

Вспомнилось, как охотники выслеживают ранней зимой медведя. Известно, зверь ни за что не останется в берлоге, раз только почует поблизости человека. Охотник не идет напрямки за медведем, а петляет возле, пересекает след через каждые полтысячи шагов. Если след потерялся, то, значит, в последнем кругу залег где-то зверь.

Я укоротил поводок и повел Индуса стороной от пути нарушителя, но примерно по тому же маршруту. Через несколько времени пустил Индуса на розыск местности, и он обнаружил невдалеке след. Мы прошли по нему беспрестанно около километра, пока Индус снова не чихнул. Отозвал собаку, дал ей успокоиться и повторил тот же маневр.

Так хитрость нарушителя я обезвредил своей уловкой.

Запас табаку был у него невелик, и нам пришлось всего три раза прерывать погоню.

По пятам нарушителя вошли в сонную корейскую деревушку. Индус уверенно повел меня к крайней фанзешке.

— Отпирай!

— Кто ходи?

— Пограничник, свой.

Нас тут все знают. И закон есть такой: раз пограничник требует — сразу открывай дверь.

Но хозяин хитрит, переспрашивает, торгуется. Притворяется, будто лямку заело. Проманежил меня не меньше десяти минут. Наконец, дверь приоткрылась.

Я — один. Вооружение — наган. Но со мной Индус, и, вместе с ним, мы — грозная сила!

При поимке нарушителя надо действовать смело, напористо, но зачем выставлять себя мишенью? Пограничнику дам совет: поступай всегда, как сурок: выгляни из норки, осмотри местность; если здесь неудобно — подготовь новую вылазку.

Однажды ночью Индус привел меня вот также к заброшенной фанзе. Дверь отпиралась трудно, с шумом и скрипом. Чутье пограничника подсказало: нельзя здесь итти напролом! Я подхватил полено, набросил на него гимнастерку и нахлобучил поверх фуражку. Эту куклу я просунул в дверь. И не прогадал. Два страшных удара обрушились на куклу. Фуражку так изуродовали, что пришлось вытребовать из цейхгауза новую.

Но на этот раз я не ждал отпора. Вооруженный бандит не стал бы попусту терять времени в засаде.

Я вошел следом за Индусом в фанзу. Прислонился к стене. Индус — рядом, охраняет.

На нарах лежало несколько человек. Перекрылись одеялами, «спят». То-и-дело с общего ложа подымается какая-либо всклокоченная голова и зевает, как в театре. Понимай так: «И до чего ж это беспокойный народ пограничники: поспать не дадут». Будто они никаких нарушителей в глаза не видели.

— Индус, ищи!

Индус бегаёт прямо поверх одеял, разрывает кучу тряпья, внюхивается.

Но не тронул ни одного человека. У Индуса не бывает ошибок.

Хозяин стоит рядом, в одних подштанниках, очень натурально почесывается и разводит руками: «Какие тут нарушители!»

Вдруг я заметил, что ветер треплет лоскуток бязи на подоконнике.

Ясно; нарушители бежали через окно, выставив раму. Должно быть, они не

знали, что их преследуют с собакой и все их ухищрения теперь напрасны.

Индус уже обнаружил след и лапами выдавил наспех приставленную раму.

Больше нам нечего делать в фанзе. Хозяин обнаружил себя, кто он таков. Пособнику нарушителей — не скрыться. В этом колхозе много проверенных ребят. Совсем недавно двенадцатилетняя коряночка Мария Ким, встретив в лесу незнакомого парня, побежала на заставу, подняла тревогу и помогла задержать нарушителя.

Я приказал Индусу итти по следу и сам выпрыгнул за ним через окно.

— Вперед!

Занимался день. С минуты на минуту я мог увидеть нарушителей. Сколько их? Кто такие? Вооруженные диверсанты или «мирные» разведчики, что проходят границу под видом контрабандистов?

По повадкам нарушителей я считал, что преследую контрабандистов. Этот народ безоружен, и в случае поимки рассчитывает на смягченное наказание.

Но шпион легко превращается в диверсанта, и, напротив, бандюк, потеряв веру в маузер, пытается незаметно обронить его и предстать перед судом безоружным.

Индус замер. Как он ни взбудоражен, но, почуяв вблизи врага, всегда даёт знать об опасности. Надо поглядеть на собаку в такую минуту. Уши торчком, передними ногами вкопается в землю и глядит на хозяина — ждет приказаний. Напряжен, как струна, послушен и предан хозяину, как может быть предана только служебная собака. Две тени мелькнули впереди.

— Стой!

Я спускаю Индуса и бегу к нарушителям. Один из них сразу подымает руки, другой скрывается в лесу.

Никуда не уйдешь, со мною Индус!

Обыскиваю задержанного. Контрабанда. Обычный товар: шелк, опий, морфий, кокаин. Оружия не оказалось.

Раздумывать долго не приходится. Скручиваю припасенной веревкой руки и ноги нарушителя: «Сиди смиренно, от собаки никуда не скроешься».

Индус повел меня по следу второго нарушителя.

Он успел пробежать километра полтора. С увала я разглядел беглеца. Страх лишил его разума. Он петлял по лесу без всякого толку. Нагнать его было совсем легко. Сучья, колючки изорвали одежду, и она висела клочьями на изнемогшем теле. Видно: трус, блудливая собака, нагадила и трепещет перед наказанием.

Этого человека я до конца не разгадал.

Страх лишил его сил, трепал, как нервную бабенку.

Я думал — возьму его голыми руками. Не добежав до нарушителя, выпустил вперед Индуса.

Но беглец выхватил нож. Он выбил собаке зуб и порезал ей язык.

Конечно, Индус опрокинул его и схватил за горло.

Подлый случай!

Ведь это был опытный нарушитель. Он даже помнил старые секреты контрабандистов и запасся манчжурским табаком. Он должен был знать, что служебная собака, если ей не сопротивляться, не причинит вреда.

И что за защита? Финка — против собаки и нагана! Нет, из подлой трусости, в истерике обнажил он свой нож.

Так, зазря покалечил собаку! Чуть не вывел из строя моего Индуса. Гад трусливый!

Индус еще раз показал пример дисциплины. По приказу хозяина, ворча, он отпустил побежденного врага.

Окровавленный пес обыскал местность. В траве он нашел торбы с контрабандой.

Обоих нарушителей я привел на заставу.

В торбе контрабандиста нашел тряпочку с шифрованными записями. Обличье контрабандистское, но на самом деле задержали мы шпиона.

По мне — он хуже всякого зверя.

Надежду имею, что советский суд примерно наказал нарушителя. Он ранил государственную розыскную собаку-пограничника и вел себя, пусть даже из трусости, как отчаянный бандит.

10. Награда

В отряде я кругом награжден за хорошую службу. Десять раз деньгами и еще сколько-то вещами, и без числа объявляли благодарность в приказе.

Когда порешил остаться на сверхсрочную службу, командование отрядило меня в отпуск. Тоже и этот отпуск вроде награды: поехал на всем готовом, за счет штаба.

Побывал в родных местах, в Казахстане. Но по своей земле гостем ходил. Даже чудно показалось. Где мой дом: где отец с матерью жили или в отряде, среди своих ребят, с Индусом?

Чем родные места помянуть? Детство, само собой, пора веселая. Но коротко было мое детство. С ранних лет подпаском, с ранних лет в чужих людях. Тут особенно не распоминаешься.

Пробовал зажить своим домом. Завели мы с братишкой скотину. Над нами потешались, потому что к такой скотине в Казахстане непривычны: кролики. По нашему достатку, между тем, это зверье как-раз прибыльное. И потом, хоть в чем-нибудь да не по-старинке зажили.

Развелось у нас штук двести кроликов. И на продажу, и в суп хватало! Но такую стаю разве убережешь? Пожирали чужие огороды, чисто, как саранча.

Пришлось зверьков порешить. А я только вошел во вкус кролиководства.

Вот и все воспоминания про родные места, про дом: молодым ушел в армию.

Граница сделала меня человеком. Сам к себе приобрел уважение, к своей государственной работе. Разве сравнишь деревенского паренька, что пришел на призыв, с Карацупой Никитой Федоровичем, младшим командиром и проводником собаки? Что в политике, что в грамоте, что в военной специальности — во всем сильно вырос. Читаю теперь книжки по собаководству, по биологии. Если б мне еще пройти теорию, стал бы я полным спецом...

Человек имеет большую привязанность к воспоминаниям. Иной раз и

сытно живет, но прошел год, и будто нечем его вспомнить.

Наша жизнь на границе не такова. Пока жив — буду помнить, как оборонял, не щадя жизни, свое рабоче-крестьянское государство...

Долог путь из Казахстана сюда, на границу. Не терпелось мне увидеть сопки, пройти по падам и распадкам, перекинуться словом со здешними друзьями.

И встретили меня, как своего, родного. Сто лет проживу, такой встречи не забуду.

Поезд прибывает в Гродеково днем. Я пошел сразу к себе на квартиру — до завтра решил к начальству не являться. Друзей, приятелей у меня здесь полно. С тем, другим поболтал — и день позади. Зовут в клуб, говорят — состоится торжественный вечер отряда.

Человек я аккуратный, точный, замечаний не имею, но по случаю недавнего приезда пришел на вечер с опозданием. Сел среди приятелей.

На сцене почетный президиум, и сам наш боевой полковник держит речь.

Понял я так: наш отряд прекрасно выполнил задачу, геройски защищал границу. Слух о нем дошел даже до Москвы. Лучших бойцов и командиров награждает правительство орденами.

Ну, нам, конечно, лестно, что отличились на всю страну. Шутка ли, 170 миллионов людей, и среди всех отмечают гродековский отряд!

Полковник, между прочим, помянул в

своей речи и меня. Есть, говорит, у нас такие проводники, как Карацупа. Хорошо известны за рубежом, нарушители боятся их, как огня.

Приятно, конечно, когда перед всем отрядом хвалит тебя полковник.

Потом стал зачитывать постановление. Чью фамилию назовет, тот боец-герой подымается прямо на сцену.

Ладошки себе поотбивал. Фамилии то героев все знакомые. Многих считаю своими друзьями. И с каждым новым именем радость еще больше захлестывала, — вот как наше правительство чествует рядовых бойцов!

Вдруг фамилия прозвучала чудно: «Карацупа!». И еще, чтоб сомнения не было, полковник добавил: «Проводник собаки Индус».

У меня сердце под ноги покатилося.

— Сожалеем, — говорит полковник, — что нашего героя-проводника нет, не вернулся еще из отпуска.

Тут из зала кричат:

— Здесь он, вон — Карацупа сидит!

И меня вытолкнули в проход. Ребята хлопают, кричат. И полковник манит к себе рукой.

Новость ударила по мне и радостью, и тревогой. Государственная награда...

Вроде даже расстроился и на людей совестно смотреть. Подняли меня на сцену. Кругом все лица знакомые, радостные. Хлопают мне от души.

Поклонился я всему народу в пояс...

Вот какой неожиданной радостью встретил меня мой родной дом — погранотряд!

„РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ“

И. Трайнин

Основным принципом буржуазных теорий «конституционного» и «правового» государства, наряду с «народным представительством», был принцип «разделения властей». Наиболее последовательным и классическим выразителем учения о разделении властей был Монтескье (1689—1755), который доказывал, что соединение властей в одном лице или органе грозит беззаконием. Разделение же властей «сдерживает» отдельные власти, «уравновешивает» их, предотвращает возможные злоупотребления. У разных лиц — разные интересы. Но и они приблизятся к осуществлению «общего блага», если будет ослаблена односторонность их интересов. Исходя из этого, Монтескье предлагал обособление власти законодательной от власти исполнительной и власти судебной. По Монтескье, суть дела заключается не в том, в чьих руках находится власть: в руках ли монарха или народа, а в том, чтоб указанные три власти, из которых слагается верховная власть, сосредоточивались бы в разных руках. При этом Монтескье имел в виду главным образом обособление исполнительной власти от законодательной. Судебная власть не является властью в подлинном смысле, она не постоянная, как король, а должна выбираться на срок, продолжительность которого определяется требованиями необходимости.

Французская буржуазия поддерживала принцип разделения властей еще в то время, когда она была только третьим сословием. Выступая при абсолютизме защитником «прав личности», буржуазия всемерно стремилась ограничить абсолютную власть, и система разделения властей, как система «сдержек и противовесов», должна была деконцентрировать и ослабить эту власть, что соответствовало интересам буржуазии. С этим учением буржуазия пришла к революции 1789 г. Победив в революции, она ограничила и подчинила «народному представительству» власть короля и подчиненную ему исполнитель-

ную власть. В своей «Декларации прав человека и гражданина» буржуазия записала, что «всякое общество, в котором гарантия прав не обеспечена и разделение властей не установлено, не имеет конституции» (ст. 16).

Буржуазия выдавала ею созданное государство за носителя и представителя «надклассовой», «народной воли». Сохранив короля, как главу исполнительной власти и после революции 1789 г., буржуазия вместе с тем отняла у него право абсолютного «вето»; ограничила его законом, исходящим из ее классовых интересов. Этот закон, как определил один из видных деятелей революции 1789 г., аббат Сьейс, «служит выражением воли управляемых», т.-е. народа, с интересами которого буржуазия отождествляла свои классовые интересы. В конституции 1791 г., в подразделении о королевской власти (гл. II, подразделение 1) буржуазия записала, что «во Франции нет авторитета выше закона... лишь именем закона король вправе требовать себе повиновения». Тем самым, вместо «разделения» властей и их «равновесия», была создана иерархия власти. Королю, правда, было предоставлено право суспенсивного «вето» (т.-е. право лишь приостанавливать законы парламента), но каждая попытка с его стороны осуществить это право вызывала возмущение шедшего тогда за буржуазией народа, который подталкивал законодательные власти на более решительные шаги, приведшие к тому, что изменник-король, конспирировавший с врагами революции против народа, был отправлен на эшафот.

Концентрация власти и стремление подчинить исполнительную власть (которая до тех пор была представлена королем) законодательной власти еще резче выступает в дальнейшем. Буржуазия, отменившая все сословные привилегии, выступает уже как единственно правящий класс. Конвент на первом же своем заседании (21 сентября

1792 г.) уничтожил королевскую власть и сконцентрировал все управление в своих руках. Конвент установил, что законодательная власть при казывается, а исполнительная власть выполняет. Закон 4 декабря 1793 г. подчеркивал, что Конвент является «единственным центром правительственной деятельности». Этот же закон ставил всю исполнительную власть под непосредственный надзор Комитета общественного спасения. По мере того, однако, как усложнялось положение на фронтах и внутри страны, Комитет общественного спасения, состоявший вначале из девяти, а затем из двенадцати членов Конвента, вместе с Комитетом общественной безопасности руководил всей властью и возглавлял революционную диктатуру.

По конституции 1793 г., не введенной в жизнь, на исполнительный комитет возлагалась: «обязанность управлять и наблюдать за общей администрацией; его действия ограничены применением законов и декретов законодательного корпуса» (ст. 64).

Если демократическая конституция 1793 г. в принципе всячески выдвигала на первый план народное представительство в лице законодательных органов, то термидорианская реакция конца 1794 г. под видом «разделения властей» стремится, наоборот, упрочить и сделать независимой от парламента исполнительную власть. Эта тенденция победившей спекулятивной буржуазии переходит затем в наследство к другим конституциям, которыми буржуазия стремилась ограничить демократию.

Конституция III (1795) года подчеркивает принцип разделения властей. Но основная задача директории заключалась в том, чтобы противопоставить себя законодательным органам. Члены директории могли быть избираемы или из прежних министров, или из граждан, которые не менее одного года уже не участвуют в законодательных органах. Директория, формально не имела права законодательной инициативы, но обладала безраздельным правом ставить своих людей на все ответственные пос-

ты, подчиняла себе министров, назначала главнокомандующих и т. д. Формально директория могла «просить письменно» законодательные органы принять те или иные мероприятия. Фактически ее действия заменяли законы. По конституции III года директория не могла быть призвана к ответу в собрании, кроме тех случаев, когда налицо — тяжкое обвинение. Если собрания требовали отчета, то директория могла ограничиться письменным ответом или попросту отпиской.

Конституция III года представляет собою уже реакцию против «всепогуще-ства законодательных собраний». «Народное представительство» еще более оттирается на задний план конституцией VIII года. Законодательный корпус и трибунал являлись лишь игрушками в руках первого консула, а империя Наполеона окончательно придает исполнительную власть характер неограниченной диктатуры. Согласно конституции VIII года ни один агент правительства не мог быть преследуем законом иначе, как по разрешению государственного совета¹⁾.

Все это, с теми или иными отклонениями, характерно и для дальнейших королевско-императорских и республиканских режимов. Маркс в «18 Брюмера» отмечает, что ближайшим осознательным результатом переворота Наполеона III 2 декабря 1852 г. «была победа Бонапарта над парламентом, победа исполнительной власти над законодательной»²⁾.

Буржуазное государство, построенное по принципу бюрократической централизации, всякий возникающий общий интерес отрывало от общества и, как отмечает Маркс в «18 Брюмера», «вырывало из сферы самодеятельности членов общества и делало предметом правительственной деятельности... Все перевороты совершенствовались эту машину, вместо того чтобы сломать ее. Партии, поочередно борющиеся за власть,

¹⁾ Этот закон просуществовал во Франции вплоть до 1870 г.

²⁾ Маркс и Энгельс. Т. VIII, стр 403.

смотрели на это огромное государственное здание, как на главную добычу победителя»¹).

Для чего же буржуазии понадобилось формальное сохранение принципа «разделения властей» в конституциях?

Так же, как и формально записанные принципы буржуазной демократии, принципы «разделения властей» должны были вселить в народные массы иллюзии о «справедливости» власти, о невозможности произвола Властей, о «правовом государстве», в котором не одна какая-либо власть по своему произволу решает важнейшие вопросы, а власти взаимно «уравновешиваются», контролируют друг друга. Принцип разделения властей должен был подкрепить представление о классовой буржуазной власти, как о «надклассовой власти», как о «народном суверенитете», разумно распределяющем функции законодательства и управления среди различных органов государства.

По иронии судьбы принцип разделения властей еще перед Французской революцией встретил критику защитников «народного суверенитета». Руссо, считавший суверенитет «неделимым», не допускал и разделения властей²). Высмеивая защитников принципа разделения властей, Руссо уподоблял их японским фокусникам, которые на глазах у публики делают ребенка на три части, затем подкидывают эти части вверх и получают целого и невредимого ребенка.

Буржуазия, сохранявшая принцип разделения властей в конституциях, уподобляла его религиозной догме о разделении божества на «троицу» (бога-отца, бога-сына и святого духа) без того, чтобы эту догму можно было бы подтвердить. В действительности диктату-

ра буржуазии одинаково проводится во всех органах власти, при полной гегемонии исполнительной власти.

Нигде и никогда буржуазия не соблюдала власти, как «равные» и «самодовлеющие» силы государства. Никогда не было «равнодействующих властей» по Монтескье. После конвента буржуазия всегда давала преобладающее значение исполнительной власти¹).

Что касается законодательной власти, то, в зависимости от остроты классовой борьбы и от напора народных масс, буржуазия то расширяла, то сужала права народного представительства. Когда буржуазия и вынуждена была идти на уступки и расширять круг избирателей, она в то же время прилагала все усилия, чтобы превратить парламенты в «говорильни», сохраняя центр власти в исполнительных

¹) К. Маркс по поводу конституции 1848 г., проложившей дорогу II империи, писал:

«Конституция не только, по примеру хартии 1830 г., канонизирует разделение властей, но и доводит это разделение до невыносимого противоречия... С одной стороны — 750 избранных всеобщим голосованием и могущих вновь быть избранными народных представителей, которые образуют бесконтрольное, не подлежащее роспуску, нераздельное Национальное собрание, которое облучено неограниченной законодательной властью, окончательно решает вопрос о войне и мире, о торговых договорах, исключительно обладает правом амнистии и, благодаря непрерывности своих заседаний, постоянно остается на первом плане политической сцены. С другой стороны — президент со всеми атрибутами королевской власти, назначающий и смещающий своих министров независимо от Национального собрания, имеющий в своих руках все средства исполнительной власти, раздающий все должности и, таким образом, распоряжающийся во Франции судьбой по меньшей мере полутора миллионов людей, потому что именно такое количество людей материально связано с полумиллионом чиновников и офицеров всех степеней. Он распоряжается всей вооруженной силой нации. Он пользуется привилегией помилования отдельных преступников, временного удаления частей национальной гвардии и — с согласия государственного совета — смещения избранных самими гражданами генеральных, кантональных и коммунальных советов. Ему же предоставлены почин и руководящая роль при заключении договоров с иностранными державами».

К. Маркс, «18 Брюмера Луи Бонапарта», Партиздат, 1935 г., стр. 22—23.

¹) Маркс и Энгельс, т. VIII, стр. 404—405.

²) Выразителем народного суверенитета Руссо признавал исключительно законодательную власть, принадлежащую народу. Исполнительная и судебная власть признавались им лишь как атрибуты суверенитета, подчиненные законодательной власти, но не являющиеся ее составной частью. Они лишь перелагают закон в отдельные акты.

органах. Это особенно ярко сказывается начиная с последней четверти XIX в., с эпохи перехода к реакционнейшему финансовому капиталу, и в особенности в послевоенный период общего кризиса капитализма. В. И. Ленин в своем труде «Государство и революция» писал:

«Посмотрите на любую парламентскую страну, от Америки до Швейцарии, от Франции до Англии, Норвегии и проч.: настоящую «государственную» работу делают за кулисами и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают со специальной целью надувать «простонародье»¹⁾.

Это стало «искусством» буржуазного правления. На этом специализировались тысячные кадры профессионалов-политиков, адвокатов и дельцов, промышленяющих доверием народных масс. Каждая буржуазная партия в ущерб другой стремится захватить в свои руки важнейшие посты в государстве, в законодательных, исполнительных и судебных органах власти с тем, чтобы проводить политику господствующего класса с точки зрения своих групповых интересов. Это как нельзя более наглядно доказывается деятельностью консервативной и либеральной партий в Англии, республиканской и демократической партий в США и т. д.



Все теоретики принципа «разделения властей» (Локк, Блэкстон, Монтескье) основывались на практике государственного строя Англии. И тем более любопытную картину концентрации власти в руках исполнительных органов дает современная Англия и другие страны, в которых еще сохранилась буржуазная демократия.

Еще в 60-х годах прошлого века один из выдающихся английских правоведов, В. Беджот, восхищенный государственной системой Англии и считавший ее образцовой, писал:

«Традиционная теория, надоедливо повторяющаяся во всех учебниках, утверждает, что достоинство нашей конституции состоит в совершенном разделении законодательной и исполнительной власти, но в действительности ее лучшее свойство заключается в их особенном сближении. Связывающим звеном служит кабинет»¹⁾.

Нигде, ни в одном английском конституционном акте, ни в других законодательных актах ничего не сказано о роли премьер-министра и возглавляемого им кабинета министров. Однако фактическое всемогущество премьера, являющегося ставленником той или другой группы капиталистов, никем не оспаривается. Члены кабинета несут свои обязанности по уполномочению премьера. При этом в кабинет не входят все руководители министерств, а наиболее ответственные. Для более важных вопросов составляется узкая коллегия из 3—6 лиц во главе с премьером, которая фактически и направляет все дела. Такой узкой коллегией был во время войны «военный кабинет» Ллойд-Джорджа, который диктаторствовал над страной, отменял конституционные акты (Habeas Corpus Act), ввел жесткую цензуру, отменил право стачек, содействовал усилению эксплуатации рабочих промышленниками. Рабочие, протестовавшие против произвола власти, «вычесывались» (Comb out) на фронт. Фактически узкая группа министров во главе с премьером, выступающая как «правительство его величества», доминирует над парламентом. Вся внешняя политика, как и политика подготовки войны, целиком сконцентрирована в руках исполнительной власти, которая отделяется иногда неопределенными и малозначащими фразами на вопросы депутатов парламента.

Теоретически считается, что парламент всемогущ. Старая английская поговорка говорит, что «парламент все может сделать, не может только сделать из мужчины женщину». Теоретически

¹⁾ Ленин. Т. XXI, стр. 401.

¹⁾ В. Беджот. «Государственный строй Англии». Москва. 1935 г., стр. 71.

считается, что парламент может в любой момент изменить «святая святых» — английскую конституцию. «Для английского парламента, — говорил недавно в одном докладе министр Саймон, — так же легко отменить «Magna Charta»¹⁾, как проголосовать закон об установлении карантина для собак, привозимых из-за границы».

И все же этот парламент, в котором буржуазия стремится обеспечить себе большинство, склоняется перед премьером. Парламентское большинство, представителем и лидером которого обычно является сам премьер, дает последнему возможность в полной мере распоряжаться в парламенте, как в вотчине, обуздывать всякую оппозицию, проводить все свои мероприятия, которые приобретают часто характер законов и узурируют права парламента.

При обсуждении такого важного рычага государственного управления, как бюджет, член парламента не вправе потребовать увеличения отдельных статей бюджета. Это право принадлежит только членам правительства. Палата может только отклонить или понизить статьи бюджета. Естественно, что представителям рабочих трудно добиться в парламенте увеличения, например, ассигнований на социальные расходы, которые обычно бывают сильно снижены. Что же касается вопроса о понижении других статей бюджета, то в этом правительственные партии редко расходятся с правительством. Главные споры ведутся вокруг вопросов о перемещении обложения с одной отрасли хозяйства на другую, чем представители отдельных капиталистических групп стремятся обеспечить свои интересы. Бюджет правительства подготавливается в «ведомственных комиссиях» отдельных министерств, которые широко привлекают «сведущих лиц», главным образом из финансовых и промышленных кругов, получающих, таким образом, возможность влиять на составление бюджета. Во французском парламенте постоянные парламентские комиссии еще заслушивают министров, требуют их докладов,

выставляют своих докладчиков. В Англии министерства себя рассматривают, как комиссии. Других докладов, по бюджету, кроме министерских, в палате не бывает.

Правительство часто фактически само законодательствует. В Англии, кроме законов, издаваемых парламентом (статуты), имеются так называемые «указы» или «приказы в совете» (Orders in Council), которые подписываются королем. Такой «приказ» в принципе не должен вносить существенных изменений в законодательство. В действительности же правительство проводит через парламент принципиальные и широко толкуемые положения, а затем пользуется «приказами» для превращения деталей этих положений в законы.

Такие указы составляются чиновниками из министерского аппарата. Часто они обсуждаются в ведомственных (или королевских) комиссиях с участием «сведущих лиц» из финансово-промышленного мира. Этот свой, правительственный «парламент», работающий за кулисами, фактически играет большую роль, чем настоящий парламент. Формально парламент может опротестовать различные постановления правительства, но он этого не делает. Послушное большинство палаты смотрит на это «сквозь пальцы»; больше того, оно, как правило, включает во все сколько-нибудь важные акты специальные пункты, уполномочивающие то или иное министерство издавать постановления, получающие силу закона. (так наз. «enabling acts»). О том, насколько такая практика широко внедрилась в жизнь, свидетельствует старей либерал и председатель либеральной партии Р. Мюр, котоый в своей книге «Как управляется Британия» пишет:

«Представление о размерах, которых достигла эта практика, могут дать нам цифры, относящиеся к 1927 г. В этом году парламент принял 43 закона. О большинстве из них общественность либо совсем ничего не слышала, либо слышала очень мало. Они были предложены министерствами и проведены после незначительных дискуссий; 26 из

¹⁾ Г.-е. конституционный акт.

них содержали в себе пункты, уполномочивающие соответствующего министра издавать постановления, имеющие силу закона. И в том же 1927 г., который был свидетелем проведения 43 парламентских актов, министерствами было издано не менее 1349 обязательных постановлений и распоряжений. Они представляли собою такую же составную часть законодательства, как и акты парламента»¹⁾.

Оппозиции предоставляется лишь возможность выражать свое недовольство в прессе и вообще вне парламента. В самом парламенте выступления оппозиции глушатся внутренним парламентским регламентом. Во-первых, имеется так называемая «блокировка» вопросов. Это значит, что нельзя вносить новые предложения по вопросам, по которым уже раньше поступили предложения. Господствующая партия использует это, чтоб преградить возможность оппозиции вносить свои вопросы. Она сама их вносит, но с тем, чтобы сорвать их обсуждение. Во-вторых, на обсуждение разных законопроектов выделяется определенное время. Правительство заранее, по договоренности с представителями большинства парламента, устанавливает сроки, в течение которых должен быть проведен тот или иной законопроект. Это относится и к отдельным параграфам законопроектов. Тем самым обсуждение законов строго ограничено и результат его предрешен²⁾. По драконовскому законопроекту против стачек, внесенному правительством в палату в 1927 г., Болдуин потребовал срок четыре дня для вторичного чтения законопроекта, три дня для докладов по поправкам и один день на третье чтение законопроекта. Вся комиссия работа по такому крупнейшему во-

просу должна была закончиться в 14 дней. Лейбористская фракция в знак протеста против такого протаскивания законопроекта покинула на один день заседание.

Что касается предложений, идущих от самих депутатов, то и для них выделяется ограниченное время — один-два вечера в неделю, чаще всего пятница, когда депутаты спешат разехаться на отдых. Когда же накапливается много дел, требующих рассмотрения, то и эти вечера отменяются. Эти вечера используются для того лишь, чтобы провалить предложения оппозиции, выступления которых приобретают, таким образом, лишь демонстративный характер. О том, насколько ничтожную долю представляют предложения депутатов в общем потоке законодательных актов, говорят следующие цифры: за 1900—1915 гг., т.-е. за 15 лет, принято лишь 135 депутатских предложений, которые затем прошли через все стадии парламентских голосований и были утверждены королем. За 1915—1919 гг. (т.-е. главным образом за военный период), не было ни одного прошедшего через парламент депутатского предложения. За время 1919—1933 гг. прошедших через парламент депутатских предложений было всего 106. Предложения эти были маловажного характера.

Премьер через парламентское большинство фактически диктаторствует в парламенте. Последний своим большинством должен только проголосовать предложения правительства. В случае особого затруднительного положения правительства в его сношениях с парламентом у премьера всегда в запасе право «посоветовать» королю распустить парламент. Сношения самого короля с парламентом контролируются премьером. Тронная речь короля при открытии парламента о предполагаемых законопроектах обычно пишется премьером, и король ничего в ней не меняет. Точно так же король обычно беспрекословно подписывает все другие акты, преподносимые ему премьером.

Французская реакционная печать с завистью указывает на английские ме-

¹⁾ Р. Мюр, «Как управляется Британия». Соцэкиз, 1936 г., стр. 72.

²⁾ В 1930 г. сессия продолжалась 160 дней. Из них 53 дня заняли обсуждение бюджета в пленарных заседаниях нижней палаты и в комиссиях; 40 дней заняли законопроекты, прошедшие уже стадию второго чтения; 28 дней заняли законопроекты, находившиеся в стадии второго чтения; 39 дней заняли вопросы, кончающиеся решением «о переходе к порядку дня», адреса и предложения депутатов.

тоды управления, способствующие «прочным кабинетам», с относительно продолжительным сроком существования.

Но и во Франции — самой демократической и парламентской из крупных европейских стран — роль исполнительной власти с самого начала Третьей республики строилась, как доминирующая. При наличии стольких ухищрений, которыми народ отстраняется от влияния на «народное представительство», сама деятельность буржуазного парламента проходит еще под сильным воздействием исполнительной власти.

В самом парламенте роль правительства при обсуждении законов очень велика. Вопросы финансовые, военные, внешней политики и др. являются прерогативой парламента. Но парламента обсуждает законопроекты, разработанные и выдвигаемые самим правительством («projets des lois»). Этим исполнительной власть получает возможность направлять ход законодательства. Законопредложения же самих членов парламента (propositions des lois) ставятся на обсуждение только в том случае, если это допускает большинство, т.-е. если этого хочет само правительство, представляющее это большинство. Форму отвода такого законопредложения (чаще всего в комиссии) опять-таки устанавливает большинство.

Одним из наиболее ходких доказательств преобладания власти законодательных органов над исполнительными выдвигается частая смена министерских кабинетов в результате вотума недоверия палаты или провала того или иного правительственного законопроекта. И действительно, со времени установления Третьей республики до 1 июня 1937 г. (т.-е. за 66 лет) во Франции существует 102-й кабинет министров. Но ближайший анализ показывает, что смена эта происходит в рамках очень ограниченного круга людей, так как в различных министерских комбинациях часто встречаются одни и те же лица.

Согласно политической статистике, начиная с 1871 г. до половины 1933 г., во Франции были 92 кабинета министров. Средняя продолжительность их существования была 8 месяцев и 1 неделя. Кабинеты были более стабильными в довоенное время, в так называемую «мирную» эпоху развития капитализма. Самыми продолжительными кабинетами в этот период были кабинет премьера Вальдека Руссо, просуществовавший 2 г. 1 мес. 15 дней (1899—1902), и кабинет Клемансо — 2 г. 9 мес. (1906—1909 гг.). Вместе с тем имелись кабинеты, которые существовали меньше 1 месяца. Так, кабинет Рибо просуществовал всего 4 дня (июнь 1914 г.), а в послевоенное время кабинет Эррио в июле 1926 г. просуществовал 4 дня, кабинет Шотана в феврале—марте 1930 г. — 9 дней и т. д.

Но любопытнее всего, что свергнутый премьер часто возвращается на то же место в новой министерской комбинации. За этот же период, с которым идет речь, 25 премьеров выполняли свои функции главы кабинета по 1 разу, а 18 премьеров — по несколько раз. Дюфор, который возглавлял министерство после расправы над Коммуной, был премьером 5 раз, Бриан — 11 раз.

В одном из своих докладов Клемансо заявил:

«Меня упрекали в том, что я свалил многочисленные министерства. Признаю, что в падении отдельных кабинетов я должен покаяться, но в основном я всегда видел перед собою одно и то же министерство»¹⁾.

За отмеченный период было министров и их помощников 1652 чел. Из них только 187 были всего один раз министрами. Остальные были на министерских постах по несколько раз. Так, Лейг за 13 лет 2 месяца 20 дней был 18 раз министром и 1 раз премьером, Бриан—13 раз министром и 11 раз премьером (за 16 лет 11 месяцев и 5 дней), Фрейсине—10 раз министром и 4 раза премьером — за 10 лет 6 месяцев и 3 дня и т. д.

¹⁾ G. Clemenceau. «Sur la démocratie», стр. 83.

Чем обусловлена возможность стать министром? Специальностью? Большими познаниями в области администрирования? Отнюдь нет. Один и тот же министр управлял различными отраслями. Барту, например, был министром общественных работ, юстиции, просвещения, внутренних дел, военных дел, иностранных дел. Как на исключение можно указать лишь, что Делькассэ (известный дипломат, бывший послом в России и способствовавший ее вовлечению в мировую войну) был 7 лет министром иностранных дел, тогда как такое «светило» Третьей республики, как Вальдек Руссо, находившийся во главе самого продолжительного кабинета, не досидел и половины срока Делькассэ.

Дело также не в идейных принципах. Наоборот, беспринципность министров бьет в глаза. Бриан был министром и в кабинетах, считавшихся «левыми», и в правых кабинетах.

Даже буржуазная печать вынуждена часто ставить перед собою вопрос: как это случается, что такой-то, не обладающий никакими особо выдающимися способностями, вдруг оказывается в роли высшего чиновника государства—министра. Для примера приводела Клотца, министра, который принимал участие в обсуждении и составлении Версальского договора. После этого Клотц потерял все свое состояние в игре на скачках, запутался в делах. Одна французская газета, выражая мнение обычного обывателя, не без иронии спрашивала: «Как же он вел наши государственные дела, если не сумел вести свои собственные?»

Чтобы понять условия прохождения в министры, нужно распутать всю систему экономических и политических связей монополистического капитала, давящих на правительство, и в частности роль Французского банка, который давит на правительство, навязывает ему свою волю в общей политике. Характерно также отметить, что большинство крупных политических деятелей—это адвокаты, связанные с различными финансовыми и промышленными предприятиями.

Коррупция — составная часть политики, закрепляющей господство финансового капитала. Во всех крупнейших скандалах (Панама, дело Решетта, ставискиада и т. п.), связанных с коррупцией политических фигур, встречаются члены парламента и министры. Такие «традиции» сопровождали все развитие государственного аппарата буржуазии. Маркс в «18 Брюмера» отмечал сложившееся еще при Второй империи положение, при котором «учреждением купли-продажи становятся все государственные учреждения: сенат, государственный совет, Законодательное собрание, орден Почетного легиона, солдатская медаль, прачечные, государственные постройки, железные дороги, генеральный штаб национальной гвардии без рядовых, конфискованные имения Орлеанов. Предметом купли делается всякое место в армии и правительственной машине»¹⁾.

В декабре 1928 г. депутат французского парламента социалист Шастене жаловался на то, что многие министры часто совмещают работу министра и дельца, на что Пуанкаре ему ответил: «Вы хотите, чтобы промышленник или финансист, который выполняет обязанности по настоянию сограждан, отказался бы от всех дел в день, когда его изберут депутатом?»

Естественно, что этого быть не может. Естественно, что «долг» промышленника и финансиста обычно тяготее над министром больше, чем его «долг» главы кабинета или министерства.

В 1928 г., когда во французском сенате вскользь был задет вопрос о коррумпциях, сенатор Франсуа Марсал, бывший министр финансов и состоявший членом 32 наблюдательных советов крупных капиталистических предприятий, выразил, наоборот, сожаление, что в палатах мало депутатов, связанных с хозяйством. Расширение таких связей, говорил он, придало бы больше «деловитости» парламента.

Характерно, что в Англии в послевоенное время многие министры, оста-

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. VIII, стр. 414.

вляя министерства, переходят на крупнейшие посты в капиталистических предприятиях. Бывший лорд-канцлер казначейства Мак-Кенна вошел в состав руководства Мидленд-банка. Бывший член правительства, сэр Роберт Хорн — в руководство железнодорожного предприятия, бывший первый лорд адмиралтейства сэр Эрик Теддес стал председателем акционерной компании. Известный Джон Дункан Грегори, руководивший восточным отделением министерства иностранных дел (вел резкую антисоветскую политику и поддерживал Деникина), использовал свои дипломатические связи для игры на бирже через подставных лиц и был разоблачен лишь в связи со своим разорением.

В США министром финансов при президентах Кулидже и Гувере был крупнейший миллионер и финансист Эндрю Меллон, использовавший свое положение, чтоб уменьшить уплату налогов по своим предприятиям.

Это переплетение интересов капитала и политики особенно ярко сказывается и в парламентах.

При этом вовсе не обязательно, чтоб сами капиталисты были представлены в парламентах. Это дело «демократизируется» в том смысле, что представительство интересов отдельных капиталистов или капиталистических групп поручается отдельным депутатам, которым капиталистические группы через буржуазные партии непосредственно способствуют прохождению в парламент. Формально такой депутат буржуазии представляет интересы «всего народа». Фактически он связан с интересами банков и отдельных предприятий, стремится к проведению законов, способствующих облегчению развития той или иной отрасли индустрии, является хэдатаем по делам этих предприятий перед правительством и т. д. Деньги, потраченные в виде коррупции при выборах таких депутатов, не пропадают даром. Проведение закона, уменьшающего налоги в той или иной отрасли промышленности, или закона, повышающего таможенные ставки на ввоз из-за границы продукции иностранных конкурентов,

с лихвой покрывает предвыборные расходы монополистических клик.

Здесь тоже существует своего рода разделение обязанностей, сводящееся к тому, чтобы обеспечить дивиденды капиталистических монополий. О том, насколько сильна такая связь между капиталистическими предприятиями и законодательными учреждениями, говорят следующие данные:

Во Франции в 1924 г. в палате депутатов и в сенате было 201 депутат (в палате депутатов — 104 и в сенате — 97), которые в то же время занимали 900 разных ответственных постов в руководстве финансовых и промышленных предприятий в качестве членов наблюдательных органов и т. п. В 1926 г. в обеих палатах было 213 депутатов, которые занимали свыше 1000 ответственных постов в руководстве капиталистических предприятий. В 1930 г. было 252 депутата, занимавших 1019 постов.

В Англи, по одному обследованию 1923 г., 255 депутатов нижней палаты занимали 713 ответственных постов в разных капиталистических предприятиях. В составе палаты лордов — в основном крупные землевладельцы. Но и среди лордов 272 человека занимало 716 ответственных постов в крупных капиталистических предприятиях.

В нижней палате депутаты, принадлежащие к разным партиям, составляют группу (British Commonwealth Union), защищающую интересы крупнейших отраслей промышленности (железнодорожной, стальной, угольной, судостроительной и т. д.). В последнее время эта группа теснее связалась с консервативной партией. Представители текстильной промышленности еще держались около либеральной партии, но и они сейчас связываются все больше с консервативной партией.

В Германии, в рейхстаге, существовавшем с 1924 по 1928 г., было 65 депутатов, которые были членами 269 наблюдательных советов. В рейхстаге, выбранном в мае 1928 г., было 69 де-

путатов, состоявших членами 275 наблюдательных советов¹⁾.

К сказанному нужно добавить и о роли самого государственного аппарата. Министры приходят и уходят, но шефы департаментов, аппарат в целом остается. Последний в течение ряда лет отбирался из наиболее надежных и преданных капитализму элементов. Установившаяся в этом аппарате рутину нельзя изменить временным пребыванием во главе министерства того или иного «прогрессивного» министра. Бюрократия, сосредоточившаяся в аппарате, ненавидит контроль, ненавидит парламент. Аппарат к тому же служит для устройства на должности, источником извлечения доходов для значительной части представителей из буржуазии. Маркс в «18 Брюмере» указывал, что «Материальные интересы французской буржуазии теснейшим образом связаны как-раз с сохранением этой огромной разветвляющейся во все стороны государственной машины. Здесь буржуазия пристраивает своих лишних людей и пополняет чиновническими окладами то, что не попадает в ее карман в форме прибыли, процентов, ренты и гонорара»²⁾.

Аппарат и возглавляющая его бюрократия работают оторванно от народа, вне его влияния. Но они охватывают всю общественную жизнь, направляя ее по желаемому пути. Бывший префект полиции Кьяпп, в феврале 1935 г. способствовавший фашистским выступлениям, наглядно показал, как аппарат может проводить свою политику вопреки воле министерства, вопреки парламенту.



Наиболее последовательно принцип «разделения властей» формально выражен в конституции США, принятой в 1787 г. Конституция эта запрещает членам исполнительной власти быть члена-

ми палат. Президент республики, являющийся главой исполнительной власти, не имеет права вносить законопроекты в конгресс и распускать его. Формально ни президент республики, ни ответственные перед ним министры не зависят от конгресса и не участвуют в его заседаниях¹⁾. На деле президент направляет ход законодательной работы конгресса. Это настолько считается в порядке вещей, что буржуазная печать о президентах в США судит не по тому, как работали руководимые ими министры, а по тому, как за время их президентства работал конгресс. Президент имеет право «вето» по законам, принятым конгрессом, и может передать их на вторичное рассмотрение конгресса. Такой закон считается принятым лишь в том случае, если при вторичном обсуждении за него голосуют две трети депутатов обеих палат, что при существующих внутренних противоречиях среди двух буржуазных партий (республиканской и демократической) бывает очень редко. Президент республики может обратить внимание конгресса на те или иные вопросы в своих «посланиях», чем, собственно, и намечает программу работ конгресса. Буржуазные комментаторы американской конституции объясняют широкие права президента тем, что он, как и парламент, избран народом (президент — в двухстепенных выборах), а не представительными органами, как во Франции и других странах.

Так же обстоит дело и с судом, который «интерпретирует», т.е. толкует и разъясняет законы. Формально суд не выше парламента или президента, а является лишь «хранителем конституции» и тем самым объясняет свои дей-

1) Наиболее выразительно принцип разделения властей выражен в конституции штата Массачусетс от 2 марта 1780 г., ст. XXX:

«Органы законодательной власти никогда не должны осуществлять исполнительной и судебной власти или одной из них; органы исполнительной власти никогда не должны осуществлять законодательной и судебной власти или одной из них; органы судебной власти никогда не должны осуществлять законодательной и исполнительной властей или одной из них; словом, все должно сводиться к верховенству закона, а не людей».

1) Цифры взяты из книги: Richard Lewinsohn. «Das Geld in der Politik». Berlin. 1931 г.

2) К. Маркс. «18 Брюмера Луи Бонапарта». Партиздат. 1933 г., стр. 55.

ствия именем «народа». Суд формально не отменяет законы конгресса, но он вправе объявить их противоречащими конституции, т.е. фактически отменить их. Так недавно имела место отмена законов, принятых по инициативе Рузвельта, что явилось выражением противоречий между различными группами монополистического капитала. Но было бы ошибочным превращать формальную независимость суда в действительную. Во-первых, суд крепко, всеми своими корнями врос в общую политику господствующего класса, и все его разъяснения законов фактически дополняют конституцию, принятую около полутора веков тому назад и не отвечающую уже современным потребностям. Для господствующего класса очень удобно иметь конституцию как «реликвию» и рядом с ней наслоение всяких «толкований», которые гибко приспособляют самую конституцию к его текущим потребностям. Во-вторых, пополнение суда находится в руках президента республики, который с согласия сената назначает судей. На протяжении истории США президенты не раз пользовались этим оружием, чтобы заставить суд решать вопрос так, как это диктовалось интересами отдельных групп правящего класса, выразителями которых президенты являлись. Из недавней практики верховного суда США нужно отметить, что, «охраняя конституцию», суд ополчился против рабочих организаций, против законов, вынужденно принятых под давлением масс. Так, в 1895 г. он объявил «противоречащим конституции» закон о подоходном налоге. Только в 1917 г. суд признал не противоречащим конституции закон отдельных штатов о 10-часовом рабочем дне для взрослых мужчин. В 1918 г. суд признал «неконституционным» закон штата Аляски о 8-часовом рабочем дне. В 1923 г. суд объявил «противоречащим конституции» закон штата Колумбия о минимальной заработной плате, ссылаясь на принципы свободы договора, по которому два человека могут по своему собственному желанию заключать какие угодно договоры. Еще недавно суд отказался применить крохоборческие «трудовые» законы Рузвельта, которые являлись ме-

лочной уступкой фермерам и рабочим и выдавались за «новую эру». Они отменены, как противоречащие «свободе договоров», установленной конституцией. В мае 1936 г. верховный суд объявил противоречащим конституции так называемый «закон Гэффи» об условиях труда и производства в угольной промышленности. Закон этот регулировал рабочее время и заработную плату, а также цены на уголь, и предусматривал наложение штрафа на шахтовладельцев, нарушающих закон. Верховный суд заявил, что закон нарушает права отдельных штатов и потому противоречит конституции.

Эти решения ставят под угрозу всякое социальное законодательство. Нельзя предполагать, что каждый отдельный штат проведет у себя свое социальное законодательство, ибо не везде одинаково рабочие организации сильны, чтоб отстоять свои интересы, тогда как давление капиталистических монополий особенно чувствительно сказывается на государственном аппарате штатов.

В этом вопросе особенно ярко сказывается роль суда в политике ограничения народного представительства, особенно в части социального законодательства. Конституция США принималась тогда, когда США были аграрной страной, когда еще были слабы связи между штатами. Естественно, что конституция не могла предвидеть все проблемы, возникшие впоследствии с ростом промышленности. Это дает возможность верховному суду толковать каждый закон по своему усмотрению с точки зрения интересов крупных монополий. Это дает ему «право» признать «неконституционным» любой закон, противоречащий этим интересам. Но верховный суд, стоящий на «охране конституции», никогда, например, не ставил вопроса о неконституционности законодательной политики южных штатов (вроде Алабамы и Тенесси и др.), направленной против негров и лишавшей их избирательных прав, хотя в конституции США четко сказано:

«Право граждан Соединенных Штатов на участие в выборах не будет отрицаться или ограничиваться Соеди-

ненными Штатами или отдельными штатами под предложениями расы, цвета кожи или прежнего рабского состояния» (ст. 1, раздел 1, п. 1).

«Принципы», которыми руководствуется верховный суд США, были изложены Джемсом Бекон, который свыше 30 лет был главным стряпчим при верховном суде. В своем докладе он заявил:

«Правильное соблюдение права означает, что существуют известные основные принципы свободы, которые не сформулированы и не вписаны в конституцию, но живут все же в свободном сознании судей. Согласно этим принципам ни один человек не может быть лишен жизни, свободы и собственности. Чтоб защитить эти принципы часто даже против воли большинства, каковым бы это большинство ни было, суду переданы права, не имеющие себе прецедентов. Он окружает личность священным кругом права. Тем самым суд является высшим сознанием нации».

«Сопротивление большинству» во имя абстрактного «права», приписывание суду функций выражения «высшего сознания нации», — все это демагогически лишь маскирует классовую сущность верховного суда, роль которого состоит в том, чтоб приспособить конституцию к нуждам капиталистических монополий. Фактически суд создает новую конституцию. Так на это смотрит и буржуазный комментатор американской конституции — Брайс. Говоря о роли Маршалля, председателя верховного суда периода 1801—35 г., Брайс пишет:

«Мы едва ли впадем в преувеличение, если, по примеру одного знаменитого американского юриста, назовем его (Маршалля) вторым создателем конституции¹⁾».

Фактически и в США все «разделение властей» направлено к ограничению палаты представителей. Теоретически парламент как бы является носителем «народного суверенитета», но классовая политика буржуазии нагромождает еще два института

(президент, верховный суд), которые должны «уравновесить» парламент и застраховать буржуазию от всяких сюрпризов.

Буржуазия во всех странах расценивает исполнительную власть, как более «гибкую», более тесно связанную с интересами господствующих классов, чем «болтливые» парламенты. В период послевоенного кризиса капитализма во многих странах, даже при наличии демократических конституций, процветают системы так называемого «чрезвычайного законодательства», согласно которым исполнительная власть издает законы помимо парламента.

Характерный пример показывает догитлеровская Германия. Веймарская конституция создавала ряд «сдержек и противовесов» для законодательной и исполнительной власти. Согласно статьи 43 Веймарской конституции президент республики мог быть смещен со своего поста народным голосованием по предложению $\frac{2}{3}$ депутатов рейхстага. Согласно статьи 25 конституции президент республики мог распустить рейхстаг. Но при этом за президентом республики оставались и возможности задерживать законы рейхстага. Согласно статьи 73 закон, принятый рейхстагом, президент мог задержать и поставить на народное голосование. Президент, на основании статьи 48 конституции, мог законодательствовать вообще без рейхстага. Такое чрезвычайное законодательство (Nothverordnungen), минуящее рейхстаг, во время кризиса приняло большие размеры. Достаточно отметить, что в 1931 г. рейхстаг утвердил 35 законов, а чрезвычайных законов помимо рейхстага (на основании статьи 48 конституции) было 43. В 1932 г. рейхстаг принял всего 5 законов, а чрезвычайных законов было 59. На основании этих чрезвычайных законов тяжести кризиса перекладывались на плечи народных масс, велась политика ограбления рабочих, урезывания социальных расходов и т. д.

Или взять демократическую Швейцарию, где исполнительная власть считается подчиненной законодательным органам, где, кроме того, существует

¹⁾ Джемс Брайс. «Американская республика», т. I, стр. 419—420.

народное голосование важнейших законов (референдум) и народная законодательная инициатива. Во время войны и в первые послевоенные годы швейцарское правительство издало, помимо парламента и помимо народных опросов, 1004 законопостановления, из которых многие шли вразрез с конституцией и были направлены лишь к подавлению рабочего класса и к ограждению капиталистической наживы.

Там, где в условиях послевоенного кризиса и подготовки к новой империалистической войне классовые противоречия между капиталистами и рабочим классом дошли до высшего напряжения, буржуазия совсем отбрасывает всякие демократические прикрытия и переходит к разнузданному, открытому террору и насилию — к фашизму. Фашистская власть строится на принципе безраздельного господства исполнительной власти, концентрации этой власти в руках агентов монополистического капитала.



В СССР нет и не может быть так называемого «разделения властей». Еще Маркс, в связи с Парижской Коммуной, указывал, что «Коммуна должна была быть не парламентской, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы»¹⁾.

Точно так же и Ленин, ссылаясь на опыт Коммуны, писал, что «Представительные учреждения остаются, но парламентаризма, как особой системы, как разделения труда законодательного и исполнительного, как привилегированного положения для депутатов, здесь нет»²⁾.

Программа ВКП(б) в свою очередь отвергает принцип разделения властей³⁾.

¹⁾ К. Маркс. «Гражданская война во Франции», Партиздат, 1933 г., стр. 61.

²⁾ Ленин, т. XXI, стр. 402.

³⁾ Программа ВКП(б) говорит: «Обеспечивая для трудящихся масс несравненно большую возможность, чем при буржуазной демократии и парламентаризме, производить выборы и отзыв депутатов наиболее легким и доступным для рабочих и крестьян способом. Советская власть в то же время уничтожает

В этом единстве власти сказывается демократическая природа высших органов Союза и сущность советского народного суверенитета. Только в свете этого единства можно определить все стороны власти государства нового типа.

При буржуазном «разделении властей» все три власти отделены от общества. В СССР каждая сторона власти берет свое начало в подлинном народном суверенитете, олицетворяемом Верховным Советом СССР, выбранным на основе действительного всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Это не исключает разграничения отдельных функций власти, вытекающих из необычайно увеличившихся функций советского государственного аппарата. Уже в первый год советской власти Ленин, указывая на громаднейшее значение творчества масс, вместе с тем считал необходимым ввести дисциплину в исполнение предписаний и распоряжений властей и усиление личной ответственности всех, несущих те или иные исполнительные функции. Ленин подчеркивал, что масса должна выбирать руководителей, контролировать их, но он вместе с тем считал необходимым отделить контроль масс над проведением тех или иных мероприятий от функций самого проведения.

«Массы, — писал Ленин, — могут теперь, — это им обеспечивают Советы, — взять в свои руки всю власть и — упражнять эту власть. Но для того, чтобы не получилось того многовластия и той безответственности, от которых мы невероятно страдаем в настоящее время, — для этого нужно, чтобы для каждой исполнительной функции мы знали в точности, какие именно лица были выбраны на должность ответственных руководителей, несут ответственность за функционирование всего хозяйственного организма в целом»¹⁾.

отрицательные стороны парламентаризма, особенно разделение законодательной и исполнительной властей, оторванность представительных учреждений от масс и пр.». Программа и устав ВКП(б), стр. 27. Партиздат, 1936 г.

¹⁾ Ленин, т. XXI, стр. 420—421.

Все это еще в большей мере важно сейчас. При жизни Ленина в нашей деревне преобладало еще мелкотоварное крестьянское хозяйство, сейчас же — безраздельно господствует социалистическое хозяйство и в городе, и деревне, что значительно усложняет функции государственного аппарата и необычайно умножило отрасли управления. Государственный аппарат ведет непосредственную работу по организации социалистического хозяйства, увеличению производительности труда, укреплению социалистической трудовой дисциплины, по сплочению рабочей и колхозной ответственности вокруг насущнейших вопросов социалистического строительства.

Это обстоятельство обуславливает тщательное разграничение функций в построении органов высшей власти. По Сталинской Конституции вся полнота народного суверенитета безраздельно сосредоточена в высшем законодательном органе Союза. «Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР» (ст. 32). Это единственный орган высшей государственной власти, — высшая суверенная власть, исключая какое-либо разделение властей, «уравновешивание» их. Какую сторону власти ни взять, она не является сама по себе отдельной властью, а подчиненной единой суверенной власти — Верховному Совету. Тем самым подчеркнута стабильность и верховенство социального закона, выражающего волю советского народа.

Широчайший демократический контроль масс осуществляется не только выбором членов Верховного Совета на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, не только правом контроля масс над деятельностью депутатов, правом отзыва их, не только правом разрешать спор в случае разногласия между палатами, но и тем, что Президиум Верховного Совета

«производит всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или по требованию одной из союзных республик» (п. «г» ст. 49).

Совет Народных Комиссаров не есть

какая-то отдельная самодовлеющая власть, а орган, целиком подчиненный высшей законодательной власти через Президиум Верховного Совета СССР, который может отменить постановления СНК, если они не соответствуют закону (п. «д» ст. 49), освободить отдельных наркомов и назначить вместо них других (п. «е» ст. 49).

Ст. 66 Конституции подчеркивает:

«Совет Народных Комиссаров СССР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение действующих законов и проверяет исполнение».

Точно так же в СССР не может быть такого положения, как это имеется в Англии, Франции и других странах, при котором постановления исполнительной власти и отдельных министров фактически сами по себе являются законодательными актами и нарушают тем самым прерогативы законодательных органов. Статья 73 Сталинской Конституции указывает, что

«Народные комиссары СССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и проверяют их исполнение».

Верховный суд СССР, в отличие, например, от верховного суда США, не вправе приостанавливать законы, принятые Верховным Советом. Он ведет лишь надзор за деятельностью всех судебных органов СССР и союзных республик (ст. 104).

Судьи независимы и подчиняются только закону (ст. 112). Что касается Прокурора СССР, то ему принадлежит лишь высший надзор за точным исполнением законов (ст. 113).

Верховный Совет может назначить следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу (ст. 51). Единство власти, сосредоточенной в Верховном Совете, согласно Сталинской Конституции, имеет свою полноту и законченность. Стабильность социалистического закона гарантирована подчинением ему всех исполнительных и судебных органов.



В СССР, как социалистическом государстве, народ выступает как подлинный суверен.

Советская двухпалатная система ничего общего не имеет с двухпалатной системой капиталистических стран. Нет ни «верхней», ни «нижней» палаты. Обе палаты: Совет Союза и Совет Национальностей — равноправны (ст. 37). Наличие среди верховных органов Совета Национальностей есть яркое выражение советской демократии, при которой законы принимаются, исходя не только из интересов трудящихся, но и их национальных запросов.

«Нельзя, товарищи, — говорил товарищ Сталин на XII съезде партии, — при наших условиях, когда Союз объединяет в общем не менее 140 миллионов людей, из которых миллионов 65 нерусских, — нельзя в таком государстве управлять, не имея перед собой здесь, в Москве, в высшем органе, посланников этих национальностей, которые отражали бы не только общие для всего пролетариата интересы, но и особые, специальные, специфические, национальные интересы»¹⁾.

«Совет Национальностей избирается гражданами СССР по союзным и автономным республикам, автономным областям и национальным округам по норме: по 25 депутатов от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области и по одному депутату от каждого национального округа» (ст. 35).

Верховный Совет СССР выбирает из своей среды Президиум, который подотчетен Совету в своей деятельности (ст. 48). Функции, присвоенные Президиуму Верховного Совета (ст. 49), формально в значительной степени соответствуют функциям президентов республик. Но они резко отличаются от последних по своему содержанию и демократическому существу.

В США широкие права президента, его право «вето», как уже отмечалось,

прикрываются тем, что он, как и конгресс, «выбран народом» (президент, в отличие от конгресса, избирается не прямо, а в двухстепенных выборах). Этим оправдывают то, что он «уравновешивает» деятельность законодательного органа (конгресса), т.-е. фактически ему противопоставлен.

При всенародном обсуждении Сталинского проекта Конституции было предложено о дополнении ст. 48 указанием на то, что председатель Президиума Верховного Совета должен избираться всем народом. Это противоречит всему демократическому существу нашей Конституции.

«По системе нашей Конституции, — говорил товарищ Сталин на VIII Чрезвычайном Съезде Советов СССР, — в СССР не должно быть единоличного президента, избираемого всем населением, наравне с Верховным Советом, и могущего противопоставлять себя Верховному Совету. Президент СССР коллегиальный — это Президиум Верховного Совета, включая и председателя Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населением, а Верховным Советом и подотчетный Верховному Совету. Опыт истории показывает, что такое построение верховных органов является наиболее демократическим, гарантирующим стране от нежелательных случайностей».

Закон, принятый Верховным Советом, не должен идти на санкцию к главе государства, как это практикуется в наиболее демократических капиталистических государствах (США, Франция и др.). Президиум Верховного Совета не может также возвратить принятый закон на новое рассмотрение Верховного Совета, как это имеет право сделать президент США, Франции. В СССР закон, принятый Верховным Советом, автоматически вступает в силу. Он публикуется на языках союзных республик за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета (ст. 40). Президиум Верховного Совета может издавать не законы, а толкования действующих законов СССР и указы (п. «б», ст. 49). Президиум может отменить постановления и распоря-

¹⁾ И. Сталин. «Марксизм и национально-колониальный вопрос», стр. 123—124.

жения СНК СССР и СНК союзных республик в случае их несоответствия закону (п. «д», ст. 49). Он назначает и освобождает от должности отдельных наркомов по представлению предсовнаркома с последующим внесением на утверждение Верховного Совета СССР.

Что касается роспуска Верховного Совета, выполняемого Президиумом Верховного Совета на основании ст. 47 Конституции, то это ничего общего не имеет с правами глав государств на роспуск палат в капиталистических странах (Франция, Англия и др.). Президиум Верховного Совета распускает палаты лишь в случае, указанном в ст. 47, т.-е. в случае разногласий между Советом Союза и Советом Национальностей, когда исчерпаны пути соглашения, указанные Конституцией (согласительная комиссия на паритетных началах, вторичное рассмотрение спорного вопроса в обеих палатах). Но такой случай роспуска ничего общего не имеет с практикой роспуска парламентов в капиталистических странах, где распускается обычно нижняя палата, а не верхняя. Конституция СССР говорит о роспуске обеих палат, чем осуществляет самый демократический способ разрешения спорных вопросов — обращения к избирателям. Роль Президиума Верховного Совета в этом случае глубоко отлична от роли глав государств капиталистических стран. Он сам сохраняет свои полномочия лишь до образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового Президиума Верховного Совета СССР (ст. 53). Таким образом, в отличие от глав государств капиталистических стран, у Президиума Верховного Совета нет прав роспуска по своему усмотрению. Он технически выполняет лишь функции, возлагаемые на него Конституцией.

В СССР законопроект, принятый обеими палатами, автоматически вступает в силу.

Некоторые послевоенные буржуазно-демократические конституции (веймарская — ст. 48, испанская — ст. 80 и др.) предоставляли право президенту издавать временные законы помимо парламента. В практике отдельных буржу-

азно-демократических стран все учащается издание всяких чрезвычайных правительственных законов, скрепляемых главой государства, что в общем и целом является обходом прав парламента. В фашистских странах, как Германия, парламент, как известно, вообще ликвидирован. Собрание фашистских назначенцев, созываемое иногда Гитлером для заслушивания его речей и прикрываемое еще названием «рейхстага», фактически не имеет никаких законодательных прав. Нет никакой разницы между выступлениями Гитлера в так называемом «рейхстаге» и его выступлениями перед обычным собранием штурмовиков. «Фюрер» в Германии одновременно и «высший законодатель» и «высший судья», что характерно для разнузданного фашистского произвола и бесправия. Фашистский режим — это «режим правящей уголовщины» (Дмитров). И даже в тех странах, где фашизм сохраняет видимость «парламента», где он прикрывает себя и новыми «конституциями», — там «главе государства» присвоены законодательные функции, т.-е. право не считаться с парламентами. По польской, например, конституции президенту присвоено право издавать декреты помимо парламента (ст. 55 конституции 1935 г.). Социалистический демократизм, принципиально отличаясь от государственного строя буржуазной формальной демократии, является высшим типом демократизма в подлинном значении этого слова. Законодательство, как выражение воли советского народа, сосредоточено только в Верховном Совете.

При всенародном обсуждении проекта Сталинской Конституции было предложение о дополнении ст. 40 указанием на то, что Президиуму Верховного Совета предоставляется право издавать временные законодательные акты.

«Я думаю, — говорил товарищ Сталин, — что это дополнение неправильно и не должно быть принято съездом. Надо, наконец, покончить с тем положением, когда законодательствует не один какой-нибудь орган, а целый ряд органов. Такое положение противоречит

принципу стабильности законов. А стабильность законов нужна нам теперь больше, чем когда бы то ни было. Законодательная власть в СССР должна осуществляться только одним органом, Верховным Советом СССР».

Таким образом, в противоположность буржуазным государствам, в которых единоличная власть главы государства или главы правительства противопоставлена парламенту или совсем заменяет последний, Конституция СССР, наоборот, подчеркивает демократический принцип гегемонии законодательной власти, которой подотчетны и Президиум Верховного Совета СССР, и СНК СССР.

В капиталистических странах, само собою разумеется, главой государства может быть только представитель державной нации. В СССР Президиум Верховного Совета — не только коллегиальный президент, но и выразитель суверенитета народа нашего многонационального Союза. Президиум Верховного Совета возглавляется его председателем и одиннадцатью заместителями (по числу союзных республик). Это, по выражению товарища Сталина, «может лишь укрепить авторитет Президиума Верховного Совета СССР». Этим лишним раз подчеркивается равенство и братство народов СССР.

Когда-то лучшие мыслители эпохи восходящей буржуазии (Руссо) выдвигали принцип народного суверенитета. Буржуазия использовала этот принцип для того, чтобы мобилизовать вокруг себя народные массы против феодализма, отождествляя свои классовые интересы с интересами народа. Но победившая буржуазия ограничивала демократию, завоеванную усилиями народных масс. На всем пути своей самостоятельной классовой борьбы пролетариат напрягал громадные усилия, чтобы прорвать ограничительные рогатки, поставленные перед ним буржуазией, — рогатки, затруднявшие использование демократических прав. Именно поэтому в капиталистических странах пролетариат является душой народного, демократического фронта против фашизма. Фашизм издевательски отбрасывает все демократическое наследие буржуазии, утверждая террористическую диктатуру через отдельных ставленников монополистического капитала.

Лишь социалистическое государство утверждает подлинный суверенитет народа, на основе, однако, не частной собственности, а социалистической, на основе не национализма, а интернационализма, на основе действительного равенства, братства и дружества всех народов.

Наука и техника

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Е. ЛЬВОВ

1. Опыты в Чикаго, или переворот в науке мистера Шэнклайда

Ведя летопись событий на естественно-научном фронте, мы намеренно воздерживались, до известных пор, от комментариев по поводу событий, под знаком которых прошел в атомной физике 1936 год.

Надо было выждать время. Надо было дать событиям развернуться своим чередом. И этот момент наступил. Развязка совершилась. И убедительность развязки этой может состязаться только с важностью роли, которую довелось здесь сыграть советскому отряду международного естествознания.



1923 год. Заводы Генеральной электрической компании в Скенектеди (штат Нью-Йорк). Капитаны электропромышленности в той стране, где, по слову Эдисона, «электроны пахнут долларами», не жалеют денег на физические опыты, как бы далеко ни отстояли, на первый взгляд, опыты эти от повседневных производственных забот. То, что далеко сегодня, может стать близким завтра. Расходы окупятся рано или поздно!

Так именно, вся американская атомная физика после войны оказывается взятой на откуп двумя или тремя мощными электрическими концернами (Белл, Вестингауз, «Джи-И»). И так в маленькой лабораторийке, скромно

примостившейся рядом с гигантскими кубами генераторных цехов, среди доносящегося гула конвейера, доктор Артур Хемфри Комптон¹⁾ осуществляет свой опыт, проникший вглубь материи дальше, чем это удалось когда-либо со времен абдерского мудреца.



Частицы света. Комочки вещества, из которых состоят²⁾ лучи, льющиеся от автомобильных фар, солнца, светлячка, рентгеновской трубки... Доказать реальность этих частиц значило бы доказать вещественность, материальность неуловимого и неосознаемого нечто, что называется светом и позволяет нам широкими глазами глядеть на мир.

Атомы света!

Поэтически предвиденные еще два тысячелетия назад Лукрецием, предложенные Ньютоном, но отгесненны на время из науки, частицы эти облекаются впервые в плоть и кровь Альбертом Эйнштейном, — в труде, чье значение не меньше, а может быть, и больше, значения работ по теории относительности, принадлежащих перу швейцарца.

¹⁾ С 1924 года возглавляет лабораторию имени Райерсона в Чикагском университете.

²⁾ Если рассматривать только прерывную сторону материи света. Как и всякое вещество, свет должен включать в себя, наряду и в единстве с дискретностью, и непрерывную сторону, выраженную в действительности фактом существования особого рода распространяющихся в эфире волн.

Что же узнаём мы о световых зернах — о «квантах света» или «фотонах» — в этом историческом, отпраздновавшем свой тридцатилетний юбилей¹⁾, мемуаре.

Мы узнаём, прежде всего, что масса световых частиц является различной для лучей разного качества (разной — говоря о непрерывной стороне дела — длины волны). Самыми массивными, приближающимися уже по весу к обыкновенным электронам, являются кванты, входящие в состав невидимых рентгеновых лучей, а также гамма-лучей радия. Несколько меньше весят ультрафиолетовые фотоны. Наконец, частицы видимого: фиолетового, синего, голубого, зеленого, желтого, оранжевого, красного света имеют в десятки тысяч раз меньшую, по сравнению с электронной (10^{-34} грамма!), массу.

Спрашивается, что произойдет теперь, если нацелить, если бомбардировать пучком фотонов рой атомов обыкновенного вещества.

Каждый атом — республика электронов, кружащихся (наглядно говоря) вокруг ядра. Одни фотоны пройдут тогда, не задевая, сквозь атомы, сквозь вещество «навывлет». Пример — оконное стекло и луч дневного света. Другие — ударятся об электроны и смогут отскочить, как мяч, кинутый сразмаху в стену. Так отражается свет от зеркала или рассеивается при встрече с шероховатой поверхностью экрана. (Зеркальное отражение отличается от рассеяния тем, что шероховатая поверхность с ее размещенными в беспорядке атомами разбрасывает световые частицы как попало, не под одним углом).

Всё просто покамест тут. Меняется только направление. Направление светового луча после встречи с экраном. В пространстве летят те же самые фотоны, что летели до удара. Летят лишь по иному пути.

И возможность другая. Налетев на электрон, световой квант как бы «при-

липает», как бы «растворяется» в нем, прекращая существование и отдавая электрону всю свою энергию и вещество.

Так — в качестве заведомо приближенного сравнения — два брошенных в воздух снежка, столкнувшись, могут слепиться в один комок, продолжающий затем свой путь с увеличенной скоростью и массой.

И если сила удара фотона недостаточна для того, что вышибить электрон прочь из вещества, тогда налицо будет лишь факт увеличения общего запаса энергии и массы атомов.

Атомы перейдут в «возбужденное состояние». Их электроны, — те, на которых пришелся фотонный удар, — задвигаются энергичнее, быстрее. Еще отвлеченней выражаясь, электроны «поднимутся» с низшего энергетического «уровня» на высший. При этом окончательная энергия будет равна, разумеется, той, что была до «возбуждения», плюс количество энергии, принесенной световым фотоном.

И лишь в том случае, когда толчок будет настолько силен, что электрон окажется вырванным из атомной постройки, наблюдатель регистрирует новый, четвертый по счету, вариант явления. В окружающем экран пространстве будет заметен полет электронов, разлетающихся — как брызги воды от камня — из освещенного куска вещества.

В точности так! Так-называемым «фотоэлектрическим эффектом» этим много лет орудует уже, как известно, техника, пользующаяся фотоэлектронами в приборах автоматической сигнализации, в передаче изображений на расстоянии, в телевидении, в звуковом кино.

Ничего нового. Но вот еще вариант, еще одна, решающая для проверки реальности бытия фотонов, возможность, еще один, внезапно блеснувший в уме Артура Крэмптона, экспериментальный ход.

Все упомянутые картины столкновения основывались, в конце концов, на

¹⁾ Опубликован почти одновременно с теорией относительности в 1905 году в берлинских «Анналах физики».

одном из двух. Стукнувшийся об атом световой квант либо уцелел, продолжая свой полет в пространстве, либо прекращал существование полностью. Или — или. Но третий исход? Вот он. Если фотоны суть подлинные, существующие в реальности материальные частицы, — если это так, тогда частицы эти в иных случаях должны раскалываться на куски!

Пусть на арене опыта очень массивный — рентгенов или гамма — квант. Ударившись сразу об атомный электрон, квант этот имеет и впрямь все шансы треснуть. Треснуть и разломаться на две части, из которых одна наверняка вышибет электрон из атома («растаяв» при этом, как всегда, и отдав энергию и массу электрону), другая же отлетит рикошетом в сторону.

Но что такое поток обломков фотонов с меньшей против прежнего энергией и массой?

Изменение фотонной массы, как сказано, есть переход от света одного качества (одной «длины волны») к другому.

Рассеиваемый экраном свет будет отличаться, другими словами, от света падающего!

Производимые им спектральные линии не совпадут, еще иначе говоря, с линиями падающего света, но окажутся смещенными влево от них¹⁾.

Смещение это может быть предсказано без труда, если предположить, что столкновение фотона с электроном происходит примерно по тем же основным законам, по каким разыгрывается удар двух катящихся на бильярдном поле шаров.

Один, движущийся с большой скоростью, шар (световой квант) налетает на другой, покоящийся шар (электрон). В зависимости от «угла встречи» (от того, с какого края произойдет удар) шары разлетаются с разными скоростями, причем первый шар отдает часть своей начальной энергии второму.

Зная эту энергию, а также угол отката второго шара, нетрудно вычислить по формулам механики и ту энергию, которая будет приходиться после удара на долю этого шара.

Но «второй шар» — в нашем опыте — есть «обломок» фотона. Разность же между его (известной с самого начала) энергией и энергией падающего луча и даст искомое смещение спектральных линий.

Разумеется, столкновение электрона со световым квантом («раскалывающимся» вдобавок на куски!) качественно неизмеримо сложнее, нежели встреча двух бильярдных шаров.

Но гвоздь вопроса в том, что основным и решающим, лежащим в фундаменте всех производимых здесь вычислений, законом является тот великий и всеобъемлющий мировой принцип, что регулирует все без исключения взаимодействия вещества: от атома до звезды и от Млечного пути до электрона! Железный «принцип сохранения» этот гласит, как известно, что сумма масс и энергий тел после взаимодействия всегда равна такой же сумме до начала процесса. Ничего не пропадает в «никуда» и не возникает «из ничего»!

Энергия рассеянных фотонных обломков, сложенная с энергией извер-

¹⁾ В самом деле: разложить свет в спектр, это значит — говоря на языке фотонов — так рассортировать летящий в пространстве неоднородный фотонный поток, чтобы получились обособленные друг от друга лучи, состоящие из фотонов одной и той же массы.

Для видимого света подобная рассортировка получается автоматически с помощью простой стеклянной призмы. Рентгеновы же и гамма-лучи приходится пропускать через пластинки, выделенные из специально подобран-

ных кристаллических веществ. Проходя сквозь них, фотоны с разной массой отклоняются под разными углами. След, оставляемый световым лучом на фотопластинке, разбивается тогда, в свою очередь, на ряд пятен или линий, каждая из которых соответствует лучу с одной определенной фотонной массой. Расстояние между линиями пропорционально разнице между массами фотонов. Продвижение «по спектру» (от линии к линии) слева направо означает, следовательно, переход от фотонов с меньшей — к большей массе.

женных из атомов электронов, должна сходиться, другими словами, с энергией падающих лучей¹⁾).

И для проверки этого схождения нет надобности даже — как сказано — промерять в отдельности, на опыте, энергии всех участвующих в ударе частиц. Достаточно взять под наблюдение лишь фотоны рассеянного света и мерить величину их энергии при заданном угле рассеяния...²⁾

План опыта готов тогда.

Источник «массивных фотонов» — рентгенова трубка или радиоактивная пробирка, испускающая гамма-лучи. Поперек дороги узкого пучка лучей — рассеиватель: пластинка угля, слой парафина или простой бумажный лист.

По другую сторону от рассеивателя — спектральный прибор и фотопластинка, нацеливаемые, по желанию, под разными углами к направлению падающих лучей.

Под каждым углом — засёмка спектра. Что выйдет на фото? Наверняка две линии. Одна — одинаковая с линией падающего света: след фотонов, прошедших в целости, не задевая электронов, сквозь рассеиватель. Другая, смещенная немного влево — вестник фотонных обломков с меньшей против прежнего энергией и массой. Насколько меньше? Настолько, насколько далеко отстоит первая линия на фото от линии второй.

11 мая 1923 года рука Артура Комптона ложится на рубильник. Сухой треск голубых молний, и снова тишина.

¹⁾ При учете, что часть энергии падающих квантов расходуется на работу преодоления сил связи между электроном и атомом, из которого этот электрон выбивают. Беря, однако, вещества, обладающие весьма некрепко «привязанными» атомными электронами (как, например, углерод и богатые им химические соединения: парафин, бумагу, древесный уголь и т. д.), можно практически этой работой пренебречь.

²⁾ Поскольку формула зависимости энергии фотонного «обломка» от угла его отката выводится — повторяю — из формулы закона сохранения энергии для всех участвующих в данном опыте частиц.



Это был волнующий опыт. Его исход должен был разрубить одним ударом узлы, завязавшиеся сразу в двух, решающих для всего дальнейшего развития науки, точках познания мира.

Учение о фотонах, учение о свете, как о подлинном, обладающем своими собственными частицами, веществе, это, входящее ныне в железный инвентарь материалистической физики, учение балансировало еще в те годы на зыбкой почве слабых фактов.

И пункт второй. Великий мировой закон («принцип сохранения»), основа основ и боевой клич воинствующего материализма для всех времен и всех эпох, — свидетелями первой, открытой и яростной атаки физического идеализма на этот закон мы и являемся как раз в те, богатые событиями, 1923 и 1924 годы.



Размышления, опубликованные в 47-м томе (1924) «Философского магазина»¹⁾ духовным отцом махистской физики Нильсом Бором, в сотрудничестве с Ялмаром Крамерсом и Джемсом Слэйтером, — сие (сокращенно и называемое еще иногда, по инициалам его творцов, «теорией БКС») учение живописует световые явления вот в каких чертах.

Имяются атомы с вертящимися, как всегда (или, если угодно, находящимися на определенных «уровнях энергии»), электронами. Атомы и спускают в пространство или поглощают доходящий до них свет.

Не подумайте, однако, что этот свет отличается хоть чем-нибудь от тех злых и бесплотных духов — гудруфов и унзельдов, что водились так недалеко и совсем еще недавно — всего лишь пару тысяч лет назад — в окрестностях Копенгагена...

Во-первых, этот свет не имеет уже в своем составе каких-либо «грубых» ма-

¹⁾ «Philosophical Magazine» — физико-математический журнал, выходящий с времен Ньютона в Англии. Название его отражает старинную терминологию: «натуральная философия» — теоретическая физика (в нынешнем понимании).

териальных частиц типа фотонов, но изливается непрерывной и сплошной (именуемой «волною вероятности») струей.

И, во-вторых, струя эта не несет с собой никакой энергии.

Ни энергии, ни массы! Исторгнув из своих недр светового духа, атомы, как и следовало ожидать тогда, словно бы не замечают сей операции. Электроны, как ни в чем не бывало, продолжают обретаться на прежних уровнях энергии. Запас энергии атома в момент излучения не меняется!

Набредя на своем пути на какой-либо встречный атом, световой дух может быть, однако, — как уверяют Бор, Крамерс и Слэйтер, — поглощен этим атомом. Но, как и подобает бестелесному созданию, скушав светового духа, атом не претерпевает от этого опять ровно никаких неприятностей. Сколько было энергии у атомных электронов, столько и остается. Ведь «влетело»-то внутрь атома и «поглотилось» не чтонибудь, а «волна вероятности»! О дальнейших подробностях допытываться столь же бесполезно, как расспрашивать ту пресловутую сельскую жительницу, что уверяла всех о своем знакомстве с лешим: — А как выглядит леший-то? Ответ: — Одна ноздря, а тела нет!

Свет без энергии! Но миллионы и миллиарды киловатт-часов самой осязаемой, пропитанной соленым потом, работы тратятся ведь ежедневно и ежечасно на производство веселых лучей, заливающих улицы и дома городов социализма. Но «бестелесная» радиация — она ведь весит, давит, да, давит (и это было замечено нашим Лебедевым еще 40 лет назад), она работает, — работает в хлорофильных растительных зернах, в фотокамерах, в звуковых кинобудках, — она обжигает нашу кожу, она ослепляет, наконец, чорт побери, эта реальная материя и энергия света, как может убедить всякий, кому взбредет нелегкая устремить на солнце незащищенный глаз!

И что сказала бы добрая фру Бор, если бы ее супруг вздумал теоретиче-

ски обосновывать в один прекрасный день ненужность платежей по счету электрического освещения на том основании, что световые лучи не несут энергии...

?!

До этого, к счастью, дело не доходит.

Наличие в пространстве световой «волны вероятности», в самом деле, означает, по мнению наших теоретиков, лишь то, что, в то время как одни атомы (атомы «поглощающего вещества») приобретают вероятность перехода с низшего «уровня энергии» на высший, другие атомы (в «излучающем» веществе) имеют шансы, наоборот, опуститься время от времени с высшего уровня на низший.

И опускаются. Так что платить «за энергию» по счету все равно надо. И, больше того: распределение вероятностей от точки к точке пространства всегда таково, что, в среднем, в собрании большого числа атомов, количество переходов «сверху вниз» уравнивается переходами «снизу вверх». Общее количество энергии, в суммарном итоге, остается, в любой момент времени, неизменным.

Но гвоздь вопроса в том, что каждый, взятый в отдельности («сверху вниз» или «снизу вверх»), такой переход не сопровождается уже — повторяем — передачей соответственной порции энергии и массы от атома к атому.

В пространстве между атомами «ничто» не движется!

Не существует вообще причинной связи между уменьшением запаса энергии в одних («излучающих») атомах и увеличением этого запаса в «поглощающих» атомах других. Но энергия, освобождаемая в процессе перехода атома «сверху вниз», никуда в этот момент не испускается: она просто-напросто исчезает в небытии. Точно так же и энергия, приобретаемая атомом в момент его «подъема», не приходит ниоткуда и извне — она творится из ничего..

Закон сохранения, соблюдаемый еще кое-как «в среднем» и в масштабах больших чисел, для отдель-

ных атомов, приказывает, как видим, долго жить.

Опыту Комптона было суждено здесь сказать решающее и последнее слово.

Схватить на фотографическую пластинку момент удара светового кванта об атом, наблюдать разлом кванта на два куска, проследить угол, под которым продолжает свой путь в пространстве отшвырнутый от атома обломок фотона, проверить и подтвердить точный баланс энергии между частицами, участвующими в столкновении, — осуществить все это значило бы, повторяю, сделать сразу два дела.

Это значило бы доказать окончательно материальную природу света, расчистив путь для дальнейших успехов фотонной теории. Это значило бы укрепить навсегда путеводный маяк материалистического закона сохранения, направив луч этого маяка внутрь самых глубоких и самых темных недр вещества мира.

И это было сделано.

С волнением переходила из рук в руки зеленая, датированная ноябрем 1923, книжка «Физикал Ревью»¹⁾.

Ответ получен. Спектральные линии рассеянного (от пластинки графита) рентгеновского луча явственно смещены по сравнению с падающим лучом. И это (измеренное для лучей, рассеянных под углом 72° ²⁾) смещение оказывается равным 0,0170. Предсказываемая же теоретически, на основе учения о фотонах и закона сохранения, цифра — 0,0168.

0,0168 и 0,0170!

Позднейшие работы Комптона в сотрудничестве с Саймоном³⁾ ставят здесь окончательную точку над и.

Комптон и Саймон ведут наблюдение за электронами, извергаемыми, попутно с рассеянными фотонами, в мо-

мент «комптоновских» ударов об атом. Они фотографируют следы этих электронов в камере Вильсона¹⁾.

Электроны эти оказываются летящими как-раз под теми углами (к первоначальному пути светового луча) и с теми скоростями, что вычисляются из расчета сохранения энергии при разломе кванта на два куска.

Вопрос исчерпан. Абракадабра «БКС» — в мусорном ящике физики.

Понадобилось, однако, десять лет, прежде чем, руками неутомимого старьевщика — истории, обветшалые мощи поповской теории извлекаются снова на божий свет, дав предметный урок упрямой диалектики фактов тем, кто в этих уроках еще нуждался.

2. Мистер Шэнкленд на арене

Эти годы были заполнены обширной созидательной работой материалистической физики во всех уголках открывшегося перед нею нового мира. Квантовая механика атомов и электронов, атомное ядро, позитрон, искусственный радий, ураганные ливни нейтронов — в этих трудовых буднях борьбы за вещество было не до пустяков.

Охота экспериментально обосновать «несохранение энергии в микромире» отбита надолго. Унылые и глубокомысленные чревоуещания на тему о «все равно неизбежном несохраненческом характере физики будущего» служат, впрочем, невинной компенсацией за разочарования, испытанные в настоящем. Груды бумаги исписываются²⁾

¹⁾ Вильсонова камера — ящик, наполняемый перед началом опыта пересыщенными водяными (или спиртовыми) парами. Пролетая сквозь камеру, электроны и другие заряженные частицы осаждают на своем пути капельки жидкости, и траектория полета становится тогда непосредственно видимой на фотопластинке. По длине и по очертаниям вильсоновых следов можно судить о скорости и об энергии частицы.

²⁾ В том числе — как ни печально это констатировать — и в пределах Советского Союза, где долгое время орудовала (разоблаченная и разоруженная в настоящее время) группа дипломированных лакеев западноевропейской теоретико-физической поповщины. См. об этом подробно в нашей статье: «На фронте физики». «Новый мир», кн. 5. 1936.

¹⁾ Издаваемый в Америке физический журнал.

²⁾ При массе падающих фотонов, соответствующей 71 десятиллиардной сантиметра длины волны.

³⁾ A. H. Compton and A. W. Simon. Measurements of β -rays, associated with Scattered γ -rays. «Physical Review». 25. 309. 1925.

и литры чернил расходуются на сию тему, но ни «физика будущего» ни закон сохранения, как и следовало ожидать, не претерпевают от этой деятельности ни малейшего повреждения.

Усиленная мышьяная возня возобновляется, как помнит читатель¹⁾, в связи с опытами в области так называемой бета-радиоактивности (1933). Неувязка, вскрывшаяся по ходу подсчета энергии, несомой ядерными («бета») электронами, и той валовой энергии, что освобождается в процессе испускания бета-электронов атомным ядром, — затруднения эти приводят в ажитацию всю примолкнувшую было реакционную клику в «физике».

Но и эта карта вскоре бита!

Блестящие, подробно излагавшиеся нами своевременно на страницах «Нового мира», работы Энрико Ферми (1935) распутывают весь вопрос с бета-излучением, утвердив полную применимость закона сохранения и к этому интимнейшему из процессов, разыгрывающихся в микроподпольи вещества.

Проходит еще несколько месяцев.

Затишье, явно обозначившееся в атомной физике, признается, повидимому, подходящим моментом для возобновления атаки, отбитой уже столько раз.

И 1 января 1936 года, развернув зеленую обложку все того же «Физикал Ревью», изумленное человечество несколько раз протирает глаза, прежде чем окончательно убедиться, что перед ним статья, деловито извещающая об эксперименте, «отменяющем» учение о частицах света и «ликвидирующем» закон сохранения энергии в микромире.

«Явная несостоятельность фотонной теории рассеяния» («An Apparent Failure of the Photon Theory of Scattering») — так, без обиняков, озаглавлена сия статья²⁾.

Сенсация! Но кто же ее герой? Кто сей юный муж, вознамерившийся учи-

нить в физике нечто схожее с тем, что схлопотал небезызвестный Герострат с храмом Дианы в Эфесе?

Корреспондент Ассошиэйтед Пресс в телеграмме из Чикаго подтвердил: человек молодой, росту повыше среднего, член Сигма-Кси¹⁾ и капитан бейзбольной команды Джон-Гопкинс-университета в Балтиморе. Что еще? Ах да, работает на должности «эламини»²⁾ в Комптоновской лаборатории в Чикаго и, в этом качестве, обратился к шефу с предложением повторить его знаменитый опыт. — Ну и что же ответил шеф? — Ответил, что желает всяческого успеха. — Еще вопрос: верите ли вы теперь в световые кванты, сэр? — Не больше, чем в чудовище из Локхид-Грина. — Уверены ли вы отныне, что энергия атомов не сохраняется? — Так же точно, как в том, что вижу вас перед собою, сэр!

Такое или приблизительно такое интервью было дано мистером Робертом С. Шэнклендом, членом Сигма-Кси, капитаном бейзбольной команды и прочее в Балтиморе, в те обнадеживающие дни, когда еще не успела просохнуть типографская краска под знакомой зеленой обложкой.

Заглянем же туда.

Прибор, сооруженный мистером Робертом С. Шэнклендом, мог быть назван, и впрямь, весьма богатым и даже буквально сработанным «золотыми руками» прибором.

На его построение пошло почти полтора килограмма чистого золота, — золота, добродотливо пожертвованного меценатами на благое (то-бишь на сокрушающее зловерный материализм) экспериментальное дело.

Вот схема установки Шэнкленда.

Слева — источник первоначальной радиации: ампулка с «радием С», испускающая гамма-лучи. Пропущенный через узкий коридор (просверленный в большой свинцовой болванке³⁾, гамма-пу-

¹⁾ Одна из университетских академических корпораций в США.

²⁾ Нечто вроде наших аспирантов.

³⁾ Свинцовый коридор нужен для защиты от попадания посторонней гамма-радиации, всегда блуждающей в атмосфере.

¹⁾ См. статью «Перпетуум мобиле» — последнее слово буржуазной физики». «Новый мир», кн. 5, 1934 г.

²⁾ R. S. Shankland. «Physical Review». Jan. 1. 1936. Стр. 8.

чок попадает, как всегда, на рассеиватель — парафиновый, алюминиевый или просто бумажный лист. Дальше — два прибора («счетчики Гейгера-Мюллера»), чье назначение ловить разбрасываемые из рассеивателя «комптоновские» электроны и сопутствующие им рассеянные гамма-лучи.

Сверх-увствительные инструменты эти откликаются, как известно (давая отклонение стрелки гальванометра), на попадание одного электрона или одного кванта, залетевшего внутрь них¹⁾.

Регистратор фотонов у Шенкланда — в частности — комбинация из пяти штук счетчиков, снабженных золотыми²⁾ стенками и расположенных гуском один за другим³⁾.

Располагая под нужным углом обе счетные системы, наблюдатель и может проследить полет каждой пары частиц, разбрасываемых при каждом «комптоновском» фотонном ударе.

Но позволительно спросить — зачем сие? Разве, тринадцать лет назад, движение обломков фотонов — их энергия и угол их полета — не были промерены уже один раз на спектральных фотографиях Комптона? И разве в осуществленных еще спустя два года (совместно с Саймоном) блестящих опытах чикагда та же операция не была исчерпывающе проведена для электронов, откатывающихся при ударе?

И стоило ли тратить вновь полтора килограмма золота, когда все достигнутые ранее результаты оказались идеально соответствующими модели фотонов и

лежащему в ее фундаменте великому природному закону?!

Наивный вопрос. Он сбрасывает со счетов логику классовой борьбы идей, довлеющую над попранием атомов и электронов не меньше, чем над полями социальных битв.

Был бы экспериментатор, а тема для эксперимента найдется! И эта тема нашлась. Вот она. Две частицы — обломок фотона и электрон — разлетаются, мы знаем, в результате «комптоновского» удара об атом. И если это верно, тогда каждое появление рассеянного фотонного обломка в пространстве должно сопровождаться одновременным обнаружением одного «комптоновского» электрона. Моменты вылета обеих частиц должны совпадать.

Азбучная, ясная, сама собой подразумевающаяся деталь!

Занимались ли, однако, специальной проверкой этой детали этой, исследовали ли одновременность вылета фотонно-электронных пар Комpton и Саймон в классических экспериментах 1923 и 1925 годов?

Нет, конечно, и в первую очередь потому, что были они заняты гораздо более важными и принципиально решающими звеньями опыта. Углы отлета частиц и баланс несомой ими энергии — вот эта сторона эффекта интересовала Комптона. И исследование этой стороны единственно необходимо, как известно, и вполне достаточно для проверки фотонной модели явления.

Это первое. И, во-вторых, сама методика проверки одновременности в эффекте Комптона, — сама техника подобного эксперимента есть явно малоблагодарное занятие, открывающее доступ спекуляциям самого двусмысленного рода.

Откликаясь единообразно на попадания любых¹⁾ частиц, счетчики Гейгера, в отличие от камеры Вильсона, не дают ни малейшего представления ни об энергии, ни о

¹⁾ Сущность устройства прибора Гейгера заключается в том, что электрон или другая частица, влетев внутрь счетчика, дробит («ионизирует») на своем пути газовые молекулы воздуха. Это делает воздух внутри счетчика электропроводным, создавая моментальный электрический разряд между двумя полюсами, поддерживаемыми постоянно под большим напряжением.

²⁾ Почему именно золотыми — смотри ниже.

³⁾ Это дает возможность автоматически выделять кванты, движущиеся в одном определенном направлении (вдоль прямой, соединяющей центры счетчиков). Летящие в этом направлении фотоны дают, очевидно, одновременный сигнал сразу во всех пяти счетчиках.

¹⁾ Производящих достаточную ионизацию воздуха во внутреннем пространстве счетчика.

траектории, ни о качестве регистрируемых ими корпускул.

Что это значит? Это значит, что великое множество «чужих» электронов и фотонов, неизбежно шныряющих по всем направлениям на территории опыта, будут случайно попадать незваными гостями в обе системы счетчиков, сбивая и путая счет комптоновских частиц!

Мы не говорим уже о радиоактивных электронах и фотонах воздуха, а также о производимых космическими лучами «ливнях» быстрых и могучих частиц. Можно пытаться (как это, худо или хорошо, делает Шэнклэнд) защититься от них с помощью толстых свинцовых плит.

Этого мало.

Двигаясь по дороге от рассеивателя к счетчику, сами комптоновские частицы выбивают из встречных атомов электроны. Сами фотонные обломки разламываются («вторичным рассеянием») при ударе о стенки приборов. Распадаясь и отклоняясь в сторону, большая часть рассеянных комптоновских фотонов вовсе не дойдет тогда до цели, породив, в то же время, хаос вторичных, беспорядочно разбрасываемых и случайно вторгающихся в счетчики частиц.

Не угодно ли разобраться в этой каше!

И тогда неудивительно, что первые же опыты с электронно-фотонными счетчиками, предпринятые в 1925 году их изобретателем Гейгером (совместно с Ботэ), привели к следующему результату.

Располагая свои корпускулярные капканы с двух сторон от рассеивателя (освещавшегося узким пучком рентгеновских лучей), Гейгер и Ботэ могли констатировать — на протяжении одной минуты — 400 попаданий в одном счетчике и... 2 в другом. На каждые 2000 сигналов приходилось при этом, в среднем, только два совпадающих по времени в обоих счетчиках. Отнести это единственное совпадение на счет комптоновских электронов и фотонов или же приписать его случайному сочетанию залетных частиц — ответ на этот во-

прос, разумеется, «его же ты, господи, веши».

Что же нового смог предложить и изобрести на этом поприще мистер Роберт С. Шэнклэнд?

Самые тяжелые (с наивысшим зарядом атомного ядра) металлы суть, как известно и наиболее крепкие в отношении электронного сцепления вещества. Для выбивания электронов из атомов тяжелых веществ недостаточны уже, как правило, масса и энергия «половинки» светового (даже рентгенова или гамма) кванта. Вот почему комптоновский эффект почти не наблюдается у тяжелых металлов.

Построив из них счетный прибор, можно рассчитывать, в итоге, свести до минимума вторичное рассеяние комптоновских фотонов, повысив точность работы счетчиков.

Самые тяжелые, добываемые в промышленных количествах, вещества — свинец и золото. Простой свинец отвергается Шэнклэндом. В нем могут быть радиоактивные примеси — подалеже от свинца! (Мы еще увидим, как успешно поработал этот старый свинец в искусных руках советских физиков).

Футляры счетчиков Шэнклэнда — из чистого золота.

Счет попаданий начал. Результат яков. Совпадений в обеих счетных системах — происходят. Но количества этих совпадений в минуту менее всего следуют предсказаниям фотонной модели Комптона! При угле в 30° (между осью электронного счетчика и направлением падающего гамма-луча) ожидается, для примера, 80 совпадений в минуту. Фактически их наблюдается 12. При угле в 60° — 95. Фактически — 15. И наконец: помещая обе системы счетчиков по одну сторону от направления падающего луча, — опять 16 совпадений.

Совершенно невероятный результат! Ибо видал ли кто-нибудь, чтобы один бильярдный шар, ударившись о другой, покатился вместе с ним по одну и ту же сторону от начальной линии прицела. Нет и не может быть такого положения. И тогда — долой фотоны! Долой управляющий ими закон сохранения

энергии и вещества! Не существует никаких столкновений между электронами и квантами. Не существует вообще никакой передачи энергии от источника лучей к рассеивателю и от рассеивателя к счетчику. Но всё разгрызается по нотам «БКС». В одном атоме выделяется энергия, в другом поглощается. Выделяется неизвестно куда и поглощается неизвестно откуда. Когда счетчик дает сигнал, не подумайте, что туда залетел фотон. Просто «выделилась энергия». И когда встретите вблизи рассеивателя шальной электрон, не спрашивайте, откуда он взялся. Всё мечется без связи, без пути и без дороги, как выпущенный на улицу гурт слепых щенков. Ведь если б было — повторяем — иначе, тогда сигналы в обоих счетчиках следовали бы предсказываемому фотонной теорией закону. А они не следуют. И даже, когда предсказания теории говорят: нуль, показания аппаратуры вежливо отвечают: шестнадцать! Вот это называется здорово посмеяться над бодрячками, верующими еще в эти, как их там называют, фотоны!

Друзья, вы жалуетесь на то, что разные вторичные эффекты уменьшают, скрадывают наблюдаемые совпадения в счетчиках. Ну, так пожалуйте. Мы удовлетворяем вас с избытком. Шестнадцать совпадений налицо! Жаль только, что совпадения эти обязаны, целиком, игре случайностей и имеют такое же отношение к столкновению квантов, как и к шишке на носу алжирского бая...

Всё в порядке. Удар неплох. Бейзбольная команда может быть довольна своим капитаном. И даже Дирак, замечательный и слабый Дирак, вечно колеблющийся между «кембриджским» полнокровием идей и «копенгагенской» теоретической бледной немочью, — даже Дирак вносит сюда свою — охотно взятую бы им сейчас обратно! — хвалебную дань.

«Участствует ли сохранение энергии в атомных процессах?» («Does Conservation of Energy Hold in Atomic Processes?») — вопрос поставлен, как видим, ребром. Поставлен

в заглавии статьи, напечатанной по самым свежим (что бы подождать немного!) следам, 22 февраля 1936 г. на страницах «Nature». И вот ответ:

«... Ситуация изменилась благодаря недавним работам Р. Шэнклэнда. Шэнклэндовские опыты сделаны со всею тою максимальной степенью точности, которая стала возможной после 10 лет прогресса в технике эксперимента. И результаты этих опытов не подтверждают того, что было получено прежними экспериментаторами.

«Результаты эти находятся в противоречии с сохранением энергии... Этим самым физика ныне стоит перед перспективой разительного изменения своего фундамента (drastic change in its fundamentals), а именно перед перспективой крушения всех тех своих принципов, которые существенно связаны с сохранением энергии...».

А «наши» отечественные «герои» перпетуум-мобиле, наши авторы поповско-физических статей, кисло-сладких книжечек и откровенно двурушнических деклараций «для печати»? Нежданная, негаданная подмога, пришедшая из-за океана, — такое ведь случается не каждый день, такое надо комментировать с чувством, с толком, с... перестраховской.

«... Есть три возможности. 1) Можно думать, что фотонная теория абсолютно неверна... 2. Можно думать, что фотонная теория правильна... но постепенно становится неприменимой, когда... мы переходим к свету с уменьшающейся длиной волны... 3. Можно думать, что опыты Шэнклэнда неверны...»¹⁾.

Да, появившись назавтра (до этого дело не дошло, но дойти может) в каком-нибудь «Review» статья на тему: «Явная несостоятельность теории несуществования чорта», они и тут, пожалуй, написали б:

— Есть три возможности. 1. Можно думать, что чорт существует. 2. Можно

¹⁾ М. Бронштейн. «Новости физики». «Известия ЦИК», 12 мая 1936 года.

думать, что чорт не существует. 3. Можно думать, что чорт существует, но без хвоста и рогов...

Хватит! Basta così. Бег событий прихлопнул всё это тяжелой крышкой скорее, чем можно было ожидать.

3. Величие и падение Роберта С. Шэнкленда

Первый отпор агрессии физического идеализма (агрессии тем более опасной, что впервые прибегает она к оружию эксперимента, сознательно и целеустремленно направленного на извращение и фальсификацию реальной картины мира), — первый отпор был дан здесь советской наукой, с гордостью и удовлетворением можем мы об этом сообщить!

Исторический опыт, законченный 15 марта 1936 года тт. А. И. Алихановым, А. И. Алиханяном и Л. А. Арцимовичем (из Физико-технического института в Ленинграде), демонстрирует наглядно, что отставание советской физики находится на пути к серьезному и решительному преодолению.

Экспериментальная группа тов. Алиханова, работавшая все эти годы с возрастающим успехом в авангардной области искусственной радиоактивности и позитронных лучей, может рассматриваться ныне, как одна из ведущих в международной физике. Имена Алиханова и его товарищей цитируются европейской наукой и стоят в одном ряду с именами Блэкетта, Чэдвика, Ферми, Жолио. Тем недопустимее почти полная неизвестность¹⁾ работ наших ленинградских товарищей в широких массах советских образованных людей. Признаком печального пренебрежения к тому ответственнойшему участку советской культуры, где выковывается научное мировоззрение победившего класса! И поучительное нота-бене для неко-

торых руководителей наших книгоиздательств, журналов, газет.

Зарождаясь и вылетая из недр распадающихся атомных ядер (почти исключительно из ядер трех искусственных элементов: радиофосфора, радиокремния и радиоазота), редкие и до 1933 года вовсе не известные частицы материи, называемые позитронами, ведут странное и удивительное существование:

Обладая массой и положительным зарядом, равным отрицательному заряду и массе электрона, частицы эти должны притягиваться к электронам, и это притяжение наступит еще раньше, чем стрелка хронометра отобьет секундный удар.

Оболочка всех атомов на Земле составлена из электронов. Все вещи, все предметы, окружающие нас, и сами мы кишим электронами, как муравейник муравьями. Вот почему, покинув извергнувший их очаг радиоактивного взрыва, позитроны неизбежно напарываются, спустя немного мгновений, на встречный электрон, и — например, в воде — срок их свободного полета не превосходит десяти миллионной доли секунды.

Но что произойдет в результате притяжения позитрона к электрону? Наименьший существующий в природе положительный заряд, наложившись на равный ему мельчайший заряд отрицательный, — по правилу «плюса и минуса» — даст в сумме нуль.

Нуль заряда! Полное — другими словами — изменение качества материи, превращение её из обычного вида в состояние, никак не связанное с электрическим зарядом.

И если вспомнить, что именно таким, построенным из незаряженных частиц, веществом является свет, то налицо возможность явления, предвиденного Исааком Ньютоном в пророческих, написанных более двухсот лет назад, словах:

«Природа любит превращения. Среди разнообразных и многочисленных преоб-

¹⁾ Изложение ряда опытов А. И. Алиханова приведено в нашем «Научном обозрении» («Новый мир», кн. 9, 1936).

разований, которые она делает, почему бы ей не превращать тела в свет и свет в тела».

Две частицы обычной материи: электрон и позитрон, налетев друг на друга и уничтожившись, должны дать начало частицам света. И этих частиц будет тоже две (с массой и энергией, равной полусумме масс и энергий уничтожившихся электрона и позитрона). И они полетят в прямо-противоположные стороны!

Почему, однако, две? Почему не один фотон с массой, равной суммарной электронно-позитронной массе? И почему обязательно в противоположные (а не в любые) стороны? Решающей теоретико-познавательной важности вопрос.

Ибо второй, после принципа сохранения, всеобщий мировой закон, касающийся специально прерывистой стороны бытия материи, — этот, управляющий всеми и всяческими частицами, закон утверждает следующее:

Какие бы взаимодействия и превращения ни происходили между корпускулами вещества, — сумма произведений их масс на скорости должна оставаться неизменной.

Но сумма произведений масс на скорость электрона и позитрона в момент их уничтожения равна нулю. Нулю должна равняться, в таком случае, и та же сумма для — образовавшегося на месте электрона и позитрона — света.

Один световой фотон, однако, никогда не может дать нуль в результате перемножения его массы на скорость (ведь и масса фотона, и его скорость, равная 300.000 километров в секунду, суть величины вполне определенные, нулю не равные). Два же фотона (одной и той же массы), двигающиеся в диаметрально-противоположных направлениях, как-раз дадут требуемый (для суммы произведений массы на скорость) нуль¹).

¹) В самом деле, обозначая массу фотонов через m и скорости их через v_1 и v_2 , получаем $mv_1 + mv_2 = m(v_1 + v_2)$. Это произведение будет равняться нулю, если $v_1 + v_2 = 0$. Но v_1

Происходит ли что-нибудь подобное в природе?

Образование света в пространстве, где движутся позитроны, есть факт, неоднократно наблюдавшийся с 1933 года рядом исследователей и в том числе А. И. Алихановым в Ленинграде.

И больше того: этот свет (принадлежащий к типу невидимых лучей гамма) оказывался каждый раз обладающим в точности той энергией, которая должна получиться при полном уничтожении электронно-позитронных пар.

Но направление и распределение лучей в пространстве? Как обстоит дело тут? Если бы удалось доказать, что образующийся на месте каждой электронно-позитронной встречи гамма-свет распространяется не как попало, а изливается двумя узкими струйками — под углом 180° — вдоль одной прямой, если бы, вдобавок, можно было установить, что общее количество испущенных фотонов в два раза больше числа уничтожившихся позитронов, —

если бы удалось добиться всего этого, задача была бы решена!

Самое прямое, глубокое и безоговорочное из всех возможных доказательств реальности фотонов было бы под руками науки.

15 марта 1936 года в городе, начавшем пролетарскую революцию, в здании, построенном революцией¹), усилиями людей, воспитанных и вдохновленных ею, физика делает этот конечный шаг к цели.

...Источник позитронов — пластинка алюминия, обстрелянная предварительно радиоактивными альфа-лучами. Под влиянием альфа-бомбардировки часть алюминия превращается в новый эле-

и v_2 по абсолютной величине равны друг другу, так как все без исключения фотоны движутся с одной и той же «скоростью света»: 300.000 км/сек. Две же равные (по абсолютному значению) скорости дают в сумме нуль только в том случае, если они направлены в противоположные стороны.

¹) Физико-технический институт под Ленинградом в Лесном.

мент—«радиофосфор»¹⁾, существующий, в свою очередь, лишь несколько часов и превращающийся в кремний. Атомные ядра радиофосфора, распадаясь, выбрасывают позитроны. 100.000 штук позитронов в минуту — продукция позитронной пушки, установленной в мартовские дни 1936 г. на лабораторном столе в Лесном. По обе стороны от нее— на равном ($3\frac{1}{2}$ -сантиметровом) расстоянии — по счетчику. Точнее, по два счетчика, спаренных, как всегда, для наиболее точного выделения корпускул, летящих в одном направлении в пространстве.

Стенки приборов — из свинца, опробованного предварительно на отсутствие радиоактивных примесей.

Сто тысяч позитронов рождается — говорим мы — и тут же «умирает» в минуту. Двести тысяч световых квантов возникает — если правильна фотонная теория, — и все они летят попарно в диаметрально противоположные стороны. Около одной восемнадцатой из этого числа будет двигаться через поперечное сечение приборов. И, делая поправку на неизбежное рассеяние и поглощение в воздухе и стенках, следует ждать около 12 прямых попаданий каждые три минуты. Двенадцать испущенных с места позитронной гибели гамма-частиц, прорвавшись через все преграды, наверняка ударят «в лоб» счетчиков.

Шесть ударов с одной стороны, и — в те же мгновения — шесть ударов с другой!

Десятки и сотни вторичных (разбрасываемых, мимоходом, при поглощении и рассеянии первичных квантов) электронов и фотонов, а также «ливни» космических лучей — осложняют, конечно, эту картину.

Но возможность случайного совпадения, шансы случайной одновременности попаданий в обе стороны сразу ограничиваются, как показал тщательный алихановский подсчет, одним, самое большее

двумя ударами в течение трех минут.

2 или 6? Случайный хаос сигналов или закономерное движение фотонов, летящих по два вдоль одной прямой?

Опытный результат: 5,7!

Датированная 25 апреля белая тетрадка «Нэйчур»¹⁾, покинув издательскую экспедицию Мак-Миллана (Лондон. Сэнт-Мартин Сквэр. W. S. 2.), пересекает, как всегда, океан и добирается до некоей знакомой уже нам лаборатории. Её ждут там. Чтобы узнать, что матч проигран. Чемпион out side.

4 Мистер Шэнклэнд пьет чашу до дна:

Историческая тяжба закончена. Фотоны существуют. Закон сохранения—тоже. Советский опыт сказал: да.

Но полтора килограмма золота? Неужто «пропали они зря! Но показания счетчиков в Чикаго? Но шестнадцать совпадений по одну сторону от линии падающего луча?

Золотые стенки — сказали мы — увеличивают эффективность работы счетчиков. Великолепно. Но как быть с вопросом об однородности падающего гамма-лучка?

Кардинальнейшее обстоятельство это понято и учтено, как следует, экспериментаторами лишь в последние, потребоженные шэнклэндовской шумихой, дни. Неоднородные лучи — это лучи, состоящие из фотонов разной массы. Разница в массе вызывает разницу в углах отката комптоновских частиц.

Ничтожное расхождение в массе сказывается, при этом, весьма крупным смещением пути частиц.

¹⁾ «Nature» — распространенный естественно-научный журнал, издаваемый в Англии. Здесь печатаются первые коммюнике о научных работах крупнейшего значения. Здесь же, в т. 137, стр. 703 (25 апреля 1936), публикуется и краткое сообщение Алиханова, Алиханяна и Арцимовича. Основной материал исторического опыта трех советских физиков напечатан одновременно в «Докладах» Академии наук СССР (№ 7, 1935. Стр. 275).

¹⁾ Впервые приготовлен супругами Жолио в январе 1934 г. См. об этом в «Научном обозрении». «Новый мир», кн. 6, 1934.

Что сие значит? Это значит, что, имея с самого начала заведомо неоднородный гамма-пучок, мы не должны особенно рассчитывать на обычные (состоящие в просеивании гамма-лучей через кристалл) средства фильтровки. Мало-мальски толстый (что неизбежно на практике) гамма-пучок всегда даст ощутимое расхождение в фотонной массе.

Ампулка с «радием С», взятая в качестве гамма-источника Шэнклэндом, испускает, в частности, не больше, не меньше, как 14 (четырнацать!) сортов фотонов разной энергии и массы. Об этом плохо подумал мистер Роберт С. Шэнклэнд!

Размещая счетчики под определенными (предсказываемыми теорией) углами, наблюдатель не может уже в этих условиях ожидать, что в се рассеиваемые комптоновские частицы полетят под требуемыми углами. Это было бы так, если б весь первичный пучок состоял из фотонов одной и той же положенной в основу вычислений массы. Но фотоны с этой массой составляют — как сказано — лишь ничтожную часть потока. Столь же ничтожным должно оказаться и число совпадений (одновременных ударов) в счетчиках!

Туман, нависший над чикагскими экспериментальными мистериями, как видим, рассеивается!

Ловя мячи (виноват, корпускулы!) и наблюдая совпадение в расположенных по одну сторону от линии падения счетчиках, наш капитан может уже не торжествовать более. В этой мутной воде, наполненной движущимися под разными углами и с разными энергиями корпускулами, можно выуживать, и впрямь, «явную несостоятельность» любого физического закона. *A bon entendeur salut!* Это относится и к вам, профессор Дирак, хоть извиняющим обстоятельством для Вас, бесспорно, является экспериментаторская невинность Ва-ша — факт не радующий, но понятный в условиях чрезмерной специализации, характерной для современной физики.

В июне 1936 года И. Якобсен из Копенгагена¹⁾ устраняет, в блестящем опыте, основной источник систематической ошибки Шэнклэнда.

Десять миллиграммов радиотория, элемента, отличающегося полной однородностью испускаемых им гамма-лучей, заменяют в приборе Якобсена радий С.

Все остальные — на местах. Парафинный рассеиватель, два счетчика, и — смелый и решительный, отлично примененный датчанином, экспериментальный маневр.

Якобсен отрезает, временно, электронный счетчик свинцовой заслонкой от частиц, летящих со стороны рассеивателя. (Фотонный же регистратор попрежнему обстреливается ими). Он помещает, далее, внутрь электронного счетчика крупинку радия. Он подставляет, иными словами, этот счетчик под град без счета сыплющихся радиевых частиц. И сравнивает показания счетчиков.

Никакой зависимости между показаниями нет теперь. Фотоны (комптоновские) и радиевы электроны несутся порознь. Нет связи между их источниками. Совпадения моментов удара происходят случайно, и только так. Фактор случайности может быть выделен, обнажен, подсчитан!

Два случайных совпадения в час — таков баланс.

Заслонка снимается засим, радий удаляется, комптоновским электронам опять свободен доступ к мишени. И вот уже не два, а семь совпадений в час. Семь против двух!

Семь комптоновских, закономерных, наносимых вровень, миг в миг, ударов, исходящих от движущихся по всем правилам фотонной механики частиц.

Кисло-сладкая реплика Нильса Бора²⁾:

«...Сущность вопроса (поставленного

¹⁾ J. Jacobsen. Correlation between Scattering and Recoil in the Compton-Effect, «Nature». July 4. 1936. Стр. 25.

²⁾ N. Bohr. Conservation Law in Quantum Theory. «Nature». July 4. 1936. Стр. 25.

опытами Якобсена. — В. Л.) может быть высказана так, что каждая попытка последовательного применения пространственно-временной расстановки влечет отказ от точного соблюдения закона сохранения энергии... и, наоборот, каждое точное применение закона сохранения влечет отказ от пространственно-временной расстановки», —

реверанс чародея, разоблаченного безжалостно улыбающимся тут же на подмостках ассистентом¹⁾).

Закон сохранения отныне «дипломатически» признан в Копенгагене, товарищи! Нет возражений против «точного применения закона сохранения». Пусть живет сей закон, однако лишь... вне пространства и времени!

Но — troppo tarde, santo padre! — «слишком поздно, святой отец», — как говаривали в 70-м году итальянские патриоты в ответ на папские сладкоречивые посулы.

Развернувшая, руками трех советских людей, боевое знамя воинствующего материализма атомная физика благодарит Вас покорно, профессор Бор, но она уже располагает на сегодняшний день, эта физика, и законом сохранения, и описанием микро-событий в пространстве и во времени, достигнутым в полной нераздельности с великим мировым законом.

Если мало мартовского опыта Алиханова, Алиханяна, Арцимовича, если недостаточна и юльская работа Якобсена — вот сентябрьский (1936) эксперимент. Последний и сокрушительный удар материалистической физики по разваливающейся несохраненческой хранине.



Вильсонова камера, наполненная (место воздуха) аргоном²⁾). Пучок рентгеновых, движущихся наперекрест сквозь камеру, лучей. В течение не-

¹⁾ Якобсен — лаборант Института теоретической физики в Копенгагене, возглавляемого Бором.

²⁾ Аргон — газ, обладающий наиболее густо усеянной электронами периферией атома.

скольких часов щелкают затворами манчестерский профессор Эдвин Дж и Вильямс и Эдди Пикап¹⁾), молодой его собрат, фотографируя всё, что творится в камере.

350 снимков получено, и на каждом из них по десятку типичных, отчетливо видимых следов. Точнее говоря, две картины следов:

Как охотник, идя по следу, узнает повадку зверя, так восстанавливает физик — в очертаниях вильсоновских штрихов и черточек — события, разыгрывающиеся незримо в атомных глубинах мира.

И вот расшифровка картины первой. Налетев на аргоновый атом, фотон раскалывается, как всегда, на две части, но обилие электронов в атомной оболочке аргона приводит на сей раз не к комптонову, а к совсем иному эффекту.

Отскочив после удара (о какой-либо электрон внутри атома), фотонный обломок не вылетает наружу, а наверняка увязает в электронной гуще аргоновых атомов! Вернее всего, он напарывается сразу же на ближайший внутриатомный электрон и, вышибив его, прекращает существование, не выходя из атома.

Вместо двух комптоновских частиц: электрона и остаточного (рассеянного) кванта, налично теперь два электрона. Между ними делится энергия и масса рентгенова фотона. И, прорезая вильсоновский водяной туман, оба электрона и запечатлевают на фотопластинке два, исходящие «вилкой» из одной точки, следа. Один длиннее, другой короче²⁾).

Их сидит здесь целых восемь штук, что увеличивает вероятность выбивания электронов квантами. Кроме аргона, внутренность камеры наполнена, как всегда, водяными или спиртовыми парами. Последние, оседая вдоль пути заряженных частиц, служат «проявителем» движения корпускул на фото.

¹⁾ E. J. Williams and E. Pickup. Conservation of Energy in Radiation Processes. «Nature». 12 сент. 1936. Стр. 461.

²⁾ В зависимости от распределения энергии. Чем больше энергия (и скорость) летящего в газе электрона, тем больший путь проходит он, прежде чем остановиться, завязнув в толпе молекул.

И картина в т о р а я. Энергия и масса фотонного обломка не всегда достаточна, чтоб выбить из атакованного атома еще один электрон. Обломок просто погл о щ а е т с я тогда, просто отдаст свою массу одному из атомных электронов, подняв его на высший уровень энергии и «возбудив» атом.

«Возбужденный» (возобладавший избыточной против устойчивого равновесия энергией) атом спустя короткий срок неминуемо возвращается, однако, к норме¹⁾. «Поднятый» электрон «опускается» на уровень исходный. Избыток же энергии и вещества, отпочковавшись, как всегда, от атома, несется в виде светового кванта той же массы, какую обладал в момент поглощения первоначальный фотон²⁾.

Стукнувшись своим чередом о какой-либо из встречных атомов, он выбивает из него «фото-электрон»³⁾.

На пластинке — опять комбинация двух, но разобренных теперь уже друг от друга, следов электронов. И расстояние между этими следами есть то, на какое успела отлететь изверженная из возбужденного атома частица света.

Обе картины — расшифрованы. И, вместе с ними, налицо изумляющая возможность проследивать прямо на-глаз пути и превращения фотонов, утверждая их реальность с достоверностью не меньшей, чем реальность тех пластинок и той ка-

¹⁾ Для этого достаточно малейшего толчка от соседнего атома. Расчет показывает, что в тех условиях беспрестанных ударов, которыми награждают друг друга, по ходу беспорядочных тепловых колебаний, частицы газа — срок пребывания атома в возбужденном состоянии при нормальном давлении и температуре не может превышать десятиллионной (10⁻⁷) доли секунды.

²⁾ Подобный, излученный в результате предварительного возбуждения атома, свет называется светом флуоресценции.

³⁾ Периферические электроны в атомной оболочке прикреплены к своим местам слабее, чем внутренние. (Чем ближе к ядру, тем сильнее электрическое притяжение). Поэтому квант, не способный выбить в внутренний электрон при движении сквозь атомную оболочку изнутри, может легко произвестись это же самое при налете на атом снаружи,

меры, с помощью которой ведется эксперимент.

Факт расщепления кванта и факт одновременности (слушайте, мистер Шэнклэнд, слушайте!) выделения обеих фотонных частей — в самом деле — дается непосредственно внешним видом «вилок», характерных для «первой картины».

Если промерить, далее, протяжение зубьев каждой «вилки» и сосчитать сумму соответствующих энергий, сверив ее с энергией исходного рентгенова луча, — итог получается всегда один. С полной, находящейся в пределах погрешности эксперимента, точностью — баланс энергий сходится на всех трехстах пятидесяти снимках Вильямса Пикапа!

А как быть с отпечатками второй картины? Мы имеем тут один основной след электрона и — поодаль от него — второй, короткий фото-электронный «трэк»¹⁾. Длина последнего опять-таки всегда и неизменно отвечает, на всех снимках, разности между исходной энергией рентгенова пучка и энергией основного трэка. Попробуйте-ка отрицать тогда связь между всеми тремя величинами, участвующими в картине этой! Попробуйте отрицать передачу энергии между тремя точками: между рентгеновой трубкой и атомами в вершинах большого и малого трэков?! Попробуйте игнорировать передачу связанной с этой энергией массы в виде зерен: фотонов, квантов — назовите как угодно эти комочки самого реального, весомого, вечно клокочущего движеньем, вещества...

Попробуйте! Не выйдет ничего.

Зима 1936—1937, месяцы раскатов грома на берегах Мансанарес и у Касадель Кампо, — месяцы и крупнейшей из битв, выигранной наукой рабочего класса и ее союзниками на центральном и решающем участке идеологического фронта в физике.

Не в первый уже раз сошлись в упорной схватке две не при м и р и м о-

¹⁾ «Трэк» (track — «дорожка») — общепринятое название следов, оставляемых в вильсоновой камере заряженными частицами.

враждебные, столетиями стоявшие друг против друга, силы. Физический материализм и идеализм. Но в первый раз схватка эта разыгралась не столько на абстрактных вершинах теории, сколько на лабораторных столах конкретного, целеустремленно задуманного, мобилизовавшего все ухищрения сверх-прецизионной техники, эксперимента.

И наша взяла!

Под боевым знаменем воинствующего материализма, под великим и непобедимым знаменем Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, штурмовые колонны науки пролетариата пойдут дальше вширь и вглубь вещества.

6. Сквозь озоновый пояс!

Научный проект непревзойденной смелости поставлен сейчас на обсуждение одним из ленинградских астрономов. Советская наука готовится к осуществлению предприятия, могущего сравниться, по своим масштабам, лишь с выходом человека в межпланетное пространство или с жюльверновскими планами перемещения земной оси.

Реальность и практическая выполнимость задачи — в то же время — вне сомнений.

Речь идет о том, чтобы «прорубить окно» в так называемом «озоновом поясе», окружающем со всех сторон земной шар.

Озоном называется, как известно, разновидность кислородного газа, отличающегося от кислорода большей массой частиц (озоновая молекула состоит из 3 кислородных атомов, обыкновенная же кислородная — из двух).

Чтобы превратить кислород в озон, достаточно подействовать коротковолновым (ультрафиолетовым) светом.

И вот, под влиянием ультрафиолетовых, струящихся от солнца, лучей, весь кислород на высотах от 22 до 35 километров над земной поверхностью и оказывается почти нацело превращенным в озон. Образуется «озоно-

вый пояс», поглощающий и задерживающий все идущие из мирового пространства световые лучи с длиной волны короче 29 миллионов сантиметров.

Но как-раз эти так называемые «крайние ультрафиолетовые» (невидимые глазом, но запечатлеваемые на фотопластинке) лучи и должны, как показывает теория, доставлять главные сведения о строении далеких миров.

Ключ к пониманию загадочных процессов, kloкочущих в недрах звезд и солнца, ответ на столь важный для человечества вопрос — насколько устойчиво солнце, — ключ к еще многим другим тайнам неба скрывается в крайней ультрафиолетовой части солнечного и звездного спектров.

И именно эта часть не выходит, пропадает на фотографиях.

Нависший над нашей головой на высоте 20—30 километров озоновый пояс препятствует человечеству в разгадке последних тайн космоса.

Значит, надо постараться прорвать озоновую блокаду! Но как?

Потолок современных стратостатов достигает уже 22 километров, и есть надежда, что в ближайшие годы он будет поднят до 30 километров, пронизав насквозь озоновый пояс. Но вряд ли этот факт сможет сколько-нибудь устроить астрономов.

Для фотографирования спектров требуется выдержка, и эта операция может быть успешно проведена лишь на твердой земле.

Существует только одно, безгранично смелое решение вопроса, существует лишь один радикальнейший способ пробиться сквозь воздвигнутую природой преграду, и это решение предложено сейчас советской астрономией.

Решение это заключается в запуске с поверхности земли баллонов, наполненных смесью водородного и аммиачного газов. Смесью водорода и аммиака, вступая в реакцию с озоном, уничтожает его.

Подобрав толщину оболочки баллонов так, чтобы они лопнули (распираемые внутренним давлением) на уровне 20 километров, и можно будет добиться образования на этой высоте мощного аммиачно-водородного облака. А это приведет, в свою очередь, немедленно к прорыву озоновой блокады в данном участке стратосферы. Образуется «дыра», «окно», в озоновом поясе, которое продержится, по расчету, не менее суток — при радиусе «окна» не меньше 30 километров и при условии, что вся операция будет начата вечером после захода солнца.

Расположившись на обширной территории, под «дырой», со своими инструментами, астрономы и смогут заснять за это время все необходимые фотографии спектров солнца и звезд.

Но как быть с той, вполне определенной опасностью, которую несут крайние ультрафиолетовые лучи для живых существ? Вся жизнь на земле зависит ведь от защитного озонового пояса. И не успеют ли эти лучи наделать бед, даже за те недолгие часы, когда им будет дана возможность прорваться к Земле сквозь «окно» в озоновом слое?

Для предотвращения этой опасности операция должна быть проведена в безлюдной местности типа Каракумской пустыни (при чем сами наблюдатели будут защищены специальной одеждой).

Что же касается техники осуществле-

ния эксперимента, то, по подсчетам, она потребует (для создания «окна» радиусом в 40 километров) около 4 миллионов кубических метров аммиачно-водородной газовой смеси.

Это соответствует ста баллонам по 40.000 кубометров газа в каждом. Баллоны эти придется расставить в шахматном порядке и запустить одновременно вверх.

Окончательная разработка деталей проекта, конечно, остается впереди. Но уже сейчас можно установить, что эта задача — по силам для техники социализма в ближайшее пятилетие.

Мы считаем, что вопросом чести для нашей науки является осуществление на советской территории, материалами советской промышленности, самого грандиозного из научных предприятий, когда-либо задуманных гением человека на Земле.

Бросим же все силы нашей астрономии на эту узловую для всего дальнейшего развития науки о себе задачу!

Пробить широкий выход во Вселенную, заглянуть в глубины неба, куда не заглядывал еще никто, вырвать у природы ее последние, сокровенно охраняемые тайны — вот задача, достойная эпохи великих дел, творимых освобожденным человечеством на шестой части земной суши.

Литература и искусство

1. В. КРАСИЛЬНИКОВ — К вопросу о народности Маяковского 2. Е. СИКАР — Шота Руставели и Илья Чавчавадзе. 3. А. МИХАЙЛОВ — В. И. Суриков

1. К ВОПРОСУ О НАРОДНОСТИ МАЯКОВСКОГО

(14/IV—30 г. — 14/IV—37 г.)

1. В. Красильников

. I

Безраздельная связанность с Октябрьской революцией, с делом переустройства мира на социалистических началах сделала Маяковского «лучшим, талантливым поэтом нашей советской эпохи» (С т а л и н).

Об органичности этой связи поэт сказал превосходно:

Чье сердце Октябрьскими
бурями вымыто,
тому ни закат, ни моря рёволицы,
тому ничего —
ни красот, ни климатов
не надо,
кроме тебя,
Революция».

Дарование Маяковского было разносторонним. Поэзии он оставил образцы фельетона, поэмы, агитстиха, стихотворного лозунга и даже басни; он дал прозаическую книгу «Мое открытие Америки», создал ряд пьес. Но какой бы жанр ни использовал Маяковский, он умел сделать все свои произведения оружием в руках «атакующего пролетариата», его песни и стихи стали «бомбой и знаменем». Своими произведениями поэт стремился отвечать на запросы эпохи, разрешать поставленные революцией проблемы. Он не знал деления тем на высокие и низкие, прозаические и поэтические, он гордился работой в газете. Поэтому

фельетоны о том, как трудно выбрать красивые носки или об отсутствии «критики на сапожников» расположены в томах его сочинений рядом с политическими стихами «Буржуй Нуво», «Новый кулак» и др. «Агитатор — горлан, главарь» — так назвал себя Маяковский, правильно охарактеризовав политическую направленность всего своего творчества.

Но самое важное, что подняло Маяковского на высоту «лучшего, талантливого поэта нашей советской эпохи» и о чем критика не удосужилась написать развернуто, — это народность творчества поэта. Народность, в широком, добролюбовском понимании этого термина, состоит в том, что «писатель должен проникнуться народным духом, прожить жизнью народа, прочувствовать все теми же простым чувством, каким владеет народ». Вспомним, как определял народность поэзии Белинский: «Всякая поэзия только тогда истинна, когда она народна, т.-е. когда она отражает в себе личность своего народа». Личность советского народа — строителя социализма, — его мысли, настроения, чаяния и, главное, его героические дела, — показывает многосторонне и развернуто послеоктябрьское творчество Маяковского. Народности учился Маяковский и в до-революционные футуристические свои годы. Его протест против сытых Сыти-

ных, против ученых, обслуживающих потребности буржуа, против поэтов, «чирикавших перепелами», был окрашен в тона анархического поединка «с жирными». Но ошибочно не видеть, как это, однако, делают некоторые критики, того, что ненависть Маяковского к капитализму укреплялась не только «ночевками в канавах» и другими фактами трудной биографии. Она (ненависть к капитализму) явилась следствием осознания Маяковским бесправия человека в буржуазном обществе. «Легло на город огромное горе и сотни махоньких горь» — говорит старик с кошками в трагедии «Владимир Маяковский». Главное горе в том, что только «где-то, кажется в Бразилии, — есть один счастливый человек» (подчеркнуто мной. — В. К.) «За стыд сестер, за морщины матерей» пред'являл автор «Облака в штанах» счет буржуа и богу. И сумма этого счета определялась, прежде всего, народными претензиями.

Подлинным выразителем строя народных чувств сделала Маяковского Октябрьская революция. Маяковский оказался народным избранником потому, что сам безоговорочно отдал себя на службу народу. В своей автобиографии Маяковский пишет: «Октябрь. Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». Он с головой ушел в революционную работу в качестве сотрудника РОСТА. «Дни и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей». (Подчеркнуто мной. — В. К.). В этой работе бок-о-бок с народными массами, руководимыми партией, находил Маяковский источник непоколебимой уверенности в том, что «России не быть под Антантой, России не быть покоренной!» («Левый марш»). Страстной уверенностью в победе социализма дышат его подписи к плакатам. В дни переброски частей под Перекоп Маяковский нарисовал Врангеля, сбрасываемого в Черное море, и дал следующую подпись к рисунку:

Где ж ты будешь, Врангель мой?
— В море шлепнешь головой.

Он предвидел комические результаты авантюры Пилсудского:

Красноармеец навстречу ему.
Думает пан:
«Подойду, обниму».
Мрачен конец ухажера был —
чуть
и штаны захватить не забыл.

Поэзия Маяковского замечательно выразила чувство революционной страсти, любви к социалистической родине, чувство гордости революционными достижениями и боевую готовность народных масс бороться за социализм:

Мы —
Не Корнели с каким-то Расином
Отца —
предложи на старье меняться —
мы и его
обольем керосином
и в улицу пустим
для иллюминаций.

Самое глубокое изображение народной скорби, связанной с потерей Владимира Ильича Ленина, принадлежит Маяковскому и дано в третьей главе поэмы «В. И. Ленин». Поэма «Хорошо» — великолепная здравица в честь Советской республики к ее десятилетию, убедительно об'ясняющая любовь народа к своей родине:

Можно забыть,
где и когда,
пузы растил и зобы,
но землю,
с которой вдвоем голодал,
нельзя никогда забыть...

Как будущий хозяин всего мира, заинтересованный в сохранении памятников мировой культуры, он рекомендует в будущих парижских баррикадных боях «быть бережливым, ядром чего не попортить, в особенности, если пойдут громить префектуру напروتив». Кстати, этих стихов почему-то обычно не цитируют, а они — прекрасное доказательство решительного преодоления Маяковским футуристического нигилизма.

Маяковский не просто отражал процесс рождения новых чувств советского

человека, он с энтузиазмом оформлял эти чувства. В его стихах дано замечательное понимание любви:

Любить —
 это с простынью,
 бессонницей враных,
 срываться,
 ревнуя к Копернику,
 его,
 а не мужа Марьи Ивановны,
 считая
 своим
 соперником.

Маяковский воспевал «смелость, смелость и еще раз смелость», он воспевал труд в советской стране как «дело чести и славы, дело доблести и геройства». Обвиняемый рапповской троцкистской критикой в индивидуализме, он был примером советского литератора, которому «в действительности единственное надо, чтоб больше поэтов, хороших и разных». Он не скрывал секретов своего производства и, раскрывая их в статье «Как делать стихи», яростно боролся против замашек торгашских:

... моя, мол, поэзия —
 мой лабаз.
 Все, что я сделал,
 все это ваше —
 рифмы,
 темы,
 дикция,
 бас!

II

Маяковский создал великолепные, выпуклые образы народной массы, слиянной в едином порыве, он передал волевою направленностью пролетарского коллектива. Вспомним «Левый марш». Разве не встает перед читателем образ борца гражданской войны, стоящего «с маузером в руках», болеющего о «горе за горами» мирового пролетариата, смело разящего в быту «законы, данные Адамом и Евой»? Этот борец не обозначен фамилией, отсутствует портретная его характеристика. Но в образе этом сконденсированы чувства и чаяния миллионов живых людей — защитников республики в годы гражданской войны. Таков же образ стапятидесяти-миллионного Ивана, подходящего к

Вильсону «в холере, в тифу» за ответом: «за что мы, зверье, голодаем»; образы нечистых в «Мистерии-Буфф», для которых «труд — родина». Эти образы — художественное обобщение гигантской силы.

Маяковский первый в годы нэпа начал в поэзии разработку тем социалистического строительства. Рабочим Курска, добывшим первую руду, он построил «временный памятник». Работа тридцати тысяч курских женщин и мужчин была увековечена как начало борьбы с разрухой. В характеристике «сегодняшних рыцарей» Маяковский так же скуп, как и в «Левом марше», но они встают перед читателем «полуголые, голодные, сонные» в героической борьбе с землей, не желающей расставаться со своими сокровищами.

Стальной бурав
 о землю ломался.
 Сиди,
 оттачивай,
 правь,—
 и снова
 земли атакуется масса,
 и снова
 иззубрен бурав.
 И снова —
 ухнем.
 И снова —
 ура!
 в рассединах каменных масс.
 Стальной
 сменял
 алмазный бурав,
 И снова —
 ломался алмаз...

Особенной глубины образов народной массы достиг Маяковский в фельетонах 1928—30 гг. Большевики, партийные и беспартийные, живущие в бараках, не боящиеся «свинцовоночия, дождика толстого, как жгут, и подмокшего хлеба», увековечены в «Рассказе Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». В «Рассказе литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» представлен интереснейший образ рабочего человека, гордящегося ростом социалистической культуры в СССР. Характерно, что, дав в этих вещах героям фамилии, Маяковский самые образы их развил в традициях «Левого марша».

Изображая личность советского народа героической, дела «рядовых, безымянных, мерших на штурмах» гражданской войны, бессмертными, Маяковский изредка прибегал к личной характеристике выдающихся представителей народной массы.

В поэме «В. И. Ленин» Маяковский так сформулировал творческое задание: «Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново». Социальная практика «пролетариатоводца» раскрыта в поэме: рождению Ленина предшествует не описание обстановки, в которой жила семья Ульяновых в Симбирске, а история международного рабочего движения:

Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил и вновь
маячил в отдаленьи.
По всему по этому
в глуши Симбирска
родился обыкновенный
мальчик,
Ленин.

Ленин дан как «человек-боец, каратель-мститель» за все эксплуатируемое человечество, борьба его с российским капитализмом—это в то же время борьба и за негра, «засеченного среди золотистых плантаций». Маяковский прекрасно показал специфику ленинского стиля работы, он прослеживает ее в поэме от первых выступлений «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» до побед, организованных Ильичом в годы гражданской войны и в годы нэпа. И везде проходит подчеркиваемая автором связь Ильича с трудящимися массами:

Бился о Ленина
темный класс,
тек от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и волей масс,
с классом
рос
Ленин.

Эта же идея — в основе всего ленинского цикла:

Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши,
мы —
малыши коллектива.
(стих. «Комсомольская»).

III

Как выразитель чувств советского народа Маяковский в своем творчестве отвел большое место ненависти к тем, для кого «пролетариат неуклюже и узко», для кого «коммунизм западня». Им создана галерея образов врагов народа: нэпман, новый кулак, мещанин¹⁾, жаждущий «канарейного уютца», подхалим, бюрократ, хулиган, от которого расстояние до фашизма короче воробьиного носа,—все они стали объектом его сокрушительной сатиры. Маяковскому всегда был враждебен троцкистский перевальско-рапповский метод, согласно которому в злом надо обязательно искать доброе, во враге надо видеть друга... Он разоблачал практику врагов народа, вскрывал характерные приемы их борьбы. Особенно значительны конкретностью разоблачения фельетоны «Буржуй-Нуво» и «Новый кулак», представлявшие в литературе 1928—30 гг. замечательное явление.

Сатира на классовых врагов — самое убедительное доказательство действительности наследства Маяковского. Вспомним фельетон «Кандидат из партии» (нарочно беру редко цитировавшийся пример. — В. К.):

Весь
в партийных причандалах,
ноздри вздернул—
крыши выше...
Есть бумажки —
прочитал их,
нет бумажек —
сам напишет.

¹⁾ Мещанин Маяковский разоблачал и в поэзии, и в драматургии (образ Присыпкина в «Клопе»).

Все
у этих
в порядке,
не язык,
а маслобой.
Служит
и играет в прятки
с партней,
с самим собой.

У Муссолини
всего
одна ноздря,
да и та
разодрана
пополам ровне
при дележе
ворованного.

Приведем еще характеристику подлизы, которая напоминает грибоедовскую характеристику Молчалина, но, как всегда, сделана Маяковским гиперболически-заостренно.

Лижет ногу,
лижет руку,
лижет пояс,
лижет ниже,
как кутенок
лижет суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык
на метров тридцать
догонять
начальство
вылез,
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылясь.

Замечательна неосновательно забытая «Маяковская галерея» — сатирические портреты Вандервельде, Муссолини, Керзона и др. Конструктивной особенностью развития образов в этой галерее является подробная портретная живопись, причем, как подчеркнута объясняет Маяковский, ни с одним из представителей галереи автор даже не встречался. Да встречи, собственно говоря, и не были необходимы, в этой галерее все — вплоть до обрисовки носа Муссолини или живота Пуанкаре — подчинено разоблачению политических, враждебных социализму, систем. Отсюда:

У Муссолини —
вид ахов:
голые конечности,
черная рубаха...
Лица нет,
вместо —
огромный
знак погромный.
Сколько ноздрей
у человека —
зря!

В фельетонах 1928—30 гг., написанных специально по заказу и на материале «Комсомольской правды», Маяковский дал ряд образов наших людей, имеющих те или иные недостатки. В фельетоне «Нагрузка по макушку» обрисован комсомолец Петр Кукушкин, «прущий в работе на рожон», разбрасывающий свою энергию всюду и заработавший в результате «мозоль на месте, на котором заседают». Осуждая Кукушкина и ему подобных, Маяковский выступает в этих фельетонах подлинным инженером человеческих душ, показывающим своим людям, с какими вредными навыками им нужно в первую очередь покончить.

IV

«Сегодняшняя поэзия — поэзия борьбы. Каждое слово должно быть, как в войске солдат, из мяса...». (Маяковский. Статья «И нам мяса!», — из статей 1913—1915 гг.). Маяковский восстал против превращения искусства «в бесплатное приложение к двуспальной кровати», он сбрасывал с корабля современности, прежде всего, «чирикавших перепелами» во славу Сытиных. Отсюда борьба Маяковского за народное слово в поэтической речи, внимательное изучение «артезианских глубин» языка трудящихся масс. Дореволюционный Маяковский прибегал часто к нарочито грубой фразировке, но элементы народного языка уже настойчиво и победоносно спорили в его текстах со специфически литературными аналогиями, которых, кстати сказать, встречалось довольно много. Всерьез борьбу за народность поэтического языка Маяковский стал вести после Октябрьской революции в школе РОСТА. Эта школа, по признанию Маяковского, «очищала наш язык от поэтической шелухи на те-

мах, не допускающих многословия». В послеоктябрьском творчестве Маяковского начинают исчезать, с одной стороны, аналогии, понятные лишь избранным, с другой стороны — выпячивание нарочито «уличных» слов и оборотов.

По единодушному признанию критики смелая гипербола — излюбленный и характерный прием Маяковского. Гипербола им употребляется, прежде всего, как одно из выразительных средств. Приведу единственный пример, как будто никогда не цитировавшийся, — описание ночи на одесском рейде:

Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет
и броня.
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

Гипербола часто у Маяковского основной прием конструкции произведения. В фельетонах Маяковский обычно доводил явления до абсурда, не боясь заставить «прозаседавших поневоле разорваться», чтобы успеть «на два заседания сразу». Гипербола Маяковского родственна гиперболе былин, она из той же сферы, где люди скачут «чуть пониже облака ходячего». Этим я не хочу сказать, что гипербола Маяковского родилась под влиянием народного творчества. Она — результат любви и внимания к глубинам народной речи.

Сближает Маяковского с народным творчеством и частое обращение к фантастике, гротеску. Вспомним штурм неба нечистыми в «Мистерии-Буфф», размо-раживание Присыпкина в «Клопе», появление феерической женщины в «Бане».

В работах периода гражданской войны Маяковский широко использует приемы сказки. Гиперболизм, проявление необузданного полета фантазии, ничем не стесняемое развитие действия, оживление вещей и награждение новой жизнью традиционно-сказочных образов — характерные черты произведений Маяковского, входивших в состав «Окон РОСТА» и опубликованных впервые в

сборнике «Грозный смех». «Есть сказки не для детей» — писал Чернышевский. Для взрослых и сказки Маяковского. Трудящийся воспринимал и воспринимает в «Сказке про мужика, про историю странную, с помощью французской, с баночкой иностранною» банку консервов, стойко стоявшую посередине тройки сытых французских коней, как политическое олицетворение приманки для мелкой буржуазии, которую Антанта хотела использовать в борьбе с большевиками. Но баночка быстро раскупоривалась в местах, захваченных белыми, и — «вместо лещика — из банки (вылезало. — В. К.) мурло царя и помещика».

Политически целеустремленно использовал Маяковский традиционный сказочный образ ведьмы — старой бабы Яги. Ее озорной хохот связан не со злой силой, а с разрухой, когда «станки, как решето», старуха ведьма веселится; стоит же начать неделю ремонта, и «каждый гвоздь выбивает у старухи злость». Маяковский подчеркнуто использует прием детской сказки: «добрая тетя» дарит дорогому племяннику Врангелю игрушки. Ассортиментом игрушек — солдатами, ружьями и пушками — она направляет внимание племянника на «чужие ворота». Но когда из-за чужих ворот дали посланцу в зубы, тетя недовольна. Она ругает племянника «грязнулей», соглашается пустить его к себе только по черному ходу.

Само собой разумеется, что мной только намечена проблема народности формы Маяковского.

V

Публицистические и литературно-критические выступления Маяковского насыщены ценными высказываниями о массовости, народности искусства. «С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющей целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, выразительными и понятными всем». (Из статьи «Как делать стихи»). Понятность искусства для

всех в трактовке Маяковского не пере-рождались в самотечное потрафление вкусам массы. «Понятность книги надо организовать» — писал Маяковский в статье «Вас не понимают рабочие и крестьяне»: «Искусство не рождается массовым, оно массовым становится в результате суммы усилий: критический разбор для установки прочности и наличия пользы, организационное продвижение аппаратами партии и власти в случае обнаружения этой самой пользы, своевременность продвижения книги в массу, соответствие поставленного книгой вопроса со зрелостью этих вопросов в массе». В статье «Как делать стихи» он требует от поэта постоянной проверки произведения читательским глазом и ухом: «все время спрашиваешь себя: «А то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймется?»».

Интересно, что необходимость так называемой рваной строки объяснялась Маяковским как помощь читателю. «Размер и ритм, — писал он в статье «Как делать стихи», — значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда она берется по старому шаблону. Чтобы читалось так, как думал Пушкин (курсив мой. — В. К.), надо разделить строку так, как делаю я:

«довольно,
стыдно мне!»

Маяковский превосходно понимал трудности создания произведений, делающихся народными. «Очень трудно вести ту борьбу, которую хочу вести я, — говорил он в райдومه комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 г., — работу сближения рабочей аудитории с большой поэзией, поэзией, сделанной по-настоящему, без халтуры и без сознательного принижения ее значения». Но трудности только укрепляли его волю работать для народа. «Только рабочая аудитория, только пролетарско-крестьянские массы, те, кто сейчас строит новую жизнь нашу, те, кто строит социализм и хочет распространить его на весь мир, только они должны стать действительными чтецами, — и поэтом этих людей должен быть я» — сказал он в речи 25 марта 1930 г., оказавшейся предсмертной.

Творчество Маяковского отразило существенные стороны дореволюционной и послеоктябрьской действительности, оно показало героизм революционных масс, защищавших республику в годы гражданской войны, строивших и строящих Кузнецкстрой, оно искренно выразило их настроения и чаяния. Маяковским сделан вклад в литературу о Ленине поэмой «В. И. Ленин», он является зачинателем социалистической лирики. Творчество Маяковского — народного поэта — «стоит готовое к бессмертной славе».

2. ШОТА РУСТАВЕЛИ И ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

(1187—1937 и 1837—1937 гг.).

Е. Сякар

В этом году в Грузии совпали юбилейные даты двух народных гениев, двух блестящих представителей грузинской культуры — 750-летие со дня рождения Шота Руставели и 100-летие со дня рождения Ильи Чавчавадзе. Руставели и Чавчавадзе — это два имени в истории грузинской дореволюционной литературы, без знания и изучения которых невозможно представить себе родослов-

ную современных поэтов и прозаиков Грузии, родословную культурного роста и развития грузинского народа. Советская Грузия справедливо гордится и дорожит своими национальными поэтами. В Руставели, как и в Чавчавадзе, сказались лучшие традиции грузинского народа, талантливость, сила, вдохновение, мужество, страсть, вольнолюбие. Оба они, несмотря на то, что жили и

творили в совершенно разные эпохи, стоят очень близко друг к другу. Руставели и Чавчавадзе дали высшие образцы художественного идейного труда: от них шла вся последующая культура, все последующие поколения литературных работников. Много нитей протянуто от монументальной, эпической и героической поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели к многочисленным и разнообразным произведениям поэзии, прозы, критики и публицистики Ильи Чавчавадзе. Главная связывающая нить — их глубочайшая народность, заключающаяся не только в национальных формах творчества, но и прежде всего в глубоком социальном содержании. Оба поэта с огромной художественной силой запечатлели народные стремления; каждая художественная деталь произведений великих творцов полна глубокого жизненного смысла, полна истинной и чистой любви к народу и отчизне.

Подлинный титан труда, мысли и эрудиции, Чавчавадзе на протяжении почти полувека был вождем литературной и общественной жизни Грузии. Грузинская интеллигенция звала его «некоронованным грузинским царем». Крупнейший поэт, прозаик, критик, драматург, переводчик и оратор, Илья Чавчавадзе являл собой редкий пример универсального труженика. Человек огромного темперамента, сильнейшей воли, страстный борец с глубочайшей преданностью прогрессу — Илья Чавчавадзе смело стал на путь революционного демократизма. Еще в 1860 годах, занимаясь в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете, молодой Илья Чавчавадзе усваивает передовые стремления европейской мысли. Особенное влияние имели на него Чернышевский, Белинский, Добролюбов, Байрон, Шиллер, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Во время учебы увлекся демократическими оппозиционными идеями, которые развивал на своих страницах «Современник». Участие в студенческих политических кружках, в общественных выступлениях привело к исключению его из Петербургского университета. В Санкт-Петербурге он возглавляет кру-

жок грузинских студентов, товарищей молодости, учившихся с ним. В кружке обсуждали вопросы, поднимаемые Чернышевским и Добролюбовым в «Современнике». Близкое знакомство Чавчавадзе с передовыми людьми того времени — революционными демократами сразу придало его произведениям большую политическую зрелость. Еще будучи студентом, в самом начале своего творчества, он создал замечательную поэму «Разбойник Како», ставшую популярнейшим произведением для широких трудящихся масс Грузии.

В «Разбойнике Како» Чавчавадзе первый в Грузии резко поставил вопрос о крепостничестве. Он яростно бичует крепостное право, заставляющее жизнерадостных и честных тружеников становиться разбойниками, беглецами. Поэма вызвала возмущение грузинского дворянства. В это же время Чавчавадзе написал большое эпическое произведение «Призрак» («Ачрдили»). На фоне изумительных зарисовок величественного пейзажа Кавказа писатель показывает потрясающий моральный упадок колонизаторов и господствующих классов современной ему Грузии. Ханжество, эгоизм, продажность, паразитизм, цинизм... Аристократы, купцы и попы, увязшие в духанах, в разврате... Грузинский крестьянин — раб, угнетаемый царскими колонизаторами и местными помещиками. В поэме «Призрак» Чавчавадзе, движимый освободительными идеями, формулирует декларацию прав человека и гражданина. Он верит, что придет «царство труда», которое разрушит старый мир, возродит отчизну, изменит жизнь. «Не выдержит дряхлый мир разрушительной и обновляющей бури, не выдержит грабитель борьбы, начатой за истину и справедливость, и возрожденный мир снова расцветет на обновленных началах... и в этом обновленном человечестве грузин, оставшийся верным своей родине, снова гордо подымет голову, а народы могучего Кавказа, упирающегося в небесный свод, проникнутся одними и теми же мыслями и стремлениями».

Трудящиеся Советской Грузии в дни 15-летнего юбилея своей обновленной

страны, вспоминая мрачные годы прошлого, цитировали в своем письме вождю народов—великому Сталину поэму «Призрак».

Труд горемычный, тяжкий мой,
В жару, в ненастье и зимой,
Жизнь, полная забот, нужды,
Ночей бессонных, нищеты —
Идет лишь господину впрок,
Удел моей семьи жесток.
Работал я так много дней,
А хлеба нет семье моей:
Съедает барин весь мой труд,
О, господи, где правда тут.
Для них ты скот, не человек,
Ярмом придавленный навек;
Возьмут у матери дитя
И продадут его, шутя.
Пусть бедная страдает мать,
Она не смеет возроптать.

В 1861 году, после четырех лет учебы, направляясь из Санкт-Петербурга на родину в Тифлис, обогащенный знаниями и просвещенный идеями Добролюбова, Белинского и Чернышевского, Чавчавадзе в пути пишет «Записки проезжего». Всматриваясь жадно в даль родной земли, Илья Чавчавадзе в «Записках проезжего» набрасывает программу своей борьбы за национальную культуру и независимость родины. Чавчавадзе пишет: «Как встречу я с родиной, и как она встретит меня? — подумал я.— Что нового услышит от меня моя страна, и что она скажет мне? Кто знает, быть может, родина отвернется от меня, — от того, кто был пересажен на чужую почву и созрел на ней?.. Может случиться и так, что она примет меня и прижмет к груди, как родное дитя, и станет жадно меня слушать. Найду ли я тогда в себе силы сказать родное, близкое ей слово и этим словом озарить павшую духом надеждой воскресения, безутешную — утешать, плачущей — утереть слезы, труженице — облегчить ее труд и соединить те искорки, что тлеют и не могут не тлеть в каждом человеке. Хватит ли у меня сил? Хватит ли сил произнести внятное ей слово?» «Я пришел к тому, что моя родина примет меня и признает, потому что я плоть от плоти ее и кровь от крови ее. Я пойму язык ее и речи, ибо сын родины своей

слушает родную речь не только ушами, но и сердцем, которому внятно и молчание. Моя речь не останется непонятной, потому что матери всегда понятна речь рожденного ею».

Чавчавадзе связывает все свои думы с судьбами грузинского трудового народа; грузинское общество он хочет разбудить от глубокой мертвой спячки и освободить от косных обычаев и нравов. В «Записках проезжего» он выводит сатирический образ русского офицера N, с которым писатель встретился, уже находясь на территории Грузии. В его лице он создает законченный художественный образ царского сатрапа, поражающий своей точностью, реальностью. Чавчавадзе в резко карикатурной форме высмеивает царских колонизаторов; уничтожающая ирония писателя устремляется и на самодержавие, попирающее свободолюбивый народ, «цивилизующее» Грузию «генералами». С первых шагов своей деятельности в Грузии Чавчавадзе направил грузинскую литературу на новый путь, противоположный господствовавшему в ней псевдоклассическому, сентиментальному и схоластическому направлению; он со всей непримиримостью обрушивается на ретроградство части современных ему литераторов. Чавчавадзе пропагандирует идеи крупнейших русских публицистов, революционеров-разночинцев, ссылается на их работы. Публикуемые им произведения и статьи перекликаются с Белинским, Добролюбовым, Чернышевским и Герценом. Сподвижник Ильи, учившийся с ним вместе в университете, известный общественный деятель, беллетрист Георгий Церетели, писал об этом периоде в жизни великого писателя: «Новой эпохой грузинской литературы мы называем период, когда Илья Чавчавадзе еще в «Цискари» (журнал «Рассвет». — Е. С.) сделался зачинателем нового литературного движения и создал свой кружок... Они устраивали собрания на частных квартирах, выступали с рефератами. Здесь пламенный юноша И. Чавчавадзе читал свои новые стихи и «Рассказ нищего», воодушевляя членов кружка и завоевывая популярность в широких кругах общества».

Другой видный общественный деятель 60-х годов, Нико Николадзе, характеризует влияние, роль и деятельность И. Чавчавадзе так: «Все, что было у нас нового, молодого, бодрого, кто стремился к новым порядкам и новой жизни, — все это становилось под то знамя, которое держал в своих руках Илья Чавчавадзе».

Вернувшись в Грузию, Илья Чавчавадзе и его единомышленники сталкиваются с журналом «Цискари» — единственным тогда грузинским печатным органом. Журнал замкнулся в свой индивидуалистический старый мирок, стоял в стороне от подлинной жизни народа. Илья Чавчавадзе остро выступает против серости, отсталости и бессодержательности «Цискари», где за отсутствием другого органа вынужден был печататься. Своей второй статьей, «Ответ», помещенной в № 6 «Цискари» за 1861 г., он растревожил весь сонный мир тогдашней грузинской литературы, вызвал еще большее движение в застывшем консервативном обществе. В начале статьи Чавчавадзе в качестве эпиграфа, характеризующего царившие тогда нравы, приводит известные слова Белинского: «Из нашей литературы хотят устроить балльную залу, и уже зовывают в нее дам; из наших литераторов хотят сделать светских людей в модных фраках и белых перчатках, энергию хотят заменить вежливостью, чувства — приличием, мысль — модною фразой, изящество — щеголеватостью, критику — комплиментами».

Он смело наносит удары отжившему литературному направлению и бездарным писателям из консервативного «Цискари». «В настоящее время, — писал Чавчавадзе, — литература у нас представлена только одним «Цискари». Неужели все, что печатается в «Цискари», представляет собой разум, думы, понимание и нравы грузинского народа? Неужели вправду «Цискари» является зеркалом нашего развития и качеством нашего просвещения? Неужели вправду настолько пал народ Руставели, что он мыслит и думает так? Я утверждаю, что это тысячу раз не так; я говорю это с такой прямоотой с той целью, чтобы

те, кто столь беззаботно марают бумагу, впредь перестали бы это делать, так как они своей пачкотней уничтожают наш язык. Я говорю так жестоко, без лести с тем, чтобы бездарные и неучи не лезли в литературу; об этом и прошу именем народа, во имя защиты народной чести...».

Борьба за большую реалистическую грузинскую литературу, за народность творчества становится его кровным делом, делом жизни. Он смело борется со своими противниками, объявившими писателя изменником, разрушителем грузинской самобытности. Статьи Чавчавадзе отличались правдой, остроумием, иронией. В ответ на ожесточенные нападки он назвал своих противников «соловьями, каркающими по-вороньи». Все это быстро сказалось на отношениях с «Цискари»: писатель больше не мог в нем печататься. Тогда Чавчавадзе вместе со своими единомышленниками создает собственный литературный орган «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). Первый номер журнала (под редакцией Чавчавадзе) вышел в январе 1863 года. В своей статье о задачах журнала Чавчавадзе впервые наиболее полно и цельно изложил основные принципы реалистического направления в литературе.

Оценивая современные литературные явления, Чавчавадзе пишет: «Пусть некоторые книжники во имя науки протирают глаза и мысль в исследовании того, что иероглиф на той или иной египетской пирамиде должен быть не таким, а иным, или пусть в поисках отвлеченной истины упражняют они свое мышление; или пусть некоторые бесплодные поэты во имя искусства отвернут лицо свое от жизни народа, пусть впиваются своими близорукими глазами в небо и бессмысленно, без конца поют как соловьи. Нам с ними не по пути... Мы требуем от науки и искусства хлеба насущного, выпеченного в жизни и пригодного к употреблению для голодных». «Пора, — продолжает он, — пора искусству оставить в покое «плывущие облака»... Пора искусству бросить безвкусно гримасничать и растирать глаза, чтобы выдавить слезу, пора окунуться на дно

житейского потока и там находить сокровенные мысли для своих жизненных картин. Там, на дне жизни, оно найдет множество жемчужин и еще больше грязи. Искусство не должно бояться изображать и одно, и другое, журнал не должен бояться говорить и об одном, и о другом...».

Журнал «Вестник Грузии» являлся своеобразным грузинским «Современником». Здесь печатались статьи Белинского, Добролюбова, Прудона, произведения Виктора Гюго и других. В журнале Илья Чавчавадзе печатал свои художественные произведения, памфлеты, фельетоны, критические обзоры, эпиграммы. На страницах журнала — органа нового поколения — еще сильнее разгорелась борьба с представителями консерватизма.

Чавчавадзе беспощадно и жестоко разит литераторов, тормозящих развитие литературы, раблепитующих перед новыми «хозяевами» Грузии, перед патриархально-феодалным бытием. Он выступает против видных деятелей старого реакционного лагеря — известного грузинского поэта, государственного деятеля, князя Григория Орбелиани, графа Лорис-Меликова (впоследствии министр внутренних дел Александра II), историка Платона Исселиани и др.

Илья Чавчавадзе отвечает своим негодующим противникам прямо и резко:

«... Мы не научились измерять человеческое достоинство и нравственность чинами и орденами, мы ханжество и пресмыкание не считаем высшею добродетелью; нам дороги интересы миллионов масс, а не праздного меньшинства... Не мы, а вы убили богатый грузинский язык; из робости вы остерегаетесь употреблять его дома и в обществе, мы же сняли с него накинутый вами саван и снова вдохнули в него живую душу».

Шота Руставели и Илья Чавчавадзе смело поднимали целину в грузинской литературе. Родоначальник грузинской поэзии Шота Руставели, создавая свой собственный стиль, первый использовал народный грузинский размер (шестнадцатисложный стих — шаири). Будучи блестящим мастером шаири, Руставели

упростил современный ему поэтический язык, сделав его достоянием широких масс народа. Руставели в течение нескольких столетий парил над грузинской литературой. Доказательством славы и величественности его творчества служит тот факт, что поэты и писатели XVI, XVII и XVIII вв. посвящают ему хвалебные строфы, обращаются к нему, словно к музе, спрашивают у него разрешения на свое творение, цитируют его слова. Поныне в народном творчестве существует бесчисленное множество легенд, песен, сказаний о Руставели, возникли народные варианты поэмы «Витязь в тигровой шкуре», которые распевают народные певцы, «сазандаристы». Поныне в поэтическом фольклоре соблюдают его размер — шаири.

Илья Чавчавадзе с самого начала своей литературной деятельности выступает как создатель ново-классической литературы и современного грузинского языка. Он непримиримо восстает против архаично-феодалной литературы, против застывших форм языка и устаревших форм правописания.

В одной своей полемической статье, напечатанной в 1861 году, Чавчавадзе писал: «Литература есть выражение ума, чувств, дум, нравов и просвещения народа». На выдвинутое его противниками, представителями реакционного лагеря, положение о том, что формы языка постоянны и неизменны вовек, Илья Чавчавадзе отвечал, что язык так же подчинен законам развития, как все явления природы; он выдвинул положение, что «законодателем языка является сам народ, а не теоретика азбуки». Чавчавадзе обогащает свой язык сокровищами народного устного творчества. Образы Руставели уже с детства волнуют поэтическое вдохновение Чавчавадзе. Живя в деревне, в Кахетии, он внимательно изучает народные творения, предания, сказки, песни, легенды, стихи. Благодаря этому он сумел в своем творчестве замечательно воплотить красоты родного языка, красоты подлинного народного словаря. Пословицы, остроты, поговорки, афоризмы, щедро рассыпанные в произведениях Чавчавадзе, простота и ясность мысли делают его твор-

чество необыкновенно интересным и ценным.

В поэме «Разбойник Како», написанной под влиянием бесчисленных народных сказаний, преданий и песен о народном герое — вожде революционного грузинского крестьянства Арсене, Чавчавадзе особенно ярко выражает свое восхищение бессмертными произведениями народного творчества. Он пишет в поэме:

Вокруг костра,
Припоминая сказки, были,
Мы коротали вечера.
Смущали душу мне преданья
И до сих пор живут во мне.
Они тревожили в сознании
Любовь к родимой старине.
Умея в детях ясноглазых
То грусть, то радость пробуждать,
Одна из чудных этих сказок
Мне дорога была, как мать.
Дойдя до нас в родных легендах,
Навеки взял меня он в плен,
Защитник вдов, сирот и бедных
Неумирающий Арсен!
Очаровав мой ум пылкий,
Он мне примером славным стал,
Везде мне грезился, счастливый,
И стать Арсеном я мечтал.

Широкое использование богатейших родников народного творчества (образов, мотивов, сюжетов) можно проследить и в других произведениях Чавчавадзе (в «Рассказе нищего», в «Рождественском рассказе», в поэме «Димитрий-самопожертвователь», в стихе «Базелетское озеро» и др.).

Чавчавадзе первый в своей стране дал образцы реалистической и антикрепостнической литературы. Он с ненавистью говорил и писал о тирании светских мракобесов и ханжей, о политике национального угнетения, проводимой царским правительством. В тяжелых условиях великодержавного гнета Чавчавадзе боролся за национальную независимость, за национальное возрождение. Исходным пунктом широкого гуманистического мировоззрения Чавчавадзе было признание равенства всех людей, всей нации. Писателю были неясны подлинные исторические пути борьбы и побед угнетенных самодержавием народов. В поисках путей он вынужден был идеализировать историческое прошлое грузинского народа.

Имена героев рассказов и поэм Чавчавадзе сделали нарицательными в народе. Они увековечили память писателя. Их знают широкие массы. Чавчавадзе создал типы Луарсаба и Дареджан в повести «Человек ли это», Датико в «Рассказе нищего», офицера N в «Записках проезжего» и другие образы, ставшие художественным синтезом всего отвратительного и отрицательного в господствовавших классах Грузии. Творчество Чавчавадзе не могло не оказать выдающегося влияния на современную ему и последующую грузинскую литературу. Вокруг него объединяется все передовое поколение писателей, критиков, журналистов. С именем Чавчавадзе связывается зарождение, формирование и рост грузинской критики. В своих многочисленных литературных и политических обзорах, критических и полемических статьях он смело ставит на принципиальную высоту большие социальные проблемы грузинской жизни прошлого столетия. Критические работы писателя вырастали из его прогрессивно-демократического мировоззрения, проникнутого интересами общественного блага, интересами своей родины. Страстные статьи Чавчавадзе, написанные на самые разнообразные темы общественной и литературной жизни эпохи, являлись колоколом: они будили общественное сознание, активизировали все передовые элементы страны, они же сразу выдвинули его на передовые позиции как идеолога нового поколения, нового литературного движения.

Чавчавадзе проявил глубокий интерес ко всему окружающему. Каких только вопросов и проблем не поставил, не выдвигал Чавчавадзе в своих критических и публицистических статьях и заметках, в своих произведениях! Он писал и о задачах критики, и о развитии грузинской драматургии, и о театре, и о народном значении науки и искусства, и о творчестве крупнейших грузинских литераторов, и о переводах, и о народности и чистоте литературного языка. И по всем этим вопросам его оригинальные высказывания отмечены печатью большого знания жизни, принципиальностью, огромной культурой, горячей

национальные черты грузинского народа, они верны его морали, его традициям, но вместе с тем образы глубоко интернациональны: они насыщены общечеловеческими качествами. Иллюстрируя свою мысль на анализе героев Шекспира, Чавчавадзе указывает на общечеловеческие черты образов Руставели:

«... Типы Руставели нужно рассматривать не из той маленькой щелочки, из которой виден лишь картаинец, кахетинец, имеретин и отдельные люди, а из огромнейшего окна, чтоб охватить взором все человечество во всю его ширь и длину, во всю глубину и вышину... Тариэл, Автандил, Придон и другие — люди, созданные и живущие в соответствии с природой отдельного человека...».

Большой интерес представляет статья Чавчавадзе «Армянские ученые и вопиющие камни». Статья была помещена в газете «Иверия» в 1899 году и затем вышла отдельной книжкой. В ней Чавчавадзе, защищая национальное достоинство грузинского народа, нападает на группу армянских псевдоученых книжников, признававших существование в Закавказье лишь одной армянской нации, отрицавших духовное и физическое бытие грузин, искажавших историю их. Едко высмеивая тупость и невежество этих книжников, применяя к ним разящие пословицы и эпитеты, вроде: «Не так страшусь открытого врага, как врага, прикидывающегося другом, страшусь его ласки, его улыбки», «Неба нехватает ему на шапку, а матери-земли на лапти», «От совы нельзя ждать соколиных птенцов» и др., Чавчавадзе защищает «великого Руставели» от нападок, от ложной интерпретации происхождения его творения, — «народного памятника достоинств грузин». Чавчавадзе пишет: «Пристойно ли потрясти, пошатнуть фундамент славного памятника, в который народ вложил свое горе и свою радость, свою душу, свои лучшие помышления, чувства?!»... Статья вызвала восторженные отзывы в Грузии и большой переполох в армянских националистических кругах. Чавчавадзе в ней бле-

стяще раскрыл свою богатую эрудицию, широкие общественные воззрения и интернационализм.

Илья Чавчавадзе — блестящий оратор, острый полемист. Вдохновенные речи писателя отличались большой художественностью, реализмом и простотой, за которыми скрывалась многосторонность его ума. В 1906 году Чавчавадзе избрали от Грузии в государственный совет, где он произнес знаменитую критическую речь против введения смертной казни. В тогдашних условиях выступление Чавчавадзе в стенах государственного совета против самодержавной политики было в высшей степени дерзким и смелым. Позже, в 1907 году, когда его убили, долго циркулировали слухи, что царское правительство отомстило ему за речь. Речи Чавчавадзе — образцы красноречия. Выступая перед крестьянами, на собраниях, торжествах, похоронах, он увлекал слушающих своими широкими познаниями, образностью мыслей, целеустремленностью и идейностью. Некоторые его речи вошли в школьные хрестоматии. Речи Чавчавадзе на похоронах поэта Григория Орбелиани, общественного деятеля Дмитрия Кипиани и перед крестьянами селения Сагурамо по поводу открытия сельскохозяйственной школы — шедевр ораторского искусства.

Чавчавадзе является создателем и редактором ряда грузинских газет и журналов; писатель руководит обществом распространения грамотности среди грузин, «Грузинским драматическим обществом». Чавчавадзе основал земельный банк, сыгравший огромную роль в сельском хозяйстве Грузии. Не было буквально ни одного мероприятия, проводившегося без его участия, он оставил глубокий след во всех областях жизни тогдашней Грузии. Илья Чавчавадзе, как и Шота Руставели, был одним из наиболее передовых умов своего времени.

Грузинское духовенство в своей борьбе против Руставели старалось всячески затемнить, обесцветить истинную суть мировоззрений автора, его свободомыслие в религиозных вопросах: поэма «Витязь в тигровой шкуре» была объявлена еретическим, языческим произведе-

нием и как таковая в течение ряда веков подвергалась гонениям. Архиепископ Тимофей писал, что Руставели сочинял «злые стихотворения», которые развратили церквы, просвещенный католикос патриарх Антоний I, запретил грузинам чтение поэмы Шота Руставели: в 1712 году он предал списки и первые печатные экземпляры поэмы огню. В своей ямбической эпиграмме, высоко ценя талант поэта, он называет Руставели «мудрым философом, знатоком иранского языка, богословом, удивительным поэтом, но все и тщетно потрудившимся». Будучи не в силах уничтожить творение, духовенство поставило перед собой задачу перелицевать поэта на свой вкус: для этого в списках искажались строфы, беззастенчиво искажался текст, которому придавалось религиозно-символическое значение.

Судьба творчества Шота Руставели в известной мере перекликается с судьбой творчества Чавчавадзе. Многие крупные произведения Чавчавадзе не могли появиться в печати в течение десятков лет. Так, например, «Записки проезжего» (острая сатира на бюрократический строй царской России) Чавчавадзе удалось напечатать лишь спустя 10 лет после написания их, и то в искромсанном цензурой виде. Из повести выброшены первая глава и многие абзацы. Так, цензура вычеркнула абзац, ныне восстановленный по рукописи: «Да не испугает тебя слово «революция», читатель! Революция — путь к успокоению. Так и все в мире: вино должно раньше перебродить, помутнеть, и только отстоявшись, оно приобретает прозрачность».

Поэма «Разбойник Како», в которой писатель яростно бичует крепостнический строй, также пролежала под спудом несколько лет. В течение 12 лет Чавчавадзе не мог издать известную поэму «Призрак», которую трудящиеся Советской Грузии цитируют в своем письме вождю народов, великому Сталину. В 1871 г., дав наконец разрешение на печатание поэмы, царский цен-

зор вытравил из нее наиболее революционные мысли, полностью изъял девятую главу поэмы, где говорится о борьбе с царским самодержавием, и т. д. По обыкновению произведения Чавчавадзе, прежде чем появлялись в печати, должны были пройти через различные мытарства и рогатки. Некоторые художественные произведения и критико-публицистические статьи были строго запрещены. Царские опричники мстили Чавчавадзе за его вольнолюбие, проникнутое духом народности, за широкую общественно-политическую деятельность, за тот общественный резонанс, который вызывали его произведения. О нем неоднократно доносили в Санкт-Петербург. Любопытная характеристика Ильи Чавчавадзе дана в секретном докладе начальника Тифлисского жандармского управления департаменту полиции, датированном 1 мая 1894 года: «Главным руководителем того направления, цель которого — пробудить национальное движение, является Илья Чавчавадзе. Председатель дворянского земельного банка, Илья Чавчавадзе обладает выдающимся умом и положением и пользуется большим авторитетом среди грузин, в особенности среди вольномыслящих. Ходят слухи, что время от времени у него устраиваются тайные собрания, на которых обсуждаются различные вопросы общественного и социального характера».

Первые юбилеи Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе — большое торжество грузинского народа. Подлинные Шота Руставели и Илья Чавчавадзе во всей красоте и глубине их искусства впервые восстановлены в советской стране. Только после установления советской власти грузинский народ мог по-настоящему оценить гигантское творчество своих великих народных писателей. Запрещенное, искаженное и затоптанное царской цензурой творчество Ильи Чавчавадзе любовно восстановлено по подлинникам. Полное собрание сочинений писателя не вмещается в вышедшие уже 10 томов: ныне готовится новое полное академическое собрание произведений.

3. В. И. СУРИКОВ

А. Михайлов

I

Василий Иванович Суриков родился в 1848 году в городе Красноярске. Семья Суриковых принадлежала к служилому казачеству; по преданию, пришли предки Сурикова в Сибирь еще с Ермаком; исторические источники упоминают Илью и Петра Суриковых в числе «воровских людей», бунтовщиков против царских воевод в Красноярске (1695—1698).

До 1825 года Суриковы были простыми казаками, а потом в их семье появились и офицеры. Дед Василия Ивановича, Александр Степанович, был полковым атаманом, — им Суриков всегда очень гордился. «Атамана Александра Степановича я маленьким только помню — он на пятьдесят третьем году помер. Помню, он сказал раз: «Сшейте-ка Васе шинель, я его с собой на парад буду брать». Он на таких дрожках с высокими колесами на парад ездил. Сзади меня посадил и повез на поле, где казаки учились пиками. Он из простых казаков подвигами своими выдвинулся. А как человек был простой... Широкая натура. Заботился о казаках, очень любили его...»¹⁾

Мать Сурикова происходила из рода казаков Торгошиных: это была тоже старинная казацкая семья; занимались Торгошины перевозкой чая с китайской границы от Иркутска до Томска. «Жили, — рассказывает о них Суриков, — по ту сторону Енисея, — перед тайгой. Старики неделинные жили. Семья была богатая. Старый дом помню... Там самый воздух казался старинным. И иконы старые, и костюмы, и сестры мои двоюродные — девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В девушках была красота особенная: древняя, русская... Песни ста-

ринные пели тонкими певучими голосами. Помню, как старики Федор Егорыч и Матвей Егорыч под вечер на двор в халатах шелковых выйдут, гулять начнут, «Не белы снеги» поют. А дядя Степан Федорович — с длинной черной бородой. Это он у меня в «Стрельцах» — тот, что, опустив голову, сидит, «как агнец, жребию покорный». Там старина была». Такую же старину запомнил Суриков и в станице Бузимовской, в шестидесяти верстах от Красноярска. В эту станицу родители Сурикова переехали в 1854 году. «Окошки там еще слюдяные, песни, что в городе, не услышишь. И масленичные гулянья и христославцы...».

Дом самих Суриковых в Красноярске был новым: его построил дед художника, когда служил сотником в Туруханске; по словам Сурикова, дом этот строился соболями и рыбой. Но не только внешне был новым дом. Новое проникало и в ту патриархальную жизнь, которая заключена была в его стенах. Дяди художника — офицеры Марк и Иван Васильевичи — далеко ушли вперед от своих родичей. Они были по тому времени культурными людьми, выписывали книги и журналы, среди последних — «Новоселье» и «Современник». «Я Мильтона «Потерянный рай» в детстве читал, Пушкина и Лермонтова, — говорил Суриков Волошину. — Лермонтова любил очень. Дядя Иван Васильевич на Кавказ одного из декабристов переведенных сопровождал... Так он оттуда в восторге от Лермонтова вернулся...».

Отец Василия Ивановича также интересовался культурной жизнью своего времени. «Помню, — вспоминает художник, — как отец говорил: вот Исаакиевский собор открыли... Вот картину Иванова привезли».

Таким образом, в семье Суриковых старый, патриархальный уклад сочетался с новыми социально-культурными явлениями, глубокая старина переплеталась с живым интересом к современности.

¹⁾ М. Волошин. «Суриков. Материалы для биографии». «Аполлон», 1916 г. № 6—7. В дальнейшем все автобиографические высказывания Сурикова приводятся по этому же источнику.

Жизнь, протекавшая за стенами дома Суриковых, была консервативна и жестока. Николаевская военщина, злобно преследовавшая все прогрессивное и революционное, в Сибири оказалась помноженной на отсталость далекой окраины; Сибирь, и в частности Красноярск, была местом ссылки и одновременно местом, где процветали наиболее хищнические формы эксплуатации и наживы. Возможность быстрого обогащения с помощью разорения спаиваемых и обманываемых «инородцев», с помощью убийств, преступлений и обманов, привлекала сюда купцов, чиновников, всяких предприимчивых людей и просто жуликов.

Колониальные формы развития этого сказочно-богатого края задерживали проникновение в него промышленности, культуры и вообще современных капиталистических форм жизни. И в быту сохранялось несравненно больше патриархального, нежели в Европейской России. Все это врезалось в память мальчика на всю жизнь. «Жестокая жизнь в Сибири была. Совсем XVII век. Кулачные бои, помню, на Енисее зимой устраивались. И мы, мальчишками, дрались».

Декабристы, польские революционеры, петрашевцы, попадая в далекую Сибирь, несли с собой все наиболее передовое, наиболее революционное, — все, что противостояло мрачному крепостничеству и деспотическому царизму.

«Мать моя, — рассказывал Василий Иванович, — декабристов видела: Бобринцева-Пушкина и Давыдова. Она всегда в старый собор ездила причащаться; они впереди всех в церкви стояли. Шинели с одного плеча спущены. И никогда не крестились. А во время ектеньи, когда Николая I поминали, демонстративно уходили из церкви. Я сам, когда мне было тринадцать лет, Петрашевского-Буташевича на улице видел. Полный, в цилиндре шел. Борода с проседью. Глаза выпуклые — огненные. Прямо очень держался. Я спросил—кто это?— Политический — говорят... Шапова тоже встречал, когда он приезжал материалы собирать...»

Таковы были впечатления детских лет, на всю жизнь врезавшиеся в память художника и сыгравшие большую роль в формировании его творчества. Наиболее сильно, однако, запечатлелись в его сознании те стороны окружающей жизни, которые были связаны с патриархальным укладом, хранившим традиции XVI и XVII веков, традиции старой допетровской Руси.

Когда мальчику было одиннадцать лет, умер отец. Через два года после смерти отца, в 1861 году, Суриков кончил уездное училище, и на этом обучение пока прекратилось, так как в семье не было средств для его продолжения.

Рисовать Суриков начал с детства. Дядя будущего художника — Хозяинов был иконописцем-самоучкой. Кроме икон, он писал большие композиции на темы ветхого завета. Впечатления от этих картин, виденных Суриковым в детстве, дополнялись пристальным рассматриванием копии иконы Казанского собора работы Шебуева и масляных картин, висевших в доме Атаманских. «Одна была, — говорит Суриков, — рыцарь умирающий, а дама ему платком рану затыкает. И два портрета генерал-губернаторов: Левинского и Степанова».

Учитель рисования в уездном училище Гребнев был первым, кто дал Сурикову более глубокое представление об искусстве живописи. Он заставлял мальчика писать акварелью с натурой виды Красноярска с холма и давал копировать гравюры с картин Боровиковского и Неффа, рисунки Рафаэля и Тициана. С восторгом он рассказывал своему ученику об Айвазовском и Брюллове.

Несомненно, Гребнев сыграл большую роль в пробуждении у юного Сурикова тяги к искусству. Суриков начинает мечтать о Петербурге с его Академией художеств и сокровищами Эрмитажа.

Но на Петербург не было средств. Их не было и на то, чтобы кончить гимназию, в которую поступил было Суриков. Василий Иванович становится писцом; занятия искусством ограничи-

ваются расписыванием пасхальных яиц и писанием икон (что, естественно, случилось не часто). Так шло до 1868 года. В этот год в жизни Сурикова произошло большое событие: у него об'явился «меценат» — золотопромышленник Кузнецов. С рыбным обозом этого мецената, посылавшего рыбу в «подарок» петербургским министрам и чиновникам, Василий Иванович Суриков в декабре 1868 года выехал из Красноярска.

После долгого пути со всевозможными приключениями 19 февраля 1869 года Суриков добрался до Петербурга.

II

Петербург встретил юного сибиряка на первых порах неприветливо. Весной Суриков сдавал вступительные экзамены в Академию художеств и не сдал рисунка. Пришлось все лето провести в рисовальной школе Общества поощрения художеств. Результатом было поступление осенью 1869 года вольнослушателем Академии; в следующем году Суриков становится «действительным» учеником Академии. До 1875 года все время проходит в упорной учебе.

В своих автобиографических рассказах Суриков очень скупо говорит об этом периоде жизни. Видно по всему, что Академия была для него лишь необходимым этапом ученья, а Петербург его мало привлекал.

Но все же Академия вначале оказала на Сурикова значительно большее влияние, нежели принято думать. По его собственным воспоминаниям, он увлекся одно время мыслью писать Клеопатру Египетскую — большое полотно в ложно-классическом духе. «Ведь у меня какая мысль была, — говорил он после, — Клеопатру Египетскую написать! Ведь что бы со мной было!».

Известно, что учитель Сурикова П. П. Чистяков всю жизнь писал так и не оконченную им картину «Мессалина». Это историческое полотно, по мысли Чистякова, должно было стать своего рода новой «Помпеей». Как Брюллов оживил в «Последнем дне Помпеи» академический классицизм свежим романтическим

дыханием, так и «Мессалина» должна была обновить историческую живопись академизма элементами реалистичности — более живым колоритом в первую очередь.

Можно предположить, что «Клеопатра» Сурикова была навеяна «Мессалиной» Чистякова. Но уже в тех картинах, которые Суриков писал в Академии: «Милосердный самарянин», «Пир Валтасара», «Апостол Павел», — мы находим нечто весьма далекое от академической живописи. Еще в Сибири мальчиком Суриков написал однажды икону «Богородичные праздники». Священник, освящавший икону, весьма неодобрительно к ней отнесся и впредь запретил юному художнику так писать.

Прошло много лет, и Суриков, уже прославленный художник, будучи на родине, поехал с братом смотреть эту икону. «Посмотрел я на икону, — рассказывал Василий Иванович, — так и горит. Краски полные, цельные: большими синими и красными пятнами. Очень хорошо».

Вот это красочное горение, стремление в колорите передать живой трепет жизни и не могло мириться ни с канонами иконописи ни с условностью академической манеры письма. Достаточно посмотреть «Пир Валтасара», чтобы убедиться в этом. И в композиции — в том переплетении фигур, которое мы видим в левой части полотна, в экспрессии фигур и лиц, — и в колорите выступают черты реалистичности.

Кроме того, надо отметить, что Суриков всегда был чужд темам мифологии и древней (нерусской) истории. Эта тяга к своему национальному, несомненно, усиливалась общей атмосферой народности, патриотизма, глубокого интереса к родной стране, свойственного всему поколению художников 60 — 70-х годов.

Любовь к России, желание работать в первую очередь над темами русской жизни пронизывают все творчество Сурикова, как и творчество Перова, Репина, Крамского и других художников. Этим они отличались от художников академизма, которые бежали от русской жизни в греко-римскую историю и ми-

фологию. Яркий пример такого бегства — творчество Семирадского, Сведомского и др.

Суриков не пошел по этому пути. К счастью для себя и для русского искусства, он не стал писать «Клеопатру» и преодолел ту раздвоенность между академизмом и реализмом, которая погубила его учителя — талантливейшего Чистякова.

В 1875 году Суриков кончает Академию. Никто из окончивших в этом году не получил заграничной командировки, по словам Сурикова, из-за растраты денег казначеем Академии. В следующем году заграничная командировка была Сурикову дана, но он отказался ехать и попросил работу в храме Христа в Москве, где в 1876—1878 гг. и написал четыре композиции, изображающие вселенские соборы.

III

Москва произвела на Сурикова огромное впечатление. Она была неизмеримо ближе к Красноярску, к впечатлениям детства Сурикова, нежели Петербург.

«Я как в Москву приехал... прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись».

Так и остался Суриков в Москве до конца жизни, выезжая временами за материалом для своих картин в Сибирь, на Дон или за границу, чтобы посмотреть картины старых и современных художников Запада. В Москве, с ее Кремлем, Красной площадью, узкими переулками, с ее насыщенностью историческим прошлым, Суриков нашел и свои темы, и свои образы.

Едва закончив заказную работу в храме Христа, он начинает писать первую большую свою композицию по свободному выбору: «Утро стрелецкой казни». Через три года, в 1881 году, эта картина была готова и появилась на Передвижной выставке.

«Утро стрелецкой казни», или, как ее называл сам художник, «Утро стрелецких казней», изображает момент расправы Петра над восставшими стрельцами. На Красной площади,

вблизи Лобного места, в дождливое осеннее утро разворачивается трагедия стрелецких казней. Стрельцов привезли на телегах, которые стоят тут же на площади; стрельцы в белых, предсмертных рубахах, с зажженными свечами в руках. Подобно волнующемуся морю, окружает ждущих казни толпа. Здесь оплакивающие их матери, жены и дети, здесь и посторонние, — многоголовая толпа народа, с любопытством и страхом вглядывающаяся в лица осужденных, молчаливо наблюдающая последние приготовления к казни. Около кремлевской стены — ровные, безучастные ряды петрова войска, впереди которого сам Петр на коне, подобно застывшему изваянию, мрачно смотрит на своих врагов, защитников старой Руси. Рядом с ним — иностранцы, бояре, придворные. Многие из них тронуты выражением народного горя, опечалены происходящим. Это настроение, ясно выраженное в их позах и лицах, еще ярче подчеркивает железную решимость Петра. А что же его жертвы? Как они относятся к приближающейся смерти? Часть из них покорно принимает свою судьбу. На их лицах мы видим уже печать отрешенности от всего земного, печать фаталистического примирения с неизбежной смертью.

Поэтому они равнодушны в данный момент и к заклятому своему врагу, к «антихристу» Петру, посылающему их на казнь. И стрелец, уже ведомый к виселице, и стрелец, вставший на телегу и прощально кланяющийся народу, и седой старик, прощающийся с родными, и углубленный в свои мысли стрелец с черной бородой, — все они замкнуты в своих предсмертных переживаниях настолько, что всё, кроме этого, их перестало интересовать, никто из них не смотрит на Петра. И только один стрелец гневно подался вперед, скрестив свой взгляд со взглядом Петра. Рыжий стрелец — весь движение, порыв, неусмиренное бунтарство. Его взгляд, его поза говорят только о том, что его ненависть к Петру и ко всем его порядкам не сломит и смерть. Таким образом, мы видим в картине: с одной стороны — дух фаталистической

покорности, воплощенный во многих фигурах стрельцов, с другой стороны — дух бунта, непокорности, фанатической веры в свое дело, воплощенный в фигуре рыжего стрельца.

Давая эти две крайности, Суриков как бы подчеркивает две стороны народной стихии, столкнувшейся с Петром: покорность и бунтарство.

На чьей же стороне художник? Бесспорно его отрицательное отношение к Петру. Его сочувствие — на стороне обреченных стрельцов и окружающего их народа; здесь он находит и многообразие характеров, и глубину переживаний, и величие бесстрашия, с которым идут эти люди на смерть; здесь находит он и внешнюю красоту в одеждах, в выразительных лицах, во всех деталях, вплоть до телег и дуг. Величие и многообразие народной массы, развернутой на фоне декоративной красоты Василия Блаженного, противопоставлено однообразию петровых войск, подчеркнутое строгостью и тектоничностью кремлевских стен.

«Я все народ представлял, — говорит Суриков о «Стрельцах», — как он волнуется «подобно шуму вод многих». Суриков стремится найти красоту и торжественность в трагическом моменте прощания. «Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь», — говорил он впоследствии. Торжественность предсмертных минут, величие характера, которое побеждает страх смерти, трагическая красота ярких одежд и белых рубах на фоне приговоров к казни, — все это говорит о том, что Суриков ищет красоту во всем, что принадлежит старой допетровской Руси. Он дает величавый и возвышенный образ этой старой Руси, содержащий в себе долю идеализации. Но в то же время это реалистический, правдивый образ.

В чем же его правда? В том, что в нем глубоко и подлинно художественными средствами раскрыты типические характеры старой феодальной России. Рыжий стрелец-бунтарь — это не только яркая индивидуальность, но и типическое воплощение народного гнева, находившего себе зачастую изуродо-

ванное, фанатическое проявление в раскольничестве, стрелецких бунтах и поднимавшегося в то же время до уровня народного революционного сознания в движениях Разина и Пугачева.

Ушедший в себя, замкнувшийся черный стрелец — это тип упорного фанатика, самосжигателя, пронсящего свою веру до конца во всех испытаниях.

В образах остальных стрельцов воплощена фаталистическая покорность судьбе. Вероятно, и на свое участие в бунте они смотрели, как на нечто предначертанное, а, будучи побеждены, увидели свою судьбу в приятии смерти от руки Петра. Этот фатализм воспитывался столетиями феодально-крепостнического гнета, прививался религией, проповедью покорности властям, непротавления злу.

Но характеры, воплощенные Суриковым в «Утре стрелецкой казни», не представляли только прошлое. Обе тенденции: бунтарство, стихийная революционная борьба с угнетателями и непротавление, фаталистическая покорность судьбе — продолжали жить в миллионах крестьянства, современного Сурикову; вторая из этих тенденций сознательно поддерживалась самодержавием, ибо она служила основой его господства. Однако, повторяем, в основе и эта сторона суриковского творчества заключала в себе правду, реализм, поскольку отображенные им черты фатализма действительно имели место в сознании масс.

Соответственно этим двум тенденциям развертывалась и борьба за идейное руководство народными массами со стороны революции и реакции.

Реакция стремилась опереться на патриархальные пережитки в народных массах, на тенденции религиозности, смирения, фатализма.

Ленин указывает, что:

«Помещичья монархия Александра III пыталась опираться на «патриархальную» деревню и на «патриархальность» вообще в русской жизни; революция разбила вконец такую политику»¹⁾.

¹⁾ Ленин. Соч., 3-е изд. т. XV, стр. 225.

Революционеры в противовес этому стремились разбудить в народных массах волю к борьбе, выдвигали Разина и Пугачева как народных героев, ukazавших путь этой борьбы в крестьянском восстании против помещиков и самодержавия.

При всей неправильности оценки исторической роли Петра I Суриков, однако, раскрыл в казни стрельцов трагедию народных масс, — трагедию, которой, в сущности, была наполнена вся петровская эпоха. Сотни тысяч людей гибли в бесконечных войнах, на стройке Петербурга, от непосильных налогов, голода и т. д., подобно тому, как гибли стрельцы. И, конечно, для большинства из них исторический смысл реформ Петра был непонятен, и Петр для них являлся воплощением какой-то античеловеческой силы.

Воплощая трагедию народных масс в условиях самодержавия, Суриков выступал как представитель патриархального крестьянства. В этом отношении у Сурикова много общего с Л. Толстым. Ленин писал, что «критика современных порядков у Толстого отличается от критики тех же порядков у представителей современного рабочего движения именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриархального, наивного крестьянина, Толстой переносит его психологию в свою критику, в свое учение»¹⁾.

«Толстой отражает их (миллионов крестьян. — А. М.) настроения так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег»²⁾). Сходные черты мы находим и в творчестве Сурикова. В своей картине «Утро стрелецкой казни» он становится на позиции патриархального крестьянства в оценке петровских реформ.

Петровские реформы всей своей тяжестью ложились на крепостное крестьянство. Петр строил свое государство «за

счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры»¹⁾.

Естественно отрицательное отношение крестьянства к этим реформам.

Историческая прогрессивность петровских реформ не устраняла того факта, что за эту прогрессивность платило крестьянство, а не помещики, приспособившие реформы к своим выгодам. Подобно этому и реформу 1861 года, объективно вызванную силой «экономического развития, втягивающего Россию на путь капитализма»²⁾, т.-е. исторически прогрессивными причинами, проводило крепостничество в своих классовых интересах. «Эпоха реформ» 60-х годов, — говорит Ленин, — оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве»³⁾.

В сознании миллионов крестьян эти реформы, таким образом, воспринимались (и не могли не восприниматься), как новые тяготы, новые угнетения, обрушившиеся на крестьянина. Миллионы крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права, «увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д.»⁴⁾.

Суриков отражает в своей картине «Утро стрелецкой казни» не только протест крепостного крестьянства против петровских реформ, проводившихся за счет крестьянства, но и протест миллионов крестьян против реформ 1861 года.

Но наряду со стихийным революционным протестом в массах патриархального крестьянства еще и в эпоху Сурикова, т.-е. в 70—80-х годах, сохранялся привитый веками фатализм, «непротивление злу», религиозные предрассудки и даже «монархические иллюзии». Эти моменты, конечно, не являлись ведущими и изживались по мере роста революционного сознания крестьянства.

¹⁾ И. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом.

²⁾ Ленин. Соч., т. XV, стр. 143.

³⁾ Там же стр. 142.

⁴⁾ Ленин. Соч., т. XIV, стр. 406.

¹⁾ Ленин. Соч., изд. 3-е, т. XIV, стр. 405.

²⁾ Там же, стр. 406.

Революция 1905 года нанесла смертельный удар всем патриархальным пережиткам и иллюзиям в сознании крестьянства.

Но в 70—80-х годах они были еще достаточно сильны, и их отразил в своем творчестве Суриков.

Суриков идеализировал патриархальность старой русской жизни.

В этом была слабая сторона его как мыслителя, а следовательно, и художника.

Сильной же его стороной была глубина и объективность отображения противоречивой сущности патриархального крестьянства, его колебаний между революционным протестом, борьбой против самодержавия—и фатализмом, непотворением злу. Суриков гениально раскрыл в своих произведениях эти противоречия, эти «две души» патриархального крестьянства.

Стасов, критиковавший Сурикова за «искусственность» в изображении Петра и его солдат, возможно, имел в виду вовсе не внешнюю изобразительную искусственность, а историческую неверность такой трактовки. В таком случае в его критике приходится признать долю истины.

Вообще, говоря о критике картин Сурикова со стороны радикальных кругов того времени, надо сказать, что она была правильной постольку, поскольку она возражала против суриковского тяготения к патриархальности, но она грешила непониманием того, что Суриков правдиво отразил в своих картинах психологию патриархального крестьянства, в котором «непротивление злу» в действительности было еще распространено. В свою очередь консервативная критика, выпячивая тягу к патриархальности, была недовольна подчеркиванием бунтарских тенденций в изображенной Суриковым массе: особенно неприятен ей был образ рыжего стрельца.

Противоречие, которое дало повод к таким различным оценкам первой картины Сурикова, не исчезло и в его последующих произведениях.

В 1883 году он создает композицию

«Меньшиков в Березове». Всесильный временщик и сподвижник Петра изображен в период своего падения и ссылки. В низкой и темной избе, вокруг небольшого стола разместились семья Меньшикова. Одна из дочерей читает священное писание, но Меньшиков далек мыслями от чтения. Его выразительное крупное, с резкими чертами, лицо напряжено, лоб прорезают морщины, взгляд устремлен куда-то в даль, рука сжата в кулак. О чем он думает, этот человек, недавно вершивший судьбами огромной империи, а теперь запертый здесь, как в клетке? Кого из врагов испепеляет он взглядом, кому из них собирается мстить, если снова вернется к власти? Как бы то ни было, он не сдастся. Сколько бы ударов ни обрушивала на его голову судьба, его характер остается таким же кремневым, и у него сохраняется воля и сила для борьбы.

В противоположность этому его дети сломлены несчастьем и покорились судьбе. Эта покорность судьбе особенно сказывается в обреченности бледного лица его старшей дочери — Марии.

Антитеза двух характеров еще ярче развернута в «Боярине Морозовой», появившейся в 1887 году.

IV,

Суриков писал «Боярыню Морозову» в расцвете своих творческих сил.

«Стрельцы» и «Меньшиков в Березове» уже выдвинули его в первые ряды русских живописцев того времени; каждое новое полотно Сурикова являлось теперь событием. После «Меньшикова в Березове» он едет за границу и там, простаивая часами около Веронеза, Тициана, Тинторетто, Веласкеза и других великанов мировой живописи, совершенствует свое мастерство.

«Кто меня маслом по сердцу обдал, то это Тинторет. Просто, говоря откровенно, смех разбирает, как он просто, неуклюже, но как страшно мощно справляется с портретами своих краснобархатных дождей, что конца не было моему восторгу», — писал Суриков из-за

границы Чистякову. Тинторетто, Тициан, Веронез и Веласкес больше всего нравились Сурикову. Уроки великих мастеров сказались в колористических композиционных решениях «Боярыня Морозовой».

Темой картины «Боярыня Морозова» явилась трагическая история фанатической поборницы раскола — Феодосьи Прокопьевны Морозовой. Принадлежала по своему положению к самому верхнему слою придворной боярской знати (муж ее был другом царя Михаила Федоровича и воспитателем царя Алексея Михайловича), Морозова связала, однако, свою судьбу с судьбой гонимого раскольников. В фанатизме и яростных обличениях «никонианцев», в том числе и царя, Морозова едва ли уступала своему учителю, знаменитому протопопу Аввакуму. По словам последнего, Морозова бросалась на врагов «аки лев», блистая «молниеносными» очами.

После смерти мужа Морозова встала в открыто-враждебное отношение к царю и патриарху. Но еще долгое время ее оставляли в покое, несмотря на то, что в ее доме жил, по возвращении из ссылки, протопоп Аввакум и что этот дом всегда был полон сторонников старой веры. За Морозову заступалась царица Мария. Но в 1669 году она умерла, и на Морозову обрушились одна кара за другой. В начале 1671 года Морозова отказалась участвовать на свадьбе царя, где она должна была говорить «царскую титулу». Осенью того же года, после ряда допросов и бесплодных увещаний, во время которых Морозова и разделявшая ее судьбу сестра ее, Урусова, продолжали стоять на приверженности старой вере, обеих сестер отправили в монастырское заточение.

Патриарх, однако, устроил еще одно увещание, которое состоялось в Чудовом монастыре в присутствии патриарха и множества духовенства. Морозова упорно стояла на своем, осыпая своих врагов всякими оскорблениями и горя желанием пострадать за «истинную веру». На другой день ее пытали; но и дыба не сломила железного характера этой женщины; когда ее поднимали на дыбу, она кричала: «Вот что для ме-

ня велико и поистине дивно, если сподоблюсь сожжением огнем в срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала!».

После пыток Морозову с сестрой отправили в ссылку в Боровск; здесь они жили в невыносимых условиях в холодной и гнилой земляной тюрьме под постоянным караулом, и здесь же весной 1675 года Морозова умерла вслед за своей сестрой, умершей за полтора месяца перед этим.

Такова история этой женщины, — история, имевшая огромный отклик не только среди раскольников, для которых Морозова стала мученицей за правду, но и среди более широких народных масс.

Царь и патриарх жестоко отомстили строптивой боярыне. И хотя она боролась за дело, которое было исторически обречено, было реакционно («до нас положено, лежи оно так веки веков», — учил протопоп Аввакум), но трагичность ее судьбы, жестокость расправы с ней не могли не вызвать к ней сочувствия среди угнетенных и обездоленных масс Московской Руси.

Впервые о боярыне Морозовой Суриков, по его словам, услышал еще в детстве. В картине Суриков изобразил момент увоза боярыни на допрос. Как и в «Утре стрелецкой казни», действующим лицом в этой картине является народ, заполнивший улицу, по которой везут боярыню.

В центре построенной по диагонали композиции — едущие дровни, на которых сидит боярыня. Лицо ее обращено к толпе народа, теснящейся у дровней. Высоко подняв правую руку, сложенную в двухперстном знаменнии, боярыня обращается к толпе с последним призывом следовать ее примеру. На ее бледном, с резкими чертами, лице ярко выделяются горящие фанатической страстью и верой глаза. Одета боярыня в черную шубу, ярким пятном выделяющуюся на фоне цветных одежд толпы. В правой части картины мы видим лица, сочувствующие боярыне: рядом с санями идет ее сестра Урусова, за ней склонилась на колени странница-нищая с сумой и посохом, она кланяется боярыне и гово-

рит ей последние слова прощания; прямо на снегу сидит юродивый, поджав под себя голые ноги, рука его, благословляющая боярыню, сложена двухперстно. За этими фигурами мы видим странника-монаха, молча переживающего трагедию Морозовой: его левая рука напряженно сжимает посох. Дальше видна голова и рука крестящегося человека: и он сочувствует боярыне. Слева от них под ряд стоят три женщины, из них особенно выразительна фигура склонившейся боярышни, две другие женщины взглядами, полными печали и сожаления, прощаются с боярыней, но дальше, влево, мы видим лица, на которых уже не скорбь, а насмешка и глумление.

Смеется возница, смеются некоторые обыватели и мальчишки, ехидно смеется в левом углу картины поп-никонианец, злорадно указывающий пальцем на Морозову.

Фигура Морозовой написана Суриковым с необычайной силой. Он долго искал позу и лицо боярыни, долго искал ее положение в толпе. Много лиц он перепробовал, но все, по его словам, было не то, слишком мелко; вставишь лицо в картину, а толпа его бьет. И только случайно, увидев одну начетчицу с Урала, он, наконец, отыскал то, что ему надо было. «И как вставил ее в картину, она всех победила».

Вся картина получила исключительную убедительность. «Всякий, — писал В. Гаршин, — кто знает ее (Морозовой. — А. М.) печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Феодосью Прокопьевну иначе, как она изображена на его картине».

«Боярыня Морозова» была встречена почти всеобщим признанием. Не только Гаршин и Короленко восхищались ею, но и Стасов, сравнительно холодно отзывавшийся о «Стрельцах», прямо тут же на выставке бросился обнимать Сурикова, поздравляя его с блестящим полотном.

Суриков дает трагедию Морозовой на фоне молчаливого сочувствия одной части толпы, покорного смирения другой и, наконец, насмешки третьей. Подчер-

кивание пассивности толпы вызвало возмущения некоторых критиков — современников картины. Так, критик Воскресенский уже тогда возражал против положительной трактовки религиозного подвига Морозовой. По мнению Воскресенского, Суриков дает зрителю неправильную историческую перспективу, заставляя его сочувствовать реакционному движению, защите старины от прогрессивных новшеств. «Настроение толпы, — говорит Воскресенский, — слишком односторонне: кроме ужаса, сострадания и тупой покорности, едва ли можно уловить в картине еще какое-нибудь душевное движение; а ведь эта толпа отсиживалась в Соловках, принимала участие в стрелецком бунте, в бунте Пугачева».

В менее резкой форме та же критическая нота выступает и у Гаршина. Он говорит, что если бы дать власть Морозовой и Аввакуму, то они пролили бы реки крови во имя «старой веры». Между тем Суриков, давая отрицательный образ попа-никонианца, радующегося насилию, не вскрывает реакционного характера самого староверчества. Наконец, в высказываниях Стасова мы найдем характерное противопоставление суриковской трактовки раскола — трактовке Перова. Откуда появилось это противопоставление? Очевидно, Стасов считал, что картина Перова «Никита Пустосвят» более правильно трактует раскол, поскольку героем здесь является вождь раскольничьих низов, отразивший в своих выступлениях не только борьбу за старину, но и протест масс против растущего абсолютизма и крепостного закабаления народа.

Таким образом, признавая огромное значение новой картины Сурикова, ряд критиков в то же время возражал против данной им трактовки раскола. В этих возражениях есть доля истины. В «Боярыне Морозовой» Суриков дает ту же борьбу двух начал, что и в «Утре стрелецкой казни», но здесь дух борьбы воплощен у него не в образе носителей протеста самих масс, а в образе фанатического «страдания за веру».

Изучение творческого наследия Сурикова позволяет нам, однако, с полной

уверенностью сказать, что художник тянулся к образам, воплощавшим протест народных масс. В год окончания «Морозовой» Суриков создает эскиз картины «Степан Разин». В этом эскизе он показывает разинщину как грозное, массовое движение: весь простор Волги занят казачьими стругами, на атаманском струге возвышается пушка; вся флотилия в боевой готовности движется навстречу битвам с царскими воеводами.

Осуществившись эта картина, мы, несомненно, имели бы величайшее из полотен русской живописи.

Но Суриков прекращает работу над этим эскизом. В его творчестве намечается перелом. Некоторые критики думают, что причиной такого перелома явилась смерть жены (в апреле 1888 года). «Не случись рокового события, — говорит один из таких критиков в недавно вышедшей книге о Сурикове, — ... всего вероятнее, через два-три года появился бы «Стенька Разин», а не двадцать лет спустя, как случилось». Нет необходимости отрицать, что смерть жены сильно подействовала на Сурикова. Он уезжает в Красноярск, где в 1889 году пишет картину «Христос, исцеляющий слепого». Он ищет успокоения в религии. Но, по собственным словам Сурикова, в Сибири он постепенно излечился от тоски и «от драм к большой жизнерадостности перешел». Эта жизнерадостность воплощена в его полотне «Взятие снежного городка» (1891 г.). Суриков вспомнил здесь свое детство и в полной бодрости картине показал традиционную сибирскую игру, о которой рассказал в своих воспоминаниях. «По обе стороны народ стоит, а посредине снежная стена. Лошадей от нее отпугивают криками и хворостинками бьют: чей конь первый сквозь снег прорвется». После «Взятия снежного городка» Суриков пишет «Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.). Картина появилась к 400-летию юбилею покорения Сибири.

Темой картины является решительный бой дружины Ермака с войсками сибирского хана Кучума на реке Иртыше. Сражающиеся сидят и стоят в

лодках, частью же прямо в воде. Могучим треугольником врзается войско Ермака в рассыпанные ряды кучумовцев. Казаки — все один к одному — богатыри, бесстрашно идущие в бой под своими знаменами, на одном из которых видим изображение «Спаса нерукотворного». Победа компактной, богатырской массы дружины Ермака над кучумовцами неизбежна. Суриков подчеркивает это и в композиции, поднимая казаков над кучумовцами. Стрелы последних ложатся на воду без вреда для казаков, в то время как ружейный огонь казаков вносит смятение и смерть в ряды их врагов. Татарская конница бессильно мечется на высоком берегу Иртыша. Белесоватый сумрак сибирского дня и неприветливые голые берега Иртыша говорят о суровости природы Сибири. Неприветливость природы еще больше подчеркивает героизм казаков.

«Покорение Сибири» написано с большим мастерством. Поездки на Дон и Сибирь в поисках материалов для картины позволили Сурикову создать ряд блестящих образов казаков и татар (для того, чтобы написать их, художник специально изучал остяков).

Следующей большой картиной Сурикова является «Переход Суворова через Альпы» (1899 г.). Здесь художник ставил своей целью показать героичность похода русской армии в 1799 году. Верный своему реалистическому принципу, Суриков сам проделывает путь суворовской армии, стремится реально почувствовать обстановку и трудности похода вплоть до того, что сам с'езжает с гор.

В картине как-раз выбран момент, когда солдаты стремительной лавиной с'езжают с горы, напутствуемые ободрениями и шутками Суворова. Суриков хотел воплотить в этой картине героизм и бесстрашие русских солдат, и это ему удалось. В то же время надо отметить, что в «Переходе Суворова через Альпы» мотив исторической трагедийности, на котором строились предыдущие картины Сурикова, уступает место мотиву жанрового драматизма. Вместе с тем Суриков здесь отстраняет те моменты

стихийного протеста и бунтарства масс, которые мы видели особенно ярко в «Утре стрелецкой казни» и первом наброске «Разина».

В отстранении этих моментов, в постепенном снижении трагедийности, наконец, в известной живописной ослабленности картины «Переход через Альпы» и сказывается наступающий кризис творчества Сурикова. Ярче всего этот кризис сказался в «Разине». Долго работал над ним Суриков, в 1906 году картина была окончена и выставлена, но затем художник снял ее с выставки и снова начал переделывать. Только в 1910 году она была окончена.

В окончательном варианте «Разина» Суриков устранил характер массового движения, который был дан в его наброске в 1887 году. Мы видим здесь лишь один струг, в центре которого полулежит в глубоком раздумье Степан Разин.

Героика массового движения, намеченная в первом эскизе, сменилась в картине лирическим мотивом одинокого раздумья. Казаки заняты своими делами: кто гребет, кто дремлет, кто просто рассматривает просторы Волги. Эта замкнутость переживаний каждого из персонажей, отсутствие объединяющего настроения, которое так мощно звучит в «Стрельцах» и «Морозовой», наконец, этюдность «Разина», отсутствие в нем подлинной монументальности — говорит об упадке эпического, мощного таланта Сурикова. Из этого, конечно, не следует, будто «Разин» слабая картина. Нет, она написана очень сильно, свежо по живописи, по чувству пространства. Но в общем контексте творчества Сурикова она означает отход от эпических тем, от воплощения величественных народных трагедий.

В последние годы своей деятельности Суриков иногда снова обращался к своим старым, издавна лелеемым замыслам: к теме Красноярского бунта 1695 года (имеется два наброска к композиции на эту тему) и Пугачева. В 1910 году Суриков встречает человека, похожего на Пугачева, как он себе его представлял, и, загоревшись мыслью о картине, набрасывает ее эскиз, изб-

раяя Пугачева запертым в клетку и закованным в кандалы.

Над темой Красноярского бунта Суриков думал не раз; в одном эскизе он показывает сцену расправы над царскими воеводами, посаженными в лодку, в другом — очевидно, начальный момент восстания, когда возмущенные толпы народа бегут по улицам города. Стасов мечтал о том, чтобы Суриков создал такую картину. Но оба эти замысла, как и ряд других, остались неосуществленными.

Картины последних лет жизни Сурикова, появлявшиеся на выставках «Союза русских художников», уже не привлекали того внимания, что прежние его полотна. И по содержанию и по живописи они были неизмеримо ниже его первых произведений.

Умер Суриков 6 марта 1916 года.

V

Некоторые историки считают творчество Сурикова чем-то совершенно обособленным от общего художественного движения в России второй половины XIX века. Это, конечно, неверно.

Правдой является то, что виднейшие идеологи передвижничества не поняли всего значения творчества Сурикова. Известно, что Стасов довольно сдержанно отнесся к «Утру стрелецкой казни» Сурикова. Отмечая човизну и значительность общего впечатления от «ватаги стрельцов», Стасов не считал картину Сурикова вершиной исторической живописи.

Крамской, в свою очередь, видел в картинах Сурикова «какой-то древний дух и один только запах», но не больше.

Суриков, конечно, перерос передвижничество. Но в то же время он был связан прямой преемственностью с реализмом русской живописи 50—60-х годов.

Без реализма 50—60-х годов не было бы реализма 80-х годов; без Перова не было бы Репина и Сурикова. Только так должен быть поставлен вопрос, если мы подойдем к наследию Сурикова исторически.

Перов и представлявшееся им направление идейного реализма в русской живописи являются начальным истоком всей реалистической русской живописи второй половины XIX века¹⁾.

Они выдвинули и осуществляли требование правдивого показа реальной жизни, притом не жизни верхушки общества, которой служили своею кистью Кипренский, Брюллов и другие художники первой половины XIX века, а жизни народа: крестьянства, городской бедноты, интеллигенции.

Они обратились к русской жизни, к русской природе и внесли в искусство то чувство национального, родного, которого не было у академической, итальянизированной живописи.

Они считали вслед за Чернышевским, что только значительное содержание, достойное мыслящего человека, способно оправдать создание художественного произведения, потому они всегда стремились воплотить в картине общественно значимую идею.

Они считали, что своим искусством должны служить народу: в первую очередь крестьянству, которое для них олицетворяло народ. И лучшие русские художники-реалисты бесспорно отражали в своих произведениях интересы и чаяния миллионов крестьянства, широких народных масс со всеми противоречиями этих чаяний. Эти художники воплотили в своих образах и протест масс против самодержавия, полицейщины и поповщины, демократические идеи масс, зреющие в них революционные силы и наряду с этим патриархальные пережитки, в большой мере еще сохранившиеся в крестьянстве.

Они сделали это в реалистических, понятных и в то же время высоко художественных формах. Содержательность — вот одна из основных черт русского реалистического искусства 70—80-х годов. И у Репина, и у Сурикова малейшая формальная деталь глубоко содержательна. Композиция, колорит, фактура существуют не сами по себе, а в связи с содержанием. Так, ком-

позиция «Стрельцов» построена на противопоставлении Петра и его войска на фоне Кремля—народу на фоне храма Василия Блаженного. Чтобы достичь этого, Суриков придвигает храм ближе к месту действия, нежели это есть в действительности. Храм нужен, чтоб подчеркнуть характер толпы, а стены Кремля — характер Петра. И архитектура и другие моменты композиции, рассматриваемые формалистами лишь с точки зрения «равновесия масс», у Сурикова глубоко содержательны.

Не менее ясна и содержательность колорита. Черная шуба на белом снегу Морозовой это не просто формальный красочный контраст; нет, этот контраст подчеркивает характер Морозовой — ее фанатизм, упорство и в то же время ее обреченность. Зловещая судьба Морозовой как бы уже воплощена в этом резком контрасте ее черной фигуры и света дня, белого снега, ярких одежд провожающих.

Содержательность, идейность произведения при глубоком реализме как образов, так и формальных приемов — является основой создания больших произведений искусства.

Эта основа была у Сурикова, как была она и у Репина.

Реализм и народность их искусства, сочетавшиеся с огромным мастерством, опиравшиеся на лучшие достижения мировой живописи, явились той почвой, на которой выросли произведения, стоящие в ряду лучших шедевров мирового искусства.

Образы Сурикова покоряют своей необычайной жизненностью, своей непререкаемой убедительностью. «Кажется, вы стоите среди этих людей и чувствуете их дыхание» — сказал Гаршин о «Боярыне Морозовой». Это очень верно. Для каждого лица, для каждой детали картины Суриков искал прообраз в окружающей его действительности. Так, боярыню Морозову он сначала писал со своей тетки Авдотьи Васильевны (муж которой Степан Федорович послужил прообразом для стрельца с черной бородой в «Утре стрелецкой казни»), а затем с одной уральской начетчицы.

¹⁾ В свою очередь идейный реализм имеет своим предшественником бытовой реализм Федотова.

Для образа священника, злорадствующего над Морозовой, Суриков использовал тип дьячка-пропойцы, врезавшийся в его память еще в детстве, когда он однажды ехал с этим дьячком в школу. «Это когда меня из Бузима еще учиться посылали, раз я с дьячком ехал — Варсонофием, — мне восемь лет было. У него тут косички подвязаны. Везжаем мы в село Погорелое. Он говорит: Ты, Вася, поддержи лошадь, я зайду в капернаум (кабак). Купил он себе зеленый штоф, и там же клюнул. «Ну, говорит, Вася, ты правь». Я дорожку знал. А он сел на грядку, ноги свесил. Отопчет из штофа и на свет посмотрит... всю дорогу пел, не закусывая, пил». Используя эти воспоминания, ассоциированные у него с пушкинской сценой в корчме («Борис Годунов»), Суриков создал замечательный тип злорадствующего попа, в облике которого обобщены как моральные, так и внешние характерные особенности служителей церкви. В группе сочувствующих боярыне дан благословляющий ее юродивый. И он взят Суриковым из жизни. «А юродивого я на толкучке нашел. Огурцами он там торговал. Вижу — он. Такой вот череп у таких людей бывает... Еле уговорил его... В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер. Алкоголики ведь они все. Он в одной холщевой рубашке босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели».

Но не только образы людей, а и внешнюю обстановку — дома, церковь, дровни, все вплоть до таких деталей, как колеи от розвалов и посох в руках у странника, Суриков писал с натуры. «Все с натуры писал, — говорил Суриков. — И сани и дровни. Мы на Долгоруковской жили... Там в переулке всегда были глубокие сугробы и ухабы и розвальня много. Я все за розвальнями ходил, смотрел, как они след оставляют, на раскатах особенно. Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе на розвальнях проехать, чтобы снег развалило, а потом начнешь колею писать. И чувствуешь здесь всю бедность красок. И переулки все ис-

кал, смотрел, и крыши где высокие. А церковь-то в глубине картины—это Николы, что на Долгоруковской».

В 1885 году Суриков жил в Мытищах. И здесь он все искал материала для картины, «ловил штрихи». Однажды увидел он: идет богомолка с посохом, как-раз таким, какой был нужен в картине для странника. «Я схватил акварель, — говорит Суриков, — да за ней. А она уже отошла. Кричу ей: «Бабушка! Бабушка! Дай посох!». Она и посох-то бросила — думала, разбойник я».

Так создавалась «Боярыня Морозова». Так же создавались и «Стрельцы». Стрелец с черной бородой написан с дяди художника Степана Федоровича, бабы — с «сарафаницы», бывших в родне Сурикова, старик — со ссыльного. «Помню, — говорит о нем Суриков, — шел, мешок нес, раскачивался от слабости — и народу кланялся». Рыжий стрелец — с могильщика Ваганьковского кладбища Кузьмы.

В период создания «Стрельцов» Суриков ходил по рынкам, писал телеги, дуги, оглобли, колеса. Казалось бы, это детали, но Суриков особенно упорно работает над ними. «А дуги-то, телеги для «Стрельцов» — это я по рынкам писал. Пишешь и думаешь: это самое важное во всей картине. На колесах-то грязь. Раньше-то Москва немощеная была — грязь была черная. Кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо. И вот среди всех драм, что я писал, я эти детали любил».

Телеги в «Стрельцах» с приставшей к ним грязью, следы колес и ног... на сырой от дождя земле, — все эти детали создают реальную, правдивую обстановку, в которой разворачивается историческая трагедия. Этим и достигается, наряду с правильностью общего, реализм единичного, детального. В картинах Сурикова каждое лицо живет своей особой, неповторимой жизнью, каждое является типом, но все вместе они восходят к более общему, групповому характеру. Рыжий стрелец и Морозова—это совершенно разные типы, но и они восходят к одному волевому,

кремневному характеру, так же как другие персонажи восходят к характеру фаталистическому, приемлющему судьбу.

В свою очередь из этих различных характеров — из волевого, твердого, готового к борьбе и из фаталистического, покорного судьбе — из различных чувств, которые воплощают герои, складывается образ целого народа, как его представлял себе Суриков.

И бесспорно, что в этом образе воплотилась большая доля исторической правды.

Суриков в лучших своих картинах сумел раскрыть величие характера русского народа. Само собою разумеется, идеализация пассивных, фаталистических черт этого характера, превращение этих черт: готовности к страданию, непротивление и т. д. — в вечное свойство «души русского народа», говорит об ограниченности мировоззрения художника. Но наряду с этим он с гениальной силой и глубоко-правдиво отобразил многие исторически верные черты характера русского народа, характера угнетенных масс, как он, этот характер, складывался и проявлял себя в условиях старой России.

Вся обстановка детства и юности Сурикова воспитывала в нем огромную любовь к своей стране, чувство гордости за свой народ, страдания, а вместе

с тем и величие характера которого он воплотил в лучших своих картинах.

Все творчество Сурикова насыщено глубокой народностью и горячим патриотизмом в лучшем смысле этого слова.

Наследие Сурикова имеет для нас огромное значение. У него наши художники должны учиться народности и реализму, органическому слиянию формы и содержания.

Вместе с Перовым и Репиным Суриков замечателен тем, что он выдвинул массу как героя своих произведений, что он вынес действие своих полотен на улицы и площади, что он показал исторические события и трагедии в той реальной среде, в которой они совершались.

Суриковский фатализм и обреченность чужды нам, но человечность, которая пронизывает его картины, героизм, воля к борьбе и другие черты созданных им характеров всегда будут близки нам. Эти черты не умерли, в новой форме они живут в людях нашей страны, и почетная задача советского художника: учась у Сурикова, суметь воплотить новые советские образы и характеры с такой же силой, с таким же мастерством, как это сумел сделать гениальный русский художник в отношении старой Руси.

Библиография

1. Избранные стихотворения Шиллера. — Н. Славягинский. 2. ДЖОН ЛЭНГДОН-ДЕБИС „Внутри атома“ — В. Е. Львов

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ШИЛЛЕРА

Выпущенная Гослитиздатом книга избранных стихотворений Шиллера была запоздалым откликом на стотридцатилетнюю годовщину со дня смерти великого немецкого поэта.

Сделана книга во всех отношениях небрежно. В подборе стихотворений редакция следовала дореволюционным изданиям. В сборник не вошла, например, характерная для Шиллера эпохи «бури и натиска» гневная ода «Дурные монархи»: не вошло стихотворение-диалог «Цезарь и Брут», очень слабое отражение получила юношеская «Антология на 1781 год». Таким образом, затушевана наиболее революционная пора творчества Шиллера, и редакция, не продумав хорошенько плана книги, сыграла на руку фашистскому литературоведению, культивирующему некоторые отсталые стороны в поэзии Шиллера и замалчивающему то, что для него наиболее существенно: идею свободы, воодушевляющую его творчество, которое носит в своей основе глубоко прогрессивный характер.

Более подробного рассмотрения заслуживает сделанная в этой книге попытка массовой ревизии старых переводов Шиллера. Говоря открыто, многие переводы Ф. Тютчева, А. Фета, Л. Мея, К. Фофанова, Ф. Миллера, П. Вейнберга, О. Чюминой и др. выброшены вон и заменены другими, далеко не всегда удачными, переводами А. Кочеткова.

Неясно, какими мотивами руководился редактор книги при этой замене. Вполне удовлетворительные и даже просто хорошие переводы сплошь да рядом заменены худшими. Тогда как такой перевод, как «Покрытый истукан в Саисе» М. Михайлова оставлен, хотя вместо пятистопного ямба без рифмы здесь переводчик дал шестистопный рифмованный.

Но, прежде всего, в подавляющем большинстве случаев замена не оправдана с качественной стороны.

Возьмем, например, стихотворение «Прощание Гектора», которым открывается сборник. Лучший и достаточно точный перевод принадлежит Л. Мею.

Не было никакой надобности заменять этот перевод новым. Неудачно начало этого стихотворения у Кочеткова. Во второй строфе половина стихов взята у Л. Мея с заменой лишь одного слова «отойду» на «низойду». Банально передан стих Шиллера, в прозаическом переводе означающий: «Вымрет великий героический род Приама». У Кочеткова «Отцветет Приамова семья». Неправильно «мышление» заменено «томлением». Неудачно передан тот стих Шиллера, где Гектор говорит, что в реке забвения, Лете, погибнет все, «но не моя любовь». У А. Кочеткова: «смоет все, но не любовь», отчего этой мыслью, очень сильно выделенной ритмически и интонационно Шиллером, придан общий характер, тогда как там она тесно связана с личностью героя.

Еще хуже переведено следующее за этим стихотворение «Амалия», особенно вторая и третья строфы, в которых переводчик употребляет такие выражения: «звуки арф... сводят небо в гармоничный такт», «вздыхались губы пламенными волнами»... Это издевательство над языком и безвкусица, которых нет и в помине у Шиллера.

Но, поистине, чем дальше в лес, тем больше дров. В «Лауре за клавином» встречаются просто комические стихи, в которых Шиллер нисколько не повинен. Например:

Внемлют зову наслажденья
Жизни смолкшие виденья.
Звуки им, колдунья, как
Взоры мне, — веленья знак.

Последние два стиха с излюбленной переводчиком рифмой на «как» по своей неуклюжести и малопонятности соревнуются с последними же стихами третьей строфы этого стихотворения:

Как из Хаоса гигантских дланей
Мчатся солнца — вихрь огнистых ланей,
Чуж творческий налет, —
Волхвованье звуков бьет.

Кстати сказать, никаких «огнистых ланей» у Шиллера нет. Это «красивость», которую ради рифмы и красного словца переводчик

заменял «вихрь творенья» (Schöpfungsturm) у Шиллера. Мы встречаем в переводе этого стихотворения нелепость вроде: «ручей кремнистый плещет влагой серебристой». Сказать «ручей кремнистый» то же, что «ручей бульжный», «ручей гранитный». Сравни у Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит.

Стих, означающий «толпятся исполненные души (чувства) гармонии» (Seelenvolle Harmonien wimmeln) передан напыщенно и нелепо:

Плещут крылья сдавленных (!) гармоний.

Эпитеты передаются кое-как. В «Фантазии к Лауре» в стихе: «Нудит сердце к дикому полету» следовало поставить: «к быстрому полету». Никаких прпятствий метрико-ритмического характера к точной передаче эпитета Шиллера у переводчика здесь не было.

Презрительное третирование оригинала, неуважение к переводимому поэту, безответственность, развившаяся у А. Кочеткова, быть может, от постоянной работы по плохим подстрочникам с незнакомых ему языков, — вот неприглядная картина, которая встает перед нами при знакомстве с его переводами Шиллера. Приводимый в дальнейшем материал подкрепит этот вывод.

Стих, означающий «за твоей спиной скажут пьяные сосны» (Hinter dir die trunknen Fichten springen), А. Кочетков передает:

Пляшут сосны, пламенны и хмуры.

Подобные неточности, грубые извращения, отсебятина встречаются на каждом шагу. В стихотворении «Гайна воспоминания» выброшены две строфы.

В стихотворении «Руссо» (старый перевод принадлежит Л. Мюю) не передана полная энергия анафора в четвертом, пятом и шестом стихах. Зато переводчик щегольнул омонимной рифмой, которой нет у Шиллера:

Мир осколкам рухнувшего мира
На земле ты не изведал мира.

Когда читаешь и сравниваешь соригиналом переводы А. Кочеткова, не знаешь, который из его переводов хуже.

Очень скверно переведено стихотворение «Элизуим». Начало его, где говорится, что среди радостных пиров Элизия тонет любой вздох, А. Кочетков передал так:

Да смолкнут печальные зовы!

Элизия пирные кровы (?)

Не терпят отзвука дней (?)!

Слова «бесконечная радость переполняет сердце» переданы следующими стихами:

Восторг без начала (?)!

Льет к сердцу огнем (!)

Одно дело «бесконечная радость», другое дело — «восторг без начала», т.е. восторг, который даже и не начинался. Первый стих последней строфы «Элизума», означающий «здесь обнимаются верные супруги», передан так:

Здесь счастливцев, связанных (!) четами.
Неужели переводчику не жалко счастливцев этой райской обители древних, «связанных четами»? Неужели он не краснеет, приписывая подобный вздор Шиллеру?

В стихотворении «Непобедимый флот» есть следующие стихи:

Флот, миру гибелью грозящий,
Приблизился — и вихри смэлкли вмиг.
Тебя армада обстает,
Счастливый остров — госпожа
морская.

Общеизвестное образное выражение «Англия — владычица морей» (Herrscherin der Meere) А. Кочетков заменяет своим «госпожа морская». Может найтись другой переводчик, который напишет «мадам морская» и будет гордиться точностью и оригинальностью своего перевода.

Комичен конец этого стихотворения, где Бог говорит, наподобие мятевской госпожи Курдюковой, «путешествующей за границей, дан л'этранжэ»:

«Век, — он вскричал, — свободы парадиз,
Живи, — не рушься. доблести ограда!»
Бог всемогущий дунул вниз —
По всем ветрам развеялась армада.

А. Кочетков совершенно не способен перелать философский характер лирики Шиллера. Он заменяет слово «мышление» — «томление», вместо «чувствующий» ставит «смыслящий». Слово «вселенная» (das All) беззаботно переводит «цельность», загадывая читателя загадку («Фантазия к Лауре»). Многие места его перевода, надо сказать прямо, обнаруживают в нем недостаточное знание немецкого языка. Это подтверждается уже приведенным материалом и множеством других мест его переводов. Например, он наивно переводит «Weltmeer» — «всемирный океан», хотя это слово означает просто «океан». В «Фантазии к Лауре» он делает грубые промахи, опять-таки вследствие недостаточного знания языка. В восьмой строфе он принял «Die Sehne» — жила за «das Sehnen» — страстное, сильное желание, стремление, порывание, тоска по чем-нибудь. Получилось:

За предел взбухают (!) все порывы (?!),
Кровь вздымается из берегов.

Переводы А. Кочеткова из Шиллера — книга грубых промахов, самодовольного третирования великого немецкого классика, книга злостных пародий на него. Когда читаешь эти переводы, становится страшно за Шиллера. И страшно за Гете, так как А. Кочетков был одним из основных переводчиков лирики Гете в первом томе юбилейного издания Гослитиздата, выпущенного несколько лет назад и вызвавшего справедливые нарекания критики.

«Примечания к стихотворениям» и «Объяснения отдельных слов» (два раздела, на которые разбит пояснительный материал книги) составлены с вопиющей неряшливостью. Прежде всего следует указать, что оба

раздела неотчетливо разграничены: ожидаешь увидеть объяснение в одном разделе, а находишь в другом. Например, в алфавитном списке объяснений отдельных слов нет слова «Бренн», — оно помещено в примечаниях к стихотворениям, тогда как другие собственные имена внесены в этот список.

Но, поистине, лучше было бы анонимному комментатору это слово не пояснять. Оно встречается у Шиллера в стихотворении «Начало нового века», где сказано:

Франк свой меч, как Бренн в былые годы,
На весы закона положил.

Объяснение дано следующее:

«Бренн (в тексте с одним «н», в примечаниях — с двумя) — легендарный вождь галлов, потребовавший после победы над Римом огромную контрибуцию».

Историки называют Бренном того вождя галлов, которые вторглись в Италию и 16 июля 390 г. до н. э. взяли Рим. Когда римляне при уплате контрибуции золотом пожаловались стоявшему подле Бренну, что их обвешивают, тот прибавил к гилям на весы свой тяжелый меч, сказав: «Горе побежденным!» Без ссылки на этот случай намек Шиллера на меч Бренна остается нераскрытым.

Далее в комментариях встречается такое объяснение: «Правя дикими волами» — намек на мифического героя Язона, впрягшего коней в алмазный плуг».

Здесь — разногласия. У Шиллера говорится об огонь извергающих быках (die feuersprühende Stiere). Комментатор говорит о конях, поясняя то место, где у переводчика сказано: «правя дикими волами». Место это, говоря попутно, курьезно переведено А. Кочетковым. Эпитет «дикие» не подходит к слову «волы». Вол флегматичен, медлителен. Вол, по Далю, — «укрошенный (кладенный, легченый) самец домашней крупного скота».

Забавно, что приходится давать переводчику такую справку. Но не менее забавно приведенное выше объяснение комментатора, будто Язон впряг огнедышащих коней в алмазный плуг. На самом деле в мифе об аргонавтах рассказано, что, когда предводитель аргонавтов Язон потребовал у царя Колхиды золотое руно, тот обещал отдать руно, если только Язон поймает двух извергающих огонь быков с медными копытами и, запрягши их в алмазный плуг (т. е. в стальной плуг; у греков сталь и алмаз обозначались одним и тем же словом), вспашет участок земли и засеет борозды драконовыми зубами.

О харитах в примечаниях сказано, что это «прислужницы Венеры», но не пояснено, что «хариты» — это греческое слово, равнозначащее латинскому «грации» — слову, широко известному.

«Оклеев сын» пояснено: греческий воин Аякс, тогда как в греческом войске, осаждавшем Трои, было два Аякса.

Транскрипция ряда собственных имен не правильна. Анонимный составитель комментария пишет: «Терсид», а не «Терсит»; «Кл-

прида», а не «Киприда»; автора средневековой хроники Эгидиуса (Эгидия) Чуди он называет Евгением Чуди.

Не пояснен латинский эпитаф к «Песне о кскоколе».

Классический эпитет Геры (Юноны), супруги Зевса (Юпитера) — «волоокая» отнесен к Афродите (Венере). Комментатор пишет: «Волоокая — имеется в виду Афродита, — богиня любви». Он пишет это, не моргнув глазом, хотя текст строфы, где встречается это слово, противоречит данному им объяснению.

Весь комментарий производит такое впечатление, точно он написан по смутным воспоминаниям детства комментатора.

Н. Славягинский.

Джон Лэнгдон-Девис. — «Внутри атома». Перевод с английского. Редактор В. Рожицын. ОНТИ. 1936.

Студент Беляев из тургеневского «Месяца в деревне», тот самый, который переводит французское слово «катрвэндис», как «четыре—двадцать—десять», открыто признается: французского языка ни слова не знаю. А роман Поль де-Кока «Монфермельская молочницу» за пятьдесят рублей ассигнациям все-таки перевел: «потому нужда заставила».

Это было честно. А вот Рожицын, редактор перевода «Внутри атома», невинно вперив взор в глаза советского читателя, пишет:

«Едва ли можно назвать в литературе другую книжку, в которой основные вопросы теории строения материи были изложены с большей простотой, легкостью и умением... Автор не только излагает и объясняет факты, но и учит научно мыслить... Все использованные им образы, сравнения и метафоры представляют собою средства для достижения вполне научного понятия о мире» (стр. 7).

Для тех, кто сомневается, вот образчики: «Вообрази вечер, на который приглашено сто мальчиков и сто девочек. Ты представляешь себе, как они будут держать себя, играя и танцуя... То же самое и с кирпичами мироздания». «Огромный танцевальный зал — капля воды». В нем обнаруживаются «танцоры кислорода, готовые к танцу» и «танцоры водорода, готовые к танцу» (стр. 29—31). Прилагаемый рисунок свидетельствует и впрямь, что «отдельные танцоры — это атомы», а нежно прижавшиеся друг к другу парочки — молекулы.

Выясняется попутно, что «молекулы железа настроены серьезно... вовлечь их в пляску не так легко» (стр. 44).

Но это далеко не всегда. Чаще же всею «молекулы желят танцевать», и так как вдобавок «разговаривать они не в настроении» и «в зале давка такая, что едва можно двигаться, разговаривая друг с другом», то в результате «воздух превращается в жидкость» (стр. 59).

Это — теория сжижения газов. А вот механика велосипедного насоса:

«Молекулы не желают сидеть в тесноте и выталкивают поршень». «Если бы шина умела говорить, она сказала бы: мне очень не хочется тратить энергию на растягивание, но, как видно, ничего не поделаешь, пойдем на соглашение» (стр. 56—57).

Хороша также теория строения атома. «Элементы предпочитают, чтобы кольца их содержали полные наборы электронов... Они чувствуют себя лучше, если внешнее кольцо целиком заполнено». «Водород, в частности, предпочитает быть легко одетым, зато бедный кальций ходит в четырех одеждах. Удивительно ли после этого, что в особенно сильную жару, он начинает сбрасывать одну одежду за другой!» (стр. 97 и 106).

Сумасшедший бред? Разжижение мозгов в «особенно сильную жару», когда начинают сбрасываться один за другим последние остатки здравого смысла у тех, кто писал и кто подписывал к печати всю эту галимать и кто ее издавал в восьми листах и в десяти тысячах тиражных экземпляров?..

Как сказать! Вот автор, например, Джон Лэнгдон-Девис, автор здесь, по совести говоря, уже совершенно не при чем. Автор Джон Лэнгдон-Девис — известный в Европе литературный закройщик из тех, что, потрафляя невзыскательным вкусом английских, заботящихся о «развитии» своих чад, мамаш, поставляют этим последним незатейливую окрошку из лихо отплясывающих молекул, «поливаемых жидким воздухом золотых рыбок» (есть и такое: стр. 61) и до неузнаваемости перевернутых «научных» сведений, — автор этот никогда и не думал скрывать истинного названия своего ремесла. Vulgarisation of science. Вульгаризация или — лучше сказать — опошление науки.

Ремесло это (осложненное в русском издании вмешательством редактора и переводчика) позволяет, для примера, писать:

«Атом радия подобен машине, не нуждающейся в топливе и не перестающей работать» (стр. 82).

«Молекулы воздуха, т.-е. атомы кислорода и водорода» (стр. 59).

«Нет ничего холоднее твердого водорода» (стр. 62).

«Фраунгоферовы линии не что иное, как следы, оставляемые электронами». «Каждый раз, когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, ...атом выделяет что-то, воспринимаемое глазом в виде темной линии» (стр. 108—110).

«Ляг (!) в купальном костюме на песок. Тебе скоро захочется встать», потому что «молекулы желают танцевать в общем зале» (стр. 64).

Можно было бы освободить читателя от дальнейшего созерцания этого странного поведения молекулы, если бы в паре с английским автором не выступал, как сказано, русский редактор «Внутри атома».

Тут дело обстоит уже несколько сложнее.

«... Не подумай, будто и в самом деле молекулы похожи на живые существа». «Тебе сразу бросится в глаза большая разница между танцующими молекулами воды и танцующими людьми» — вставляет на странице 29-й В. Рожицын. «Под словом танец я подразумеваю именно танец» — невозможно продолжает на 33-й странице Лэнгдон-Девис.

«Рано или поздно все звезды станут мертвыми» — выясняется из рассуждений Девиса. «Это неверно» — хлопочет Рожицын. «Ученый Бор доказал, что внутри звезды находится... источник быстрых электронов. Быстрые электроны продвигаются к внешним слоям и отдают им энергию. Медленные электроны, наоборот, продвигаются к центру, получают там зарядку... и устремляются к внешним слоям. Так происходит вечный обмен быстрых и медленных электронов (т.-е. звезда, как перпетуум мобиле! — В. Л.).

«... Молекулы, почувствовав себя неутожно и одиноко», «желают танцевать в общем зале» — игриво сообщает Лэнгдон-Девис. «Когда я представляю тебе движение молекул, как простую перемуту места в пространстве, — комментирует Рожицын, — то это только сравнение, и больше ничего. На самом деле движения атомов представить себе нельзя. Его можно только познать научным путем» (стр. 42).

Это называется «исправил!» Это называется «марксистски» разъяснил!

Не так давно той же самой главной редакцией ОНТИ, которая произвела на свет рецензируемое сочинение Девиса—Рожицына, была выпущена приближающаяся к нему по качеству и стилю работа некоего Петрянова.

Готовится, далее, к выпуску книга того же Девиса, посвященная радио.

Атомно-молекулярный фокстрот в советской научно-популярной литературе продолжается.

В. Е. Львов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★ «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе». Сборник. Подготовлен к печати С. Брейтбург. Предисловие Ф. Кона. Гослитиздат. Москва, 1937. Стр. 358. Цена — 5 р. 25 к.

В книге собраны наиболее значительные статьи о литературе и искусстве, печатавшиеся в центральном органе большевистской партии в дооктябрьский период его существования. Ряд статей посвящен Добролюбову, Помяловскому, Гончарову, Чернышевскому, Гоголю, Шевченко, Некрасову, Франсу, Э. Золя. В специальном разделе книги собраны статьи о скульптуре, живописи, о театральных проблемах того времени.

★ Николай Чуковский. «Княжий угол». Роман. Гослитиздат. Ленинград. 1937. Стр. 260. Цена — 2 р.

Тема романа — кулацкое восстание в 1921 году. Действие происходит в совхозе

«Княжий угол». Автор показывает вдохновителей восстания — эсеров, главарей бандитских шайк, и с другой стороны — коммунистов, ведущих борьбу с этими бандами. В романе показана ликвидация банд силами самого крестьянства, решительно вставшего на стороне советской власти.

★ **Люк Дюртен.** «Завоевание мира». Книга избранных рассказов. Перевод с французского, под редакцией Б. Песиса. Гослитиздат. 1937 г. Стр. 287. Цена — 5 р.

В книгу вошли новеллы: «Сообщники», «Американские рассказы» («Город-химера», «Преступление в Сан-Франциско» и др.) и «Мой Кимбелль». Книга выпущена с иллюстрациями Фр. Мазерееля, выполненными специально для настоящего издания, и с предисловием автора.

★ **Проспер Мериме.** «Письма к Лагрэнэ». Подготовил к печати А. Виноградов. Издательство Академии наук СССР. Москва. 1937. Цена — 12 р.

Публикуемые письма содержат ряд интересных высказываний Мериме о современных ему событиях и лицах. Французские тексты и русские переводы даются с подстрочными примечаниями. В вводной статье дана обстоятельная характеристика взаимоотношений П. Мериме с его русскими друзьями.

★ **Лун Гийу.** «Черная кровь». Роман в 2-х томах. Перевод с французского В. Станевич. Жургазобединение. Москва. 1937. Стр. 677. Цена — 4 р. 50 к.

Роман показывает французскую провинцию в годы войны. В лице провинциального учителя гимназии, прозванного Крипюром, автор дает образ интеллигента-бунтаря, фрондирующего против капитализма. В противовес индивидуалистическому бунтарству учителя Крипюра показана революционная молодежь, порывающая с буржуазным обществом, ищущая новых путей.

★ **Томас Гоббс.** «Левиафан». Предисловие и редакция А. Ческиса. Соцэкгиз. 1937 г. Стр. 503. Цена — 12 р.

«Левиафан», классическое произведение

политической и философской мировой литературы, принадлежит перу одного из крупнейших философов — материалистов XVII века. В нем даны основные принципы философии Гоббса и его учения о государстве. В двух последних частях своего труда Гоббс выступает против схоластической философии, против церкви, претендующей вмешиваться в дела государства. Католическую церковь автор рассматривает как виновницу всех несчастий и зол государства. Интересна критика Библии, данная Гоббсом в этом произведении.

Книга впервые была выпущена на английском языке в 1651 году. В русском переводе она появилась в 1864 году, но немедленно была конфискована. Настоящее издание вышло в новом переводе А. Гутермана.

★ **Квинт Горацій Флакк.** Полное собрание сочинений. Перевод под редакцией и с примечаниями Ф. А. Петровского. Вступительная статья В. Я. Каплинского. Издательство «Академия». 1937. Стр. 442. Цена — 12 р. 50 к.

Настоящее издание является первым полным собранием сатир, «посланий» и од великого римского поэта, переведенных размерами подлинника. Большинство переводов печатается впервые.

В своих сатирах Горацій борется с республиканизмом, противопоставляет республиканскому стоицизму философию Эпикура — учение о принятии жизни без особо требовательного риторизма, в интересах собственного спокойствия. «Послания» характеризуют последний период творчества поэта. Горацій трактует вопросы житейской философии, проповедуя сдержанность, отказ от шумной политики во имя мирной сельской жизни. Вторая книга «Посланий» целиком посвящена вопросам литературы. В этом отношении особенно характерно «Послание к Бизонам», в котором он рассматривает проблемы лексики, композиции и драматургии, проблемы овладения литературным мастерством.

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
Редакция: Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

